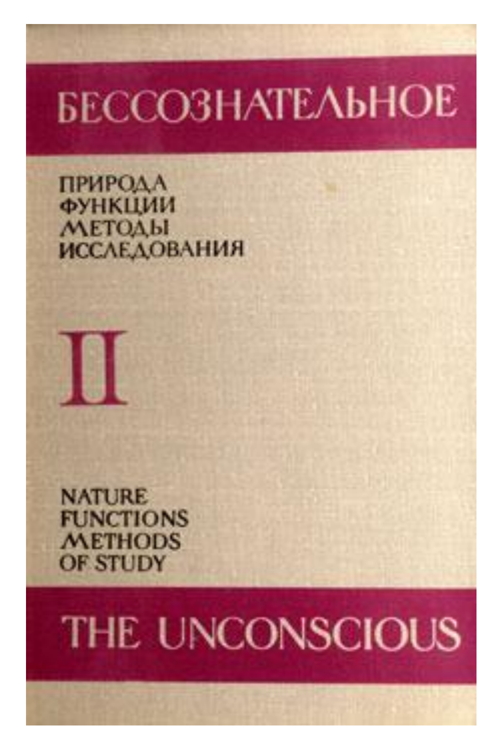
Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II



А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина - Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II

Настоящая коллективная монография необычна как по своему содержанию, так и по истории своего возникновения. Ее содержанием является разносторонне выполненный анализ еще очень мало изученной проблемы неосознаваемой психической деятельности. Во второй том монографии входят три тематических раздела: четвертый, характеризующий своеобразие активности бессознательного в условиях измененных состояний сознания (сон нормальный, сон гипнотический); пятый, посвященный проблеме проявлений бессознательного в клинической синдроматике, и шестой, в котором обсуждается роль бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества.

Источник:
- *'Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II' - Тбилиси: 'Мецниереба', 1978 - с.688*

Предисловие ко второму тому

Во второй том монографии входят три ее тематических раздела: четвертый, характеризующий своеобразие активности бессознательного в условиях измененных состояний сознания (сон нормальный, сон гипнотический); пятый, посвященный проблеме проявлений бессознательного в клинической синдроматике, и шестой, в котором обсуждается роль бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества.

Объединение этих очень, казалось бы, по-разному ориентированных направлений мысли в рамках одного и того же тома может показаться на первый взгляд искусственным, лишенным какой-либо оправдывающей подобное объединение общей идеи. Однако это не так. Чтобы эту объединяющую идею точнее определить, следует обратиться к одному из наиболее своеобразных разделов общей теории бессознательного: к концепциям, согласно которым активность бессознательного, неустранимо участвуя в формировании повседневного поведения и повседневной речи, сохраняет вместе с тем функцию порождения и специфических для нее форм выражения, оказывается способной звучать - при наличии определенных условий - также на особом "языке", не идентичном языку собственно сознания, т. е. формализованной, логически организованной, рационально построенной речи.

Хорошо известно, что эта проблема "специфического языка" бессознательного занимает в психоаналитической литературе довольно видное место. Ее корни уходят еще в старые работы З. Фрейда, в которых впервые было указано на существование закономерных связей между активностью бессознательного и специфическими формами осознаваемой речевой продукции (оговорками, очитками, остротами и т. п.). В дальнейшем эта идея была значительно расширена в связи с ее использованием в психосоматической медицине (рассмотрение определенных заболеваний и клинических синдромов как символического "языка тела", в котором находят свое выражение несознаваемые формы психической деятельности, душевные движения, по тем или другим причинам лишенные возможности экспрессии в поведенческих актах и нормальном общении). Наконец, в самые последние годы, главным образом в результате работ Ж. Лакана, были предприняты попытки еще более углубить идею связи бессознательного с речью. Эти попытки предпринимаются под характерным лозунгом "назад к Фрейду". Но в действительности они представляют собою не движение вспять, возвращающее нас к известным исходным утверждениям Фрейда, а скорее резко заостряют эти утверждения и дают им, если не всегда достаточно убедительное, то, во всяком случае, нередко весьма эффективное дальнейшее развитие. Ибо для Лакана выражение бессознательного в речи - это отнюдь не более или менее случайный (как для Фрейда) прорыв "языка бессознательного" сквозь ткань, сквозь преграды и завесы рационально контролируемых вербализаций. Для Лакана отношения между бессознательным и речью гораздо более сложны и интимны, ибо для него "бессознательное структурировано как язык", а "бессознательное Субъекта - это речь Другого".

Мы не будем сейчас задерживаться на этих парадоксально звучащих, нелегко постигаемых утверждениях. Соображения и материалы, позволяющие их в какой-то степени расшифровывать, содержатся во вступительной статье редакции ко второму тематическому разделу монографии и во многих статьях этого раздела, и, возможно, читателю они уже знакомы. Для нас представляют сейчас основной интерес не столько те общие интерпретации, которые дают идее специфического "языка бессознательного" психоанализ и другие сходно ориентированные концепции, сколько сама эта идея, степень ее обоснованности, доводы и факты, позволяющие ей - невзирая на всю силу и резкость критики, которой она неоднократно подвергалась - упорно не сходить со сцены на протяжении десятилетий. Важно также разобраться, если мы с этой идеей в той или другой степени согласимся, в качественном разнообразии форм, которые "язык бессознательного" может в разных условиях принимать. Попытки ответов именно на эти вопросы и стоят в центре внимания многих авторов, труды которых составляют в совокупности настоящий, второй том монографии.

Стремление, например, понять сновидения как психическую продукцию, в которой на основе особых принципов находят свое выражение не только те содержания душевной жизни, которые в состоянии бодрствования ясно осознавались, но и содержания, в этом состоянии вытеснявшиеся, породило литературу поистине безбрежную. Тонкие подчас наблюдения оказываются смешанными в ней с домыслами, фантастикой, мифами, и отфильтровывание в этом разнородном материале того, что может рассматриваться как элемент строгого научного знания, дело нелегкое. И тем не менее уйти от проблемы отражения в сновидениях - отражения на их "специфическом языке" - активности бессознательного было бы недопустимым. Те, кто к подобной позиции ухода от трудной проблемы призывают, должны ясно понимать, что они предлагают всего лишь движение по линии наименьшего сопротивления. При этом надо учесть, что именно здесь, в проблеме связи сновидения с бессознательным, накоплено уже немало данных о формах и даже закономерностях и функциональной роли, которыми динамика подобных связей объективно характеризуется.

Сходным, принципиально, образом обстоит дело и с выражением бессознательного в клинических картинах. Широко известная концепция "языка тела", постулирующая тенденцию бессознательного к символическому выражению в патологических синдромах, обоснованно подвергается серьезной критике во многих статьях пятого раздела, однако сам факт глубокого влияния душевной жизни во всей ее структурной сложности, т. е. ее как осознаваемых, так и неосознаваемых компонентов, на течение болезней неоспорим. Задача здесь заключается в том, чтобы уточнить так долго ускользающие от нас объективные законы этих влияний. Решая же эту задачу, мы тем самым лучше поймем не только психофизиологические механизмы, на основе которых реализуется связь бессознательного с "телом", но и формы, в которых бессознательное дает о себе знать как о клиническом факторе, т. е. определим, на каком же специфическом для него "языке" оно в условиях клиники иногда громко и открыто, иногда тихо и завуалированно говорит.

Наконец, - художественное творчество. Во вступительной статье к шестому разделу мы пытаемся подробно обосновать, почему отнюдь не является преувеличением даже такая решительная формулировка, как "бессознательное пронизывает все творчество, присутствует на всех этапах художественного восприятия". Вместе с тем явилось бы грубой ошибкой, упрощающим толкованием "сведение" художественного творчества только к активности бессознательного (довольно часто провозглашаемый тезис буржуазной эстетики), т. е. стремление исчерпать создание художественных образов лишь теми элементами психики, лишь теми мотивами и ценностями, которые, определяя душевную жизнь художника, остаются им неосознанными. Легко, однако, понять, что такое синтезирующее и одновременно разграничивающее понимание ролей, выполняемых в актах художественного

творчества сознанием и бессознательным, вновь возвращает нас к проблеме специфических особенностей выражения бессознательного в искусстве, т. е. по существу к "языку", на котором оно в искусстве говорит.

Эти соображения объясняют, как нам кажется, логическую связь, существующую между такими, казалось бы, далекими друг от друга проблемами, как сновидения, клинический синдром и генез художественного образа. Если мы попытаемся подойти к этим проблемам с позиций теории бессознательного, то оттенок парадоксальности их взаимосвязи утрачивается и, напротив, возникает представление об их смысловой увязанности и даже более того - об их взаимной дополнительности. Такое понимание и было положено в основу отбора материалов, составляющих второй том монографии. Как читатель увидит, во всех тематических разделах этого тома усилия авторов большинства статей направлены на возможно более точное определение тех особенностей "языка бессознательного", на котором последнее говорит в условиях сновидного снижения уровня бодрствования, болезни и попыток художника материализовать творимые им образы.

В четвертом тематическом разделе особое внимание обращается при этом на функциональную роль сновидений и на связанную с ними активность "невербального мышления". Как важный элемент этой роли рассматривается тенденция к нейтрализации ("примирению") мотивационных конфликтов. Во многих статьях пятого раздела критически обсуждается проблема "психологической специфичности" клинических синдромов и их отношения к функции символического выражения вытесненного. В материалах шестого раздела анализируются процессы, способствующие формированию "правды искусства", понимаемой как черта творчества, особенно зависящая от неосознаваемых факторов последнего.

Легко заметить, что все это - проблемы одного и того же по существу общего плана - форм выражения бессознательного, его своеобразной феноменологии, и поэтому неудивительно, что в процессе их анализа можно во многих случаях подметить сходство и направлений и целей. Означает ли это, однако, что проблема "языков" бессознательного исчерпывается этим ее феноменологическим аспектом? Думать так, значило бы совершить серьезную ошибку.

Когда психоанализ говорит о специфическом языке бессознательного, то - безотносительно к тому, идет ли речь о "языке сновидений", "языке тела" или "языке искусства". - в основу теории всех этих проявлений кладется "постулат символики", согласно которому одной из характернейших особенностей бессознательного является порождение им символических фигур, образов, за которыми скрыты неосознаваемые переживания. Этот процесс формирования символов объявляется функцией, присущей бессознательному исходно, первично.

При таком понимании символический характер проявлений бессознательного, естественно, объясняется способностью создавать символические образы, совсем как у Мольера: "мак усыпляет, потому что он обладает усыпляющей силой". Что касается нас, то во вступительных статьях к тематическим разделам настоящего тома мы пытаемая показать, что символический характер продукции (бессознательного достаточно хорошо объясняется своеобразием психологических условий, в которых эта продукция создается. Так, символику сновидений мы рассматриваем как форму связи между психологическими содержаниями, являющуюся единственно возможной в рамках чувственно-конкретного (бессловесного) мышления, поскольку последнее не использует связи логические. По существу, это - псевдосимволика, т. е. символика, возникающая лишь потому, что любой образ, сформировавшийся в условиях аналогичного мышления, является "символом". Сходным образом объясняется и "символика тела" (достаточно в этой связи вспомнить об идее "раковых отношений", изложенной И. П. Павловым в его споре с П. Жанэ о природе истерии).

Без занятия, поэтому, правильной позиции в отношении "постулата символики" адекватное понимание "языков" бессознательного заранее исключается.

70. Проблема активности бессознательного при сне и в гипнозе. Вступительная статья от редакции

(*Статья подготовлена при участии Л. П. Латаша и В. С. Ротенберга*)

(1) В истории изучения неосознаваемой психической деятельности развитие представлений о функциях сна занимает исключительно важное место. Вся теория, сформулированная З. Фрейдом, базировалась на исследовании сновидения [5] и конверсионной истерии, и такой анализ выступал в свое время как один из адекватных методов проникновения в сферу бессознательного, хотя он не выходил за рамки чисто психологических и клинико-феноменологических поисков и определений.

По мере появления более точных приемов изучения (нейрофизиологических, биохимических, психофизиологических и др.), знания о конкретных процессах, происходящих в мозгу во время сна, расширялись и углублялись. Но при этом становилось все труднее систематизировать и обобщать эти знания на основе единой теоретической концепции функций сна, особенно при стремлении включить в сферу анализа поведенческие и психологические аспекты относящихся сюда крайне сложных междисциплинарных проблем.

Какие же концепции функций сна находятся в настоящее время з центре внимания? Стало общепризнанным и не вызывает возражений представление об адаптивной функции сна. Однако по вопросу, в чем именно состоит эта адаптивная функция, высказываются разноречивые мнения.

Говорить о поведенческой адаптации во время сна трудно хотя бы потому, что в этом состоянии почти полностью отсутствует взаимодействие с внешним миром (). Можно, правда, допустить, что адаптационные процессы в фазе сна имеют, главным образом, внутреннюю направленность, т. е. что их объектом является сам организм, а содержанием - изменения, обусловленные деятельностью (поведенческой активностью), происходившей в предшествовавшей фазе бодрствования, и/или подготовкой к активности в последующем бодрствовании. Такое истолкование было использовано исследователями, постулирующими так называемую восстановительную функцию сна [9]. Но когда возникает проблема природы, характера этой функции, единомыслие опять таки отсутствует.

Существующие мнения группируются в данном случае вокруг двух различных позиций. Согласно одной из них, восстановительные процессы, происходящие в мозгу во время сна, носят пассивный характер и безразличны по отношению к содержательной стороне адаптации на поведенческом и психическом уровнях. Эти процессы заключаются только в подготовке условий для последующего бодрствования, не оказывая прямого влияния на психологический аспект активности в этом состоянии. Такая позиция сближает процессы, происходящие в мозговых образованиях во время сна, с процессами в других физиологических системах и сводит их в основном к восстановлению структуры и энергетических потенциалов тканей. Очевидно, что при таком понимании не остается места для какой-либо специфической роли психической (в том числе неосознаваемой психической) активности, характерной для сна. Даже напротив, активность мозга в условиях сна трактуется как направленная на торможение, на подавление психических процессов, на "разгрузку" от них мозга.

Вторая позиция исходит из противоположного представления, по которому во время сна адаптационная деятельность мозга является активной в плане именно содержательной стороны психических процессов. Предполагается, что в мозгу во время сна происходит переработка, преобразование, с участием эмоционально-мотивационных процессов, информации, поступившей в период предшествовавшего бодрствования, причем эта переработка отличается от таковой в бодрствовании не столько количественно, сколько качественно, особым характером своей организации. Представление о восстановительной функции сна при этом не снижается, но "восстановление" понимается не как отдых и пассивное накопление ресурсов, а как результат актив ной реорганизации воспринятой информации, как "восстановление" информационных емкостей кратковременной памяти, эмоционального "равновесия", нарушенной системы "психологической защиты" и т. п. Хотя грань между бодрствованием и сном при таком расширенном толковании восстановления несколько стирается, поскольку каждое из этих состояний становится возможным рассматривать как "восстановительное" по отношению к другому, очевидно, что признание "информационной" гипотезы функций сна () само по себе отнюдь не означает принципиального отрицания определенных структурно-восстановительных процессов в мозговой ткани. Напротив, подобные процессы и с позиций этой гипотезы неизбежны, поскольку только они могут быть материальной основой активности, обеспечивающей в каких-то формах закрепление реорганизованной информации.

В свете современных данных вряд ли, однако, может претендовать на признание представление о накоплении энергетического потенциала в нейронах для последующей "разрядки" в период бодрствования как об единственном проявлении активности мозга во время сна. Ни сопоставительные непосредственные биохимические исследования энергетического метаболизма мозга во время сна и бодрствования, ни косвенные показатели (мозговой кровоток, поглощение O_2), ни результаты исследования активности отдельных нейронов не дали сколько-нибудь весомых доказательств в пользу такого заключения. Более того, основные результаты многочисленных исследований сна на разных уровнях" - биохимическом, нейрофизиологическом (клеточном, мозговых механизмов), психофизиологическом, психологическом - весьма трудно объединить на базе "пассивной" позиции, тогда как признанию активного и содержательного характера процессов "внутренней" адаптации во сне такие факты, по крайней мере, не противоречат.

Биохимические исследования показали, что наиболее существенные изменения мозгового метаболизма во время сна связаны с синтезом белков и нуклеиновых кислот. Усиление этого синтеза в некоторых стадиях сна свидетельствует не только о повышении интенсивности пластических процессов, но (учитывая свойства

названных соединений как носителей "информационных" молекул) также, по-видимому, о создании особых возможностей для фиксации в субстрате результатов переработки информации, носящих "завершенный" характер.

Наиболее важные итоги изучения мозговой активности во время сна дают, таким образом, основание для двух существенных выводов: о сне как о деятельном состоянии мозга и о том, что различия между бодрствованием и сном являются не столько количественными (имеется в виду соотношение числа возбужденных и заторможенных нейронов), сколько качественными, с акцентом на изменение пространственно-временной организации нейронных процессов. Такое понимание, очевидно, несовместимо с представлением только об "отдыхе" нейронов во время сна (или в какой-либо из его стадий), облегчающем их энергетическое восстановление. Значительно больше оснований считать, что активность нейронов мозга во время сна, т. е. в условиях отсутствия выраженного взаимодействия с внешним миром, лежит в основе мозговой деятельности, имеющей отношение к оперированию информацией. Переход в "медленном" сне к синхронной активности больших популяций нейронов коры и таламуса (с характерным рисунком "пачка - пауза") не может расцениваться как аргумент против подобного представления, ибо, во-первых, остается пока еще неизвестной функциональная сущность упомянутой биоэлектрической активности и, во-вторых, эта активность зарегистрирована лишь на крупных нейронах, преимущественно эфферентных, тогда как масса мелких нейронов ("внутренних", - интернейронов) может характеризоваться иной динамикой потенциалов, чему уже имеется некоторое подтверждение. Стереотипный характер чередования фаз "медленного" и "быстрого" сна во "внутри-сонном" биоритме также не является основой для возражения, ибо подобная стереотипия может трактоваться как повторяемость генетически предопределенного набора процессов, обеспечивающего обработку последовательных порций информации (или получение последовательных порций конечного результата).

В "быстром" сне имеет место не только значительная активация корково-таламических формаций, превосходящая таковую в состоянии напряженного бодрствования, но и активация лимбической системы [2]. У животных при этом регистрируется выраженный регулярный ритм в гиппокампе, разряды амигдалярных "веретен". Так как в условиях бодрствования эти показатели отражают состояния мозговых систем при мотивированном поиске, направленном внимании, т. е. состояния, связанные с активированием эмоционально-мотивационных аппаратов мозга, то имеются основания связывать их с эмоционально-мотивационной активностью и в "быстром" сне. В пользу такого понимания говорят также данные о периодическом ослаблении гиппокампального ритма с появлением в коре синхронизированных колебаний альфа-диапазона, весьма сходных с феноменом послеподкрепительной синхронизации при бодрствовании. Имеются указания на отражение в разных фазах сна разных этапов инстинктивного поведения: в "медленном" сне - побуждающего (appetitive), в "быстром" сне - реализующего (consummatory) и, возможно, эффектов подкрепления, обуславливающего гедонические свойства сна.

О связи процессов, происходящих в "быстром" сне, с активированием эмоционально-мотивационной сферы свидетельствуют, наконец, данные о взаимозависимости "быстрого" сна и самораздражения мозга, о редукции "быстрого" сна после реализации агрессивного поведения и об анатомическом перекрытии мозговых зон двух типов: (а) зон, экспериментальная активация которых проявляется в феномене самораздражения и в других формах эмоционального поведения и (б) зон, ведающих включением и поддержанием разных компонентов обеих фаз сна. Очевидно, что для понимания функционального значения активации систем, регулирующих эмоции и мотивации во время сна, необходимо "наведение мостов" от физиологии к психологии и теории поведения. Уже сам нейрофизиологический анализ процессов, протекающих в мозгу во время сна, заставляет, таким образом, обращаться к проблемам психической активности в этом состоянии, в ее связях с переживаниями и деятельностью, характерными для бодрствования.

В еще большей степени это общее понимание обосновывается данными психофизиологических исследований. Является установленным, что во время почти каждого эпизода "быстрого" она у здоровых испытуемых возникает психическая активность в виде сновидений. В отношении значения последних существуют две альтернативные точки зрения.

Согласно первой, сновидения в своей содержательной части лишены какого-то специфического смысла или скрытого значения, между ними на протяжении ночи, а также между ними и психической деятельностью в условиях бодрствования отсутствует логическая связь по содержанию. Они, следовательно, должны рассматриваться всего лишь как случайные комбинации образов (как своего рода психический "шум"), являющиеся пассивным следствием неорганизованной кортикальной активации. Легко понять, что такая точка зрения хорошо согласуется с позицией, связывающей функциональное значение сна, в основном, с безразличной в отношении психического содержания подготовкой условий для активного функционированного мозга в период бодрствования. Однако при этом трудно объяснимыми становятся факты, свидетельствующие о том, что такая психическая активность не только регулярно повторяется каждую ночь через определенные интервалы времени, но и является, по-видимому, весьма важной для мозга, который реагирует феноменом "отдачи" на ее

искусственное подавление [4] (при исключении "быстрого" сна сновидения начинают активнее проявляться в "медленном" сне), что степень такой отдачи находится в зависимости от психического статуса субъекта и что сама депривация способна менять этот статус [6].

Учет этих обстоятельств заставляет признать, что за видимым хаосом сновидений открыта все-таки определенная систематичность, которая пока еще, правда, [недостаточно изучена. Поэтому исследователи, придерживающиеся второй точки зрения, рассматривают сновидения как содержательно значимую активность, связанную с деятельностью в условиях бодрствования, а также с другими сновидениями непрерывной цепью психических процессов, часть из которых развертывается неосознаваемым образом. Эта точка зрения хорошо согласуется с позицией, по которой во время сна осуществляется активная психически содержательная деятельность мозга, принимающая специфическое участие в формировании адаптивного поведения.

Антагонизм этих подходов очевиден и может показаться искусственно заостренным, но следует иметь в виду, что в принципиальном плане - третьего не дано: совмещение этих точек зрения является, по существу, переходом на позицию второй из них.

В самые последние годы были, довольно неожиданно, получены факты, создающие представление, что фазы сна, дифференцируемые по электрографическим показателям, являются в функциональном, психологическом плане одинаковыми или, по меньшей мере, что их различие в этом плане не установлено. Проще говоря, электрогенез - электрогенезом, а психика сама по себе. Такое мнение базируется на экспериментах, в которых было показано, что избирательная депривация как дельта-сна, так и "быстрого" сна характеризуется одинаковыми следствиями: в обоих случаях мозг "противится" подобной депривации и продуцирует в "восстановительную" ночь феномен "отдачи", а решение, после некоторых ночей депривации, набора психологических задач (включая тесты на внимание, обучение, память, тесты проективные) (выявляет дефицит психической работоспособности, по существу одинаковый по своему характеру при избирательной депривации любой из разновидностей сна [7].

Опубликование этих данных вызвало своего рода психологический шок у исследователей, получивших ранее факты иного типа. Весьма возможно, что эти новые данные были получены в более точно проведенных экспериментах и с фактической стороны достоверны. Однако выдвинутое на их основе заключение о психологической неразличимости функционального значения фаз "медленного" и "быстрого" сна является явно преждевременным.

Во-первых, это заключение было выдвинуто на основе определения психического состояния после депривации разных фаз сна, производившегося без опоры на какую-то четкую гипотезу о функциональном значении этих фаз. Испытуемым предлагались тесты, определяющие их работоспособность и реактивность и предполагающие использование знаний, накопленных на протяжении всей предшествовавшей жизни. Ответ зависел от общего состояния испытуемого, на которое экспериментальные манипуляции со сном влияли неспецифически, и поэтому, естественно, также был неспецифическим. В свете гипотез, выдвигающих представление об адаптационной роли мозговых процессов, развертывающихся во время сна, о связи этих процессов с ассимиляцией недавнею опыта и с реорганизацией на его основе существенных мозговых программ, описанные выше эксперименты вряд ли вообще могли что-либо подтвердить или опровергнуть. Они просто не адресовались к таким гиптезам, ибо испытуемые период депривации не подвергались воздействиям, имеющим специфическое отношение к предполагаемым функциям сна, а длительность экспериментов (не более нескольких дней) была слишком малой, чтобы в жизни здорового взрослого человека, да еще находящегося в лабораторных условиях, произошли события, дефицит в ассимиляции которых мог бы сказаться на выполнении примененного набора тестов.

Во-вторых, в настоящее время имеется уже значительное количество данных, показывающих неидентичность функционального значения разных фаз сна и тесно связанных с определенным концептуальным подходом. В опытах на животных было, например, показано, что в отличие от тотальной депривации сна, депривация сна "быстрого" вызывает расторможенность биологических влечений с явлениями гиперсексуальности, гиперфагии, двигательного возбуждения, агрессивности [8]. При разрушении стволовых формаций, осуществляющих тормозной контроль двигательной функции, только в "быстром" сне возникало резко напряженное в эмоциональном отношении поведение, близкое к галлюцинаторному. В исследованиях на людях показано, что наличие или отсутствие дельта-сна перед "быстрым" сном влияет на характер последующих сновидных переживаний. Только на фоне дельта-сна возникают такие психические состояния, как сомнамбулизм, ночные кошмары, а фармакологическое подавление дельта-сна - и только его - редуцирует их. Угнетение "быстрого" сна уменьшает представленность приступов нарколепсии и сочетается со снятием депрессивного состояния. Длительное (в течение нескольких месяцев) угнетение "быстрого" сна в лечебных целях приводит к заметным изменениям личности больного. У здоровых людей устранение "быстрого" сна снижает адаптацию к ситуациям стресса и т. д.

Таков далеко не полный перечень фактов (некоторые весьма интересные дополнительные, относящиеся сюда наблюдения представлены в статьях, включенных в настоящий раздел монографии), который делает сомнительной обоснованность вывода об отсутствии различия между фазами сна по признаку осуществляющейся в них психической активности. Отрицательные данные по этому поводу следует рассматривать гораздо скорее как свидетельство неадекватности в постановке экспериментов, чем как повод для сомнения в фактах, говорящих иное. Учитывая это обстоятельство, сторонники гипотезы только "отдыха" мозга во время сна стремятся иногда занять компромиссную позицию. Они готовы признать, что во время "быстрого" сна этот отдых сменяется активной психической деятельностью, но зато настаивают, что в "медленном" сне такая деятельность полностью отсутствует, "медленный" сон, в особенности дельта-сон, представляется им выражением полного прекращения психической активности и, следовательно, отдыхом мозга в истинном смысле этого слова.

Действительно, психическая активность в "медленном" сне встречается реже и носит обычно иной характер, чем в "быстром". К тому же есть основания в ряде случаев предполагать, что она привязана к особым, как бы включенным в "медленный" сон, компонентам "быстрого" сна [10] и, тем не менее, существуют определенные доказательства непрекращающейся психической активности и в "медленном" сне. Так, показано, что дельта-сон оказывает положительное влияние на сохранение в памяти и воспроизведение таких данных, в отношении которых была в свое время создана установка на запоминание, но наличие которых в прошлом опыте было неочевидным, замаскированным [1]. Это дает основание полагать, что во время дельта-сна происходит обработка материала, воспринятого в фазе бодрствования, связанная с учетом значимости этого материала, т. е. неосознаваемая психическая деятельность весьма сложного типа. Возможно, что характерная вегетативная активация, происходящая в дельта-сне (усиление спонтанных КГР, нерегулярность сердечного ритма), связана с эмоциональной активностью, сопутствующей процессам классификации и отбора подобной "неоприходованной" информации.

В этой связи нельзя не вспомнить давнее предположение З.Фрейда о "работе сна", которая осуществляется во время сна без сновидений и заключается в скрытой подготовке материала, используемого затем при формировании сновидений.

Все вышеизложенное свидетельствует, таким образом, в пользу предположения, что мозг во время сна осуществляет активную и целенаправленную деятельность, оказывающую прямое влияние на приспособительное поведение в последующем бодрствовании и определяемую задачами этого поведения. Такое представление является, по существу, дальнейшим развитием концепции Д. Н. Узнадзе о сохранении за психологическими установками их регулирующих функций и в условиях сна (эта концепция была экспериментально обоснована Д. Н. Узнадзе и его учениками в опытах с применением гипноза и различными другими методами). Оно хорошо согласуется и с теорией физиологии активности, разработанной Н. А. Бернштейном, согласно которой отношение организма к среде заключается не в пассивном "уравновешивании" с последней, а в активном преодолении противодействия среды в процессе осуществления внутренних программ, планов, установок, характеризующих организм и личность. В рамках обоих этих подходов адекватно интерпретируется вся сложность взаимодействия между процессами, происходящими во сне, и поведением в условиях бодрствования. При этом легко понять, что, когда речь идет о поведении высших животных и тем более - человека, психологические аспекты, содержательная сторона переживаний и их субъективная значимость становятся как факторы особенно существенными. У человека, благодаря общественному характеру его существования, вся эта проблема должна рассматриваться в плане преимущественно социальной адаптации, которая носит крайне сложный характер в связи с динамизмом системы и широтой диапазона его психологических ценностей. Нарушения в этой сфере ведут к появлению психосоматических заболеваний, неврозов, психотических состояний, проявление и лечение которых почти всегда затрагивают так или иначе также активность сновидений.

(2) Итак, можно сделать достаточно, на сегодня, обоснованный вывод, что в основе адаптивной функции сна лежит особым образом организованная психическая деятельность. Эта активность в значительной степени протекает в сфере бессознательного. Результаты нейрофизиологических и психофизиологических исследований показали также, что специфика этой активности не исчерпывается только тем, что она протекает без участия сознания. Можно думать, что эта неосознаваемая психическая деятельность характеризуется, как мы об этом уже упомянули, и особой организацией мозговых процессов, отличающей ее по определенным параметрам от бессознательной психической активности, имеющей место, наряду с ясным сознанием, при бодрствовании. Мы имеем в виду следующее.

За последние годы накопилось значительное количество доводов в пользу того, что проблема роли и механизмов неосознаваемой психической деятельности человека во время сна может быть существенно в теоретическом отношении углублена при ее сближении с другой важной проблемой современной нейропсихологии - проблемой функциональной дифференцированности больших полушарий головного мозга.

Весьма вероятно, что невербальное, пространственно-образное мышление, связанное преимущественно с правым полушарием мозга, имеет особое отношение к осуществлению неосознаваемой психической деятельности вообще и в фазе сна - в частности.

На основе ряда клинических и экспериментальных данных может быть выдвинуто следующее предположение. В условиях бодрствования использование невербального мышления в значительной степени ограничено, поскольку оно оттесняется на второй план мышлением вербальным. Однако возможности невербального мышления при оперировании с поступившей информацией, вообще говоря, весьма велики. К тому же как неоднократно было показано, невербальное, образное мышление использует особые, качественно своеобразные способы переработки информации, которые дополняют в определенных отношениях формы работы, свойственные вербальному мышлению (оба вида мышления выступают поэтому скорее как синергисты, чем как антагонисты). В ситуациях, когда решение проблемы, основанное на анализе, использующем вербальное мышление, по той или иной причине не удается, такое решение может быть поэтому найдено с помощью невербального мышления, которое доминирует в условиях сознания, измененного сновидно. Можно в этой связи допустить, что во сне на базе невербального мышления осуществляется своеобразная перестройка психологических установок, приводящая при наличии конфликтных ситуаций как бы к "примирению" противоборствующих мотивов или к решению других задач, не решаемых с помощью мышления, происходящего при бодрствовании. Примеры подобной операциональной мощи невербального мышления, даваемые, в частности, психологией творческой интеллектуальной деятельности, хорошо известны, и мы на них задерживаться сейчас не будем. Сновидения в таком случае оказываются характерным выражением образного мышления, а их последующее осознание (по выходе из сна) процессом скорее формальным и "пассивным", поскольку суть происходящего в сновидении, его подлинное функциональное значение остается скрытым от сознания. Последнее не корригирует результаты невербального образного мышления, в результате чего сновидения и представляются алогичными. Подлинная их роль и выполняемая ими работа раскрываются только при учете специфических функций невербального мышления и места, которое эта все еще довольно плохо понимаемая нами активность занимает в системе сознания в целом.

(3) Объединение в одном разделе материалов, касающихся сна и гипноза, представляет собой дань установившейся традиции, согласно которой сон и гипноз рассматриваются как близкие состояния. Исследования последних лет показали, правда, что по психофизиологическим характеристикам между гипнозом и сном значительно больше различий, чем сходства [3]. Даже по такому формальному признаку, как выключение из контакта с внешним миром и редукция активного поведения, проявления сна сходны только с наиболее поверхностными фазами гипноза, тогда как в глубоких фазах (которые многие авторы только и считают подлинным гипнотическим состоянием) возможно осуществление сложной деятельности субъекта в рамках внушенной ему роли. Гипнозу совсем не свойственна та сложная игра электроэнцефалографической активности, которая характерна для сна и отражает смену разных функциональных состояний мозга. В плане изучения направленных воздействий на психику, физиологические функции и поведение, гипноз предоставляет более широкие возможности для 34 экспериментального исследования, чем сон. Продолжая это противопоставление, можно указать, что основным в гипнотическом состоянии являются: (1) изменение самосознания; (2) некритическое подчинение воле гипнотизера; (3) расширение возможностей регуляции "непроизвольных" функций; (4) спонтанная амнезия при отсутствии специальных вызывающих ее инструкций. Как следствие этих особенностей может выступить очень своеобразное расширение возможностей субъекта в моторной и сенсорной сфере, в сфере интеллектуальной деятельности, в области управления вегетативной нервной системой и внутренней средой и т. д. И тем не менее, вопреки всем этим различиям, в плане теоретического осмысления неосознаваемой психической деятельности, анализа ее функций сопоставление между гипнозом и сном представляется эвристичным.

Можно указать на ряд особенностей гипнотического состояния, сближающих гипноз со сном и притом не только формально, но и по возможным механизмам действия. Сюда относятся, например, галлюцинации, близкие к сновидениям по сопровождающим их переживаниям и объективным психологическим особенностям, а также автоматизмы, сходные с возникающими в дельта-сне. Можно предположить, что в состоянии естественного сна эти проявления отражают преобладание активности невербального мышления; вследствие же особенностей изменения сознания в гипнозе контроль вербального мышления субъекта ослабевает, заменяясь контролирующей функцией вербального мышления гипнотизера, которое воздействует на невербальное мышление субъекта (в чем, возможно, и заключается суть гипнотического раппорта). К числу признаков, сближающих гипноз со сном, относится и возможность корригировать адаптивное поведение. В состоянии сна, как упоминалось выше, подобные коррекции проявляются, в частности, в нейтрализации мотивационных конфликтов, в гипнозе же аналогичные эффекты достигаются в условиях гипнотерапии и разнообразных специальных экспериментальных ситуаций.

Таковы наиболее заметные из параллелей между сном нормальным и сном гипнотическим, которые выявляются на основе учета главных характеристик этих психофизиологических состояний и углубляют в определенных отношениях их понимание. Когда, однако, возникает вопрос о связи проблемы гипноза с проблемой неосознаваемой психической деятельности, то несмотря на неоспоримое изобилие и разнородность сведений, которые накоплены в отношении каждой из этих проблем в отдельности, мы оказываемся в нелегком положении, ибо окончательный ответ на этот вопрос невозможен без раскрытия самой природы, самого существа феномена гипноза. А от такого раскрытия мы пока, несмотря на солидную временную дистанцию, отделяющую нас от эпохи споров Нанси-Сальпетриер, несмотря на важные подсказы, уходящие своими корнями в систему павловских представлений, все еще, если говорить строго, весьма далеки. И единственное, что здесь можно в итоге века исканий утверждать более или менее уверенно, так это то, что решать проблему существа гипноза, оставаясь в рамках только психологических или даже только клинико-психологических построений, по-видимому, не удается. Здесь отчетливей, чем в какой-либо другой области, выступает важность получения и физиологических критериев гипнотического состояния, необходимых хотя бы только для того, чтобы можно было более глубоко разобраться в старом вопросе о взаимоотношении понятий гипноза и суггестии, так неожиданно заострившемся в литературе самых последних лет. Если же мы обратимся к более новым электрофизиологическим методикам,- мы имеем в виду, в частности, методику регистрации т. н. сверхмедленных потенциалов мозга, связанную в литературе с именем Н. А. Аладжаловой, - то сможем получить в этом отношении некоторые обнадеживающие данные.

(4) Большинство проблем, упомянутых в настоящей вступительной статье, в той или иной степени затрагивается и в исследованиях, включенных в настоящий раздел монографии. Хотя эти исследования также связаны с физиологией бессознательного, мы сочли целесообразным, учитывая специфический характер поднимаемого ими круга вопросов, опубликовать их в виде особого раздела.

Т. Н. Ониани представил обзор ("Функциональное значение разных фаз сна") проведенных в его лаборатории обстоятельных исследований по нейрофизиологии "быстрого" сна. На основании полученных данных автор обращает внимание на сходство между электрографическими проявлениями активности мозга (в первую очередь - между потенциалами лимбической системы) в "быстром" сне и при мотивационном поведении животного, что очевидно является весьма важным для обсуждения функционального значения этой фазы сна.

В сообщении подчеркивается также, что существование двух качественно различных, электрографически, фаз сна было подмечено Л. Р. Цкипуридзе еще в 1950 г. (одна из этих фаз была названа Цкипуридзе "беспокойным" сном - термин, предваривший появление закрепившегося позже обозначения того же, по существу, феномена как сон "быстрый") и указывается на существование двух подстадий парадоксальной фазы сна. Автор связывает первую из этих подстадий с развитием переживания потребности, вторую - с формированием переживания удовлетворения потребности. В целом же автор присоединяется к мнению, по которому функцией парадоксальной фазы сна является завершение на более высоком уровне процессов обработки информации, начавшихся в медленно-волновой (ортодоксальной) фазе (см. статью Л. П. Латаша в настоящем тематическом разделе монографии) .

В статье крупного французского исследователя физиологии и психологии сна А. Бургиньона ("Сон как проблема промежуточная между психофизиологией и психоанализом") представлен сжатый экскурс в историю формирования современных представлений о психофизиологии сна. Автор напоминает, в частности, что известные открытия А. Азеринского, относящиеся к 4953 г., были предварены в какой-то степени полузабытыми ныне данными, полученными советскими авторами М. Р. Денисовой и Н. Л. Фигуриным еще в 1926 г. Сопоставляя современные представления о психофизиологии она с теоретическими положениями психоаналитической школы, автор приходит к выводу, что идейный кризис, который испытывает сейчас психофизиология сна, в большой степени обусловлен недооценкой роли бессознательного и что именно эта недооценка мешает свести многочисленные и часто противоречивые факты в единую концепцию. Особый интерес представляют приводимые Бургиньоном данные о постепенно раскрывающейся сложности (закономерной неоднородности) функциональной структуры фазы "быстрого" сна: вычленение в этой структуре подфаз фазической и тонической, или, иначе говоря, - подфаз, сопровождающейся и не сопровождающейся движением глаз, и связывание каждой из них с разными формами психической активности; переход к использованию вместо постепенно, по-видимому, устаревающего - как категория слишком глобальная-понятия "быстрый" сон более дифференцированной терминологии, предусматривающей, что фаза "быстрого" сна состоит функционально "по крайней мере из двух последовательных периодов: периода "первичного визуального переживания" (PVE) и периода "вторичного когнитивного переживания" (SCE).

Упоминая эту весьма характерную, подчеркиваемую Бургиньоном общую тенденцию в развитии представлений, нельзя не отметить, что сам факт закономерно проявляющейся сложности психофизиологической структуры "быстрого" сна является немаловажным дополнительным доводом в пользу уже нами выше охарактеризованной "информационной" концепции сна и, в частности, в пользу происходящей, по-видимому, в

фазе "быстрого" сна (в ее когнитивной подфазе?) какой-то координирующей реорганизации эмоционально-мотивационно окрашенных психологических установок (феномен "примирения"?).

Широко известным американским исследователем проблемы сна и клинического значения различных его фаз Ч. Фишером ("Физиологические корреляты неосознаваемых психических процессов...") представлены весьма интересные в теоретическом и клиническом отношении данные о возможности устранения некоторых патологических синдромов (ночных кошмаров, депрессивного состояния, нарколепсии и др.) путем фармакологического воздействия на разные фазы сна (подавление "стадии 4" или "быстрого" сна). В свете описываемых Фишером наблюдений, - как его собственных, так и принадлежащих другим исследователям, - становится более понятным происходивший на протяжении последних лет пересмотр преобладавших одно время представлений о только патологизирующем эффекте длительной депривации "быстрого" сна. Как оказывается, такое подавление может выступать иногда в качестве даже терапевтического фактора, снимающего некоторые клинические синдромы, - хотя и ценой (как это видно из данных самого Фишера) определенных нежелательных сдвигов в структуре психических функций и личности. Несмотря на возникающие в этой связи неясности, можно ожидать, что в результате экспериментальных исследований, производимых Фишером (а также Вайэтом, Освальдом, Фогелем и др.), придется со временем внести немалые, по-видимому, изменения в представление о функциональном значении разных фаз сна, уточняя как отношение последних к патогенезу клинических расстройств, так и их связь с различными формами развертывающейся во сне неосознаваемой психической деятельности.

В статье Л. П. Латаша ("Сон как сфера бессознательной психической активности") приводится система доказательств наличия неосознаваемой психической активности в дельта-сне. Автором обосновывается важное для понимания этой активности представление о возможности переноса функциональной интерпретации ряда физиологических явлений, наблюдаемых в условиях бодрствования (КГР, изменение ритма сердечной деятельности и др.), на них же, при их возникновении во сне.

В работе В. С. Ротенберга ("Активность сновидений и проблема сна") затрагивается вопрос о существе психологической роли сновидений. Автор исходит из информационной концепции сновидений и обосновывает представление о последних как об особой форме "психологической защиты", приводящей к нейтрализации эмоциональных конфликтов на основе использования возможностей невербального мышления.

Сообщение А. М. Вейна, Н. Н. Яхно, В. Л. Голубева ("Психофизиологические корреляты бессознательных процессов во время сна") посвящено анализу различных физиологических процессов, наблюдаемых во время сна, в их связях с бессознательной психической деятельностью. Авторы опираются на результаты исследований сна в условиях неврологической клиники.

К. Халл и Н. Нордби (США) в своей работе ("Эмпирические доказательства вневременной природы бессознательного") рассматривают отражение в сновидениях мотивов поведения на разных уровнях онтогенеза (дети, подростки, взрослые). Авторы приходят к выводу, что основные мотивы, связанные, по их мнению, с бессознательным ("Оно"), после пятилетнего возраста (возраст завершения развития бессознательного, согласно психоаналитической концепции) мало варьируют на протяжении остальной жизни. Развитие личности придает этим мотивам, по мере становления и усложнения отношений субъекта к миру, новые формы, но мало изменяет их по существу.

Серия сообщений, посвященных в обсуждаемом разделе монографии проблематике собственно сна, этой работой завершается. Следующая статья Д. Г. Элькина и Т. М. Козиной "Отсчет времени в состоянии сна и гипноза" позволяет перейти к вопросам, сближающим представление о сне с представлением о гипнозе. Ее авторы излагают результаты экспериментального исследования способности к отсчету времени в условиях она нормального и сна гипнотического. Они подчеркивают возможность парадоксально высокой точности этого отсчета и связывают объяснение этого феномена с концепцией психологической установки Д. Н. Узнадзе.

Очень обстоятельный и показательный для современного состояния психоаналитической теории характер имеет приводимая далее статья Л. Шертока (Франция) "Скрытое лицо бессознательного: Фрейд и гипноз". Автор с присущим ему знанием деталей истории науки излагает психоаналитическую концепцию гипноза (понимание гипноза как состояния, основанного на феномене трансфера), подчеркивая, что даже сам Фрейд явно понимал всю ее незавершенность и слабость. Очень выразительны в этом отношении слова Шертока: "Он (Фрейд) чувствовал, что объяснение посредством трансфера не позволяет понять своеобразие природы гипнотических феноменов. Параметр трансфера не специфичен для гипноза. Его присутствие можно обнаружить в структуре любого достаточно напряженного психологического отношения...". Хотя филогенетические гипотезы, к которым прибегает Фрейд с целью прояснить проблему трансфера, представляются Шертоку "исключительно

интересными", он не колеблется, анализируя их, применить к ним даже такой суровый термин как "фиктивная наука" ("Science-fictif"). А основным недостатком психоаналитической концепции гипноза является, по Шертоку, то, что она оказывается совершенно бессильной объяснить специфические психосоматические зависимости, проявляющиеся в гипнозе. Сама же методика гипноза с ее широкими возможностями экспериментирования открывает, по Шертоку, вторую "королевскую дорогу" для изучения бессознательного (перифраз известного указания Фрейда, что такой "королевской дорогой" является изучение сна), следуя по которой удастся, возможно, осветить то, перед чем остановился психоанализ.

Звучащие в этой оценке критические ноты характерны, как уже было отмечено выше, для весьма сложной эволюции отношения к психоанализу, происходящей сегодня на Западе. Чтобы, однако, не создавалось одностороннее (впечатление о легкости пересмотра западными исследователями ортодоксальных психоаналитических построений, - целесообразно сопоставить позицию Шертока с позицией М. Гилла (США) в статье "Гипноз как измененное и регрессивное состояние сознания". В этой работе Гилл характеризует современную психоаналитическую теорию гипноза, обосновывая предварительно представление о гипнозе как об общем регрессивно измененном состоянии сознания (понятия "диссоциации" и "роли" включаются, по Гиллу, в понятие регрессии как его частные составляющие). В центре феномена гипноза, по мнению Гилла, - феномен трансфера, определяемый как "аспект этого регрессивного состояния, включающий отношение субъекта (гипнотизируемого) к гипнотизеру". "Трансфер, - подчеркивает Гилл, - это, по-моему, решающее в гипнозе" ("tome transferenceiscrucial in hypnosis"). Поскольку, однако, несколькими строками выше (вспоминая о своих спорах с Л. Кюби) и двумя абзацами ниже Гилл указывает, что "трансфер должен присутствовать в любом интерперсональном контакте", а с другой стороны, что "природа трансфера, на котором основывается гипноз, еще не известна", нетрудно подметить, насколько, по меньшей мере, недостаточно определенной и внутренне противоречивой оказывается позиция сторонников ортодоксальной психоаналитической концепции гипноза. Тезис Гилла о том, что гипноз это своеобразное "состояние", трудно опровержим, но даваемая Гиллом интерпретация генеза и природы этого состояния не может не вызывать дискуссий.

Работа Н. А. Аладжаловой, С. Л. Каменецкого и В. Е. Рожнова ("Сверхмедленные колебания потенциалов головного мозга как объективный показатель гипнотического состояния") представляет значительный интерес как отклик на звучащий до настоящего времени в литературе спор - является ли гипнотический сон специфическим физиологическим состоянием или всего лишь следствием и проявлением внушения. Авторы справедливо подчеркивают, что корни этого спора уходят еще в эпоху Шарко и Бернгейма и что широко одно время проводившиеся электроэнцефалографические исследования гипнотических феноменов внести ясность в этот вопрос не смогли.

Авторами было произведено исследование в условиях гипнотического сна динамики сверхмедленных мозговых потенциалов (ритмов более медленных, чем наиболее медленные ритмы ЭЭГ), позволившее выявить два основных факта: (а) существование формы мозгового электрогенеза, характерной для глубокого гипнотического сна (декасекундный ритм) и (б) появление при переходе от фазы сомноленции к фазе собственно гипнотического сна характерного изменения структуры и динамики сверхмедленных потенциалов (феномен "зубчатого вала" или "скачка").

Наличие этих объективных сдвигов говорит в пользу физиологического своеобразия гипнотического состояния. Оно углубляет тем самым представление о физиологической основе изменений сознания и, в частности, о физиологических процессах, связанных с неосознаваемой психической деятельностью, разыгрывающейся в условиях гипнотического сна.

В статье А. С. Каландаришвили и С. Л. Каменецкого "Анализ гипнабельности при истерии в свете теории бессознательной психологической установки" также представлена попытка осветить факторы гипнотического состояния, производимая, однако, с позиций концепции не трансфера, а неосознаваемой психологической установки по Д. Н. Узнадзе. Авторы подчеркивают зависимость эффективности гипнотерапии истерического невроза и всего течения этого заболевания от неосознаваемых психологических установок, определяющих отношение больного к окружающей его социальной среде. Если этими наблюдениями и не выявляется существо гипнотического состояния,, то определенный, по крайней мере, аспект генеза этого состояния, зависимость возникновения последнего от бессознательного (представленного в данном случае системой преформированных установок) выступает в их свете отчетливо.

Статья М. Моравека (ЧСР) посвящена интересному и еще мало по существу разработанному вопросу о возможностях гипноза как метода экспериментального исследования психофизиологических закономерностей. Автор уделяет основное внимание возможностям изменения под влиянием гипнотического внушения функционального состояния физиологических систем, связанных с болевой чувствительностью и со сном.

В сообщении В. Крогера (США) "Переработка и контроль сенсорной информации высшими отделами нервной системы в условиях поведения" гипнотическое состояние рассматривается как имеющее регрессивный и защитный характер. Для понимания его особенностей целесообразно, по автору, сопоставление последних, как с моделью, с особенностями работы электронных вычислительных устройств определенного типа.

В последней из статей обсуждаемого раздела "История гипноза и психосоматическая медицина" ее автор, Д. Нэмиа (США), прослеживает постепенный переход от идей месмеризма к представлениям, положенным в основу современных теорий гипноза. Он подчеркивает отсутствие на сегодня сколько-нибудь глубокого объяснения влияний, оказываемых гипнозом на органические заболевания, и необходимость серьезного пересмотра представления о том, что гипнотическое состояние не имеет своей специфической нейрофизиологической основы. Победа идеи Бернгейма в его известном споре с Шарко была, по мнению автора, пирровой победой, и задачей современных гипнологов является преодоление ее последствий, отрицательно вплоть до нашего времени влияющих на развитие гипнологии.

Итак. Каждая из представленных в этом разделе работ, имеет на сегодня актуальный характер и обнадеживающие перспективы дальнейшего развития.

71. Функциональное значение разных фаз сна. Т. Н. Ониани

Институт физиологии АН ГОСР, Тбилиси

Первоначально в нейрофизиологических теориях сон рассматривался как пассивный процесс, отражающий состояние отдыха центральной нервной системы, закономерно заменяющий активное состояние, характерное для бодрствования. Одним из основных фактов для обоснования подобного взгляда, по-видимому, был характер динамики электрической активности головного мозга в цикле бодрствование - сон. Еще классическими работами Бергера [13; 14] было показано, что по характеру электроэнцефалограммы активное и пассивное бодрствования отличаются друг от друга. Если во время сна головной мозг продуцирует высокоамплитудные и медленные потенциалы, возникающие синхронизированно на уровне коры, то пробуждение и состояние бодрствования связаны с угнетением и десинхронизацией этих потенциалов. Вместе с тем было показано, что электрическая активность головного мозга, характерная для сонного состояния, развивается при дефиците афферентной, сенсорной импульсаций [15; 16], тогда как усиление афферентной импульсации, наоборот, ведет к десинхронизации медленной электрической активности и к пробуждению. Эти факты, несомненно, сыграли большую роль в формировании "пассивной" или "деафферентационной" теории сна.

Однако этологи [31; 32; 20] особое внимание обращали на тот факт, что сон, так же как и другие формы инстинктивной активности, запускается на основе специфической потребности и что развитие этой потребности происходит независимо от интенсивности афферентной сенсорной импульсации. С этой позиции сон можно было рассматривать как, правда, своеобразное, но мотивированное инстинктивное поведение [24]. Для психологов и психофизиологов, по-видимому, сон прежде всего был интересен как состояние мозга, при котором психические процессы разыгрываются в основном на бессознательном уровне, на фоне которого могут фрагментами вспыхивать субъективно переживаемые сновидения. Исходя из кажущейся хаотичности и бесформенности сознательных субъективных процессов при сновидениях, предполагалось, что психические процессы в это время могут формироваться в результате "пробуждения" отдельных клеток головного мозга. Фрейд [10], по-видимому, был первым из тех, кто на основании тщательного анализа сновидений ясно показал, что при них деятельность головного мозга является координированной и целостной. Несмотря на это, пассивная теория сна долго господствовала в нейрофизиологии, и отзвуки ее слышны и в настоящее время в работах некоторых крупных специалистов физиологии головного мозга [25].

Мощным ударом по пассивной теории оказалось обнаружение того факта, что сон является не однородным процессом, как это предполагаюсь раньше, а гетерогенным феноменом, состоящим из закономерно чередующихся фаз. Один из учеников И. С. Бериташвили Л. Р. Цкипуридзе [11], детально изучая динамику электрокортикограммы кошки в цикле бодрствование-сон, обнаружил, что периодически синхронизированные высокоамплитудные медленные потенциалы претерпевают угнетение, т. е. происходит десинхронизация электроэнцефалограммы, несмотря на отсутствие признаков поведенческого пробуждения. Т. к. в это время можно было отметить все соматические и, особенно, вегетативные признаки повышения эмоционального напряжения организма, эти периоды автором были названы "беспокойным сном". Фрагменты десинхронизации электроэнцефалограммы в течение сна были замечены и раньше [19; 23]. но Цкипуридзе, несомненно, был первым, систематически описавшим данное явление и показавшим закономерное чередование двух различных фаз сна. К сожалению, после преждевременной кончины Л. Р. Цкипуридзе это интересное направление исследования не получило у нас дальнейшего развития и его единственная работа, опубликованная в трудах Института физиологии

АН ГССР за 1950 г., осталась незамеченной специалистами в области физиологии сна. Спустя несколько лет Азеринский и Клейтман [12] показали, что сон у человека состоит из двух фаз и что в т. н. парадоксальной фазе развиваются сновидения. В 1958 г. Дементом [18] (было обнаружено наличие двух фаз сна у кошек, после чего структура сна начинает привлекать пристальное внимание нейрофизиологов. В настоящее время имеется огромное количество экспериментальных и теоретических работ [21; 25] по выяснению нейрофизиологических механизмов и функционального значения сна. Однако многие стороны этой чрезвычайно интересной проблемы остаются неясными, особенно это касается функционального значения как ортодоксальной или медленноволновой, так и парадоксальной или десинхронизированной фаз сна.

При рассмотрении вопроса о функциональном значении парадоксальной фазы сна прежде всего привлекает внимание изменение в этой фазе электрической активности головного мозга. Как указывалось, при переходе ортодоксальной фазы сна в парадоксальную наблюдается десинхронизация медленных высокоамплитудных потенциалов. Параллельно с этим в некоторых структурах архи-палеокортекса (в гиппокампе и энторинальной области) развивается, наоборот, гиперсинхронизация медленной электрической активности в диапазоне тета-ритма. Подобная картина электрической активности нео- и архи-палеокортекса характерна также для эмоционального состояния при бодрствовании. Следовательно, можно утверждать, что во время парадоксальной фазы сна происходит повышение эмоционального напряжения и высокая активация головного мозга. Исходя из этого факта, было выдвинуто положение [21] о том, что функцией парадоксальной фазы является периодическая активация мозга в течение более или менее длительного времени сна и что тем самым предотвращаются те нежелательные изменения в функции и структуре нервных клеток (особенно синаптических образований), которые могли .бы развиться в результате их бездеятельного состояния. Есть основание думать, что бездеятельное состояние вообще на самом деле может вызвать структурные и функциональные изменения в центральной нервной системе за то время, на протяжении которого имеет место сонное состояние. Если это так, то периодическая активация мозга, несомненно, может иметь охранительное значение. Однако такой подход к вопросу о функциональном значении сна может быть применен и в аспекте пассивной теории, а именно, в свете этой теории ортодоксальная фаза сна рассматривается как пассивное или бездеятельное состояние мозга. Однако современные нейрофизиологические данные показывают, что это не так. Во-первых, доказано, что синхронизированная электрическая активность выражает не бездеятельное состояние мозга, а, наоборот, высококоординированную деятельность тех систем, которые ответственны за формирование данного вида активности. Во-вторых, микроэлектрофизиологические данные показывают, что нервные клетки различных корковых и подкорковых структур головного мозга во время медленноволновой фазы сна не прекращают активности, они только перестраиваются на другой паттерн активности. В этой ситуации структурные и функциональные изменения, характерные для бездеятельного состояния, естественно, не могут иметь места. Тем самым предотвращение наступления тех структурных и функциональных изменений, которые могли бы развиться в центральной нервной системе в результате бездеятельности, не должно быть признано функцией парадоксальной фазы сна.

Некоторые стороны функционального значения парадоксальной фазы сна, по всей вероятности, можно выявить путем изучения ее структуры. Систематические опыты, которые велись в нашей лаборатории 15; 6; 8; 28], показали, что парадоксальная фаза сна не является однородной и что она имеет закономерную структуру. Исходя из динамики электрической активности нео- и архи-палеокортекса, а также соматических и вегетативных признаков эмоционального напряжения, парадоксальную фазу сна можно подразделить, по крайней мере, на две стадии. Первая стадия характеризуется наличием десинхронизации медленной электрической активности в структурах новой коры и резким усилением синхронизированной электрической активности в диапазоне тета-ритма в некоторых структурах архи-палекортекса. В этой стадии сильно выражены также соматические и вегетативные признаки, свидетельствующие о высоком эмоциональном напряжении. Во второй стадии в электрической активности новой коры начинают доминировать медленные синхронизированные потенциалы в диапазоне альфа-ритма, тогда как тета-ритм структур архи-палеокортекса угнетается. Подобное изменение электроэнцефалограммы коррелирует с угнетением соматических и вегетативных признаков эмоционального напряжения. Из сказанного ясно, что две стадии парадоксальной фазы сна отражают различные уровни эмоционального напряжения.

О причинах изменения эмоционального напряжения во время парадоксальной фазы сна в настоящее время мы можем судить только лишь по косвенным фактам, полученным на бодрствующих животных. Из литературных данных известно, что при удовлетворении пищевой [26], питьевой [17] и сексуальной [29] потребностей у кошек в новой коре больших полушарий головного мозга развивается синхронизированная электрическая активность в диапазоне альфа-ритма. Наши опыты [26; 4] показали, что на фоне наличия таких биологических потребностей, как жажда и голод, у кошек на фоне резкой десинхронизации электронеокортикограммы развивается мощный тета-ритм в таких структурах архи-палеокортекса как гиппокамп и энторинальная кора. На фоне же удовлетворения этих потребностей наблюдается обратная картина - синхронизация электронеокортикограммы в диапазоне аль-44 фа-ритма и угнетение гиппокампального тета-ритма. Таким образом, у бодрствующего

животного чередование наличия и удовлетворения потребностей вызывает такую же динамику электрической активности нео- и архи-палеокортекса, как это имеет место при чередовании различных стадий парадоксальной фазы сна. Этот факт, по нашему мнению, позволяет предположить, что в первой стадии парадоксальной фазы сна имеет место развитие потребностей, а во второй стадии - либо удовлетворение, либо иммитация удовлетворения этих потребностей. То, что во время сновидений у людей может иметь место как развитие потребностей, так и иммитация их удовлетворения или даже подлинное удовлетворение (например, сексуальной потребности), по-видимому, не должно вызывать сомнений. Можно полагать, что во время парадоксальной фазы сна у высших позвоночных животных тоже развиваются своеобразные сновидения, основанные на развитии и удовлетворении биологических потребностей. В этом аспекте нельзя не вспомнить мнение Фрейда [10] о том, что функцией сновидения у людей является удовлетворение неудовлетворенных при бодрствовании потребностей. Однако ясно, что это никак не может быть главной функцией парадоксальной фазы сна, тем более, что в отношении большинства потребностей во сне. вероятно, имеет место только иммитация удовлетворения. Кроме того, можно утверждать, что структура сна не может зависеть от количества и качества неудовлетворенных потребностей при бодрствовании. В частности, чередование и соотношение различных фаз сна у животных мало подвержены таким факторам, как наличие или отсутствие потребностей, если конечно, при этом не затрагивается гомеостаз организма (при длительном голоде и жажде). По всей вероятности, парадоксальная фаза сна запускается не для удовлетворения неудовлетворенных при бодрствовании потребностей, а для выполнения других функций, о чем речь будет идти ниже. Однако это не исключает возможности того, что при парадоксальной фазе сна могут в той или иной форме разыграться те процессы в головном мозгу, которые были начаты при бодрствовании, но не были тогда доведены до конца.

В литературе нередко выдвигается предположение о том, что значение сна вообще и, в частности, его парадоксальной фазы заключается в упорядочении, отработке и консолидации той информации, которая избыточно накапливается в мозгу при бодрствовании. По некоторым признакам спящий организм как бы является аналогом вычислительной машины, которая после насыщения избыточной информацией может запереть свои входы. Однако тщательные нейрофизиологические опыты показывают, что во время парадоксальной фазы сна запираются только лишь выходы, и то в отношении соматических рефлексов. Входы же остаются довольно свободными, и информация свободно может достигать головного мозга [7]. Ведь известно, что непосредственные внешние влияния могут запустить или изменить ход сновидений у людей. Это дает повод утверждать, что спящий мозг не только способен обрабатывать информацию, накопленную при бодрствовании, но и получать новую, оценивать и адекватно реагировать на нее. По мнению Латаша [1; 2; 3], одного из крупных специалистов, развивающих информационную теорию, в различных фазах сна осуществляются различные ступени обработки информации. С этих позиций функцией парадоксальной фазы является завершение обработки информации на более высоком уровне, которая была начата в медленноволновой или ортодоксальной фазе сна. Кроме других косвенных фактов, в пользу этого воззрения приводится и факт о причинной взаимосвязи между ортодоксальной и парадоксальной фазами сна. Хотя пока еще мало сведений о природе и характере информационных процессов, протекающих в различных фазах сна, эта гипотеза заслуживает (Внимания, и она все более и более обогащается новыми данными.

При рассмотрении функции парадоксальной фазы сна особое значение приобретают два факта: то, что парадоксальная фаза типично развивается после ортодоксальной фазы, и то, что в основе развития парадоксальной фазы лежит острая потребность в ней. Первый факт указывает на зависимость парадоксальной фазы от ортодоксальной фазы, а второй - на то, что во время ортодоксальной фазы должны образовываться факторы, которые формируют потребность к парадоксальной фазе. На самом деле, если редуцировать ортодоксальную фазу сна, редуцируется и парадоксальная фаза до полного ее исчезновения [GO; 33; 22; 27]. Это указывает на то, что для запуска парадоксальной фазы требуется критический уровень факторов, образующихся при ортодоксальной фазе. Наступление острой потребности в парадоксальной фазе после определенной продолжительности ортодоксальной фазы хорошо можно демонстрировать путем селективной депривации парадоксальной фазы. Если дальнейший ход начавшейся парадоксальной фазы прекращается искусственным пробуждением животного, то последующая парадоксальная фаза наступает быстрее. При повторных селективных депривациях интервал между парадоксальными фазами прогрессивно укорачивается и, в конце концов, они начинают появляться вслед за короткими фрагментами медленноволнового или ортодоксального сна. Все это указывает на накопление неудовлетворенной потребности в парадоксальной фазе сна, а также на то, что парадоксальная фаза осуществляет удовлетворение той потребности, которая развивается при ортодоксальной фазе.

В наших опытах по селективной депривации парадоксальной фазы сна был замечен один интересный факт, имеющий важное значение для оценки функции и природы этой фазы.

На кошках селективная депривация производилась пробуждением животного через 10 сек. после начала парадоксальной фазы. Пробуждающим раздражителем служило слабое болевое электрическое раздражение кожи передней конечности. Оказалось, что после применения определенного количества подобного рода депривации

кошки начинали спонтанно пробуждаться вслед за наступлением парадоксальной фазы без электрокожного раздражения. Ясно, что в данном случае мы имеем дело с условнорефлекторным пробуждением и наступление парадоксальной фазы выступает здесь в качестве условного сигнала к ожидаемому электрокожному раздражению. Со своей стороны, образование условного рефлекса такого типа говорит о том, что переход ортодоксальной фазы сна в парадоксальную переживается субъективно и процессы, протекающие в спящем головном мозгу, от "бессознательного" уровня переходят к "сознательному" уровню. На высокую оценочную способность мозга в парадоксальной фазе сна указывает тот факт, что спонтанное пробуждение происходит примерно с таким же интервалом, с каким производилось сочетание электрического раздражения с началом парадоксальной фазы. Понятно, что в основе этого лежит правильная оценка времени.

В этом аспекте еще более информативными оказались опыты на людях. В этих опытах, при наличии явных признаков сновидения (быстрое движение глазных яблок и др.), производилось пробуждение испытуемого, который должен был рассказать содержание своего сновидения. Однако эта задача оказалась весьма трудной, испытуемому трудно было восстановить содержание сновидения. После определенного количества подобных манипуляций испытуемые, с появлением сновидения, спонтанно пробуждались и (более активно и ясно рассказывали содержание сновидений. Оказывается, до пробуждения испытуемые сознавали, что видят сон, содержание которого обязаны были рассказать после пробуждения. Поэтому они старались активно запомнить увиденное и вовремя просыпаться, зная, что содержание сновидения быстро забывается. Все это указывает на высокую оценочную способность человеческого мозга при парадоксальной фазе сна и на высокую координированность при этом сознательных процессов.

Таким образом, парадоксальная фаза сна, которая запускается на основе острой потребности в ней, обеспечивает удовлетворение этой потребности, но вместе с тем работа мозга во время парадоксальной фазы охватывает и другие аспекты, среди которых информационные процессы, по-видимому, являются ведущими.

Парадоксальная фаза сна является закономерной составной частью цикла бодрствование-сон, и поэтому выяснение ее функции невозможно без знания и учета функции других фаз этого цикла, без выяснения причин чередования различных фаз, т. е. без понимания механизмов работы биологических часов данного типа. Функция парадоксальной фазы должна быть тесно связана прежде всего с функцией ортодоксальной или медленноволновой фазы сна, так как наступление первой зависит от развития последней, т. е. между ними имеется причинно-следственная связь. Однако, к сожалению, прямых сведений о функции медленноволновой или ортодоксальной фазы сна намного меньше, нежели о функции парадоксальной фазы сна. Как указывалось выше, раньше считалось, что сон является фазой отдыха центральной нервной системы, развивающейся после утомления от длительного бодрствования. Однако современные нейрофизиологические данные не подтверждают этого положения. Выше уже говорилось о том, что во время сна происходит не прекращение или снижение активности мозга, а замена одного вида активности другим. Выше говорилось и о том, что парадоксальная фаза причинно зависит от медленноволновой или ортодоксальной фазы сна. Нет сомнения, что подобная причинная взаимосвязь должна существовать и между бодрствованием и сном вообще. С уверенностью можно сказать, что сонное состояние запускается теми факторами, которые в центральной нервной системе создаются в результате бодрствования. О природе этих факторов, к сожалению, мы знаем пока еще мало. По-видимому, одними из важных факторов могут быть нейрогуморальные сдвиги в центральной нервной системе, наступившие при бодрствовании. Весьма возможно, что значение такого фактора приобретает также накопление избыточной информации в головном мозгу при бодрствовании. Может быть, для рассортировки и дальнейшей обработки информации требуется специфическое состояние центральной нервной системы, отличное от бодрствования. Так или иначе, факторы, которые образуются во время бодрствования, при достижении определенного уровня могут оказаться опасными для гомеостаза организма вообще и, в частности, мозга. Под гомеостазом в данном случае следует понимать целостность комплекса условий для оптимальной деятельности мозга. Однако несмотря на то, что факторы, образующиеся при бодрствовании, по природе своей направлены на нарушение гомеостаза, они в нормальных условиях не могут достичь этого опасного уровня. Мозг обладает способностью заблаговременно определять характер и направленность этих факторов и имеет возможность вовремя позаботиться об их нейтрализации. Именно для этого и перестраивает мозг свою работу, в результате чего одна фаза цикла бодрствование-сон сменяется другой. По этому же принципу работы мозга осуществляется переход бодрствования сонное состояние, в основе чего лежит активация системы сна, триггерное звено которой должно быть чувствительно к этим факторам. Исходя из этой позиции, функцией сна является предотвращение накопления тех факторов, которые образуются при бодрствовании и которые потенциально направлены на нарушение гомеостаза. Однако для выполнения этой задачи требуется довольно длительная работа системы сна. В результате работы этой системы, с одной стороны, происходит постепенное снижение факторов, накопленных при бодрствовании, а с другой, образование новых факторов (по-видимому, в виде нейрогуморальных сдвигов), характерных именно для сонного состояния.

Факторы, образующиеся во время сна, при достижении определенной критической величины также могут стать опасными для гомеостаза. Но мозг обладает специальным механизмом, также заблаговременно чувствующим наступление опасности и препятствующим накоплению этих факторов до критической величины. Такие механизмы заложены в системе бодрствования, триггерное звено которой высокочувствительно к факторам, образующимся во время сна. В результате возбуждения этого звена активируется вся система бодрствования, и сонное состояние сменяется бодрствованием.

Таким образом, с этих позиций нужно признать, что каждая фаза цикла бодрствование-сон работает в двух направлениях: с одной стороны, снижает антигомеостатические факторы, созданные в предыдущей фазе, а с другой, создает новые для нее специфические антигомеостатические факторы, для снятия которых требуется запуск, работа последующей фазы. Ясно, что в этом аспекте функция "отдыха" не является приоритетом какой-либо одной фазы цикла бодрствование-сон. На самом деле мозг во время сна "отдыхает" от бодрствования и "утомляется" сном, тогда как при бодрствовании имеется обратная картина - мозг "отдыхает" от сна и "утомляется" бодрствованием. Также одинаково обладают они как защитной, так и антигомеостатической функциями.

Теперь можно более ясно поставить вопрос о функции парадоксальной фазы в регуляции цикла бодрствование-сон. Причинная взаимосвязь между ортодоксальной и парадоксальной фазами сна указывает на то, что система парадоксальной фазы сна активируется факторами, образующимися во время ортодоксальной фазы. Видимо, в системе парадоксальной фазы сна, так же как и в системе бодрствования, имеется высокочувствительное триггерное звено к этим факторам. Однако чувствительность триггерного звена парадоксальной фазы сна к факторам, образующимся при ортодоксальной фазе, должна быть значительно выше по сравнению с триггерным звеном бодрствования. Поэтому пороговая величина этих факторов для активации триггерного звена парадоксальной фазы сна будет значительно ниже, чем порог для активации триггерного звена бодрствования. Может быть, такая 48 разница в порогах определяется тем, что система ортодоксальной фазы сна при своей активности реципрокными механизмами тормозит триггерное звено системы бодрствования, но не триггерное звено системы парадоксальной фазы. Так или иначе, факт, что факторы, образующиеся во время ортодоксальной фазы сна, легче запускают парадоксальную фазу, нежели бодрствование. По-видимому, парадоксальная фаза сна эффективно снижает факторы, образующиеся при ортодоксальной фазе, до подпороговой величины для возбуждения своего триггерного звена, и тем самым восстанавливается ортодоксальная фаза.

Таким образом, парадоксальная фаза эффективно препятствует достижению факторов, образующихся во время ортодоксальной фазы, до пороговой величины для возбуждения триггерного звена системы бодрствования и тем самым предотвращает преждевременное пробуждение. Для целесообразности наличия подобного механизма нужно допустить, что во время ортодоксальной фазы сна инактивация антигомеостатических факторов, образованных при бодрствовании, происходит медленнее, чем образование новых, характерных для ортодоксальной фазы, антигомеостатических факторов, вызывающих пробуждение. Естественно, что в этой ситуации преждевременное пробуждение помешало бы инактивации антигомеостатических факторов, образованных при бодрствовании, и способствовало бы их дальнейшему накоплению, что, в конце концов, могло бы поставить гомеостаз под угрозу. Следовательно, функцией парадоксальной фазы сна является продление сонного состояния до того момента, пока не произойдет инактивация антигомеостатических факторов, образованных при бодрствовании. Как только эти факторы снизятся ниже критического уровня для возбуждения триггерного звена системы бодрствования ортодоксального сна, сонное состояние должно прекратиться из-за инактивации соответствующей системы. В результате инактивации системы сна снимается ее реципрокное тормозящее влияние на систему бодрствования и снижается порог активации ее триггерного звена. Теперь факторы ортодоксального сна достигают порога активации бодрствования, и происходит пробуждение.

Таким образом, нужно думать, что в регуляции цикла бодрствование-сон парадоксальная фаза выполняет функцию поддерживания и продлевания работы ортодоксальной фазы сна, направленной на инактивацию антигомеостатических факторов, образованных при бодрствовании. Однако парадоксальная фаза должна быть полифункциональным феноменом, имеющим особое значение и в других аспектах мозговой деятельности, среди которых в настоящее время можно выделить информационные процессы, протекающие в мозгу на сознательном уровне.

74. Сон как сфера бессознательной психической активности. Л. П. Латаш

Институт эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР, Москва

В настоящее время вряд ли существует необходимость обосновывать актуальность изучения той области человеческой психики, которую- лаконично обозначают термином "бессознательное". Сущность бессознательной

психической активности (БПА), закономерности ее проявления и развития, функциональное значение, мозговые механизмы, характер взаимодействия с осознаваемой психической активностью (ОПА) остаются, пока, в значительной мере объектом скорее спекулятивных построений, чем экспериментального исследования, но важнейшая роль БПА в организации психической адаптации, творческой деятельности, генезе многих патологических состояний не вызывает на сегодня никаких сомнений. Поэтому настоятельно выдвигается на передний план необходимость определения четко очерченных феноменов БПА и их экспериментального анализа, использующего методы не только психологии, но и психофизиологии, а возможно - и нейрофизиологии. Следует заранее полагать, что традиционные подходы здесь окажутся недостаточными и что весьма значительным будет, на первых по крайней мере порах, удельный вес косвенных показателей.

Следует отметить особое место изучения сна в исследовании БПА. За последние 2 десятилетия в этой области совершены открытия первостепенной важности, потребовавшие пересмотра многих традиционных представлений.

Очевидно, что БПА является формой деятельности мозга, широко представленной в состояниях как сна, так и бодрствования. Однако выраженное отключение сознания во время сна ставит этот вид деятельности в особое положение, с одной стороны, как бы его демаскируя и таким образом облегчая его выявление и анализ, а с другой - значительно расширяя его возможности и повышая его эффективность. Сон поэтому можно считать в значительной мере сферой доминирования БПА.

Настоящее сообщение имеет целью обосновать представление о наличии психической активности во время сна и вне периодов ОПА, наметить, хотя бы в общих чертах, методологию ее изучения, определить некоторые ее свойства и обосновать соображения о функциональном ее значении. На сегодня можно наметить следующие общие подходы к выявлению БПА во время сна, связанные с современными возможностями физиологического изучения и избирательного вмешательства в определенные стадии, фазы, циклы сна [18; 24; 35 и мн. др.]:

(а) опираясь на известное положение о том, что сновидение - это результат определенной подготовительной психической деятельности 88 [16; 27], методом выявления БПА может служит анализ изменений содержания ОПА во сне (сновидений), а также субъективных оценок длительности сна, зависящих от предшествовавшего состояния, в котором ОПА может отсутствовать;

(б) важные сведения, относящиеся к прямым доказательствам наличия БПА во время сна, дает изучение поведенческих актов, возникающих в условиях дельта-сна, (стадии 3, 4) на фоне отсутствия ОПА;

(в) вызывает интерес и имеет перспективу дальнейшего развития то, что может быть названо - за отсутствием более удачного термина - "механизменным" анализом психической активности, - имеются в виду случаи, когда суждение о наличии психических процессов производится на основе физиологических проявлений активности мозговых механизмов, систем, блоков, чья связь с теми или иными психологическими характеристиками, в первую очередь с эмоционально-мотивационными, доказана в условиях бодрствования.

Перейдем теперь к рассмотрению конкретных данных, полученных с помощью перечисленных приемов. Следует указать, что особое внимание было уделено нами выяснению наличия БПА в дельта-сне, относящемся к самым "глубоким" стадиям фазы "медленного" сна (МС), при пробуждении из которых испытуемый часто указывает на отсутствие сновидений.

1. Для изучения БПА по проявлениям ее влияния на ОПА во время сновидений был использован сравнительный анализ последних у больных нарколепсией при дневном приступе засыпания. Как известно, у таких больных приступ сна нередко начинается с фазы "быстрого" сна (БС), которая, в отличие от нормы, может возникнуть непосредственно из бодрствования или после нескольких минут начальных стадий МС. При достаточной длительности приступа (свыше 1-1,5 часов) у больного может пройти полный цикл сна в виде всех стадий МС (включая и дельта-сон) и последующего очередного эпизода БС, возникающего на этот раз на своем обычном "месте". Сопоставляя сновидения, переживаемые в преждевременном и очередном БС, можно было выяснить особенности влияния предшествовавшего состояния на содержание таких сновидений (в первом случае - бодрствования, во втором - дельта-сна). Это исследование было проведено нами [9; 40], и результаты его оказались показательными.

Было выявлено существенное различие между сновидениями, переживаемыми в указанных двух ситуациях. При преждевременном БС отчеты о сновидениях (гипнагогические галлюцинации были исключены из анализа) носили необычный характер: они включали в свое содержание обстановку исследования, его процедуру, детали, экспериментатора, были чувственно яркими, эмоционально напряженными, что нередко можно было объективировать по появлению спонтанных КГР. Характер отчетов о сновидениях после "очередного" БС

существенно изменялся и становился таким же, как при ночных пробуждениях из БС: отсутствовала связь содержания с обстановкой и участниками исследования, но выявлялась связь с прошлыми событиями; элемент нереальности не был связан с переживанием напряженных эмоций, КГР отсутствовали.

Таким образом, предположение о влиянии на характер сновидения предшествовавшего состояния подтвердилось. Можно думать, что необычный характер сновидений в преждевременном БС связан с его возникновением непосредственно из состояния бодрствования или через короткое время после него. В результате психическая активность (в данном случае, очевидно, ОПА), имевшая место перед засыпанием, оказалась включенной в специфические процессы, определяющие наличие сновидных переживаний в БС, их чувственный характер. Прохождение перед очередным БС развернутой фазы МС, в частности стадий дельта-сна, приводило, по-видимому, к тому, что содержание сновидений в таком БС определялось не столько непосредственными следами событий предшествовавшего бодрствования, сколько результатами мозговой активности в этих стадиях МС, обусловливающей трансформацию упомянутых следов с отнесением сновидения к более отдаленному прошлому.

Можно думать, что дельта-сон в этом случае оказывал своеобразное демпфирующее воздействие в отношении эмоциональности сновидений, что согласуется с данными о выраженности эмоций в последовательных циклах ночного сна [45; 46]. В первых циклах со значительной представленностью стадий дельта-сна, особенно при выраженной КГР-активности в них, сновидения обычно менее эмоциональны, чем в утренних циклах, когда дельта-сон отсутствует.

О наличии БПА в дельта-сне, взаимодействующей с психической активностью БС, говорят данные детального изучения субъективных оценок длительности и глубины сна [39; 40]. Имеются основания полагать, что при прочих равных условиях субъективная оценка времени определяется фиксацией в памяти непрерывного потока психических явлений, вызванных извне ,или возникающих изнутри [14]. Опыты с сенсорной депривацией показали, что в этих условиях у бодрствующего субъекта происходит недооценка временных интервалов примерно на 35-40% [32; 49]. Можно было думать, что отсутствие психической активности (ОПА и БПА) должно проявиться в субъективной недооценке времени сна, тогда как наличие ее скажется в адекватной оценке или переоценке.

Интерес представляют три группы полученных фактов.

1) Оказалось, что субъективная оценка длительности полного цикла сна (фаза МС + последующая фаза БС) при пробуждении в БС, завершающем цикл, зависит от структуры последнего. Эта оценка выше в первых циклах сна, характеризуемых наличием выраженного дельта-сна, с доминированием адекватных (в пределах ±15 мин. на 1 час реального времени) и избыточных оценок. В утренних циклах сна, в которых дельта-сон, как правило, не представлен, оценка существенно ниже, причем примерно в половине наблюдений отмечаются недооценки.

2) При пробуждении в дельта-сне (самом "глубоком" сне) первого цикла оценка длительности предшествовавшего периода сна оказалась связанной с характером психической активности при пробуждении. Примерно в половине наблюдений на вопрос о психических переживаниях во сне испытуемые сообщали, что "голова пустая". При этом отмечались недооценки времени сна, вплоть до полного его отрицания. Эти данные могли быть расценены как свидетельство действительного отсутствия психической активности в предшествовавшем сне. Однако интерес вызывало то обстоятельство, что при пробуждении и опросе в конце полного цикла сна субъективная оценка времени не исключала, а включала в себя период дельта-сна. Т. е. в последующем БС испытуемый как бы "догонял" реально текущее время. Последний факт может свидетельствовать о том, что в дельта-сне недооценка времени связана не с отсутствием психической активности, а с ее бессознательным характером и существованием в форме, нефиксируемой в памяти или недоступной для извлечения из последней. Во время дальнейшего сна в пределах этого же цикла вмешательство процессов БС обусловливает как бы доработку БПА дельта-сна, с фиксацией ее в памяти в ряду последовательных психических явлений, делающей возможной адекватную или даже избыточную субъективную оценку длительности всего цикла сна. Здесь отчетливо выступает роль функционального взаимодействия дельта-сна и БС: после дельта-сна без БС отчетливо выражены недооценки длительности периода сна; то же наблюдается после БС, которому не предшествовал дельта-сон, а именно, в БС утренних циклов сна у здоровых людей и в преждевременном БС больных нарколепсией [9]. Эти данные также показывают, что дельта-сон не является психически "пустым", а содержит какую-то активность, которую можно с основанием (см. ниже) отнести к БПА.

3) Вывод о роли указанного взаимодействия дельта-сна и БС был подтвержден в экспериментах с искусственным частичным перемещением дельта-сна из начальных (более всего из первого) циклов в конечные (4 и 5) путем избирательной его депривации "подбуживанием" в 1-3 циклах, с последующей "отдачей". При этом в 1 цикле существенно снизились, а в 5 цикле существенно возросли субъективные оценки длительности циклов сна. Во 2-4 циклах происходило стирание естественных различий.

Необходимые контрольные исследования показали, что субъективные оценки времени во сне не являются высказываемыми наобум и что, хотя существует зависимость между этими оценками и субъективной оценкой "глубины" сна, эта зависимость не является определяющей.

О взаимодействии скрытой работы дельта-сна и БС говорят результаты исследований, показавших, во-первых, положительную роль дельта-сна в благоприятном влиянии сна на память и, во-вторых, роль сочетания при этом дельта-сна с БС, преимущественно - с его фазическим компонентом [5; 6; 40]. Так как было показано, что благоприятное влияние сна на память связано с лучшей организацией поступившего для запоминания материала, в связи с чем облегчается последующее извлечение [8] (улучшение касалось, в основном, словесного материала с низкой ассоциативной ценой и проявлялось в свободном воспроизведении, а не в узнавании), можно думать, что БПА в дельта-сне и БС включает в себя и процессы, связанные с совершенствованием новых следов памяти, особенно тогда, когда подобные процессы затруднены и требуют дополнительной оценки и доработки поступившей информации, невозможных в условиях бодрствования, с его непрерывным взаимодействием с внешней средой.

Приведенные данные говорят (в значительной мере косвенно) о наличии в дельта-сне скрытой работы мозга, которая оказывается в последующем на ОПА (содержание сновидений, субъективная оценка длительности сна, воспроизведение заученного материала), что позволяет считать эту скрытую работу относящейся к БПА.

2. Прямым свидетельством в пользу наличия в дельта-сне БПА служат некоторые психические феномены, доступные внешнему наблюдению и возникающие преимущественно в этих стадиях сна. Речь идет о снохождении, некоторых случаях сноговорения, ночных кошмарах (incubus attack) [17; 22; 26; 33. См. также обзор 7]. Эти феномены в большинстве случаев не могут быть отнесены к проявлениям патологии, ибо наблюдаются часто у субъектов без каких-либо признаков органического повреждения мозга, с нормальным поведением в состоянии бодрствования. Что же касается признаков невротичности или психопатичности, то они не более выражены у этих лиц, чем у других, во сне которых данные феномены отсутствуют. К тому же все эти феномены чаще наблюдаются у детей и в большинстве случаев с возрастом проходят [381.

Существует представление, что указанные психические явления характеризуют не столько сам дельта-сон, сколько особенности пробуждения из него [22]. Действительно, при снохождениях, переживании ночных кошмаров (которые следует отличать от устрашающих сновидений, возникающих в БС) типичными являются такие признаки arousal, как уплощение ЭЭГ, порой с появлением альфа-ритма, значительное учащение сердечного ритма, учащение и нерегулярность дыхания. При этом, однако, настоящего пробуждения, с адекватной ориентацией в обстановке, возможностью контакта с окружающими людьми не наступает. Более того, добиться такого пробуждения довольно трудно, а если это удается, то субъект выглядит оглушенным, нередко злобен и, как правило, ничего связного о предшествовавшем состоянии сообщить не может. Имеются основания полагать, что отмеченные признаки пробуждения из дельта-сна являются не столько первопричиной разбираемых психических феноменов, сколько сами обусловлены возникновением последних в дельта-сне, оказывая, однако, в дальнейшем существенное влияние на их развитие, симптоматологию и исход. В пользу этого говорят наблюдения, согласно которым в ряде случаев во время снохождения некоторое время могли сохраняться периоды выраженной дельта-активности в ЭЭГ, характерные для дельта-сна [33].

Предлагаемые гипотезы трактуют эти проявления БПА, характеризующиеся исключительно высоким эмоциональным зарядом (особенно при ночных кошмарах, когда мимика, вокализация, удвоение частоты сердцебиений говорят о необычайно сильном переживании), либо с классических психоаналитических позиций - как выражение Эдипова комплекса, либо как выражение формирования психологической защиты, которая носит такой своеобразный, выявляющийся вовне характер вследствие особенностей личности, возможно генетически обусловленных [38]. Данные о функциональном взаимодействии дельта-сна с БС [5; 40] и интересные попытки связать психическую активность БС с формированием психологической защиты [12; 31] делают второе предположение, на наш взгляд, предпочтительным.

3. Существует еще один довод в пользу заключения о первичном возникновении указанных выше феноменов в дельта-сне. Однако он не столь бесспорен и требует предварительного решения одного важного вопроса. Речь идет об общеизвестном усилении спонтанной КГР-активности в дельта-сне, иногда настолько резком, что говорят о "КГР-буре" [3; 23, см. также обзоры 7; 45]. Этот феномен присущ в той или иной степени большинству здоровых людей. Если считать, что КГР во время сна отражает активность тех же мозговых механизмов, что и во время бодрствования (т. е. эмоционально-мотивационных), то возникает соблазнительная перспектива единого толкования БПА в дельта-сне обычных людей и людей со снохождениями, сноговорениями, ночными кошмарами. Можно было бы считать, что выраженная эмоциональная активность возникает в дельта-сне весьма часто (если не постоянно), но обычно с умеренным отражением в вегетатике (кроме спонтанных КГР отмечается некоторое учащение и нерегулярность сердечного ритма и дыхания - подробнее см. обзор [7]) и без выхода на поведенческие

эффекторы. У некоторых же людей в силу каких-то особенностей их личности (мозга) эта эмоциональная активность либо становится чрезмерной, приводящей к резким вегетативным сдвигам и проявлениям в поведении на фоне частичного arousal, либо вызывает подобные сдвиги из- за недостаточности контролирующих механизмов при эмоциональной активности, характерной для дельта-сна вообще. Иными словами, напрашивается аналогия с проявлениями БС в нормальных условиях и у 92 животных с разрушенными тормозными механизмами, подавляющими выход на эффекторы в этой фазе сна [35].

Для принятия такого решения требуется, однако, рассмотрение вопроса о принципиальной возможности переноса интерпретации проявлений активности определенных мозговых механизмов (систем, подсистем, блоков), обоснованной для состояния бодрствования, на состояние сна. Т. е. речь идет о возможности и обоснованности того, что было названо в начале сообщения "механизменным" анализом психической активности. В такой принципиальной форме вопрос рассматривался в очень небольшом количестве работ. Высказывались мнения как "за", так и "против". Поскольку существующие факты склоняют нас к представлению о правомерности подобного переноса, мы представим ниже эту совокупность фактов, разбирая попутно выдвигавшиеся возражения.

Для обоснования предположения о связи КГР в дельта-сне с активностью эмоционально-мотивационных механизмов мозга необходимо показать наличие этой активности в данном периоде сна. Такие данные, в основном косвенные, что естественно, поскольку речь идет о проявлениях БПА, существуют и сводятся к следующему.

Во-первых, как указывалось выше, в дельта-сне возникают особые психические феномены, проявляющиеся вовне и характеризующиеся значительным эмоциональным напряжением.

Во-вторых, имеются другие показатели психических процессов, относящихся к БПА в этих стадиях сна, о чем говорят приводившиеся выше данные о субъективной оценке времени во сне, о влиянии сна на память, о функциональном взаимодействии дельта-сна и БС. Имеются основания считать КГР в состоянии бодрствования проявлением активности эмоционального подкрепления, возникающего в ситуации разрешения разнообразных альтернатив (включая выбор способов осуществления нового действия) и нередко протекающего на уровне БПА [4]. Можно предполагать, что коль скоро в дельта-сне идут какие-то процессы переработки информации мозгом, связанные, предположительно, с классификацией и отбором, участие активности механизмов эмоционального подкрепления является в этом случае логически не менее обоснованным, чем в состоянии бодрствования. Следовательно, естественным является наличие и проявление этой активности в виде КГР.

В-третьих, имеются данные о наличии связи КГР, возникающих во сне, с эмоциональным состоянием субъекта в предшествовавшем бодрствовании [41; 42], хотя это и оспаривается [34]. О наличии такой связи говорят и данные из области психопатологии. Так, у больных шизофренией динамика КГР во время сна может существенно отличаться от таковой у здоровых людей. При этом возрастает представленность КГР в БС (у здоровых БС характеризуется угнетением КГР), при снижении ее в дельта-сне [50]. Известно, что дефектность эмоционально-мотивационной сферы является одной из определяющих характеристик психики таких больных, что нередко находит отражение в измененной реактивности КГР в бодрствовании [15]. Кстати, угнетение КГР в БС здоровых людей, т. е. в состоянии с несомненной эмоциональной активностью в связи с переживаемыми сновидениями, не может быть принято как возражение против отстаиваемой точки зрения, ибо объясняется активным подавлением эффекторного аппарата, что особенно отчетливо проявляется в двигательной сфере (угнетение мышечного тонуса, спинальных рефлексов).

В-четвертых, позволительно предположить связь КГР в дельта-сне с эмоциональностью последующих сновидений. Так, эмоциональность сновидений в БС того же цикла находится, во всяком случае у лиц с высокой КГР-активностью в дельта-сне, скорее в обратной зависимости от последней [3; 7]. Это согласуется с данными о редукции КГР в дельта-сне при резкой интенсификации БС во время "отдачи" после избирательной его депривации [19].

В-пятых, отмечается уменьшение представленности КГР после первых ночей сна в лаборатории, что может быть расценено как проявление привыкания, аналогичного такому же процессу при повторном предъявлении стимула (угашении ориентировочной реакции) в состоянии бодрствования. Все приведенные выше факты и соображения вряд ли можно согласовать с представлением, согласно которому активация КГР в дельта-сне отражает некую автоматизированную активность вегетативных "центров", которая в этих стадиях сна (в период выраженной дельта-активности на ЭЭГ) выходит из-под контроля высших отделов мозга [34]. К тому же весьма трудно согласовать в рамках такого взгляда существующую внутри- и межиндивидуальную вариабильность представленности КГР в дельта-сне с относительно стабильной представленностью самого дельта-сна.

В-шестых, в состоянии бодрствования отмечается известный параллелизм в динамике разных показателей активации эмоционально-мотивационного аппарата, как вегетативных (КГР, изменения ритма сердца, дыхания), так и ЭЭГ (динамика статистических показателей асимметрии полуволн в одиночных волнах). В определенной мере подобный параллелизм наблюдается и в дельта-сне, когда, кроме усиления КГР-активности, отмечается некоторое увеличение частоты и нерегулярности сердечного ритма, дыхания, в связи с чем ряд исследователей говорит о невозможности по этим показателям различить дельта-сон и БС [20; см. также обзоры 7; 45], для которого отчетливые сдвиги такого рода считаются весьма характерными. Исследование статистических характеристик асимметрии полуволн ЭЭГ в 1 цикле сна выявило, что в первой половине цикла - стадии 1-3 - эти показатели ведут себя как в бодрствовании при исполнении действия в условиях низкой мотивации, а в стадиях 4, 2 восходящей и в БС - как при действии в условиях повышенной мотивации [6; 7]. Трудно представить себе, чтобы за подобным сочетанием физиологических показателей в бодрствовании и сне скрывалась активность разных мозговых механизмов, систем. К тому же в последние годы показана идентичность функционального содержания в бодрствовании и сне такого психофизиологического показателя "неосознаваемого беспокойства", как сложный скротальный рефлекс (сокращение tunica dartos), который наблюдается и в МС, и в БС [21].

В пользу правомерности переноса "механизменной" интерпретации физиологических показателей в бодрствовании на состояние сна говорят и данные исследования БС. Совсем недавно появилось сообщение о результатах исследования сходства сна и бодрствования по дыхательным коррелятам эмоциональной активации [29]. Было установлено, что показ стрессорного фильма перед сном существенно повышал тревожность сновидений и нерегулярность дыхания у лиц, у которых нерегулярность дыхания с соответствующими переживаниями отмечалась в бодрствовании во время показа фильма. Так как имеются данные, что аффект в сновидении относится к периоду БС с нерегулярностью дыхания, авторы прямо высказывают предположение о соответствии бодрствования и сна в отношении связи между аффектом и дыханием. Имеются данные о связи учащения сердечного ритма и его нерегулярности с эмоциональностью сновидений. При очень напряженных эмоциях в БС в периоды интенсивной глазодвигательной активности могут возникать и вспышки КГР [см. обзоры 7; 45].

Важным доводом в пользу возможности переноса "механизменной" интерпретации феноменов бодрствования на аналогичные феномены во сне являются результаты опытов на животных, показавшие нейрофизиологическую идентичность гиппокампального регулярного (тэта-) ритма в состояниях активного бодрствования и при БС [10; 44; 48]. Это говорит в пользу идентичности и функциональной роли этого ритма (как показателя мотивационной активации) [10; 30]. Наблюдаемые же в БС в периодах угнетения гиппокампального ритма вспышки альфа-подобной активности в новой коре [10; 11] весьма сходны с феноменом послеподкрепительной синхронизации [43], что ставит вопрос об отражении в этой активности гедонических аспектов сна.

Все вышеизложенное дает, по нашему мнению, основания считать оправданным перенос функциональной интерпретации физиологических явлений, характеризующих активность определенных мозговых механизмов психики в состоянии бодрствования, на состояние сна. Однако при таком переносе сразу же выступает как вопрос, требующий специального обсуждения, одна из наиболее своеобразных черт психической активности сна (ОПА и БПА), а именно, наличие нередких диссоциаций как между разными проявлениями активности одних и тех же мозговых механизмов (в частности, эмоционально-мотивационных), так и между последними и осознаваемыми психическими переживаниями. Особенно отчетливо это проявляется в БС, когда при эмоциональных переживаниях, сопровождаемых соответствующими сдвигами сердечной деятельности и дыхания, отсутствуют КГР. В БС, а также в МС, отнюдь не всегда изменения сердечного ритма и дыхания развертываются параллельно [см. обзоры 7; 45]. Сюда же относятся данные, указывающие на возникающий порой функциональный "антагонизм" между вегетативными проявлениями и субъективными переживаниями в сновидении во время БС. Описаны резкие сдвиги в вегетатике, сопровождаемые отчетом при пробуждении в этот момент об очень малосодержательном, спокойном сновидении или даже полным отсутствием содержательного отчета, и, наоборот, резко эмоциональные сновидения без соответствующего вегетативного аккомпанимента [13; 51; см. также 7].

Эти данные позволяют полагать, что в БС имеют место весьма сложные отношения между ОПА и БПА, заставляющие с вниманием отнестись к известному положению Фрейда о связях эмоциональных реакций не столько с явным, сколько со скрытым содержанием сновидений. Какую роль в этих связях играет функциональная дифференциация больших полушарий мозга и отношения между ними, подлежит выяснению.

Можно, таким образом, утверждать, что сон является состоянием, в котором БПА проявляет себя повсеместно, хотя использование сна для изучения закономерностей БПА по объективным показателям, по существу, только начинается. БПА представлена во сне, во-первых и наиболее очевидно, эмоционально-мотивационной активностью, которая выполняет при этом несколько функций: это и участие в формировании психологической защиты, и поддержание того, что может быть условно названо "эмоциональным равновесием" (все это задается,

очевидно, переживаниями ситуаций в состоянии бодрствования), и эмоциональное подкрепление при реализации в мозгу разных процессов выбора в связи с осуществлением разнообразных операций.

БПА играет, очевидно, существенную роль и в адаптационном освоении нового опыта, в процессах памяти, обеспечивая анализ того материала, значимость которого не является очевидной, а требует для своей оценки специальной работы мозга. При этом, по мнению ряда исследователей [1; 6; 25; 28; 37], происходит совершенствование существующих программ деятельности мозга и выработка новых, наиболее фундаментальных, определяющих стратегию мозговой активности, сами способы переработки информации, творческую деятельность. Не исключено, что первые опробования этих программ происходят на "холостом ходу", при выключенных эффекторах (в БС?). Иными словами, представления о функциях БПА во сне совпадают с представлениями о функциях сна в целом, которые в широком смысле понимаются как особая переработка информации, полученной в бодрствовании. Нейрофизиологически это определяется особой организацией мозговой (в том числе и нейронной) активности. Выделение процессов формирования психологической защиты из этой переработки носит скорее условный, искусственный характер, ибо они отчетливо входят во все перечисленные аспекты деятельности мозга во сне.

В заключение имеет смысл подчеркнуть четыре обстоятельства, которые могут явиться объектом дальнейшей дискуссии: 1) Язык и логика опереработки информации, составляющей суть БПА во время она, существенно отличны от таковых в ОПА бодрствования - положение отнюдь не новое. 2) Биохимические процессы, характерные для сна, касаются в первую очередь обмена медиаторов, белков, нуклеиновых кислот [2; 36 и др.] т. е. молекул, играющих особую роль в осуществлении именно информационных процессов. 3) Изложенное представление о функциях БПА сна слишком общее, чтобы претендовать на роль объяснения; каждое из сформулированных положений нуждается в дальнейшей теоретической и экспериментальной разработке, причем наиболее продвинутым из них является в настоящее время положение о психологической защите. 4) Вполне вероятно, что сон имеет также и другие функции, не нашедшие отражения в приведенном перечне. Предположения на этот счет достаточно разнообразны: от традиционного, подчеркивающего функцию энергетического восстановления, и кончая экстравагантной гипотезой о т. н. адаптационном нереагировании [47].

75. Активность сновидений и проблема бессознательного. В. С. Ротенберг

Московский медицинский институт

1. Психическая активность в ночном сне, проявляющаяся прежде всего сновидениями, издавна привлекала внимание ученых и философов, но ее систематическое изучение стало возможным только после появления представлений о циклической организации ночного сна и открытия физиологической основы сновидений - фазы быстрого сна [6]. С этого периода начинается интенсивное исследование психофизиологических соотношений в ночном сне. Было показано, что фаза быстрого сна регулярно повторяется на протяжении ночного сна с интервалом в 90-100 минут; длительность эпизодов этой фазы постепенно возрастает от вечерних часов к утренним и при пробуждении из быстрого сна здоровые испытуемые в 75-95% случаев сообщают о сновидениях [9]. Во время так называемого медленного сна отчеты о сновидениях встречаются значительно реже, и имеется указание на то, что подобные отчеты удается зарегистрировать при пробуждении только в тех случаях, когда в медленном сне специальными методами удается выявить включения некоторых физиологических эквивалентов быстрого сна [23; 24].

Медленный сон в зависимости от его глубины подразделяется на несколько стадий и характеризуется преобладанием сигма-ритма ("сонные веретена") или высокоамплитудных медленных дельта-волн на ЭЭГ, относительным урежением пульса и дыхания и отсутствием глазодвигательной активности. Быстрый сон отличается десинхронизацией на ЭЭГ, быстрыми движениями глаз при закрытых веках, падением мышечного тонуса и аритмичностью пульса и дыхания с тенденцией к учащению. Большое количество исследований посвящено соотношениям между фазическими компонентами быстрого сна (быстрые движения глаз, колебания пульса и дыхания) и характером полученных отчетов о сновидениях. Однозначных взаимосвязей между этими показателями установить, однако, не удалось, и наиболее вероятно, что фазические компоненты представляют собой генетически закрепленные физиологические характеристики фазы быстрого сна, на которые могут оказывать вторичное воздействие психологические особенности сновидений [20].

Исследования, проведенные на большом числе здоровых испытуемых, показали, что искусственное лишение быстрого она в течение одной или нескольких ночей приводит к компенсаторному увеличению представленности этой фазы в последующие ночи, причем имеется прямая зависимость между дефицитом быстрого сна в экспериментальную ночь и его увеличением в ночи восстановительные. До настоящего времени не решен окончательно вопрос о том, свидетельствует ли такой "эффект отдачи" о стабильной потребности в быстром сне

как физиологическом состоянии с еще не выясненными функциями или об императивной потребности в сновидениях как в особой форме психической активности. Возможно, что такая альтернативная постановка вопроса неправомерна, но, во всяком случае, получен ряд фактов в пользу психологической значимости сновидений. Так, если при лишении быстрого сна путем пробуждения из этой фазы в самом ее начале удается получить отчеты о сновидениях в момент пробуждения, эффект отдачи оказывается значительно менее выраженным [8]. Подавление быстрого сна у субъектов, характеризующихся некоторыми особенностями эмоционально-психической сферы (например, при маниакальном состоянии) также не сопровождается эффектом отдачи [18].

Эти данные подтвердили априорное предположение З. Фрейда о необходимости сновидений для нормальной психической жизни и дополнили эти представления таким фундаментальным открытием, как регулярное и обязательное наличие сновидений у каждого здорового человека каждую ночь. Однако вопрос о функциональной роли этой психической активности, о ее организации и психологической природе до настоящего времени не решен. Рассмотрению именно этих вопросов посвящено настоящее сообщение.

2. Представления З. Фрейда о функциональной роли сновидений достаточно известны и вкратце сводятся к следующему: комплексы, мотивы и представления, которые в период бодрствования не могут реализоваться в осознанном поведении и оказываются вытесненными из сознания в силу их неприемлемости для "Сверх-Я" (иными словами, - для социальных установок), стремятся проникнуть в сознание и оказать влияние на поведение. Лишенные такой возможности вследствие сопротивления "цензуры Сверх-Я", эти мотивы приводят субъекта в состояние эмоционального напряжения. В периоде ночного сна контроль со стороны "Сверх-Я" ослабевает, хотя и не настолько, чтобы неприемлемые мотивы могли осознаваться в их истинном виде. Для того, чтобы иметь возможность проникнуть в сознание, мотивы и представления маскируются в непонятные для сознания образы сновидений, обходят таким путем ослабленную во сне бдительность цензуры и проникают в сознание, что ведет к снятию эмоционального напряжения. Исходя из представлений, что у всех людей вытесняются одни и те же (прежде всего либидинозные) мотивы и комплексы, Фрейд предположил универсальность и генетическую запрограммированность символов сновидений и дал их столь же универсальную расшифровку.

3. Прежде, чем указать на противоречия между этой концепцией и данными современных психофизиологических исследований, попытаемся привести некоторые чисто теоретические возражения против ее основной идеи. Эта идея сводится к представлению о сновидениях как о психическом отреагировании нереализованных в поведении мотивов, т. е. к катарзису. Следует указать, что эта идея может действительно оказаться плодотворной в некоторых случаях, как, например, при обсуждении роли детских сновидений или психических переживаний во время быстрого сна у животных. Многочисленными исследованиями показано, что у детей до определенного возраста (как правило, до полного формирования социальных установок поведения) сновидения носят достаточно реалистический характер и в них происходит прямое удовлетворение желаний, которые не могут быть удовлетворены в бодрствовании. О психических переживаниях спящих животных можно судить косвенно. Жуве [21] производил коагуляцию nucl. coeruleus, ответственного за нормальное падение мышечного тонуса и обездвиженность в периоде быстрого сна. После такой операции животные во время фазы быстрого сна вели себя так, как будто участвовали в собственных галлюцинациях или сновидениях: с закрытыми глазами они совершали нападения на несуществующие объекты или убегали и оборонялись от несуществующей опасности. При искусственном лишении быстрого сна у животных закономерно отмечено усиление активности первичных мотивов (пищевых, сексуальных) в поведении и увеличение агрессивности, что может свидетельствовать о роли быстрого сна и сопутствующих ему переживаний в разрядке этих мотивов. При отсутствии такой разрядки мотивы, по-видимому, кумулируются и приводят к неадаптивному поведению.

Таким образом, гипотеза Фрейда о катартической функции сновидений может объяснить особенности психической активности в быстром сне у маленьких детей и животных, для которых правила поведения, диктуемые социальной средой, не являются внутренней потребностью, а остаются только внешними препятствиями на пути к осуществлению биологических (или, во всяком случае, эгоистических) потребностей.

4. Принципиальным, однако, отличием нормального взрослого здорового субъекта является интериоризация социальных мотивов, когда правила социальной жизни перестают восприниматься как навязанная средой внешняя необходимость, с которой следует считаться во избежание наказания, но становятся внутренней потребностью, не уступающей по императивности любым другим, в том числе биологическим. Хорошо известно, что нередко социальные мотивы даже превосходят биологические по влиянию на поведение, поскольку именно с социальными мотивами связаны самоощущения субъекта как личности, его самоуважение, чувство его соответствия своим представлениям о самом себе. Именно интериоризация социальных норм, вслед за появлением вербального мышления, обусловила возможность человеческого общества.

В концепции Фрейда этот аспект специфически человеческой психологии формально находит отражение в представлении о "Сверх-Я". Однако это отражение носит именно формальный характер. Рассматривая объективно сложные и часто конфликтные отношения между социальными и биологическими потребностями человека, Фрейд в большинстве случаев подходит к социальным мотивам лишь как к внешнему препятствию, которое человек как существо биологическое постоянно стремится обойти. При конкретном анализе, будь то фрейдовская теория сновидений или общая теория невроза, социальное всегда выглядит как навязанное извне, как фактор только мешающий реализации глубинных биологических мотивов. Именно поэтому задача сновидений, по Фрейду, в том, чтобы позволить проявиться глубинным мотивам вопреки всем запретам. Хотя Фрейд признает, что для осознания сновидений необходима символизация, сама символизация выглядит лишь как уступка внешним препятствиям в виде социальных установок, основная же задача остается такой же, как у детей и животных - катартическое отреагирование запрещенных мотивов. Таким образом, интериоризация социальных норм, свойственная человеку, не влияет в концепции Фрейда на такой существенный компонент психической жизни, как сновидения.

5. Между тем у взрослого человека существуют катартические состояния, как спонтанно возникающие, так и искусственно вызванные, но они по многим своим проявлениям принципиально отличаются от сновидений. Как правило, катарзис происходит в гипнотическом или аутогипнотическом состоянии (например, в состоянии истерической спячки - В. С. Ротенберг, Г. М. Дюкова, М. Л. Выдрин - в печати), когда контроль со стороны рационального вербального мышления значительно уменьшен. Мотивы и представления, подлежащие отреагированию, именно благодаря этому проявляются в процессе катарзиса в своем истинном, нетрансформированном виде, как бы в отщеплении от сознания, определяемого социальными установками. Сопротивление со стороны сознания для такого отреагирования отсутствует именно потому, что сознание при этом резко изменяется и вербальное мышление перестает играть руководящую роль. Переживания в гипнотическом катарзисе нельзя назвать осознаваемыми, как нельзя назвать осознаваемым поведение субъекта в гипнотическом трансе. После катарзиса наступает амнезия на все переживания в период катарзиса. причем чем ярче и эмоциональнее переживания, тем глубже последующая амнезия (*Вопрос о катарзисе в состоянии бодрствования остается спорным. Во-первых, он часто не удается, и когда предпринимаются попытки к нему, это нередко ведет к обострению невротической симптоматики [51. Во-вторых, если удается отреагирование мотива в условиях неизмененного сознания, это может, с нашей точки зрения, служить указанием на недостаточность социальных мотивов, т. е. первичную или вторичную психопатизацию личности*).

В сновидении же "отреагирование" (если принять этот термин) происходит в непрямой, замаскированной форме. Трансформация мотива в сновидении достигает такой степени, что он оказывается неузнаваемым ни для самого субъекта, ни для исследователя. Чем выше степень маскировки и чем подробнее последующее воспроизведение (при пробуждении из быстрого сна), тем успешнее выполняется функциональная задача сновидения. Это последнее было показано [11; 19] на сензитивных адаптированных личностях и нами на больных неврозами. Было установлено, что у здоровых лиц, повышенно чувствительных к психогениям, сновидений больше и они более интенсивные, чем у тех, кто мало чувствителен к факторам, провоцирующим мотивационный конфликт. Эти группы различаются также по общей длительности быстрого сна на протяжении ночи и по интенсивности фазических компонентов этого сна. При этом сензитивные благодаря сновидениям сохраняют адаптированность, т. е. интенсификация сновиденческой активности носит у них компенсаторный характер. При психологических нагрузках у здоровых субъектов также происходит компенсаторная интенсификация сновидений [22]. В то же время у больных неврозами отчеты о сновидениях при пробуждениях из быстрого сна регистрируются значительно реже (приблизительно в 55% пробуждений [3]), они менее подробные и менее активные, и это несмотря на высокую общую сензитивность этих больных. Можно поэтому предполагать, что сюжетное обеднение сновидений находится в связи с дезадаптацией и формированием невротического синдрома и играет важную роль в патогенезе невроза. При таком понимании подробность и активность сновидений является косвенным показателем их функциональной полноценности.

6. Если признать, что основная функция сновидений - катартическая, необходимо как-то объяснить отличие сновидений от собственно катарзиса. Можно допустить, что сновидения - это катартическое отреагирование в условиях, когда подлежащий отреагированию мотив перестает быть враждебным сознанию и становится приемлемым для последнего вследствие символообразования. Но в таком случае отпала бы очевидно сама необходимость в отреагировании, ибо мотив, который перестал быть враждебным сознанию, т. е. интегрирован с основными социальными установками поведения, уже не требует отреагирования в сновидении, а скорее требует реализации в бодрствующем поведении.

Фрейд, однако, предусмотрел как будто это возражение, поскольку поставил вопрос несколько иначе. Он рассматривал сновидения как отреагирование в условиях частичного ослабления контроля со стороны сознания, подчеркивая тем самым, что отреагированный в сновидении мотив приемлем не для сознания вообще, а только для сознания сновидно измененного, когда цензура менее активна, чем в бодрствовании. При такой постановке вопроса сновидения, в отличие от полного гипнотического катарзиса, рассматриваются как своеобразный

частичный катарзис в условиях некоторого ослабления цензуры. Против такой постановки вопроса можно, однако, возразить исходя не только из общетеоретических посылок, но и на основании экспериментального материала.

Если бы упомянутое выше толкование Фрейда было правильным, то при пробуждении удаление сновидений из сознания должно было бы происходить по тем же законам вытеснения, по которым удаляются неприемлемые мотивы и установки в условиях бодрствования (ибо сновидения отражали бы эти установки в таком виде, который приемлем только для сновидно измененного сознания). Фрейд так и предполагал, и долгое время вытеснение считалось основным механизмом спонтанной амнезии сновидений. Однако на протяжении последних лет это предположение было подвергнуто экспериментальной проверке и пересмотру. Исследованиями [13] показано, что механизм вытеснения если и играет определенную роль в забывании сновидений, то отнюдь не ведущую, и проявляется скорее в невозможности воспроизведения содержания сразу после пробуждения, чем в амнезии уже воспроизведенного сновидения. Основная масса сновидений забывается не по механизму вытеснения, а по обычным механизмам амнезии, связанным с интерференцией информации, степенью субъективной значимости материала и т. д. Сновидения, как правило, забываются потому, что это - бесполезная для сознания информация. В тех случаях, когда она представляется значимой и предпринимаются усилия по ее сохранению, забывание замедляется. При вытеснении же "амнезия" не зависит от желания субъекта удержать информацию в оперативной памяти.

Другим экспериментальным опровержением гипотезы психического отреагирования в сновидениях являются результаты искусственной депривации быстрого сна у различных групп субъектов. Если бы быстрый сон и сновидения были необходимы для разрядки биологических, однотипных для всех мотивов, то после депривации должны были бы выявляться однонаправленные изменения в виде усиления активности неотреагированных первичных мотивов, а также в виде нарастания тревоги или депрессии. У животных, для быстрого сна которых можно признать характерной катартическую функцию, при депривации действительно возникают активация первичных мотивов и расторможенность поведения. Однако на людях столь же однозначных результатов получить не удалось.

В ряде исследований [10] лишение быстрого сна приводило к резкому нарушению адаптивного социального поведения и психическим расстройствам в виде немотивированного страха, возбуждения, галлюцинаций. Эти данные истолковывались как подтверждение гипотезы Фрейда, однако они не были подтверждены другими авторами, а некоторые исследователи вообще не отмечали никаких закономерных эффектов депривации. На этом основании было даже высказано предположение об отсутствии психологической значимости сновидений. Так априорное представление об универсальной биологической значимости сновидений, не будучи подтвержденным экспериментально, привело к появлению другого крайнего и столь же ошибочного представления. Картрайт с соавт. [8] первыми показали, что субъекты с различными психологическими особенностями неодинаково реагируют на лишение быстрого сна. Наиболее тревожные субъекты обнаруживают выраженную тенденцию к немедленной компенсации быстрого сна, причем эта тенденция начинает проявляться в течение ночи все интенсивнее, так что субъекта приходится будить все чаще. Менее тревожные субъекты благополучно переносят лишение сна и выявляют тенденцию к его компенсации не в экспериментальную, а в восстановительную ночь.

7. Наиболее убедительные и теоретически обоснованные экспериментальные данные о зависимости эффекта депривации быстрого сна от индивидуальных психологических особенностей субъекта и от предъявляемых при этом психологических нагрузок получены Гринбергом с соавт. [14; 17]. На собственном материале и на основании анализа данных литературы эти авторы показали, что лишение быстрого сна не приводит к одинаковому для всех испытуемых напряжению первичных потребностей и тревоге-депрессии, но ведет закономерно к индивидуально своеобразным психологическим изменениям у испытуемых, которые могут быть выявлены при использовании прожективных тестов до и после депривации. После депривации в материалах прожективных тестов появляются признаки специфических для каждого субъекта мотивов и интрапсихических конфликтов, которые не удавалось выявить теми же методами до лишения быстрого сна. Авторы делают обоснованный вывод, что лишение быстрого сна меняет исходный тип психологической защиты, причем так же, как индивидуален этот исходный тип защиты, индивидуальны и его изменения после лишения быстрого сна.

Так, тест Хольцмана выявил у одного из субъектов в исходном состоянии высокую контрфобическую защиту против страха гетеросексуальности и пассивности. После лишения быстрого сна этот субъект обнаружил фобию с повышением сексуальных ответов. У другого субъекта после депривации быстрого сна были выявлены признаки острой депрессии, тогда как в исходном состоянии были обнаружены маниакальные реакции с высокой активностью, что можно было расценивать, по мнению авторов, как своеобразную защиту от депрессии. В связи с этим последним примером заслуживают внимания данные [25] о прямо противоположном эффекте лишения быстрого сна у больных в депрессивной фазе маниакально-депрессивного психоза: после депривации у них исчезает депрессивная симптоматика и даже появляются признаки гипомании. Гринберг и Пирлмэн [16], так же как и мы [1], склонны рассматривать подобные сдвиги как изменение типа психологической защиты. Совершенно

очевидно, что, если в зависимости от исходных особенностей личности лишение быстрого сна может вызывать либо депрессию либо гипоманию, попытка выявить универсальный эффект депривации приводит только к разочарованию и ошибочным выводам.

8. Если лишение быстрого сна приводит к изменению типа психологической защиты, значит быстрый сон и сновидения играют важную роль в ее организации. Под психологической защитой мы, в согласии с общепринятым, подразумеваем неосознаваемые психические механизмы, предохраняющие личность от стыда, потери самоуважения и в конечном счете от распада поведения в условиях интерпсихического мотивационного конфликта. Мы разделяем точку зрения Ф. В. Бассина, что в основе феномена психологической защиты лежит определенный тип преобразования психологических установок.

Типов психологической защиты описано много, в настоящей статье мы ограничимся однако напоминанием только нескольких основных их форм.

а) Защита по типу "перцептуального отрицания" сводится к невосприятию информации, которая может привести к интерпсихическому конфликту за счет активации мотивов, противоречащих основным установкам поведения (или информации, которая угрожает престижу и самооценке личности). Этот тип защиты преобладает у субъектов с гипоманиакальными тенденциями поведения, у которых, как было показано [19], быстрый сон представлен мало и сновидения бедны.

б) Рационализация представляет собой такую трансформацию неприемлемой для основных установок информации, при которой последняя утрачивает этот свой неприемлемый характер. Этот тип защиты сводится к подмене в сознании субъекта подлинных мотивов поведения псевдомотивами, приемлемыми для сознания.

в) Вытеснение. Этот термин используется широко и, с нашей точки зрения, не всегда адекватно. Представляется, что вытеснением следует считать активное выключение из сознания неприемлемого мотива, который не претерпел никакой трансформации с помощью других механизмов психологической защиты и не нашел возможности удовлетворения ни в осознанном (вербальном) ни в невербальном поведении. При таком понимании нельзя говорить о вытеснении при истерической конверсии, ибо при этом мотив хотя и не осознается, но находит реализацию в невербальном поведении. Неосознаваемый вытесненный мотив, не находя разрешения в поведении, сохраняет, однако, свой аффективный заряд и вегетативное обеспечение. Поскольку содержательная сторона мотива не осознается, вызванное им эмоционально-вегетативное напряжение субъективно воспринимается как состояние неопределенной тревоги. Такая тревога плохо переносится субъектом, ибо в соответствии с принципом активности (физиологическое обоснование которого было дано в нашей литературе Н. А. Бернштейном, а психологическое Д. Н. Узнадзе и в дальнейшем А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия и др.) (*В частности, данные как физиологической школы Н. А. Бернштейна, так и психологической школы Д. Н. Узнадзе были в этом отношении обобщены в работах Ф. В. Бассина (Проблема бессознательного. М., 1968), А. С. Прангишвили (Исследования по психологии установки. Тб., 1967), А. Е. Шерозия (К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, т. 1, Тб., 1969; К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. 2, Тб., 1973)*) для ее снятия субъект должен быть поставлен перед необходимостью решения определенной задачи. В ином случае с помощью уже патологических невротических защитных механизмов тревога фиксируется, искусственно "привязываясь" к определенной ситуации (фобии) или к собственному здоровью (ипохондрии). Существенно, что вытеснение мотива определяет удаление из сознания также той информации, которая могла бы активировать и довести до сознания вытесненный мотив (феномен, лежащий в основе эмоционально обусловленных амнезий при вытеснении). Существующее в литературе представление о том, что вытеснение защищает личность от тревоги, мы считаем результатом ошибочного отождествления механизмов первичного отрицания и вытеснения.

9. Мы так подробно останавливаемся на всех этих вопросах потому, что у лиц с определенными психологическими особенностями ("высокая сила Я") выявлена [17] преобладающая реакция по типу вытеснения эмоционально-значимого, угрожающего престижу личности материала при лишении быстрого сна. Авторы получили эффект, противоположный т. н. "эффекту Зейгарник": субъекты, направленные до депривации быстрого сна на решение определенных задач, после депривации забывали именно те задачи, которые им не удалось решить. Те же субъекты, которых не лишали быстрого сна, запоминали нерешенные задачи значительно лучше. Был сделан вывод, что у определенного типа лиц первой защитной реакцией на угрожающий личности материал является его вытеснение, а после быстрого сна отпадает необходимость в такого типа защите. Можно полагать, что высокосензитивные субъекты в периоде бодрствования используют механизм вытеснения, вследствие чего к вечеру у них нарастает невротическая тревожность, исчезающая после сна с достаточной представленностью быстрого сна. При функциональной же недостаточности быстрого сна развивается невроз [4]. Возможно, что у других субъектов быстрый сон находится в конкурентных отношениях с другими типами психологической

защиты. Так, при депрессивной фазе маниакально-депрессивного психоза лишение быстрого сна, по-видимому, активирует защиту по типу перцептуального отрицания. Какие же процессы происходят во время быстрого сна и сновидений и обеспечивают оптимальную психологическую адаптацию? Была предложена [15] следующая гипотеза. Дневные впечатления, новая информация, воспринятая в течение дня, могут активировать вытесненные конфликты, воспоминания и ощущения. Во время сновидений эта новая информация взаимодействует с ранее вытесненным материалом, в отношении которого имеется опыт психологической защиты. В результате наступает восстановление характерных типов защит, используемых ранее против неприемлемой информации. Когда индивид сталкивается с ситуацией стресса, активируются воспоминания о предшествующих трудностях в сходной ситуации. Первичной защитной реакцией при этом является глобальное перцептуальное отрицание или вытеснение (что недостаточно адаптивно, ибо при этом из оперативной памяти удаляется часть значимой информации). Во время сновидений происходит интеграция актуального и прошлого опыта, и характерные для индивида формы защиты, которые использовались в прошлом, начинают действовать против актуальной информации. Если аналогичный стресс переживается вновь, после сновидений, индивид встречает его уже подготовленным, и стресс не вызывает такую же степень тревоги, как вначале. Таким образом, эта гипотеза (Гринберга и др.) не связывает непосредственно с быстрым сном функцию психологической защиты, а приписывает ему лишь интеграцию актуального и прошлого опыта для использования апробированных ранее механизмов защиты.

Для доказательства своей гипотезы авторы приводят данные о влиянии депривации быстрого сна на адаптацию к стрессирующему фильму. Подобный фильм демонстрировали двум группам испытуемых и измеряли уровень тревожного напряжения до и после демонстрации. Затем в одной группе проводилась депривация быстрого сна, а членов второй (контрольной) группы соответствующее количество раз будили, выводя из медленного сна (чтобы исключить влияние самих пробуждений). На следующий день обеим группам вновь демонстрировали тот же самый фильм и опять измеряли уровень тревожного напряжения до и после демонстрации. У субъектов, лишенных быстрого сна, уровень тревожного напряжения после повторной демонстрации фильма действительно был выше, чем у субъектов контрольной группы, хотя и несколько ниже, чем после первой демонстрации.

В этих экспериментах основным, однако, с нашей точки зрения, является то, что степени увеличения (приросты) тревоги после повторной демонстрации в обеих группах достоверно не различались. Между тем именно этого следовало бы ожидать, если гипотеза справедлива и быстрый сон обеспечивает интеграцию новой информации с прежним опытом. В таком случае после повторной демонстрации фильма прирост тревоги должен был бы быть больше в группе с депривацией быстрого сна, ибо у контрольной группы быстрый сон должен был обеспечить специфическую адаптацию именно к этому конкретному фильму. Однако приросты тревоги в обеих группах, как уже было сказано, оказались почти одинаковыми и меньшими, чем в первый день. Следовательно, некоторая адаптация к конкретному содержанию в обеих группах действительно имела место, но не за счет быстрого сна. Группа, подвергнутая депривации быстрого сна, была более тревожна до повторной демонстрации фильма, и на этом фоне демонстрация привела к еще большему увеличению тревожности, т. е. эта группа была, по-видимому, дезадаптирована к любому стрессовому воздействию, а не к специфической информации.

10. Таким образом, эти неоспоримо интересные эксперименты, доказывая связь между психологической адаптацией и функцией быстрого сна, не подтверждают, однако, гипотезы о конкретной роли быстрого сна в этой адаптации в смысле интеграции новой информации со старым опытом и нивелирования новизны информации.

С нашей точки зрения, быстрый сон и сновидения представляют собой самостоятельный механизм психологической защиты, а не фактор, способствующий использованию других механизмов. Лишение быстрого сна, выключая один из важных механизмов защиты, нарушает весь баланс психической стабильности и приводит к избыточной компенсаторной активации других механизмов, форма которой зависит от психологических особенностей индивида. Психологическая защита в сновидениях может быть названа "иррациональной", поскольку основное, по-видимому, в ней заключается в том, что она приводит к своеобразному "примирению" конфликтных установок и мотивов на базе образного, иррационального мышления. О том, что в сновидениях происходит характерное "разрешение" конфликтов, говорил еще давно Френч (1954 г.).

Объектом переработки в быстром сне является, таким образом, не сама новая информация, а скорее активированные ею неприемлемые мотивы и установки. Адаптация происходит не к формально-содержательной стороне информации, а к вызванному ею мотивационному конфликту. Устраняется же этот конфликт не на основе его логического разрешения и не путем трансформации или псевдообъяснения субъектом своего поведения, а с помощью языка образов. Образное мышление, непостижимым для логического мышления путем, обеспечивает как бы временную совместимость несовместимых установок, устраняет антагонизм между ними.

После такой переработки отпадает необходимость в вытеснении, исчезает тревога. Возможно именно поэтому при невротической тревоге так велика потребность в быстром сне, что проявляется сокращением латентного

периода первого эпизода этой фазы [15; 3]. При высоком напряжении защитных механизмов перед сном потребность в быстром сне увеличивается и если имеет место адекватное увеличение представленности быстрого сна и интенсификация сновиденческой активности, то на следующее утро напряжение защитных механизмов ослабевает.

Образное мышление является "дологическим" и хорошо развито у детей. С возрастом его роль несколько уменьшается, и оно уступает место более социальному типу мышления - логическому. Но, по-видимому, в ситуациях, когда задача не может быть решена с помощью дискретно-аналитического логического мышления, возникает необходимость использовать онтогенетически более ранний, образно-синтетический тип мыслительной деятельности, который имеет свой специфический "язык". Такое возвращение к образному мышлению происходит в фазе быстрого сна, когда активно решаются задачи "примирения" непримиримых мотивов, а также, возможно, при творческом решении и других разнообразных задач. Можно предполагать, что активация этого же типа мышления, связанного преимущественно с правым полушарием мозга, происходит также в условиях гипноза, в истерической спячке и под действием электросна.

11. Однако если в быстром сне действительно имеет место взаимное "примирение" конфликтных установок на базе образного мышления, то возникает парадоксальный на первый взгляд вопрос: почему мы видим сновидения, т. е. почему результаты этой работы фиксируются в сознании и могут быть воспроизведены? Мы отвергли гипотезу катартической функции сновидений, согласно которой такое осознание является конечной задачей всей работы сновидений. Для предложенной же нами гипотезы осознание как будто совсем не обязательно, поскольку работа образного мышления в сновидениях не подчинена контролю сознания (это известно каждому на основании интроспекции), а результат работы образного мышления не несет сознанию никакой полезной информации (поскольку смысловое значение сновидений все равно недоступно пониманию индивида и поскольку сновидения быстро забываются по обычным законам интерференции). В то же время на основании исследований субъектов с расщепленным мозгом [7] известно, что невербальное образное мышление может функционировать без участия мышления вербального, т. е. без вербального осознания самого факта активности невербального мышления. Следовательно, предполагаемая нами работа образного мышления в быстром сне в принципе могла бы протекать без вербализации сновиденческой активности, без ее осознания в обычном смысле слова. К этому можно было бы добавить, что другие типы психологической защиты успешно осуществляются без участия сознания и нет причин, чтобы "иррациональный" тип защиты составлял исключение. 108

Мы видим только одно возможное объяснение вербализации сновидений: сновидения осознаются не потому, что должны осознаваться и в этом осознании есть какой-то психологический смысл, а потому, что в условиях быстрого сна у нас нет оснований не осознавать их. Во время быстрого сна происходит активация структур, переводящих мозг на условия работы, сходные с условиями бодрствования. Правда, отличием от бодрствования является активная блокада восприятия новой информации, но, судя по некоторым данным [20], это имеет место не всегда, а лишь когда происходит концентрация внимания на образах сновидений. Такая концентрация создает предпосылки для осознания образного мышления так же, как в состоянии бодрствования существуют естественные условия для осознания образных представлений. В то же время если образное мышление успешно выполняет свою функцию "примирения", то по мере выполнения этой функции отпадает необходимость в вытеснении (т. е. в недоведении до сознания каких-то аспектов психического, с которыми манипулирует образное мышление). При таком понимании осознание сновидений выступает лишь как пассивное следствие устранения в процессе образного мышления причин для неосознания его продуктов в фазе быстрого сна.

12. У животных в быстром сне почти постоянно регистрируется гиппокампальный тэта-ритм [2]. Анализ данных литературы показывает, что этот ритм в бодрствовании отражает активный мотивированный поиск при отсутствии определенного прогнозирования результатов такого поиска. Совместно с В. В. Аршавским мы сформулировали представления о позитивной роли активного поиска в предотвращении и купировании целого ряда патологических состояний и об отказе от поиска как важной неспецифической предпосылке развития разнообразной экспериментальной и клинической патологии (в печати). Поиск на интрапсихическом уровне в быстром сне, согласно этим представлениям, отчасти компенсирует отказ от поиска в бодрствовании. Вытеснение - т. е. удаление из сознания неадаптированного к установкам мотива - можно рассматривать как отказ от поиска.

Можно полагать, что у человека в фазе быстрого сна идет постоянный поиск путей "примирения" конфликтных установок, причем по ходу поиска происходит частичное достижение искомого, но до завершения сновидения нет стопроцентного прогнозирования окончательного результата этой работы, т. е. полного "примирения". Пока поиск идет успешно, его результаты осознаются. Но если на каком-то этапе поиск оказывается безуспешным и образному мышлению не удается справиться со своей задачей, результат этого безуспешного поиска вследствие активности вытеснения не может дойти до сознания, и должно произойти изменение направления поиска.

Именно так мы представляем причину смены сюжетов в сновидениях, вплоть до их полной бессвязности. Разумеется, непоследовательность может быть и просто одним из свойств образного мышления. Однако есть основания считать, что это не обязательное его свойство. Известны длинные цепи сновидений, сохраняющие единство сюжета и одновременно все характерные свойства продуктов образного мышления. Не исключено, что общее единство сюжета является даже одним из признаков успешно протекающей работы сновидения, поскольку внешние раздражители не вызывают перестройки этого сюжета, а скорее трансформируются в соответствующие сюжету образы. Поэтому частый обрыв сюжетной нити в сновидениях может означать, что поиск периодически заходит в тупик и приходится менять его направление.

Предложенная гипотеза имеет преимущество для объяснения, что именно происходит при становлении невроза. У высокосензитивных личностей нагрузка на систему сновидений может оказаться больше, чем функциональные возможности системы, поиск оказывается чаще безуспешным, происходит обеднение сновидений, уменьшение отчетов о них, и нарастает тревога.

Из сказанного следует, что, чем успешнее работа образного мышления, тем подробнее отчет о сновидении и в то же время тем труднее должна быть расшифровка "символов" сновидений. Показано [12], что, если систематически ограничивать время быстрого сна, пробуждая из него (что ведет к увеличению функциональной нагрузки на единицу времени быстрого сна), вытесненные мотивы начинают проявляться в сновидениях в менее замаскированной форме, т. е. образное мышление перестает справляться со своими задачами. Отсюда напрашивается вывод, что успешный анализ сновидений облегчен тогда, когда не успешна работа сновидений. Быть может именно этим несколько неожиданным заключением объясняется успех анализа некоторых сновидений, произведенного в свое время Фрейдом у больных неврозами.

76. Психофизиологические корреляты бессознательных процессов во время сна. А. М. Вейн, Н. Н. Яхно, В. Л. Голубев

Московский медицинский институт

Вряд ли существует другое физиологическое состояние, в котором бессознательные психические процессы играли бы столь большую роль, как сон.

Широко признается определение сна как естественного состояния временного отсутствия сознания. В отличие от бодрствования, в котором сознательные и бессознательные формы психической деятельности функционируют одновременно, сон является фазой доминирования бессознательных процессов. Это обстоятельство имеет свои преимущества и свои трудности для экспериментального исследования проблемы бессознательного. Преимуществом (при разработке адекватных методических подходов) является отсутствие в состоянии сна сознательных психических процессов (осознаваемых во время их протекания), которые могут влиять на осуществление бессознательных психических актов или на их эффекты. Функциональное состояние мозга, требуемое для реализации сознательных процессов и обусловливаемое, в первую очередь, достаточно высоким уровнем мозговой активации, создает одновременно возможность осуществления афферентных и эффекторных актов, обеспечивающих целенаправленное взаимодействие с внешней средой и, как следствие, постоянное воздействие последней на психическую деятельность. Сон же в этом отношении существенно отличается от бодрствования. Возможность активного целенаправленного взаимодействия с внешней средой во время сна значительно, если не полностью, редуцируется. Афферентные стимулы в этом состоянии, по-видимому, лишь регистрируются и оцениваются, не включаясь в протекание психических процессов.

Мы отвлекаемся, говоря это, от включения в содержание сновидения во время фазы "быстрого" сна, в измененном символическом виде, внешних раздражителей, которые, как показано Вольтер том, не оказывают существенного воздействия на его сюжет.

Главной трудностью для использования состояния сна в целях экспериментального исследования бессознательных процессов является то, что о наличии и характере последних можно судить лишь по осознании субъектом того, что они имели место, т. к. во время сна эфферентные соматические акты, как правило, заблокированы (исключением является сноговорение и некоторые другие сходные феномены). Необходимость же осознавания всегда оставляет сомнения в "чистоте" воспроизводимого продукта бессознательной деятельности. Поэтому одним из актуальных аспектов исследования данной проблемы является поиск объективных коррелятов бессознательных процессов во время сна в периоде их непосредственного развертывания.

Другой важной и интересной стороной использования сна для подхода к проблеме бессознательного является возможность определенных пределах изучать нейрофизиологическую "канву" бессознательных психических "узоров". В отличие от бодрствования, во время которого сознательные и бессознательные процессы протекают на фоне относительно высокого тонуса неспецифической активирующей системы, в периоде сна последняя оказывается заторможенной или проявляется лишь кратковременными эпизодами. Кроме того, хорошо известно, что в о время сна нейрофизиологическая организация различных мозговых систем качественным образом отличается от таковой в бодрствовании.

В этой связи возникает вопрос об идентичности механизма обеспечения и функционирования бессознательных процессов, в смысле их содержания и функции, в периодах бодрствования и сна.

Общим в данном случае является то, что на обоих этапах бессознательные процессы служат интересам психической и физиологической адаптации в широком понимании этого термина. Что же касается специфики бессознательной деятельности во время она, то необходимо подчеркнуть существование ряда характерных особенностей бессознательных процессов в различных стадиях как "медленного", так и "быстрого" сна.

Важным представляется вопрос определения психической деятельности во время сна. Можно ли ее называть бессознательной деятельностью или правильнее употреблять термин, используемый Ф. В. Бассиным, - сновидное изменение сознания. Последнее определение предполагает наличие в это время процессов, свойственных сознательной деятельности. Во время сна, между тем, отсутствуют такие принципиальные критерии сознания, как ориентировка в окружающей среде и способность взаимодействовать с последней, выделение собственного "я" из реально существующей среды, воздействие сознания на происходящие психические процессы. Поэтому нам кажется правомочным употребление применительно ко сну и сновидениям термина бессознательная психическая деятельность.

Обсуждая вопрос о психофизиологических соотношениях во время сна, следует, хотя бы в самой краткой форме, описать известные феномены, свидетельствующие о существовании в этом состоянии бессознательных психических процессов и неосознаваемых форм высшей нервной деятельности. Разграничение бессознательных процессов на эти виды не всегда возможно и в данном контексте вряд ли имеет принципиальное значение. Если мнестические процессы, имеющие ряд отличий во время сна по сравнению с бодрствованием, можно с большей долей вероятности отнести к категории неосознаваемых форм высшей нервной деятельности, то известные феномены реагирования на внешние стимулы с учетом их значимости, с использованием мотивационно-эмоциональных факторов, установок, прошлого опыта, решение творческих задач в вербализованной форме, да и сами сновидения представляют собой примеры бессознательной психической деятельности.

Применение этих терминов ("бессознательная психическая деятельность" и "неосознаваемая высшая нервная деятельность") отражает не существенные различия между ними, а скорее исходную точку зрения исследователей. Термин бессознательная психическая деятельность является чисто психологическим, в то время как неосознаваемая высшая нервная деятельность отражает стремление к анализу физиологических процессов, протекающих в этом состоянии. Современное состояние науки о мозге позволяет сделать попытки уже синтетического подхода, т. е. начать психофизиологическое изучение бессознательных форм психической деятельности. Исследование сна - важный путь в этом направлении.

При сопоставлении отчетов о характере психической активности при пробуждении из различных стадий сна выявляются некоторые интересные детали. Так, характерными для поверхностных дремотных стадий являются так называемые гипнагогические грезы. Их отличает довольно выраженный зрительный образный компонент. При пробуждении из отдельных стадий "медленного" сна доминируют отчеты о "мыслеподобном" содержании психической активности, хотя нередко присутствует также визуальная образность. Хорошо известны особенности психической активности в фазе "быстрого" сна. Отчеты при пробуждении из этой фазы сна отличаются живостью, эмоциональностью, часто активным включением в сюжет сновидения личности спящего, что значительно реже бывает в сновидениях во время "медленного" она.

Одним из наиболее ярких феноменов, указывающих на наличие психической деятельности во время сна, является феномен сноговорения. В работах Аркина с сотр. и других авторов показано довольно частое соответствие содержания сноговорения характеру отчета после пробуждения.

Менее определенными в этом смысле являются кошмары, ночные страхи, снохождения, возникающие, как правило, на фоне дельта-сна. Меньшая информативность этих феноменов в плане обсуждаемых явлений определяется тем, что их непосредственная реализация происходит уже вне собственно сна, что позволило даже

Браутону определить их не как расстройства сна, а как нарушения пробуждения. В основе генеза снохождений лежат, по-видимому, феномены диссоциации между степенью активации афферентных и двигательных систем.

Рассматривая вопросы бессознательной деятельности во время сна, необходимо обратить внимание на конкретные проявления и эффекты этой деятельности во сне в целом и в его отдельных стадиях. Исследования значения сна для активности памяти подтвердили позитивное влияние сна и выявили участие в этом эффекте обеих его фаз. Л. П. Латашом и Г. А. Мановым был выявлен феномен улучшения воспроизведения после сна по сравнению с аналогичным периодом бодрствования, в основном за счет менее осмысленных элементов заученного материала. Этот факт нам кажется весьма показательным для понимания особенностей психической деятельности во сне, во время которого, вероятно, меньшее значение имеют смысловые связи, характерные для бодрствования, что способствует более полной, эффективной переработке информации в течение сна.

Другим примером бессознательной деятельности во сне является оценка времени. В исследованиях, проведенных под руководством Л. П. Латаша, а также в нашей лаборатории на здоровых людях и больных с инсомнией и нарколепсией, выявлен положительный эффект организованной цикличности она на точность оценки объективной длительности его. Отмечена значительная недооценка этого времени при пробуждении из дельта-сна, а также его неправильная оценка после пробуждения из "преждевременного" эпизода фазы "быстрого" сна у больных нарколепсией. Напротив, при пробуждениях из "быстрого" сна, завершающего очередной цикл сна, оценка времени оказывается более адекватной. Этот факт говорит о роли циклической организации сна с взаимодействием обеих фаз для нормального протекания бессознательных психических процессов.

Более трудным является вострое о роли влияния отдельных фаз сна на регуляцию эмоциональной сферы человека. Его положительная стабилизирующая роль в этом отношении хорошо известна всем даже из субъективного опыта. Относительным подтверждением различного значения фаз "быстрого" и "медленного" сна на регуляцию эмоциональной сферы служат эффекты избирательного их подавления путем вызванных пробуждений, хотя такие эксперименты не привели к желательной однозначности результатов. Высказываются даже предположения об отсутствии существенных различий в поведении и последующем восстановлении психических функций после избирательного лишения фаз "медленного" или "быстрого" сна (Джонсон).

Касаясь этого вопроса, следует отметить некоторую неадекватность данного метода, так как, во-первых, искусственное устранение одной из фаз сна может оказывать воздействие на психофизиологические процессы в другой, а, во-вторых, была показана возможность определенного смещения психологических функций, характерных для фазы "быстрого" сна на фазу она "медленного" (Картрайт). Мнение о возможности такого смещения возникло, когда было показано, что характерные для "быстрого" сна фазические феномены (понто-геникуло-окципитальные разряды, быстрые движения глаз) при его депривации наблюдаются в "медленном" сне. Особенности эмоционального реагирования и оценки субъективных ощущений, возникающих в "быстром" сне, видны на примере гипнагогических галлюцинаций при нарколепсии. При преждевременном его возникновении, когда он следует практически за бодрствованием, больные воспринимают различные сенсорные ощущения как реальные, что часто сопровождается выражением переживания страха.

Не вдаваясь в детальное обсуждение сложных вопросов, которое приведено, в частности, в нашей монографии (А. М. Вейн, 1974), подчеркнем, что на сегодня весьма вероятной представляется важность взаимодействия обеих фаз сна, при наличии специфических функций каждой из них, в регуляции и стабилизации эмоциональной сферы человека. Этому соответствуют и лежащие в основе мозгового обеспечения сна циклически организованные нейрохимические процессы (Жувэ, 1972). Косвенным подтверждением такого понимания может служить заинтересованность обеих фаз сна, выявляемая при полиграфическом исследовании больных с эмоциональными расстройствами разной природы.

При изучении характера и особенностей бессознательной (психической) деятельности во время сна мы сталкиваемся с вопросом об ее осознаваемости и воспроизводимости в бодрствующем состоянии. Поэтому необходимо обсудить факторы, от которых эти осознаваемость и воспроизводимость зависят. Основной вопрос состоит в том, зависит ли осознание психической деятельности во время сна только от ее особенностей (интенсивности, содержания, значимости) или оно определяется иными факторами. Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Тем не менее, существуют факты, позволяющие его обсуждать.

Большое значение для осознания содержания психической активности во время сна и его последующего воспроизведения имеет, по-видимому, близость или отдаленность (во времени) того функционального состояния мозга, в котором эта активность протекает, от состояния, в котором она воспроизводится, т. е. от бодрствования. Имеющиеся факты говорят о том, что вводимая в состоянии сна информация запоминается при условии, что ее ввод сопровождается хотя бы кратковременным появлением на электроэнцефалограмме альфа-ритма. Далее, в

ряде экспериментальных работ, в том числе и нашей лаборатории, показано, что количество и содержание спонтанных утренних отчетов о сновидениях положительно связано с частотой активационных сдвигов во время сна. В этой связи можно понять относительное снижение частоты и яркости отчетов по мере углубления сна в фазе "медленного" она.

В отличие от "медленного" сна, нейрофизиологическая организация которого является во многом полярной по отношению к бодрствованию, функциональное состояние мозга в фазе "быстрого" сна ближе, по многим нейрофизиологическим параметрам к состоянию бодрствования. Очень важным в этом отношении является активация структур лимбической системы, обеспечивающих эмоциональные и мнестические процессы. Удачным представляется определение Шнайдером "быстрого" сна как "бодрствования, направленного внутрь". Можно предполагать, что относительная легкость осознания и запоминания сновидной продукции "быстрого" сна обеспечивается возможностью быстрого перехода мозга к состоянию бодрствования. Эмоциональные реакции типа "как жаль, что это только сон" или "слава богу, - это только сон" скорее всего связаны кратковременным пробуждением, не всегда осознаваемым.

Еще одним фактором, влияющим на осознание сновидений, может быть степень их визуализации. Эта особенность, как уже отмечалось, формирует одно из важных качеств психической активности в "быстром" сне. Само понятие "сновидение" (адекватность русского эквивалента которого подчеркивал, в частности, один из исследователей, открывших феномен "быстрого" сна, Азеринский) подчеркивает ведущую сенсорную модальность легче всего осознаваемого и запоминаемого материала психической активности во время сна. Роль этого фактора может определяться значением визуальности информации для ее усвоения в состоянии бодрствования. (Именно этот смысл вкладывается в поговорку "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"). Следует отметить, что значение степени визуализированности психической активности во время сна может определяться индивидуальными особенностями организации психической деятельности субъекта - наклонностью к большей или меньшей образности представлений или, напротив, к их абстрактности, вербализованности и т. д.

При обсуждении проблемы визуальности сновидений естественно возникает вопрос о символике. Подчеркивая ее несомненное значение и соглашаясь с трактовкой данного вопроса Ф. В. Бассиным, можно отметить, что при наличии символов, общих для отдельных групп населения, определяемых социальными, экологическими, религиозными, этническими факторами, могут существовать и символы, лишь индивидуально значимые, формирующиеся на базе конституционных и приобретаемых личностных особенностей. Подобные символы могут выражать особое значение для конкретного субъекта того или иного образа, события, качества, даже цвета. Зависимость эмоциональной оценки цвета от особенностей личности была показана, в частности, в нашей лаборатории на модели неврозов (И. В. Родштат). Все это, однако, обусловливает значительные методические трудности в оценке значимости сновиденческой активности субъекта при исследовании конкретных психофизиологических соотношений во время сна. Коген в обзоре (1974), посвященном анализу факторов, влияющих на запоминание сновидений, подчеркивает позитивную связь яркости сновидений и выраженности сопровождающих их физиологических сдвигов и отрицательное влияние на воспоминание феноменов интерференции. Не подтвердилось, по данным этого автора, значение фактора репрессии в механизме забывания сновидений.

Важным является также вопрос, чем обусловлено запоминание не всех сновидений и далеко не всеми людьми при наличии, как будто, общих для всех физиологических предпосылок подобной мнестической деятельности. Ответом может быть только подчеркивание роли психологической значимости сновидений и наличие или отсутствие осознанной или бессознательной установки на их запоминание. Можно думать, что содержание сновидений и их оценка, формируемые на уровне бессознательных процессов, при их достаточно высокой индивидуальной психологической значимости формируют сдвиги нейрофизиологического, гуморального и вегетативного порядка, вызывающие пробуждение субъекта. Иначе трудно себе представить смысл осознания бессознательной психической деятельности во сне при невозможности адекватной трактовки субъектом символики сновидения.

В исследованиях психофизиологических соотношений во время сна большое внимание уделяется "периферическим" по отношению к мозгу феноменам - глазодвигательной активности, вегетативным показателям.

Первоначальные выводы о наличии жесткой связи между содержанием сновидений и характером быстрых движений глаз (частота, направление) в "быстром" сне были затем поколеблены более корректными в методическом отношении работами. Показано, что если и существует такая связь, то она далеко не постоянная. Есть основание говорить о положительной связи между выраженностью сновиденческой активности и количественными параметрами глазодвигательной активности. В исследованиях, проведенных в нашей лаборатории, была отмечена положительная связь между количеством и частотой быстрых движений глаз и яркостью, эмоциональностью сновидений при утренних отчетах. При нарколепсии, для которой характерны яркие

образные, нередко устрашающие сновидения, выявлена значительная интенсификация выраженности этого фазического компонента "быстрого" сна. Напротив, при инсомниях невротической природы, для которых типичны бледные, скудные отчеты о сновидениях при утреннем пробуждении, показатели частоты и общего числа быстрого движения глаз также были пониженными. Сходные данные были получены нами и другими авторами (см. обзор Когена, 1974) и при некоторых формах органической патологии мозга (опухоли, эпилепсия и др.).

Механизм этой связи недостаточно понятен. Обсуждаются, в частности, прямые взаимовлияния психической активности и быстрых движений глаз с доминированием первого фактора над вторым. Но, как уже указывалось, такая связь при детальном исследовании не выглядит достоверной. Вполне вероятной представляется связь обсуждаемых феноменов через общий для них третий фактор, принимающий участие в их реализации. Им может быть функциональная активность мозговой системы "быстрого" сна в целом или только его фазических компонентов с лежащими в их основе нейрофизиологическими и нейрохимическими процессами. Примером нейрофизиологических процессов, функционально объединяющих кору мозга и активность глазодвигательного аппарата, являются понто-геникуло-окципитальные разряды, выраженность которых может служить одним из показателей активности системы "быстрого" сна.

Весьма активные исследования проводятся с целью выявления психо-вегетативных взаимоотношений во время сна. Проблематика этих исследований выходит за рамки чисто "сонной" психофизиологии, так как их результаты являются важными для проблемы психосоматических и психо-вегетативных соотношений в широком плане. Представляется, в частности, вероятным, что некоторые звенья патогенеза соматических заболеваний эмоционального происхождения формируются на фоне нарушений психо-вегетативных соотношений во время сна. Не случайным является то обстоятельство, что манифестация ряда заболеваний этого круга может возникать, а иногда и доминировать во время она. Сюда можно отнести сосудистые мозговые катастрофы, проявления коронарной недостаточности, болевой синдром при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти проявления могут быть связаны с особенностями регуляции вегетативной сферы, которые выявляют патологию уже скомпрометированных функциональных систем, а иногда скрытую поломку психо-вегетативных соотношений. Изучая частоту и характер сновидений у больных с соматическими заболеваниями, нам удалось показать учащение их у больных с висцеральной патологией эмоционального генеза еще до развития основного заболевания, а также появление устрашающих сновидений при осложнении соматической патологии тревожной мнительностью и депрессией.

При обсуждении психо-вегетативных соотношений во сне следует быть осторожными в экстраполяции связей, изученных в состоянии бодрствования, так как показано существенное своеобразие, по ряду показателей, регуляции вегетативной сферы во время сна, существенно отличающейся от регуляции этой же сферы в фазе бодрствования. Показательными в этом отношении являются выявленные (Пармеджиани с сотр.) явно не гомеостатические сдвиги в быстром сне у животных, находящихся в измененных температурных условиях.

Если опираться на связи, характерные для бодрствования, то можно предположить, что наиболее активна психическая деятельность в дельта-сне, учитывая максимальную выраженность в этой фазе одного из типичных коррелятов эмоциональных процессов - кожно-гальванической реакции, сочетающейся с учащением, по сравнению с другими стадиями "медленного" сна, пульса и дыхания. Это предположение согласовывается и с уже упоминавшимся возникновением в это же время ряда феноменов с ярким эмоциональным сопровождением. Между тем в этих стадиях она не наблюдается других вегетативных коррелятов эмоциональных процессов, идущих под знаком симпато-адреналевых сосудистых реакций, подъема артериального давления, расширения зрачков и др. Против такого предположения говорит и сохранность этого феномена (КГР) при экспериментальной декортикации у животных и функциональной декортикации в связи с последствиями патологических процессов у человека.

В отличие от этого, в фазе "быстрого" сна, в которой значительная психическая активность несомненна, показатели кожно-гальванической реакции менее выражены. Характерные дли этой фазы сна кратковременные эпизоды возникновения активности на электродермограмме соответствуют особенностям феноменологии и других вегетативных показателей, большой выраженности физических изменений, влекущих за собой значительную вариабельность этих физиологических параметров на фоне их общей активации. Если не считать описанную характеристику кожно-гальванической реакции в дельта-сне феноменом, автономным по отношению к психической активации, что, вообще говоря, исключить трудно, то следует иметь в виду ее полифункциональность в смысле отражения на периферии разных психических процессов. На примере динамики кожно-гальванической реакции видно, насколько своеобразной и сложной является феноменология вегетативных показателей в разных фазах сна и бодрствовании.

Исследования психо-вегетативных взаимоотношений путем сравнения отчетов по пробуждении и предшествующих вегетативных сдвигов пока не привели к однозначным выводам. Здесь обнаруживаются

значительные расхождения данных разных авторов. В какой-то степени это может зависеть от методических различий, но нельзя исключить и более существенных причин этого явления - дифференцированности психофизиологической или, точнее, психо-вегетативной конституции разных индивидов или групп индивидов. Так, Хаури с сотр. для объяснения межиндивидуальных различий в вегетативных коррелятах сновидений привлекают концепцию Лейси о разных "паттернах" вегетативных реакций отдельных индивидуумов на стрессогенные воздействия в бодрствовании. Такое предположение нам представляется оправданным, хотя, исходя из факта значительных отличий в регуляции вегетативной сферы в бодрствовании и сне, можно предполагать и возможность разной психо-вегетативной организации этих различных функциональных состояний.

Существуют, однако, данные и в пользу общности факторов, влияющих на вегетативные показатели в бодрствовании и сне. Так, на материале исследований сна при неврозах, проведенных в нашей лаборатории В. С. Ротенбергом, показана тенденция к увеличению частоты пульса в разных стадиях сна и бодрствования по сравнению со здоровыми испытуемыми. Есть основания рассматривать этот феномен как показатель повышенной физиологической и гуморальной катехоламиновой активации, связанной с фактом наличия тревожности в структуре личности этих больных. С этим согласуются и особенности электроэнцефалограммы отдельных стадий "медленного" сна (снижение продукции "сонных веретен", тенденция к уменьшению представленности дельта-сна и уменьшению дельта-индекса), увеличение числа пробуждений, электромиографические показатели. Сходные соотношения получены и на модели паркинсонизма. Во всех этих случаях есть основания допустить зависимость вегетативных изменений от факторов физиологического порядка (уровень тонической неспецифической активации), имеющих одинаковое значение как в состоянии бодрствования, так и во время сна.

Таким образом, оценка психической деятельности во сне по периферическим и, в частности, по вегетативным эффектам является далеко не простой задачей. Возможно, что проявляющиеся во время бодрствования вегетативные корреляты эмоциональных состояний (КГР, пульс, АД, гуморальные сдвиги и др.) в периоде сна действуют не совместно, а диссоциированно, расщепленно. В то же время нельзя отрицать, что они являются не только отражением текущих психических процессов, но и процессов регулирования мозгового гомеостаза с парциальным включением симпато-адреваловых механизмов. Для нас, таким образом, является несомненным существование в периоде сна бессознательной психической деятельности, о чем мы можем судить по имеющимся косвенным физиологическим проявлениям: динамике состояния психики до и после сна, ряду "продуктов" этой деятельности, оцениваемых при пробуждении. Однако прямо обозначить эти сдвиги как нейрофизиологическую базу бессознательной деятельности было бы ошибкой, т. к. и бодрствование - период непрекращающейся деятельности бессознательного. Мы можем говорить лишь о возможности существования специфических условий для (бессознательной психической деятельности в периоде сна. Надо, однако, хорошо понимать, что при изучении этой проблемы возникают огромные трудности. Нет однозначного определения бессознательного, не ясны его соотношения с осознаваемой психической деятельностью, нет надежных и научных (т. е. обеспечивающих воспроизводимость фактов) методов изучения бессознательных процессов в периоде сна. Поэтому мы скорее лишь выдвинули некоторые положения для обсуждения, чем однозначно разрешили сложные вопросы. Такой подход, с нашей точки зрения, вполне оправдан на начальном этане диалектико-материалистического исследования бессознательной психической деятельности во время сна у человека, которое многие из нас сейчас предпринимают.

78. Отсчет времени в состоянии сна и гипноза. Д. Г. Элькин, Т. М. Козина (78. Time Readout in the State of Sleep and Hypnosis. D. G. Elkin, T. M. Kozina)

Одесский государственный университет, кафедра психологии

1. В психологической литературе известны попытки изучения у человека особенностей ориентировки во времени в бессознательном состоянии, в частности в состоянии сна различного характера и глубины [8]. Результаты таких исследований интерпретируются противоречиво. Одни считают восприятие времени во сне более адекватным, чем в состоянии бодрствования [8; 13], другие придерживаются противоположных взглядов [21]. Одни наибольшую точность временных восприятий во сне объясняют с позиций бергсоновской концепции "воли к жизни" [3], без которой не может быть, якобы, правильной временной дифференциации, другие точность восприятия времени во сне связывают с существованием гипотетических "висцеральных часов", структура и деятельность которых остается загадкой.

В. Чиж, много занимавшийся изучением восприятия временных интервалов, рассказывает, что ему случалось неоднократно засыпать в вагоне поезда. Он приказывал себе просыпаться через определенные интервалы и в течение трех лет наблюдал наличие у себя довольно тонкой ориентировки во времени в состоянии обычного сна. Наблюдения он производил в те дни, когда не был утомлен и хорошо себя чувствовал. Всего им было поставлено 134 наблюдения. Из них 34 было отброшено, так как результаты их вызывали сомнения, вследствие недостаточно

глубокого сна и частых "неназначенных" пробуждений. Чиж ставил себе перед оном задачу проснуться в определенное время, например в 3, 5, 6, 7 часов и т. д. Ошибка, в среднем, составляла 13 минут. Она редко выходила за пределы 15 минут. Один раз ошибка равнялась 32 минутам, один раз - 4 минутам. В результате упражнений ошибка становилась все меньшей и меньшей. В других опытах Чиж пробовал определять время при пробуждении. Ошибка, которую он допускал при этом, в среднем составляла 9 минут [8].

Сходные явления наблюдал на самом себе Эренвальд [18] и на испытуемых Брэш и Боринги [16, 15].

Литературные данные свидетельствуют о том, что временные восприятия характеризуются особенно большой точностью в гипнозе. Форель [7] описал внушения "на срок", удававшиеся с пунктуальной точностью: испытуемый, которому делали постгипнотическое внушение выполнить определенное действие в указанное время, решал эту задачу с точностью до минут. Баррет и Герней наблюдали пробуждение через 32', 55', 96', согласно указаниям гипнотизера [1]. Брэмвелл предложил своей испытуемой, находившейся в состоянии гипнотического сна, поставить знак креста на бумаге через 7.200 минут и определить время, связанное с 136 этим действием. Испытуемая выполнила это постгипнотическое внушение несмотря на то, "что находилась в соответствующий момент на уроке. В другой раз испытуемой было предложено сделать то же через 10 мин. И это внушение было правильно реализовано. В 45 из 5э подобных опытов постгипнотического внушения были получены безупречные результаты. В двух результаты были отрицательными.

На II конгрессе экспериментальной психологии в Лондоне Дельбеф рассказал о своих опытах над испытуемыми, которые осуществляли постгипнотическое внушение с большой точностью через 3.300 минут и другие промежутки времени [17].

2. Мы поставили "перед собой задачу выяснить особенности оценки времени во сне, условия, при которых она приобретает адекватный характер, и объяснить полученные факты с позиций современных взглядов на психологию бессознательного.

Для этой цели нами был поставлен ряд экспериментальных исследований.

I серия опытов.

20 испытуемым было предложено каждый вечер в 11 час. перед сном задавать себе определенное время пробуждения - 5 час. утра, - которое сии записывали четыре раза на бумаге, причем последняя запись времени пробуждения оставалась на ночном столике у изголовья испытуемого (фиксированная установка). Опыты ставились в течение 20 дней подряд. Отсутствие ошибки было отмечено у некоторых испытуемых в 80% случаев, у других - только в 40%.

II серия опытов.

В качестве испытуемых мы привлекли трех человек в возрасте от 18 до 39 лет.

I испытуемый - Б. В., 18 лет. Учащийся. Нервная система без отклонений от нормы. Испытуемый легко погружается в состояние гипнотического сна, впадает сразу в сомнамбулизм, не проходя последовательно отдельных этапов гипноза. Внушение во сне удается легко. Просыпается быстро, хорошо себя чувствует после сна, обнаруживает полную постгипнотическую амнезию. Охотно участвует в исследовании.

II испытуемый - Н. Т., 39 лет, служащий.

В гипнотическое состояние погружается легко, сразу впадает в глубокий гипнотический сон. В состоянии гипнотического сна не обнаруживает никаких невротических симптомов. Спит ровно, спокойно. Пульс и дыхание не выходят за пределы нормы и мало отличаются от обычной картины в условиях бодрствования. Просыпается быстро, с хорошим самочувствием. Внушения, сделанного в состоянии она, не помнит. Гипнозу подвергается охотно.

III испытуемый - Н. Ф., 21 года. Учитель. Гипнотическому внушению подвергается впервые. Неврологический статус без патологии. Первый раз входит в гипнотическое состояние с большим трудом. Однако в дальнейшем гипнотический сон наступает довольно быстро и характеризуется значительной глубиной. Испытуемый последовательно проходит все фазы гипноза - летаргию, каталепсию и довольно быстро погружается в состояние

сомнамбулизма, когда и осуществляется внушение. Выход из гипноза быстрый, с хорошим самочувствием, внушения не помнит.

Испытуемым 5 раз подряд предъявлялись временные интервалы в 5", 10", 15", 30", 60" при помощи звукового молотка Вундта, который включался действием электрического тока. Молоток был соединен с хроноскопом Гиппа, который отмечал время с точностью до 0,001 секунды. Первый удар молотка пускал в ход стрелки хроноскопа, второй выключал ток в цепи, и стрелки останавливались. Таким образом, предъявляемый промежуток времени отмерялся двумя ударами. Испытуемый должен был воспроизвести этот промежуток времени. С этой целью он ударял два раза по кнопке телеграфного ключа, который соединялся с другим хроноскопом. Первый удар по кнопке включал ток в электрической цепи и приводил в движение стрелки хроноскопа. Второе нажатие телеграфного ключа выключало электрический ток. Над каждым испытуемым ставилось 50 экспериментов с каждым из временных интервалов.

Интервалы	Средние показания испытуемых		
	I	II	III
5″	5,3″	5,2″	5,4″
10″	10,6″	10,4″	10,7″
15″	14,3″	14,1″	14,2″
30″	28,1″	28,4″	29,1″
60″	57,7″	58,1″	58,9″

Результаты опытов:

Имеются все основания считать, что отсчет времени в состоянии гипноза осуществляется под влиянием неосознаваемой фиксированной установки (в смысле, придаваемом этому понятию грузинской психологической школой: Д. Н. Узнадзе [61, А. С. Прангишвили [5], А. Е. Шерозия [91, И. Т. Бжалава и др.), которая срабатывает бессознательно. Можно думать, что дифференциация временных интервалов в состоянии бодрствования в описываемой ниже III серии экспериментов также является выражением неосознаваемой фиксированной установки.

III серия опытов.

100 испытуемым, учащимся высших учебных заведений, в возрасте от 17 до 40 лет, по методике фиксированной установки демонстрировали 3 раза два промежутка времени: один в 5 секунд, другой в 3 секунды. После этого в критическом опыте им предъявляли два одинаковых интервала в 3 секунды. 59% испытуемых второй из двух равных промежутков считали большим, т. е. срабатывала ассимилятивная установка. В 40% случаев наблюдалась контрастная установка, т. е. испытуемые первый интервал считали большим. Только один человек из 100 назвал интервалы равными, т. е. у него установку выработать не удалось.

Такие же опыты были поставлены с другими 100 испытуемыми в возрасте от 17 до 36 лет, студентами университета. Им трижды предъявляли описанным методом два временных интервала в 5 и 3 секунды. В критическом опыте фигурировали два интервала равной длительности в 5 секунд.

Характер иллюзии	Ассимилятивная	Контрастная	Нет иллюзии
Количество случаев в %%	45	39	16

Полученные результаты:

Все эти данные, полученные в значительном количестве опытов, на большой выборке показывают, что дифференциация времени в состоянии бодрствования испытывает на себе отчетливое влияние установок ассимилятивного и контрастного характера. Эти установки не являются результатом сознательного сравнения длительности временных интервалов, а действуют как своеобразная, неосознаваемая направленность личности. К таким же выводам приходят авторы и других (пока еще очень немногочисленных) работ, посвященных вопросу о роли установки в восприятии времени [4; 11; 13; 141.

3. Трое испытуемых, которые изучались в гипнозе, были через одну неделю подвергнуты исследованию при помощи описанной методики в условиях бодрствования.

Вот данные, характеризующие процентное отношение ошибки к заданному временному интервалу в гипнозе и в бодрствовании.

Испытуемые	Интервалы				
	5″	10″	15″	30″	60″
I	2	1	0	0	0
II	1	1	0	0,3	0
III	0	1	0,7	0	0,2

Процентное отношение ошибки к заданному интервалу в гипнозе

О лучшей дифференциации времени в гипнозе по сравнению с условиями бодрствования эти данные говорят очень отчетливо.

Испытуемые	Интервалы				
	5″	10″	15″	30″	60″
I	6	6	4,7	6,3	3,7
II	4	4	6	5,3	3,1
III	8	7	5,3	3	1,7

Процентное отношение ошибки к заданному интервалу в состоянии бодрствования

4. Чем объясняются полученные факты?

Отсчет времени в состоянии гипноза, как и в обычных условиях, связан с установкой. Однако в гипнозе, как и в состоянии физиологического сна, установка срабатывает с большей правильностью благодаря тому, что:

а) чувствительность интерорецепции, отражающей временные параметры раздражителя [12; 19; 20J, обостряется в состоянии гипноза и сна;

б) ритм сердечных сокращений и дыхания становится во сне более монотонным [8];

в) в условиях нормального сна и гипноза значительно уменьшается противодействие экзогенных раздражителей.

Приведенный экспериментальный материал показывает, что в отсчете времени в бессознательном состоянии (сна, гипноза) решающую роль играет установка. Неосознаваемая установка на восприятие времени проявляется и в состоянии бодрствования, однако здесь она может быть и осознанной, когда по ходу деятельности возникает необходимость в ее объективации [10; 12].

Установка на время - это частный вид установок, играющих большую роль в психической жизни человека. Их анализ подтверждает большое значение учения Д. Н. Узнадзе и его школы, получившего в настоящее время широкое признание.

Литература

1. Баррет З. Ф., Загадочные явления человеческой психики, М., 1914.

2. Бассин Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.

3. Бергсон А., Сновидение, СПб., 1900.

4. Мдивани К. Д., Восприятие времени и установка. XVIII Международный психологический конгресс, т. II, М., 1966.

5. Прангишвили А. С., Исследования по психологии установки. Тб., 1967.

6. Узнадзе Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.

7. Форель А., Гипнотизм, СПб , 1904.

8. Чиж В., Экспериментальное изучение внимания во сне. Вестник психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии, 1911, 3.

9. Шерозия А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, том I, Тб. 1969; том II, Тб., 1973.

10. Элькин Д. Г., Восприятие времени и эмоциональные состояния личности. В сб: Вопросы психологии личности, М., 1960.

11. Элькин Д. Г., Восприятие времени и установка. Сб. Вопросы психологии, Ереван, 1960.

12. Элькин Д. Г., Восприятие времени, М., 1961.

13. Элькин Д. Г., Роль временного фактора в ассоциативной деятельности в свете учения об установке. Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов, Тбилиси, 1971.

14. Элькин Д. Г., Установка и дифференциация времени. Экспериментальные исследования по психологии установки, т. V, Тбилиси, 1971.

15. Boring, L. D., Boring, E. G., Temporal judgements after sleep. Studies in Psychology. "Titchener Commemorative Volume", Wilson, 1917.

16. Brush, E. N., Observation on the temporal judgement during sleep. Am. J. Psychol., 42.

17. Delboeaf, J., Le sommeil et les r?ves, Paris, 1885.

18. Ehrenwald, N., Versuche zur Zeitauffassung des Unbewussten. Arch. f. die ges. Psych., B., XLV, H., 1.

19. Francois, M., Influence de la temperature interne sur notre appreciation du temps, Ser. de la biolog., 98, 1928.

20. Hoagland, H., The Psychological Control of Judgements of Duration: Evidence oi a Chemical Clock. J. Gen. Psychol., 1933, 9.

21. Stalnaker, J. M., Richardson, M. W., Time estimation in the hypnotic trance. J. Gen. Psychol., 4, 1930.

22. Stott, L. N., The discrimination of short tonal duration. Dissertation, Illinois, 1933.

23. Stott, L. N., Time-order errors on the discrimination of short tonal durations. J. Exp. Psychol., 1935, 18.

79. Скрытое лицо бессознательного: Фрейд и гипноз. Л. Шерток (79. La face cachee de l'inconscient: Freud et l'hypnose. L. Chertok)

Институт психосоматической медицины в Париже, Франция

"Большинство философски образованных людей абсолютно неспособно понять, что психический акт может быть неосознаваемым. Подобную идею оно отвергает как абсурдную и противоречащую нормальной и простой логике. Это говорит, по-моему, лишь о том, что эти люди никогда не изучали явлений гипноза и сновидений... В отместку им психология, основанная на представлении о неустранимости присутствия сознания, неспособна решать проблемы, относящиеся к гипнозу и сновидениям". Так писал 3. Фрейд в 1923 году [13, 179-180].

Гипноз и сновидения. Для нас непривычно такое сочетание, потому что Фрейд выбрал между ними одно и отверг другое. Многие авторы старались описать путь, который привел Фрейда от гипноза к открытию психоанализа. Но речь в таких случаях идет об истории, которой изначально было суждено этим открытием завершиться. Будучи, одновременно, точкой начала и точкой вынужденного поворота, гипноз упоминается только для того, чтобы быть затем оттесненным появлением новой науки.

Такой подход создает опасность забыть, что гипноз - это не только музейная редкость, не только этап истории, но также область современных исследований, в процессе которых мы ставим во многих отношениях только

первые (вопросы. Поэтому мы будем ориентироваться в настоящем исследовании на иную перспективу. Нашей задачей явится анализ эволюции фрейдовской мысли с точки зрения теории гипноза (*Мы ограничимся в настоящей статье анализом мыслей только Фрейда. Мы уже однажды обрисовали эволюцию психоаналитических теорий гипноза после Фрейда [5]. С другой стороны, в отношении того, что является наиболее новым аспектом современных исследований, читатель может обратиться к статье Гилла [16] и к статье Кюби [18]*). Мы попытаемся показать, как эта мысль вписалась в теории гипноза, как она здесь обновила понятия и осветила некоторые фундаментальные аспекты (межперсональные отношения, трансфер) и на каких вопросах, до сего дня остающихся в этой области в центре наших размышлений, она, под конец, споткнулась.

От гипноза к трансферу

Размышления Фрейда над проблемой гипноза определялись преимущественно французскими концепциями, т. е. спором, в котором Шарко противостоял Бернгейму, школа Сальпетриера - школе Нанси. Известно, что Шарко видел в гипнозе своеобразное соматическое состояние, вызываемое физиологическими, в основном, факторами, в то время как Бернгейм рассматривал гипноз как процесс чисто психологический, исчерпываемый внушением. В этом проявилось фундаментальное противопоставление, которое определяет до настоящего времени в разных формах всю проблематику гипноза. Позицию Фрейда в этом вопросе определить нелегко. В разных текстах она выступает по-разному. Хорошо известно, что с самого начала ни одна из этих теорий его не удовлетворяет, он предчувствует, что проблема должна быть поставлена на основе иных понятий. Представляется более интересным, чем противопоставлять друг другу разные тексты, проследить, каким могло быть движение мысли Фрейда по отношению к двум названным концепциям и как Фрейд попытался преодолеть их расхождение.

Шарко и "физиологический" детерминизм

Независимо от эмоционального воздействия, которое Шарко оказал на Фрейда [2], особенно повлияли на последнего эксперименты Шарко с провоцированием искусственных параличей [3]. Известно, что, стремясь обосновать свои представления о психической детерминированности посттравматической истерии, Шарко вызывал с помощью внушения (в состоянии гипноза и в условиях бодрствования) психогенные параличи и другие истерические симптомы. Его цель заключалась в получении прямого доказательства "всемогущества идей", силы психического воздействия на соматические процессы. Эти эксперименты произвели на Фрейда впечатление подлинного откровения. Его исследование различий, существующих между параличами органическими и параличами психогенными [7], показывает, что он сразу же понял, что теории Шарко открывают путь к созданию концепции истерии, полностью основанной на психическом детерминизме. В этой статье, опубликованной в 1893 г., но задуманной Фрейдом еще в конце его пребывания в Париже [17, 258], действительно показано, что истерические параличи определяются не законами анатомии нервной системы, а отражают представления, которые больные имеют о своем собственном теле.

Однако Шарко, вопреки новаторскому духу его концепций, не был подготовлен для формулировки выводов, ставящих под сомнение примат физиологического детерминизма, определявшего все научные представления его эпохи. Интуиция клинициста вынуждала его признать роль психической травматизации в генезе истерической синдроматики, но, одновременно, он не допускал, что подобные нарушения могут возникать без органического поражения нервной системы. Он постулировал, вопреки отсутствию каких-либо видимых изменений анатомо-физиологического субстрата, существование "динамических функциональных нарушений", которые нельзя было выявлять с помощью современных ему методов исследования. Он придавал, кроме того, первостепенное значение конституциональному фактору в этиологии неврозов.

Аналогичное стремление оставаться в рамках идеи физиологического детерминизма выступает и в представлениях Шарко о гипнозе. Это не значит, что Шарко игнорировал роль суггестии как фактора гипнотических проявлений. Он даже, как мы уже говорили, использовал суггестию, чтобы вызывать искусственно истерические симптомы ("создавать и устранять"). Однако суггестия действовала, по его мнению, только на фоне особого физиологического состояния - состояния гипноидности, родственного гипнозу.

Бернгейм и "психологический" характер гипноза

Основной интерес в теориях Бернгейма представляет то, что он решительно порвал с приматом физиологии, использовав гипноз как чисто суггестивный феномен. Чем является, действительно, суггестия? Это идея, которая, если воспользоваться определением Фрейда из его предисловия к труду Бернгейма "О суггестии", "будучи введена в мозг загипнотизированного субъекта путем внешнего воздействия, интерпретируется субъектом как возникшая в его сознании спонтанно" [6, 77].

Не существует, таким образом, более гипнотического состояния - есть только психологические причинные связи, действующие так, что субъект их по-настоящему не осознает.

Можно понять, почему Фрейд утверждал, что именно Бернгейму он обязан "наиболее глубоким впечатлением по поводу возможности существования мощных психических процессов, остающихся скрытыми от сознания людей" [15, 23-24]. Два опыта, на которых он смог присутствовать во время посещения им Нанси, сыграли в этом плане фундаментальную роль.

Первый из этих экспериментов был связан с постгипнотическим внушением. Бернгейм дал предварительно загипнотизированному субъекту инструкцию выполнить по пробуждении определенное действие. Когда субъект вышел из состояния гипнотического сна, он реализовал этот приказ, хотя и не смог вспомнить мотивы своего поступка.

На протяжении второго опыта Бернгейм опрашивал людей, длительно находившихся ранее в сомнамбулической фазе гипноза. Казалось, что эти люди полностью забыли обо всем, что с ними происходило в этом состоянии. Бернгейм, однако, показал, что было возможным оживить их воспоминания, используя чисто психологические приемы (настойчивость, суггестию, увещание).

Эти опыты позволили сделать два вывода. С одной стороны, они доказали, что определенные представления могут быть содержанием психической жизни субъекта, могут определять его действия, фигурировать в процессах памяти без того, чтобы субъект их осознавал. Можно поэтому думать, что путешествие в Нанси оказалось для Фрейда важным этапом выработки им представления о бессознательном.

С другой стороны, показав, что можно устранить постгипнотическую амнезию путем одной только суггестии, Бернгейм доказал чисто психогенную природу этой амнезии. А поскольку последняя рассматривалась всегда как один из главных признаков гипнотического состояния, подтверждалось тем самым и представление Бернгейма об исключительно психологическом характере гипноза.

Однако, если допускается, что гипноз это не более, как определенная форма внушения, в чем же это внушение заключается? Фрейд многократно подчеркивал, что Бернгейм не смог по-настоящему определить психологический механизм гипноза и что тем самым гипноз объяснялся на основе фактов, которые сами требовали объяснения. Отсюда вытекало, что, хотя Бернгейм настаивал на психологическом характере гипноза, он, как и Шарко, оставался привязанным к существенно нейрофизиологической концепции психического функционирования. Внушение сводилось для него к определенному нервному механизму. Его позиция была более близка к позиции Шарко, чем это представлялось на первый взгляд. Расходясь в оценке важности роли, которую играет внушение, и Шарко, и Бернгейм оказывались в равной степени неспособными интерпретировать гипноз на языке чисто психологических категорий.

Открытие трансфера

Фрейд сам рассказал, как он пришел к пониманию либидинозного характера отношений, устанавливающихся в гипнозе. Однажды, когда он гипнотизировал одну из своих больных, последняя, пробудившись, бросилась ему на шею: "Я был достаточно трезв душевно, чтобы не объяснять этот поступок моей непреодолимой привлекательностью, и я полагал, что понял природу мистического фактора, скрытого за гипнозом. Чтобы его устранить или хотя бы изолировать, я должен был распроститься с гипнозом" [15, 40-41].

Мы показали в других работах [1; 4], как этот эпизод явился для Фрейда отправным пунктом в открытии трансфера. После того, как он отказался объяснить этот инцидент своей личной привлекательностью, он пришел к необходимости допустить существование третьей фигуры как промежуточной между врачом и пациентом. Это было начало "долгого пути", на котором он постепенно нисходил от актуальных желаний к инфантильной сексуальности, вплоть до наиболее ранних фаз формирования межперсональных отношений.

В результате становилось возможным понять механизм отношений, создающихся в гипнозе. Внушение, писал Фрейд, очень точно формулируя свою мысль, "это влияние, оказываемое на субъекта с помощью феноменов трансфера, которые он способен произвести" [9, 58]. Повышение степени внушаемости субъекта в условиях гипнотизации, его аффективная зависимость от гипнотизера находили, таким образом, свое объяснение в мощных отношениях трансфера, которые его связывали с гипнотизером. В "Трех очерках по проблеме сексуальности" Фрейд охарактеризует эти отношения как зафиксированность по мазохистскому типу (*"Я не могу не вспомнить здесь доверчивое подчинение, которое обнаруживают гипнотизируемые в отношении гипнотизера. Оно заставляет меня предполагать, что существо гипноза заключается в неосознаваемой фиксации либидо на*

личности гипнотизера (посредством мазохистского компонента сексуального влечения)" [8, 171]). Он вновь вернется к этому вопросу в "Психологии масс и анализе Я", где он рассмотрит проблему гипноза детально [12, 138-141; 153-156; 174].

Он вновь подчеркивает подчиненность, пассивность, отказ от любой формы критики, которые характеризуют отношение гипнотизируемого к гипнотизеру и устанавливают сходство, существующее между гипнозом и наиболее идеализированной формой влюбленности. В обоих этих случаях, пишет он, объект замещает "идеал Я". Не входя в рассмотрение всей сложности фрейдовской метапсихологии, ограничимся напоминанием, что "идеал Я" является выражением интериоризации субъектом его идентификаций с родителями, особенно - его идентификации с отцом. "Идеал Я" можно определить как своеобразную высшую идентификацию, основная функция которой - служить опорой формирования унифицированного образа "Я", противостоящего, как целостность, множеству отдельных стремлений.

Именно трансфер ("перенос") на личность гипнотизера функций, связанных с "идеалом Я", позволяет, по Фрейду, понять зависимость субъекта, обнаруживающуюся в условиях гипноза. Трансфер объясняет и особую чувствительность, проявляемую гипнотизируемым в отношении инструкций гипнотизера, - чувствительность, доходящую до галлюцинаторного переживания этих инструкций. В той мере, в какой "идеал Я" способствует формированию "Я", он, этот "идеал Я", играет существенную роль в обосновании принципа реальности: "Нет ничего удивительного в том, что "Я" рассматривает определенное восприятие как реальность, если психическая инстанция, функцией которой является контроль событий на их реальность, высказывается в пользу реальности этого восприятия" [12, 139].

Гипнотический трансфер и сексуальность

Но каковы истоки гипнотического трансфера? Почему определенные люди в большей степени, чем другие, испытывают его влияние? Каково отношение гипноза ко сну? К гипнозу животных? Возникает столько вопросов, что Фрейд ощущает себя не способным дать на них ответ. Отчетливо видно при чтении этого текста, что гипноз остается для него явлением загадочным. "Во многих отношениях, - пишет он, - гипноз еще труден для понимания и представляется мистическим". К элементам, "ускользающим от всякого рационального объяснения" [12, 140], он относит, в частности, десексуализированный характер гипнотических отношений. Действительно, в то время как в любви, даже при ее наиболее идеализированной форме, личность того или той, кого любят, является объектом, на который непосредственно устремлено половое влечение, гипноз остается для Фрейда парадоксом "состояния влюбленности без непосредственно выраженных сексуальных тенденций" [12, 140].

Такое понимание представляется удивительным, если мы сопоставим эти выражения Фрейда с инцидентом, который заставил его отказаться от пользования методом гипноза. В приведенном выше тексте "мистический элемент", проявляющийся в условиях гипноза, это, по существу, элемент сексуальный. Все это может показаться тем более поразительным, что оба текста были написаны Фрейдом с небольшим разрывом во времени: "Психология масс и анализ Я" в 1921 г., "Моя жизнь и психоанализ" в 1925 г., и тем не менее Фрейд употребляет одно и то же слово "мистический", чтобы обозначить один раз сексуальность, другой - десексуализированность влечения.

Выступающее здесь противоречие может быть устранено, если учесть, что приведенные выше утверждения включены в точные тексты, относящиеся к разным моментам истории психоаналитической мысли. Рассуждая общим образом, можно в истории развития представлений о сексуальности различать два основных периода. В первом, соответствующем по времени постепенному открытию основных принципов психоанализа - бессознательного, сексуальности, вытеснения и т. д., в центре внимания Фрейда были вытесненные содержания. Сексуальность была поэтому выдвинута на передний план. Поскольку было установлено, что вытеснение является главной причиной неврозов, краеугольным камнем формирования личности, требовалось прояснить, что именно вытесняется. Фрейд был вынужден поэтому перейти от сексуальности зрелой к сексуальности инфантильной и разработать теорию бессознательного как резервуара сексуальных влечений.

Инцидент, упоминаемый в "Моей жизни и психоанализе", относится к этому этапу открытия роли сексуальности. Легко понять, что в период, когда Фрейд начинал видеть первые элементы своей теории, он был особенно чувствителен к значению параметра сексуальности в условиях гипноза. На основе учета этого параметра он открыл феномен трансфера: он быстро заметил, что этот параметр свойственен не только гипнозу, но присущ всякому отношению между людьми, в особенности отношению, устанавливающемуся в рамках психоаналитической ситуации.

Однако подобное расширение идеи сексуальности ставило ряд вопросов и особенно вопрос об истоках вытеснения. Что выражает вытеснение в либидинозной жизни субъекта? Каким образом оно возникает у ребенка, хотя последний представляется находящимся, исходно, полностью во власти своих инстинктивных побуждений? (*Фрейд частично решил этот вопрос, введя понятие стремления к самосохранению, или влечений "Я". В отличие от сексуальных стремлений, функцией влечений "Я" являлось адаптирование субъекта к реальности. Однако проблема быстро осложнилась с развитием теории нарциссизма. Каким образом "Я" может подавлять сексуальные влечения, если оно само является субъектом и объектом либидинозных воздействий, а стремление к ауто-консервации (самосохранению) также обнаруживает в определенной мере связь с сексуальностью?*) Вопрос этот приобретал тем большую остроту, что психоанализ оказался постепенно приведенным к необходимости расширить область своих исследований, включив в нее искусство, литературу, мифологию, общественное поведение и т. д. Это проникновение в антропологию требовало опоры на теорию, способную объяснить проявление вытеснения и сублимации инстинктивных стремлений, как присущее всякой форме социального функционирования. С другой, однако, стороны, антропологическая перспектива, хотя и заостряла вопрос, создавала возможность ответа, связывая подавление инстинкта, нелегко объяснимое в рамках теории влечений, с созданием и развитием человеческих сообществ. Именно в этом значение филогенетических гипотез, разработанных в "Тотем и табу" [10], согласно которым комплекс Эдипа и боязнь кастрации имеют свои истоки в страхе, испытывавшемся когда-то членами примитивной орды перед всемогущим Отцом орды.

От психологии индивидуальной к психологии коллективной: филогенетические перспективы

Можно сказать, что, начиная с этого момента, мысль Фрейда непрерывно вращается между психологией коллективной и психологией индивидуальной, понимаемыми как своеобразное обоснование одна другой. "Психология масс и анализ Я" (разве уже само это заглавие недостаточно выразительно?) особенно в этом отношении характерна. С одной стороны, все стремление Фрейда здесь сводится к тому, чтобы бросить свет на сублимацию либидо, обуславливающую цементирование социальной группы и связанную с идентификацией с "шефом" (или с идеалом), воспроизводящей инфантильную идентификацию с личностью отца. Поэтому этот текст содержит метапсихологические размышления о природе и роли идентификации, о формировании "Сверх-Я" как инстанции, отличной от "внутреннего" Я и т. п. В другом же месте Фрейд прибегает к филогенезу, когда возникает задача объяснения функции архетипа, параметра, одновременно перманентного и коллективного, который оказывается, таким образом, связанным с отношением к Отцу.

Здесь, однако, мы вновь возвращаемся к проблеме гипноза. Если Фрейд так настойчиво подчеркивает десексуализированность отношений в гипнозе, то это происходит потому, что власть гипнотизера ему представляется опирающейся на подавление полового инстинкта, сходное с тем, которое наблюдается при функционировании общественных групп. С этой точки зрения, пишет он, гипноз это "une foule a deux" ("безумие вдвоем") [12, 156]. Как "шеф" гипнотизер олицетворяет собою проекцию на другого человека нарциссизма субъекта. В обоих случаях наблюдается своеобразное исчезновение "Я" - субъект отрекается от своих собственных либидинозных потребностей, чтобы полностью раствориться во внешней воле. В той мере, в какой здесь происходит своеобразное сплавление аффектов, возникает отношение любви, в .котором, однако, сексуальные тенденции, как говорит Фрейд, "задержаны", "отклонены от своей цели" [12, 139-140; 174].

Дело не в том, что сексуальный элемент не может проявляться в ситуации гипноза, а в том, что он не определяет ее специфику. Эта специфика основывается, для Фрейда, на отношении зависимости, которое с древних времен привязывает ребенка к образу отца. Таинственный характер гипнотического состояния, "абсолютный паралич воли" [12, 140], в котором загипнотизированный находится по отношению к гипнотизеру, объясняется, по Фрейду, тем, что подобное состояние это отзвук состояния, когда-то действительно испытанного и вошедшего в структуру филогенетического наследия. "Дело заключается в том, - пишет он, - что посредством своих процедур гипнотизер пробуждает в субъекте часть его архаического наследия, которое уже проявлялось в установке по отношению к родителям, особенно в представлении, создаваемом (субъектом) о его отце, как о личности всемогущей и опасной, по отношению к которой можно вести себя только пассивно и мазохистски, перед лицом которой надлежит полностью отказываться от собственной воли... Как нам известно по другим реакциям, способность оживлять эти архаические ситуации варьирует от одного индивида к другому" [12, 156].

Сказанное выше позволяет понять особый характер гипнотического состояния, соматические сдвиги, доходящие до пределов биологически возможного, которые гипноз провоцирует (сходство со сном, изменение чувствительности и т. п.). В этой связи можно заметить, что Фрейд становится в обсуждаемом тексте, неоспоримо, на сторону "этатистов" (*"Этатисты": рассматривающие гипноз как специфическое "состояние" ("etat") сознания, в то время как по мнению "антиэтатистов" речь идет при гипнозе лишь о простом "обучении"*). Он к тому же отчетливо поясняет в примечании: "соображения, развитые в этой главе, позволяют нам вернуться от концепции гипноза, которая была сформулирована Бернгеймом, к наивному, но более старому истолкованию" [12, 15]. Очевидно - к "этатистской" концепции, разделявшейся также школой Сальпетриера. Понятие "гипнотическое

состояние" употребляется Фрейдом в этом же примечании. Это не значит, что Фрейд отвергает присутствие фактора суггестии в гипнотических отношениях. Напротив, в "Психологии масс и анализе "Я"" этот фактор выдвигается на передний план, поскольку гипноз в этой работе выступает как модель абсолютной внушаемости, характерной, по Фрейду, для феномена группы. Однако, в отличие от Бернгейма, Фрейд не рассматривает внушение как проявление первичное и неразложимое. Внушение для него лишь описательное понятие, обозначающее психическое влияние, которое люди могут оказывать друг на друга. И если это влияние может иметь при гипнозе абсолютный характерно понять это можно, только допустив глобальное изменение сознания субъекта. Филогенетические гипотезы являются попыткой объяснить подобное изменение, используя язык антропологической теории, которую Фрейд в то время создавал.

Можно проследить маршрут, по которому следовал Фрейд. Вначале он поставил акцент на параметре отношений, возникающих в гипнозе. Тем самым он создал совершенно новую перспективу. Однако он не остался в рамках психологических интерпретаций, сформулированных Бернгеймом. Сводя, как и Бернгейм, в конечном счете гипноз к внушению, он, в отличие от Бернгейма, объяснял последний трансфером. Именно в этом заключается толкование, звучащее в большинстве текстов, в которых Фрейд (касается проблемы гипноза, - толкование, чаще всего приводимое его последователями.

Возникает, однако, вопрос: как объяснить изменения психофизиологического функционирования, которые выступают как наиболее поражающие особенности гипнотических феноменов? Если Фрейд испытал потребность вернуться к вопросу о гипнозе в "Психологии масс и анализе Я", то это произошло потому, что он чувствовал, что объяснение на основе трансфера недостаточно для раскрытия своеобразия природы гипнотических проявлений. Параметр трансфера не специфичен для гипноза. Его обнаруживают в любых психологически напряженных межличностных отношениях, особенно - в отношениях терапевтических. Когда Фрейд утверждает, что в условиях гипнотизации гипнотизер замещает для субъекта "идеал Я", он описывает тип отношений, наблюдаемых при общении и психоаналитика с его больным. Эти отношения не объясняют, однако, перехода к особому состоянию сознания, в котором заключается все своеобразие гипноза.

Апелляция к филогенезу содержит ответ на этот вопрос. Вводя понятие отношения к примитивному Отцу, Фрейд более, чем когда-либо, ставит акцент на параметре трансфера в гипнозе. Но вопрос сразу же переносится из области психологии в область физиологии, поскольку этот параметр представляет собою своеобразную врожденную предрасположенность - часть биологического наследия вида. Трансфер выступает здесь не только как повторение предшествующего психологического опыта, но и как возвращение к архаической фазе развития человека, зафиксированной в конституции субъекта. Речь идет в этом плане о глубоко своеобразном, психологически и физиологически, состоянии, способном реактивироваться под воздействием определенных факторов.

Тупик

Психическое и соматическое, психология коллективная и психология индивидуальная, сексуальное влечение и десексуализация, любовь и трансфер - отнюдь не случайно то, что мысль Фрейда, когда он размышляет о гипнозе, останавливается на наиболее темных и противоречивых понятиях психоаналитической теории. С этой точки зрения филогенетические гипотезы, при всей их абстрактности, их почти "научно-фиктивном" характере, остаются тем не менее исключительно интересными. Они подчеркивают, в частности, трудность для психоанализа объяснить интимную связь психического с соматическим, которая лежит в основе гипнотических феноменов. Высказывания Фрейда о "мистическом", загадочном характере гипноза указывают, что он хорошо осознавал хрупкость и парциальность своих интерпретаций. 148

Психоанализ полностью основывается на имплицитной гипотезе о фундаментальном единстве личности человека, рассматриваемой как психофизиологическая целостность. Ибо как можно иначе объяснить, что активность фантазмов может влиять на наиболее элементарные психофизиологические функции?, что вытесненное желание может вызвать паралич? Но, если Фрейду удалось в значительной степени осветить психологические механизмы, которые способствуют формированию клинической синдроматики, он не смог показать, на основе каких процессов эти механизмы преобразуются так, чтобы вызывать соматические эффекты. Он сам привлек внимание к этому вопросу. Говоря об истерической конверсии, в которой он видел основную модель подобного перехода психического в соматическое, он многократно подчеркивал, что психоанализ позволяет понять психологическое значение симптомов, но не механизм конверсии в его собственном смысле.

За тридцать лет, прошедших после смерти Фрейда, наши познания в этой области вряд ли по-настоящему увеличились. Вопреки развитию психосоматической медицины, мы до сих пор не знаем, каким образом

представление - безразлично, идет ли речь, как при истерии, о вытесненном желании или, как при гипнозе, об инструкции гипнотизера - преобразуется, чтобы найти свое выражение на соматическом уровне.

Заключение: от трансфера к гипнозу

"Мы должны сохранить чувство признательности к старой технике гипноза за то что она позволила нам распознать некоторые процессы психоанализа в их схематизированной и изолированной форме. Только это дало нам смелость создать более сложные ситуации и их понять", - писал Фрейд в 1914 году [11, 106]. Можно поставить вопрос: не следует не следует ли заменить эту фразу обратной? Мы полагаем, что, независимо от различных факторов которые Фрейд рассматривал как причину его отказа от техники гипноза, он, в действительности, предчувствовал, что гипноз предполагает существование отношений между психическим и соматическим, которые нельзя было раскрыть в научных понятиях его эпохи. Надо было освободиться от физиологии, чтобы свободно изучать психологический детерминизм. С этой точки зрения отказ от гипноза представлялся совершенно необходимым. Гений Фрейда проявился именно в ориентации только на психическую детерминированность, в изобретении техники, полностью основанной на интерпретациях, на речевой коммуникации, с полным исключением прямого воздействия на соматику. Это позволило предпринять грандиозную расшифровку нашей психической жизни и нашего культурного наследия, нашего поведения в рамках семьи, наших учреждений, наших мифов, наших языков, искусства, острот, сновидений, клинических симптомов и т. п. Эта работа по дешифровке приобретает сегодня необычайно широкий размах, с созданием моделей, движимых разными гуманитарными дисциплинами, в частности лингвистикой, социологией, литературной критикой... Несколько быть может, ускоряя оценку, допустимо сказать, что исследования здесь сосредотачиваются главным образом на вербальном уровне: даже в случае анализа сновидении, т. е. феномена, который глубоко связан с телом, психоаналитику приходится иметь дело не более, чем с рассказом, т. е. опять-таки с речью.

Остается гипноз, эта "неведомая земля". Его изучение позволит, возможно, лучше понять всю область невербального, аффективного, висцерального, которая ставит так много вопросов. Отнюдь не случайно, что понятие аффекта - одно из наиболее темных в психоанализе. Здесь обнаруживается скрытое лицо психического аппарата, в отношении которого гипнозу предстоит, быть может, сыграть роль другого "королевского" пути. Располагающийся, как и конверсия и феномены соматизации, на таинственном перекрестке психосоматики, гипноз имеет огромное преимущество быть доступным для эксперимента. Более глубокое понимание гипноза позволит, несомненно, в свою очередь лучше уяснить определенные аспекты терапевтических отношений, в которых параметр аффекта играет большую роль.

Резюме

Для многих психоаналитиков гипноз представляет собою не более, чем музейную редкость, устаревший феномен, сохраняющий интерес лишь поскольку он послужил отправной точкой фрейдовских открытий. Но придерживаться такого понимания значит упускать из вида, что психоанализ, хотя и позволил увидеть гипнотические явления в совершенно новом свете, далеко, однако, не разъяснил все их аспекты. Главное достижение Фрейда заключается в том, что он поставил акцент на параметре межличностных отношений в гипнозе. Однако сам Фрейд подчеркивал в 1921 г., что этот аспект отношений остается для него в значительной степени загадочным. Объяснение на основе трансфера не позволяет понять связи между психическим и соматическим, являющейся специфической стороной гипноза. Касаясь этой связи, мы оказываемся у пределов психоаналитической теории. Теория эта полностью основывается, имплицитно, на (представлении о фундаментальном единстве человеческой личности, образующей нерасчленимую психофизиологическую целостность. Однако тридцать лет спустя после смерти Фрейда мы все еще не понимаем, как психическое представление находит свое отражение в соматическом плане. С этой точки зрения гипноз обладает, как область исследования, особыми преимуществами: он не только оказывается, как и феномены конверсии и соматизации, на таинственном перекрестке психосоматических отношений, но и открывает ценные возможности для экспериментирования. Исследования в области гипноза имеют поэтому исключительную важность для познания нами аппарата психики.

Bibliographie

1. Chertok, L. (1968), La decouverte du transfert. Essai d'interpretation epistemologique. In : Revue Fran?aise de Psychanalyse. (1968), tome 32. n° 3, pp. 503-530.

2. Chertok, L. (1969), Freud a Paris. Etape decisive. Essai psychobiographique. In: Evolution Psychiatrique. (1969), tome 34, n° 4, pp. 733-750.

3. Chertok, L. (1970), Sur l'objectivite dans l'histoire de la psychanalyse. Premiers ferments d'une decouverte. In: Evolution Psychiatrique (1970), n° 3, pp. 537-561.

4. Chertok, L., Saussure, R. de (1973), Naissance du Psychanalyste. De Mesmer a Freud. Paris, Payot. 1973.

5. Chertok, L. (1972), Guiproz. Medguiz, Moscou.

6. Freud, S., (1888), Preface a Bernheim. Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Leipzig und Wien, Deuticke (1888). pp. III-XII.

7. Freud, S. (1893) Quelques considerations pour une etude comparative des paralysies motrices organiques et hysteriques. Archives de Neurologie, XXVI. pp. 29-43 (In: G. W. 1. 38-55)

8. Freud, S. (1905), Trois essais sur la theorie de la sexualite. Paris. Idees, Gallimard. 1972.

9. FREUD, S. (1912), La dynamique du transfert. In: Technique psychanalytique. Paris, P. U. F., 1953, pp. 50-60.

10. FREUD, S. (1913). Totem et Taboi. Paris. Petite Bibliotheque. Payot. 1972.

11. Freud, S. (1914). Rememoratioi. repetition et elaboration. In: Technique psychanalytique. Paris. P. U. F., 1953, pp. 105-115.

12. Freud, S. (1921), Psychologie collective et analyse du moi. In: Essais de Psychanalyse. Paris. Payot. 1972, pp. 83-176.

13. Freud, S. (1923). Le moi et le ca. In : Essais de Psychanalyse. Paris. Payot. 1972. pp. 1677-234.

14. Freud, S. (1923). Kurzer Abriss der Psychoanalyse. G. W. 13. pp. 403-427.

15. Freud. S. (1925). Ma vie et la psychanalyse. Paris. Idees. Gallimard. 1972.

16. Gill, M. (1972). Hypnosis as an altered and regressed state. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (October 1972), vol. 20, n° 4. pp. 224-237.

17. Jones, E. (1953-'58), La vieet l'oeuvre de Sigmund Freud. Tome 1. Paris. P. U. F., 1958.

18. Kubie L. (1972), Illusion and reality in the study of sleep, hypnosis, psychosis and arousal. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (October 1972). vol. 20. n° 4. pp. 205-223.

81. Сверхмедленные колебания потенциалов головного мозга как объективный показатель гипнотического состояния. Н. А. Аладжалова, С. Л. Каменецкий, В. Е. Рожнов

Институт психологии АН СССР, Институт неврологии АМН СССР. Центральный институт усовершенствования врачей, Московская городская психиатрическая больница № 12, Москва

Современное учение о гипнозе переживает определенный критический момент [12, 15]. С одной стороны, гипноз привлекается для исследования закономерностей психической деятельности человека как в норме, так и при патологии, глубокие стадии гипноза используются для изучения бессознательных психических процессов, растет интерес к терапевтическому применению гипноза [10, 11]. С другой стороны, до сих пор остро стоит вопрос о том, существует ли гипноз как специфическое физиологическое состояние или все гипнотические феномены можно объяснить только внушением. Эта проблема, которая ведет свое начало от старого спора Шарко и Бернгейма, дискутировалась и на последнем конгрессе по гипнозу, проходившем в США в 1976 году.

И. И. Павлов и его последователи, исходя из учения о высшей нервной деятельности, создали физиологическую концепцию гипноза- как частичного по глубине и локализации сна, основой которой является торможение коры больших полушарий при одновременном наличии локального очага возбуждения, обеспечивающего раппорт. Однако предпринятое в дальнейшем электроэнцефалографическое изучение гипноза не

подтвердило взгляда на гипноз как на частичный по глубине и локализации сон. В то время как ЭЭГ сна носит специфический характер и отражает механизмы, участвующие в осуществлении: у того состояния, история электроэнцефалографического изучения гипноза насыщена самыми противоречивыми данными. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что типичной картины ортодоксального сна при гипнозе нет, хотя при статистической обработке выявляются определенные изменения ЭЭГ, отличающие гипноз от бодрствования. Недостаточность электроэнцефалографических критериев гипноза укрепляет позиции тех авторов, которые активно отрицают гипноз как физиологическое состояние [13].

Все это подчеркивает важность разработки новой методики изучения гипноза, которая могла бы дать объективные критерии гипноза и способствовала бы вскрытию физиологических механизмов гипнотического состояния. Без этого нельзя по-настоящему поставить и теоретически важную проблему изучения физиологических основ бессознательных психических процессов, наблюдаемых в гипнозе [10, 11].

Поскольку классическая электроэнцефалография не показывает существенных сдвигов при гипнозе, а лишь говорит о незначительном 162 урегулировании альфа-волн [14]и о некотором усилении бета-активности [16], мы сочли необходимым изучить другой биоэлектрический показатель мозговой деятельности - сверхмедленные колебания электрического потенциала (СМКП) мозга [1, 2], занимающие область частот между суточными ритмами и ритмами ЭЭГ.

СМКП подразделяются по их периодам на секундные, декасекундные, минутные, декаминутные и часовые. Основные закономерности динамики СМКП были установлены с помощью электродов, вживленных в мозг животного [1]. Была выявлена связь СМКП с высшей нервной деятельностью животных, с активностью гипоталамуса и миндалевидного образования [1]; при помощи статистических методов была доказана связь между СМКП и ЭЭГ, между ними же и импульсной активностью нейронов [9]. Анализ этих и других данных позволил сформулировать гипотезу о влиянии СМКП на более быстрые формы активности, проявляющиеся в ЭЭГ, и об особой роли СМКП в процессах регуляции функционального состояния мозговых структур. Некоторые закономерности в изменениях параметров СМКП близки к закономерностям изменения ЭЭГ, однако особенностью СМКП является их выраженная межполушарная асимметрия. В разных областях конвекситальной поверхности головы в один и тот же момент могут проявляться неодинаковые по частоте и амплитуде СМКП. Эта динамика меняется в зависимости от психической активности, причем характер распределения не является стабильным, он изменчив даже при повторном предъявлении одной и той же психологической нагрузки. СМКП отражают, по-видимому, еще мало нам известные глобальные процессы, объединяющие активность нервных элементов в более крупную динамическую организацию, чем та, которая отражается в ЭЭГ.

Спектр нормальных СМКП у человека был выявлен путем их регистрации и анализа у 72-х здоровых испытуемых в возрасте от 20-ти до 50-ти лет [5].

Задача настоящей работы заключалась в выявлении отличия СМКП в глубоком гипнозе от их состояния в условиях спокойного бодрствования и анализ этих же показателей при переходе от состояния спокойного бодрствования в устойчивое гипнотическое состояние.

Методика

Было проведено 50 исследований гипнотического состояния у 15 больных неврозами (женщин, в возрасте от 22 до 46 лет), которым по клиническим показаниям проводилась гипнотерапия и которые обнаружили высокую гипнабельность. Регистрацию СМКП начинали, когда у "больных было состояние спокойного бодрствования, за 15-20 мин. до начала погружения в гипноз, и далее вели непрерывно на всем протяжении гипнотического сеанса, то есть в течение 30-35 мин., а затем еще 20 мин. после дегипнотизации. О наступлении гипноза судили по клиническим признакам, в частности по наличию каталепсии. Регистрацию СМКП производили с конвекситальной поверхности головы с помощью биполярных отведений с лобных, височных и затылочных областей каждого полушария. Собственная разность потенциалов между электродами не превышала 300 мкв. Регистрацию вели на 8-канальном усилителе постоянного тока (0-0,5 гц) с помощью перьевого регистратора (скорость 76 мм в 1 мин.).

Для контроля одновременно с СМКП регистрировался кожно-гальіваничеокий потенциал с ладонной и тыльной сторон кисти. Теоретическое обоснование возможности регистрации СМКП с кожных покров головы без грубо искажающего влияния кожных потенциалов было получено нами ранее [8].

Результаты

Опишем динамику изменений СМКП на конвекситальной поверхности головы человека пои состояниях спокойного бодрствования, сомноленции и при погружении в гипнотический сон. Специально остановимся на фазе переходной от сомноленции к собственно гипнозу.

Бодрствование. По данным Н. А. Аладжаловой с соавторами [5], в состоянии спокойного бодрствования в сверхмедленном диапазоне выделяются в условиях нормы две полосы частот: 6-8 кол/мин при амплитуде 0,05-0,1 мв и 1-1,5 кол/мин при амплитуде 0,08-0,15 мв. Первая присутствует в 73% случаев, вторая - в 27%, остальные частоты выражены менее чем в 10% случаев и объясняются неконтролируемым сдвигом уровня бодрствования. Одновременно в разных отведениях могут быть представлены разные частоты СМКП. Эта картина, характерная для бодрствования, наблюдалась и у наших пациентов. Отличие от здоровых испытуемых отмечалось главным образом в реакциях СМКП на новую обстановку.

Сомноленция. Легкая сонливость и сензорное ограничение, которые возникают в этом состоянии, приводят к распространению по полушариям мозга однородных СМКП - колебаний потенциала с частотой 1,5-2 кол/мин (Т=30-40 сек). Эти колебания неустойчивы - они появляются и исчезают то в одном отведении, то в другом. Подобная картина СМКП наблюдается также в фазе дремоты, предшествующей нормальному сну [6]. Исследуемых больных по продолжительности стадии сомноленции и быстроте наступления устойчивого гипнотического состояния можно было разделить на 2 группы. Первую группу составляли больные, у которых устойчивое гипнотическое состояние наступало вскоре после начала внушения (через 3-5 мин) и стадия сомноленции соответственно была укорочена. У больных второй группы устойчивое гипнотическое состояние развивалось в течение 10-15 мин от начала внушения и сомноленция была более продолжительной. Это различие нашло отражение в динамике СМКП при переходе от бодрствования к гипнозу, о чем подробнее будет сказано ниже. В некоторых областях мозга при сомноленции появляются многоминутые колебания потенциала с Т=2-4 мин., А=0,5-0,8 мв., свойственные переходам уровня бодрствования. Такое усиление минутной активности наблюдалось в тех случаях, когда удавалось достигнуть особого глубокого гипнотического состояния.

Устойчивое гипнотическое состояние. Главной особенностью этой стадии является возникновение в одном-двух отведениях колебаний с периодом 12-20 сек, то есть декасекундного ритма 3-5 кол/мин, не свойственного ни спокойному бодрствованию, ни сиу. У ряда больных этот ритм изменчив и проявляется то в одном, то в другом отведении; у других (чаще у тех, которые переходят в состояние сомнамбулизма) этот дека секундный ритм более устойчив и наблюдается на протяжении всего глубинного гипнотического состояния. Особой регулярности декасекундный ритм достигает в лобных областях, где амплитуда его увеличивается до 0,3 мв (обычно декасекундный ритм имеет амплитуду 0,1-0,2 мв). Более того, попытка вывести из гипноза может не увенчаться успехом, если в этот момент в обеих лобных областях наблюдаются регулярные высокоамплитудные декасекундные колебания потенциала. С повторением приказа к пробуждению этот ритм постепенно разрушается, и только тогда выход из гипноза облегчается.

Сомнамбулическое состояние характеризуется доминированием такого же декасекундного ритма, который, однако, в некоторых отведениях чередуется с низкоамплитудными секундными колебаниями повышенной частоты (Т=6 сек). Последний ритм обычно сопутствует напряженной умственной деятельности.

Момент перехода в устойчивое гипнотическое состояние. Особое внимание привлекает период длительностью в несколько минут, который лежит между сомноленцией, когда собственно гипноза еще нет, но существует готовность к нему, и устойчивым гипнотическим состоянием. По мере развития сомноленции и сопутствующего ей распространения по полушариям ритма частотой 1,5-2 кол/мин внезапно наступает момент резкого изменения СМКП. У больных второй группы, с растянутым периодом развития гипнотического состояния, этот момент продолжался до 3-х минут, у больных первой группы, с быстрым погружением в гипноз, 1-2 минуты. При этом иногда регистрировались быстрые движения глазных яблок. После этого момента всегда четко выявляется спонтанная гипнотическая каталепсия и другие признаки устойчивого гипнотического состояния. На первом рисунке отражен момент такого резкого перехода в устойчивое гипнотическое состояние. Как главный признак переходного мо-мента выделяется внезапное образование в плавном ходе кривой СМКП "зубчатого вала" ("скачка") или сдвига потенциала длительностью в несколько минут и амплитудой в несколько милливольт. Несмотря на такой значительный сдвиг потенциала в одном из отведений, в других отведениях в это время сдвига уровня потенциала может и не быть, или же он может быть смещен по времени появления в пределах минуты. Такой "вал" наблюдался нами в 38 случаях, причем чаще (80%) и височных отведениях с правого и реже с левого полушарий. В 20% случаев "вал" возникал в лобных областях. На фоне "вала" рельефно выступает короткая серия регулярных секундных колебаний с периодом в 5 сек и амплитудой 0,1-0,5 мв. В конце этого переходного момента

или даже в середине его в том или ином отведении появляются декаеекундные колебания потенциала, характерные для устойчивого глубокого гипнотического состояния.

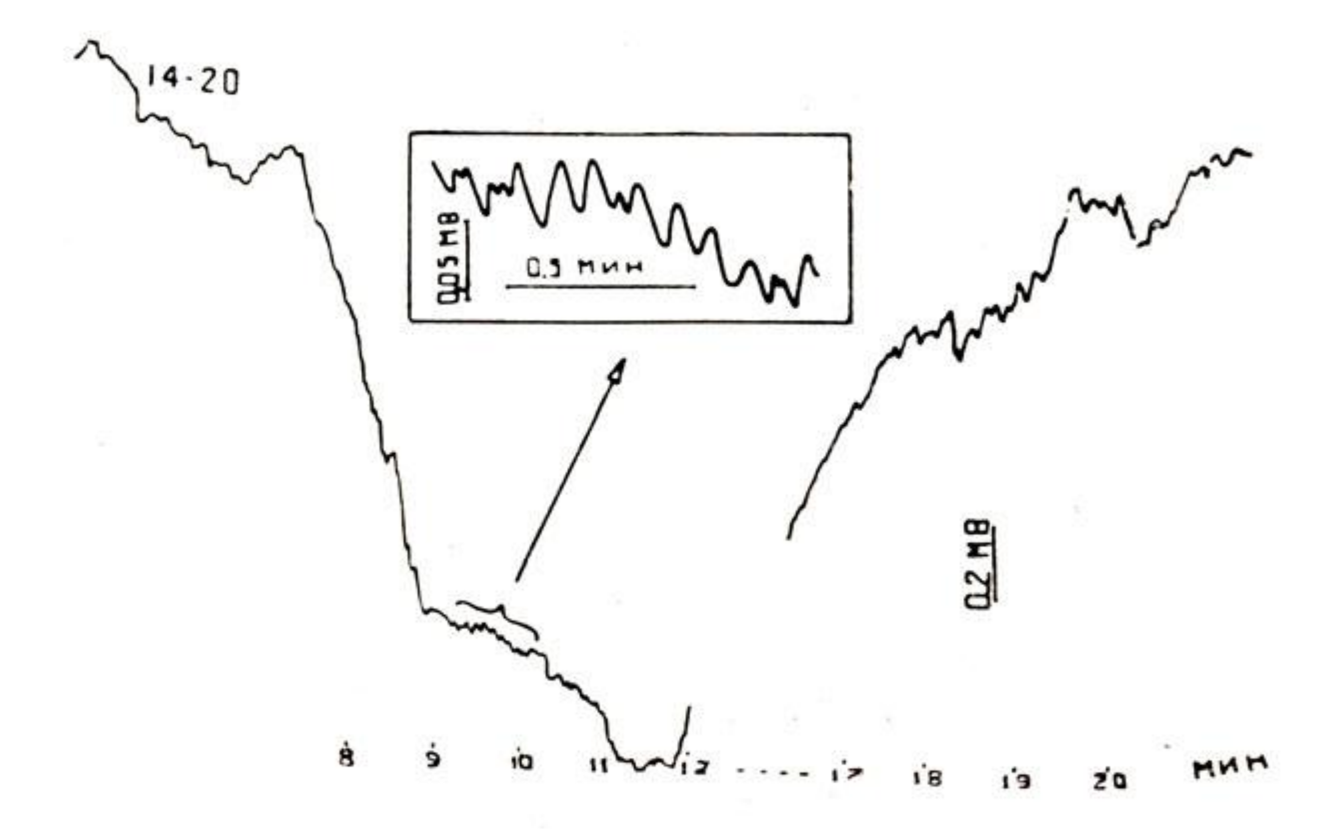


Рис. 1. Минутный 'вал' потенциала и серия секундных волн в височно-теменном отведении в момент перехода от сомноленции в гипноз. В рамке в другом масштабе времени показана короткая серия секундных колебаний, возникшая на 9-ой минуте. По оси абсцисс - зремя от начала расслабления. По вертикали - 0,2 мв

Таким образом, в результате исследования оказалось возможным определить качественные особенности изменения СМКП мозга по мере развития гипнотического состояния и представить их схематически (рис. 2). Следует отметить, что все описанные выше проявления СМКП весьма изменчивы, "могут обнаруживаться то в одном, то в другом отведении и быть выраженными с разной степенью интенсивности и отчетливости. Нельзя начертить жесткую схему этих изменений, можно обрисовать лишь их характерный контур.

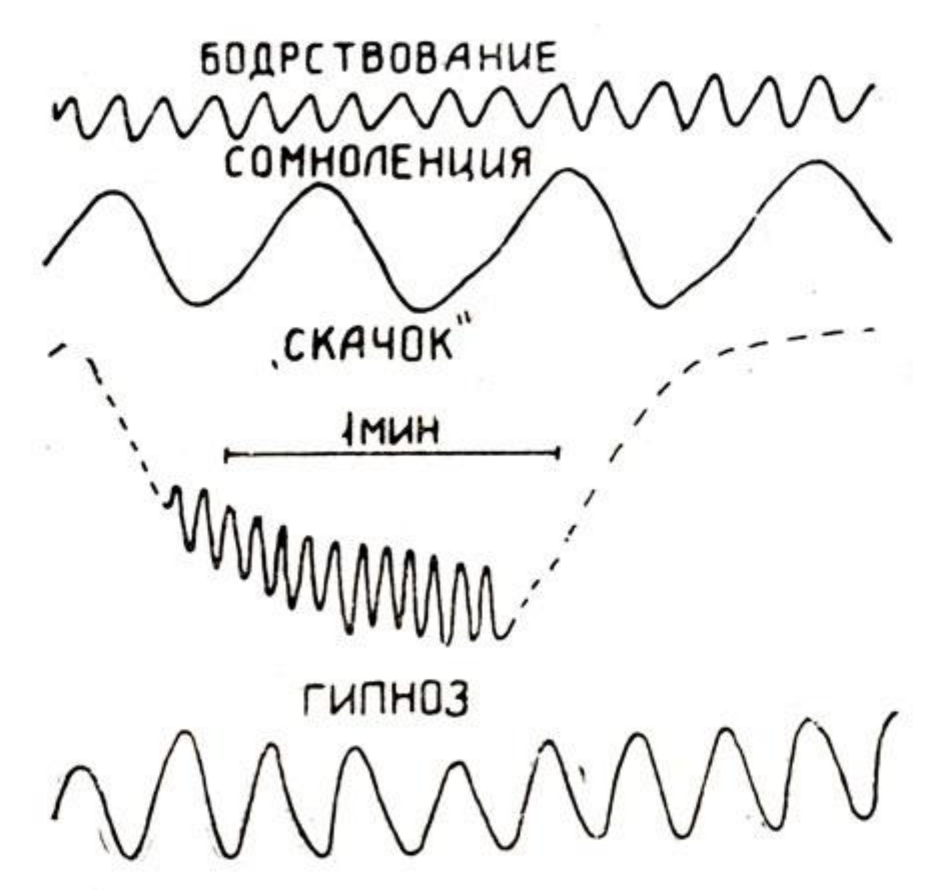


Рис. 2. Динамика саерхмедленных колебаний потенциалов мозга человека в процессе гипноза, представленная схематически: 1) спокойное бодрствование - 8 кол/мин; 2) - сомноленция - 2 кол/мин; 3) переход в глубокий гипноз - минутный 'вал' и ритм 16 кол/мин; 4) глубокий гипноз - декасекундный ритм 3-5 кол/мин. Шкала времени - 1 мин

Обсуждение

Картина СМКП в глубоком гипнозе, несомненно, отличается от сверхмедленной активности в спокойном бодрствовании и в стадии гипнотической сомноленции. Специфическую особенность глубокого гипноза составляет декасекундный ритм. По нашему мнению, декасекундные колебания потенциалов отражают своеобразное функциональное "состояние мозга, способствующее восприятию гипнотических внушений [3, 4]. В (положительной и отрицательной фазах колебаний могут "создаваться различные условия для функционального взаимодействии определенных образований мозга с другими образованиями. Например, можно выявить соответствие между фазой декасекундного колебания потенциала и характером импульсной активности нейрона (в эксперименте на коре кошки). Компьютерное (моделирование [7] показало, что подобное соответствие между фазой сверхмедленной волны и структурой импульсного потока может отражать локальные особенности восприятия информации нейронным ансамблем: в одной фазе возникает возможность восприятия информации по многим каналам связи, то есть возможность умножения, расширения функциональных связей, в другой - облегчается распространёние информации лишь по одному определенному пути, однако с более высокой надежностью.

Таким образом, декасекундный колебательный процесс, характеризующий гипнотический сон, отражает периодическую смену состояний, с одной стороны, способствующих расширению неустойчивых функциональных связей, с другой - стабилизирующих некоторые "стержневые" связи. В гипнотическом сне способность к расширению функциональных связей проявляется в той легкости, с которой у загипнотизированного под влиянием внушения образуются психические образы, часто противоречащие реальности. Однако чрезмерное расширение функциональных взаимодействий ограничивается другими механизмами, контролирующими функцию "стержневых" функциональных связей.

Подтверждением того, что декасекундные ритмы действительно имеют отношение к феномену гипносуггестии служит их усиление при внушенном галлюцинировании в фазе сомнамбулизма. Своеобразие сомнамбулического состояния проявляется в сочетании специфического для глубокого гипноза декасекундного ритма с секундным ритмом повышенной частоты, который отражает активность субъекта, возникающую при напряженном слежении

за сигналом. Напрашивается связь этого обстоятельства с тем, что, в отличие от пассивной подчиненности в стадии каталепсии, сомнамбулизм предполагает возможность "творческой" переработки информации, исходящей из гипнотизирующего, проявление таких бессознательных психических актов, для которых нужно не только слежение за указаниями гипнотизирующего, но и их активная личностная переработка. Переход от сомноленции в глубокое гипнотическое состояние не является монотонным, он характеризуется, как уже (было подчеркнуто, внезапной трансформацией СМКП: в одном из отведений внезапно возникает скачкообразный сдвиг уровня потенциала в виде "вала" - короткой серии секундных колебаний повышенной частоты (Т=5 сек). Таким образом, на фоне плавно углубляющейся сонливости, релаксации, сенсорного ограничения внезапно, толчком и на короткое время активизируются механизмы мозговой деятельности, которые должны, по-видимому, обеспечивать наступление собственно гипнотического устойчивого состояния. Этот момент является критическим, пусковым для развития гипноза и длится лишь несколько минут. Создается впечатление, что в этот момент "запуска" гипнотического состояния срабатывает некий триггер,ный механизм, включающий процесс, необходимый для перехода в гипнотическое состояние. Подобный триггерный механизм, возможно, играет принципиальную роль в обеспечении перехода от психического состояния одного типа к психическому состоянию другого типа. Резкая трансформация СМКП в этот момент отражает деятельность такого триггерного механизма.

Таким образом, на основании анализа транформаций СМКП, выявляющего в общей форме активность определенных механизмов функционирования мозга, можно прийти к выводу, что гипноз человека является особым физиологическим состоянием. Специфической особенностью гипноза является особая форма усвоения и переработки информации, не свойственная ни сну, ни бодрствованию. В становлении этой активности важное значение имеет определенный кратковременный момент, который служит выражением перестройки работы мозга с одного режима на другой под влиянием целенаправленно организованного психологического фактора.

Изучение картины СМКП при гипнозе позволяет, следовательно, установить важные объективные корреляции между физиологическим состоянием мозга и протекающими при этом психическими процессами, находящимися за пределами сознательной оценки.

82. Анализ гипнабельности при истерии в свете теории бессознательной психологической установки. А. С. Каландаришвили, С. Л. Каменецкий

Московская психиатрическая больница № 12

Вопрос о природе так называемой гипнабельности, т. е. восприимчивости к гипнозу, является одним из центральных во всей проблеме гипноза. Этот же вопрос повседневно встает в практике психотерапевта при работе с больными, которые рассчитывают на гипноз как на лечебное средство, но оказываются негипнабельными или, наоборот, высказывая скептическое отношение к гипнозу, впадают, будучи подвергнуты гипнотической процедуре, в глубокое гипнотическое состояние. Отсутствие корреляции между сознательно высказываемым отношением к гипнозу и восприимчивостью к гипнозу - факт, хорошо известный клиницистам, - свидетельствует о том, что в феномене гипнабельности играют роль факторы, находящиеся за пределами сознательной оценки субъекта, и они не всегда в достаточной мере учитываются психотерапевтом.

В клинике эмпирически сложился взгляд на гипнабельность как на некое, чуть ли не врожденное, свойство человека, во всяком случае, как на определенную личностную черту. Иногда подчеркивают восприимчивость к гипнозу как определенный клинический симптом. Так, говорят о малой гипнабельности людей с психастеническими и шизоидными чертами, повышенной гипнабельности больных алкоголизмом и травматиков. Но эти данные носят скорее характер впечатления, чем обоснованного суждения. Естественно, что в работах по гипнотерапии или физиологии гипноза, выполненных на больных алкоголизмом, автоматически исключались лица недостаточно гипнабельные. Точка же зрения о малой восприимчивости к гипнозу людей с психастеноидными и шизоидными чертами настолько укоренилась, что, насколько нам известно, никто не пытался ее обосновать статистическими исследованиями.

По данным Л. Шертока [19], при изучении личности гипнотизируемого не было выявлено неоспоримых критериев, определяющих степень гипнабельности. Проводились попытки определить в процентах гипнабельность людей, но результаты оказались противоречивыми.

Особое место занимает проблема взаимоотношения истерии и гипнабельности. Со времен Ж. Шарко [181 гипноз тесно связывался с проблемой истерии и даже проводилось тождество между сомнамбулизмом и истерическим расстройством сознания, но под влиянием клинической практики эти взгляды трансформировались настолько, что стали говорить об абсолютной негиннабельности больных с выраженной истерической

симптоматикой. Л. Шерток [19], опираясь на собственный опыт и данные литературы [20], приходит к выводу, что здоровые люди 170 легче гипнотизируются, чем больные неврозом, а среди последних наиболее гипнабельны больные истерией, но они менее гипнабельны, чем здоровые.

Практическое значение правильного понимания взаимоотношений между истерическим неврозом и восприимчивостью к гипнозу не вызывает сомнений, так как, несмотря на разные взгляды, принято считать гипноз наиболее адекватным психотерапевтическим методом лечения истерии. Представляется перспективным также теоретическое изучение роли бессознательных психических процессов на модели "истерический невроз - восприимчивость к гипнозу".

Целью нашей работы является анализ проблемы истерического невроза во взаимоотношении с гипнабельностью с точки зрения теории бессознательных психических процессов, участвующих в формировании истерии и определяющих эффективность или неэффективность гипнотерапии. Обсуждая эти вопросы, мы исходим из того, что гипноз существует как особое физиологическое состояние. В опытах по изучению сверхмедленных колебаний потенциала головного мозга при гипнозе[2] были подмечены электрофизиологические феномены, анализ которых выявляет специфический характер мозговой активности при гипнозе. Но физиологический подход оставляет в стороне вопрос о том, почему в том или ином случае, у той или иной личности возникает или не возникает этот особый режим мозговой деятельности. Этот подход ослабляется также известным кризисом, который переживает сейчас нейрофизиология гипноза, основывающаяся на классической павловской теории сна как разновидности торможения. Электроэнцефалографическое изучение гипноза, несмотря на противоречивые результаты, с несомненностью свидетельствует, что во всяком случае типичной картины сна при гипнозе нет [22; 23]. Но даже если бы физиология гипноза носила характер строгой, законченной теории, ее приложение к такой социально-биологической проблеме как истерия, затрагивающей сложнейшие вопросы сознания и бессознательного психического в целостной системе отношений человека с общественной средой, вряд ли могло дать удовлетворительный результат.

Психоаналитическая концепция рассматривает гипноз как один из вариантов влюбленности, где наблюдается "то же смиренное подчинение, уступчивость, отсутствие критики, как и по отношению к любимому объекту. Гипнотическая связь есть неограниченная влюбленная самоотдача, исключающая сексуальное удовлетворение, в то время как при влюбленности таковое оттеснено лишь временно и остается на заднем плане как позднейшая целевая возможность" [12]. Незаслуженно разочаровавшись в гипнозе как методе лечения неврозов, Фрейд не терял интереса к нему при обсуждении социально-психологических проблем. Фрейд привлекал явления гипноза и внушаемости для объяснения "принудительного характера массообразования", которое, по его мнению, сходно по своему характеру с процессами, происходящими в первобытной орде. "Гипноз, - писал Фрейд [12], - по праву может быть назван "массой из двух". Внушение же можно определить как убеждение, основанное не на восприятии и мыслительной работе, а на эротической связи". Этот заостренный интерес к гипнозу как социальному явлению мог бы заполнить существенный недостаток сугубо физиологического подхода к гипнозу, однако рассмотрение социальных проблем гипноза с фрейдистских позиций несет на себе отпечаток неприемлемости фрейдистской социологии вообще.

Бихевиористская формула однозначности зависимости между раздражителем и типом реакции менее всего применима при анализе проблемы гипнабельности. Гипнабельность служит лучшей, пожалуй, моделью для демонстрации несостоятельности бихевиористского подхода. Возрожденная в повой редакции Барбером [17] теория Халла [21] о гипнозе как генерализованной сверхвнушаемости, выглядит довольно последовательно при рассмотрении вопроса о механизмах возникновения гипнотического состояния, но совершенно не может объяснить, почему оно в одном случае (возникает, а в другом нет. Критикуя бихевиористскую формулу, Г. Олпорт [16] показывает, что каждый индивидуум по-своему реагирует на идентичные раздражители, проявляя активный, творческий подход, связанный со сложными психологическими механизмами человеческой деятельности, позициями и мотивациями.

Школа психологов [7; 11; 13; 14; 15], основанная Д. Н. Узнадзе, при рассмотрении вопросов поведения личности, ее реакций на раздражители, на изменение окружающей среды особое внимание уделяет психологической установке как состоянию бессознательной предуготованности к тому или иному типу реакции, которое возникает как результат предыдущего опыта реагирования и, несмотря на свою неосознаваемость и непереживаемость, влияет на осознаваемое поведение и переживания личности: "Все поведение, как бы и где бы оно ни возникло, определяется воздействием окружающей действительности не непосредственно, а прежде всего опосредованно, - через целостное отражение этой последней в субъекте деятельности, т. е. через его установку" [11]. И. Т. Бжалава [7] отмечает, что рассматриваемое психологией установки опережающее отражение действительности "представляет собой универсальное явление жизни, которое определяет все формы: приспособительного поведения живого". Физиологические аспекты этого явления нашли свое выражение в теории физиологии активности, разработанной Н. А. Бернштейном [5; 6] и П. К. Анохиным [3].

Нам представляется целесообразным рассмотреть проблему восприимчивости к гипнозу при истерическом неврозе с точки зрения бессознательной психологической установки.

В настоящее время сложилось представление об истерическом неврозе как социально-биологической проблеме. Основным механизмом, который формирует истерический невроз и поддерживает его существование, является конфликт между притязаниями личности и невозможностью удовлетворить эти притязания, так как они входят в противоречие с требованиями среды, общественными интересами [9; 10]. Из сферы социальной в сферу медицины этот конфликт переходит в результате того, что личность для отстаивания своих интересов бессознательно выбирает позицию психологической защиты, которая носит иногда патологический характер и проявляется в виде того или иного болезненного симптома [4]. Для истерии характерно, что активную роль в конфронтации со средой играет сам больной с его не находящими реализацию притязаниями. Характерно также, что выгодность, желательность болезни, как и психогенная ее природа, не осознаются больным, его поведение не является сознательно мотивированным, а диктуется бессознательно существующей предопределенностью реакций, т. е. бессознательной психологической установкой. Драма при истерии заключается в том, что установки у больного носят ригидный характер, мешают тонко, дифференцированно реагировать в соответствии с требованиями среды, деформируют реакцию на среду. В самой структуре установок больного истерическим неврозом заключен внутренний конфликт. Если рассматривать потребность как субъективный фактор, а внешнюю среду как объективный фактор возникновения установки [7], то можно отметить, что при истерии потребность гиперболизируется до степени невыполнимых притязаний и тем самым деформирует социальные взаимоотношения. Когда говорят о "первосигнальности истерика", его "художественной, чувственной натуре", то за этим стоит бескомпромиссное, эгоистическое стремление удовлетворить свои потребности. которое приводит к противоречию с социальными нормами. Болезнь примиряет этот конфликт, выход из болезни чреват его обострением. Болезнь - это временное примирение на патологическом уровне, которое заводит личность в поведенческий тупик, т. к. часто обостряет конфликт между теперь уже больным индивидуумом и требованиями, которые ему предъявляет среда. Такова диалектика истерического существования.

Можно ли без учета вышеизложенного рассматривать проблему гипнабельности при истерии? Нам кажется правильным рассматривать эту проблему, перенеся акцент с биологических свойств личности на систему психологических установок, определяющих поведение больных истерией, их отношение к самим себе и к окружающему миру.

В течении истерического невроза можно выделить несколько стадий или периодов:

1. Период формирования истерического симптома по механизму конфликта между притязаниями личности и требованиями среды и завоеванию желаемого места в среде при помощи болезни.

2. Период стабильного существования истерической симптоматики и достижение определенного уровня притязаний при помощи болезни.

3. Обострение конфликта на новом уровне и в другом качестве между истерической личностью и средой.

4. Разрешение вторично сформированного в результате болезни конфликта либо через а) углубление истерической симптоматики, ее стабилизацию (т. е. истерическое развитие личности), либо через б) выздоровление, как бы избавление от потерявшей условную выгодность и заведшей в тупик истерической симптоматики.

В период формирования истерического невроза в сложной иерархии установок, определяющих деятельность индивидуума, выступает на передний план ригидная актуальная установка, которая, несмотря на сопротивление среды, стремится к реализации определенной потребности. Невозможность удовлетворить эту потребность ведет, однако, не к сознательному отказу от такого удовлетворения, а в силу ригидности установки как программы поведения - к бессознательному привлечению болезненного симптома для удовлетворения если не самой потребности, то хотя бы своеобразной "эрзац-потребности".

Этот механизм стабилизируется в период устойчивого существования истерической симптоматики, которая в известной мере устраивает больного, так как создает возможность для достижения определенного уровня его притязаний. Это тот период заболевания, когда выздоровление не желательно, ибо оно вновь поставит личность перед неразрешимым конфликтом. Больной "цепляется" за истерическую симптоматику, и мы видим в клинике, что нет такого средства, которое снимало бы ее. Применение гипнотерапии в этой стадии болезни наталкивается на негипнабельность больного, которая совершенно не зависит от того, каково сознательное отношение больного к гипнозу. При анализе 68 больных истерическим неврозом, которые оказались негипнабельными, мы во всех

случаях могли отметить неразрешимость конфликта между притязаниями личности и средой и в связи с этим крайнюю "невыгодность" для больного выздоровления на этом этапе.

Затяжной конфликт и личностные особенности могут повлечь за собой длительное истерическое существование, стабилизацию симптоматики, которая приобретает настолько терапевтически резистентный характер, что оказывается полностью вне сферы гипнотерапии. При этом бывает очень трудно проследить связь между психогенным конфликтом и болезненным симптомом.

Но в большинстве случаев истерическое существование само по себе не протекает бесконфликтно. Оно, напротив, создает новые проблемы ©о взаимоотношениях больного со средой, и определенное равновесие, достигнутое ранее (истерическая адаптация), нарушается. Это обстоятельство служит залогом выхода из истерического существования, т. к. нарушает относительный комфорт, который был ранее достигнут. Чаще выход из конфликтной ситуации происходит на компромиссной основе: больной получает некоторые привилегии и в то же время снижается уровень его притязаний по отношению к среде. Происходит переключение с первоначальной ригидной, жесткой, практически нереализуемой программы действий, определявшей систему мотивов поведения, на установки, при которых имеется возможность адекватного удовлетворения потребностей.

Этот важный механизм лежит за пределами сознательных оценок, внешне же возникает картина выздоровления от болезни. Психогенные механизмы невроза исчерпаны, больной готов к выздоровлению, истерический симптом теперь уже тяготит его, дезадаптирует в среде. Возникает потребность в терапии и, главным образом, в гипнотерапии.

Проводимая на этом этапе гипнотерапия, как правило, оказывается успешной, в большинстве случаев больные оказываются гипнабельными, а если гипнабельность и не очень выражена, терапевтический эффект всегда высок. Мы проанализировали 70 историй болезни больных истерией, которые выявили высокую гипнабельность и дали хорошие результаты в процессе терапии, во всех случаях их психогенный конфликт был разрешен.

Нельзя, однако, считать, что гипноз нужен только как удобный повод для выхода из истерического невроза. По-видимому, в этой стадии болезни возникает определенная потребность в гипнозе, которая, конечно, не носит характера потребности физиологически необходимой, а скорее относится к кругу потребностей, со времен Эпикура определяемых как "природные, но для жизни не необходимые".

Возникновение неосознаваемой психологической установки на гипноз оказывает, таким образом, непосредственное и глубокое влияние на гипнабельность. Но до тех пор, пока положительная установка на гипноз не исключит мотивы поведения, противоречащие даваемым в гипнозе, покой, легкая дремота еще не будут обусловливать гипнотического эффекта. Под влиянием положительной установки на гипноз бессознательно срабатывает механизм, исключающий поведение, противоречащее этой установке. Именно тогда, когда будет подавлен, отпадет под влиянием этой установки последний мотив, определяющий контроль за своим поведением, наступает гипнотическое состояние, при котором вербальная информация, поступающая от психотерапевта, воспринимается без критики. В опытах с регистрацией сверхмедленных колебаний (Мозговых потенциалов в гипнотическом состоянии [1] показано, что такое состояние возникает резко, скачком и сопровождается режимом работы мозга, в котором происходит строго избирательное усвоение информации при необычной изменен ноет и функциональных связей. В этом смысле происходящая под влиянием сдвигов в системе личность - среда приспособительская реорганизация психологических установок не только способствует достижению гипнотического состояния, но и активно участвует в самом процессе создания этого состояния. "Кроме наличия определенной нервной организации, - подчеркивает К. Р. Мегрелидзе, - требуется еще, чтобы индивид был окружен отношениями вещей, был поставлен объективно в условия, которые заставляют его действовать в известном направлении, питают мозговую работу, ориентируют индивидов на известные задачи и цели, а следовательно, заставляют мозг работать в определенном направлении" [8].

Восприимчивость к гипнозу при истерии может быть рассмотрена только с учетом всех сложных социальных факторов и, главным образом, трансформаций в системе неосознаваемых психологических установок, обеспечивающих ту или иную степень стабильности во взаимоотношениях субъекта с миром.

83. Подсознательные механизмы и гипноз. М. Моравек (83. Unconscious Mechanisms, and Hypnosis. M. Moravec)

Пражский научно-исследовательский институт психиатрии, ЧССР

Долгие годы ведутся споры о том, как определить сознание и подсознание, как можно проникнуть в подсознание, извлекая из него определенные переживания, и сделать доступными зафиксировавшиеся следы памяти. В связи с анализом вопросов сознания и подсознания часто рассматривается также проблема гипноза и, в зависимости от принадлежности исследователей к тем или иным школам, эффективность гипноза как метода исследования оценивается правильно, переоценивается или недооценивается.

Сначала я хотел бы привести некоторые понятия, с которыми мы работаем, и показать, как мы их используем при построении рабочих гипотез.

Сознание является такой формой (или уровнем) нервно-психической активности, при которой объективная действительность отражается, на основе ее субъективного переживания, системой восприятия, характерной для социального "Я". При осуществлении этого отношения объективная действительность получает определенное значение и одновременно реализуется предусматривание (антиципация) течения объективных процессов и программирование реакций организма. Это значение является синонимом прогнозирующей и программирующей деятельности нашей нервной системы.

Подсознание создается из совокупности по-разному структурированных следов памяти, которые на данный момент времени не актуализированы воздействием объективной реальности и не являются даже приблизительными и, тем более, точными образами актуальной внешней среды. Подсознание - это динамическая совокупность следов памяти, непрерывно изменяющая свою структуру, дополняющаяся или обедняющаяся и представляющая таким образом субъект, всегда готовый к программирующей активности. Следы памяти никогда не сохраняются в той форме, в какой они существовали в момент их зарождения: под влиянием давления вновь поступающей информации они постоянно вступают во все новые и новые отношения, приобретают все новое и новое значение.

Гипноз - очень старый метод, который как прием исследования сложных проявлений психики обычно недооценивается. Этот факт обусловлен тем обстоятельством, что существует относительно незначительное количество людей, способных к погружению в гипноз, и еще менее значительное - лиц, которых удается привести в наиболее глубокое состояние гипноза, только в условиях которого и можно осуществлять особенно важные и интересные эксперименты. Однако и при этих ограничениях гипноз как метод исследования может играть решающую роль в объяснении целого ряда отношений и закономерностей, определяющих динамику высших функций нервной системы. Существует лишь небольшое число методов, столь же естественных, как гипноз, и пользующихся раздражителем, настолько же адекватным для человека как слово, - раздражителем, проникающим в подсознание и в область связей подсознания и сознания действенным и безвредным образом.

О гипнозе существует огромная литература. При всей, однако, тщательности, с которой описываются результаты опытов, возникают нередко недоразумения и расхождения интерпретаций. Причиной является здесь прежде всего то, что анализ проявлений гипноза производится в разных случаях с применением различных критериев. Мы попытаемся объяснить затрагиваемые в этой связи проблемы с точки зрения нейрофизиологии, соблюдая все требования строгой объективности.

Я не буду заниматься конкретными опытами других авторов и сошлюсь лишь на монографии общего характера (Венценгоффер, Шерток, Кратохвил, Платонов и др.), в которых резюмированы многие исследования и их результаты и дана их интерпретация. Я хотел бы привести лишь те опыты, которые мы сами осуществили в прошлом и которыми занимаемся в нашей лаборатории теперь. Эти опыты относятся к экспериментальному использованию гипноза при изучении высшей нервной деятельности.

I. Аналгезия, анестезия, гиперстезия

Мы многократно убеждались, что словесным внушением можно и в не очень глубоком гипнотическом сне вызвать аналгезию и предотвратить возникновение чувства боли при действии даже весьма сильных болевых раздражителей. В опыте, в котором был случайно (в результате невнимательности экспериментатора) применен особенно сильный термический раздражитель (папиросой была обожжена кожа руки исследуемого), внушение аналгезии не только устранило чувство боли, но предотвратило также развитие сопровождающих ожог соматических реакций. Возникло лишь незначительное повреждение кожи без образования пузыря и гиперемии окружающей ткани. В других опытах была исключена болевая реакция при уколах, производившихся с целью инъекции при мелких операциях на разных местах тела и т. д.

Внушением анестезии и аналгезии можно не только предотвратить возникновение чувства боли, но изменить характер ощущения, вызываемого раздражителем. Если внушение аналгезии сопровождается дополнительным

внушением "у вас очень приятные ощущения, вы чувствуете, как кто-то гладит вас", то загипнотизированные лица после пробуждения рассказывают, что они испытывали только приятные ощущения и чувство удовольствия разной интенсивности.

У значительного количества исследуемых мы выявили эффект влияния внушенной анестезии в концах пальцев руки на работу этой руки. Мы установили, что в этих условиях появляются значительные расстройства моторики, - исследуемые под влиянием гипноза неспособны двинуть рукой, а после выхода из гипнотического сна сообщают о разных сопровождающих ощущениях (боли, парестезии). Этот прием мы использовали для разработки метода определения внушаемости в бодрствующем состоянии. В процессе постукивания пальцами рук (тэплинга) исследуемому внушается анестезия в концах пальцев; степень двигательного расстройства и ощущения, сопровождающие это внушение, выявляют меру его внушаемости (гипнабельности). Этим приемом, являющимся, по нашему мнению, объективные и исключающим, в значительной степени мешающим "выполнению роли" испытуемым, можно было без особого труда определять степень внушаемости и производить классификацию лиц, с которыми мы работали. Этот эксперимент является интересным также с теоретической точки зрения, так как на его основе возникает возможность анализировать влияние символического раздражителя на физиологическую структуру.

II. Гипнотические сны

Мы исследовали характер мыслительной деятельности во время сна, развившегося на протяжении гипноза, в следующих экспериментальных ситуациях:

а) при стимуляции органов чувств без конкретного внушения, определяющего содержание сновидений;

б) при воздействии разных внушений без применения дополни тельных раздражителей;

в) при одновременном применении как непосредственных раздражителей, так и словесных внушений, определяющих в разной степени содержание сновидений;

г) при условно-рефлекторной активности без применения прямого внушения содержания сновидений.

Результаты опытов оказались следующими:

а) У нескольких испытуемых мы исследовали, какие сновидения возникают при воздействии раздражителей разной силы. В сомнамбулической фазе гипноза на одном из пальцев исследуемой фиксировалась скрепка, вызывающая слабое давление. После наложения скрепки исследуемая начинает реагировать защитными движениями, мимикой, указывающей на неприятное состояние, и словами: "Нет я не пойду, не иду". После пробуждения рассказывает, что какой-то незнакомый мужчина тащил ее за руку. Это было неприятно, и она защищалась. Прикосновение ко лбу вызывало у той же исследуемой сон о мужчине, с которым она некоторое время тому назад рассталась. Сновидение сопровождалось выразительной мимикой, вздохами и общим двигательным беспокойством.

б) При исследовании воздействий словесного внушения мы использовали разные формы гипнотического воздействия, от общих и неконкретных до отчетливо определяющих содержание сновидений.

При внушении "вам снятся приятные сны" поэту, находящемуся в неглубоком гипнотическом сне, снится, что он проходит густым лесом и видит "прекрасную дугу, созданную из разных звуков". Другому исследуемому снится свидание с его другом в саду. Иногда это неопределенное внушение вызывало конкретные и очень приятные переживания.

лбмы применили внушение, частично определяющее содержание сновидений. После внушения "вам один год, вы в комнате, скажите, что вы видите" испытуемая описывает кроватку, коляску, игрушки, манную кашу, пеленки и т. д. Кроме того, говорит спонтанно, без наводящих вопросов ("я не люблю ее, я это не хочу"). После пробуждения рассказывает, что ей приснилось, будто она - маленький ребенок и родители кормят ее манной кашей, которую она не любила. Далее ей приснилось, что отец водит ее на лямках и учит ходить. На следующий день испытуемая принесла фотокарточку, на которой изображена грудным ребенком, и говорит, что так она выглядела во сне.

После внушения "вам два года, вы находитесь в комнате, опишите, что вы видите" описывает коляску, столик, игрушки и т. д. После пробуждения говорит, что ей приснился сон, в котором она видела себя маленькой девочкой.

После внушения восьмилетнего возраста исследуемая по пробуждении сообщает, что она видела себя во сне в комнате за письменным столом, работающей над школьными уроками. На протяжении сна сообщала, что видит стол, стулья, книги, тетрадь, чернила и т. д.

При внушении "вы у моря, опишите, что видите" описывает во время сна людей, песок, воду, лодку; начинает смеяться и на вопрос, что видит, отвечает: "Б. в купальном костюме". После пробуждения рассказывает, что ей приснилось, будто бы она находится где-то "очень далеко, там много народа и много воды". Говорит, что видела подругу Б. и над ней смеялась. В гипнотическом сне внушен весенний день и прогулка по пражским бульварам. После вопроса, что видит, исследуемая во время сна описывает людей, дома, автомобили и на вопрос, как люди одеты, отвечает: "Лишь в платье". На вопрос, по какой улице идет, отвечает: "По улице Юнгмана". После пробуждения вспоминает, что во сне была где-то в центре Праги и удивлялась, как люди могут ходить без паль то, когда на улице так холодно.

в) У нескольких исследуемых мы определяли эффект стимуляции органов чувств после предшествующего словесного внушения. После внушения "вы спите и вам снятся приятные сны" экспериментатор прикоснулся ко рту исследуемой. Исследуемая улыбается, а после пробуждения говорит, что ей приснился сон о ее друге.

После внушения "вы чувствуете дуновение холодного ветра" на правую руку было направлено излучение терморефлектора. По пробуждении наблюдаемая рассказывает, что ей приснилось, будто она лежит в комнате, прислоняя правую руку к ледяной стене. Этот сон выявляет действие комбинации словесного внушения с физическим раздражителем. Стимуляция второй сигнальной системы определила общий характер сновидения: внушение "холодный ветер" вызвало во сне представление прикосновения к ледяной стенке. Стимуляция же первой сигнальной системы определила место воздействия в сновидении - прикосновение к стене рукой.

г) Интересными являются также опыты, в которых устанавливалась связь между условно рефлекторной деятельностью во время гипноза и содержанием сновидений.

При воздействии световыми стимулами, вызывавшими в сомнамбулической фазе гипноза положительные или отрицательные условные двигательные реакции, исследуемая рассказывает после пробуждения сон о реактивном самолете, прожекторах, фейерверке на Влтаве и т. п.

В состоянии бодрствования создавалась способность к дифференцировке двух звуковых раздражителей. Затем исследуемая была загипнотизирована и заснула. В этом состоянии были применены те же дифференцировочные раздражители, что и во время бодрствования. Исследуемая во время сна была беспокойна, дышала неравномерно, ее мимика выражала неприятные аффекты, общее двигательное беспокойство имело характер генерализированных защитных движений. После пробуждения спонтанно начинает описывать свои сновидения и сообщает, что видела похороны, фигуры на темном фоне, несущие крест, и слышала "страшные звуки". Упоминает о неприятном чувстве тревоги, страха и давления в области сердца. Она привыкла к погружению в гипнотический сон, но никогда ранее подобное состояние у нее не наблюдалось. После опыта еще раз были предъявлены примененные звуки, которые ей не удалось отождествить со звуками, услышанными в гипнотическом сне. Снова загипнотизирована, на этот раз с терапевтической целью. Засыпает сразу и после пробуждения от этого сна, в котором ей было внушено хорошее самочувствие, спокойна и, как обычно, в хорошем настроении.

Во всех вышеописанных опытах после пробуждения наблюда лась своеобразная амнезия: сновидения описывались, но раздражите ли, как словесные так и физические, никогда не упоминались в том первоначальном значении сигналов, которое они имели в бодрствующем состоянии.

На основе наших экспериментов можно сделать следующие выводы.

Наиболее характерной чертой мышления во сне является его образность. Это означает, что во сне работает предметное, образное, эмоционально окрашенное мышление, т. е. первая сигнальная система. Содержание мышления во сне не всегда, однако, исчерпывается первосигнальным процессом, - в зависимости от глубины гипноза и интенсивности переживаний во сне оно часто дополняется активностью второй сигнальной системы. Об этом свидетельствует, с одной стороны, то, что наблюдаемые спонтанно говорят во время сна, а с другой - то, что мы можем во время сна заставить их говорить о своих переживаниях, не нарушая этим развертывания последних. Этот факт, часто встречающийся и в повседневной жизни, заставляет предполагать, что торможение,

распространяющееся по коре мозга, охватывает разные области с неодинаковой силой. Мы видели, что во сне оживляются как эмоционально насыщенные переживания, так и активность второй сигнальной системы.

Характерной особенностью мышления во время сна является своеобразная широта диапазона его содержаний. Мы видели, как элементарный раздражитель первой сигнальной системы вызывает весьма развитую активность сновидений. Это явление можно объяснить тем, что простые раздражители, действующие на высшую нервную деятельность спящего, вызывают целые цепи временных связей и актуализируют значительное количество взаимно связанных процессов в центральной нервной системе. Здесь оказывает влияние также то обстоятельство, что нарушаются взаимные отношения между интенсивностью раздражителей и силой реакции, действительные при состоянии бодрствования. Относительно слабые раздражители вызывают сильные рефлекторные ответы, содержащие как эмоциональные, двигательные компоненты, так и словесные. Течение этих процессов облегчается тем, что исчезали или почти исчезали тормозные влияния с областей, которые в условиях бодрствования непрерывно активируются внешними раздражителями.

Разнообразие содержаний мыслительной деятельности во время сна способствует нелогичности и мнимой неопределенности сновидений. Эта нелогичность и впечатление неопределенности обусловливаются невозможностью для нас выявить все раздражители, оказывающиеся причиной переживаний в течение сна.

Содержание сновидений определяется, таким образом, несколькими факторами. К ним относятся внешние стимулы, действующие в сочетании со следовыми рефлексами на фоне определенного функционального состояния подкорковых областей. При гипнотических сновидениях имеют особое значение воздействия, примененные в форме непосредственного словесного внушения или в виде комбинации последнего с физическими раздражителями. Все эти факторы оказывают взаимное влияние друг на друга и совместно определяют содержание сновидений.

Эти данные, почерпнутые из наших экспериментов, достаточны, чтобы стать базой для дискуссии о двух основных проблемах:

а) Как можно представить себе эффект действия символического раздражителя, которым является слово гипнотизера?

б) Как можно вмешательством в подсознание менять "значение" объективной действительности?

Гипнотическое воздействие слов, с их почти неограниченной суггестивной мощью, убеждает в том, что практически все нервные процессы каким-то образом связаны со словесной символикой. Основой этого феномена является, по-видимому, тесная связь височной коры со всей лимбической системой, с ретикулярной формацией, связанной с лимбической системой, и через лимбическую систему - со всеми областями так называемой старой коры. Эксперименты в то же время указывают, что символическая активность в форме каких-то сложных кодов присутствует и в координирующих областях таламуса и стриопаллидарной системы, откуда следует, что и эти области, своеобразно интегрирующие деятельность нервной системы, участвуют во влиянии словесной символики на деятельность человеческой психики.

Несмотря на то, что это объяснение еще недостаточно разработано и его трудно в настоящее время экспериментально подтвердить, оно является, по моему мнению, исходным пунктом для развития представлений о физиологических механизмах гипнотического словесного внушения. И оно является более плодотворным, чем другие формы чисто психологического объяснения, применяющие слишком глобальные понятия.

86. Роль неосознаваемой психической деятельности в развитии и течении соматических клинических синдромов. Вступительная статья от редакции

(1) Проблема влияния бессознательного на болезнь осложняется прежде всего, тем обстоятельством, что это, по существу, не самостоятельный вопрос, а своеобразная подпроблема. Ее можно рассматривать и решать в рамках лишь более общего вопроса: каково влияние оказываемое на болезнь психической деятельностью вообще. Только когда ответу на этот последний вопрос придается концептуальный характер, становится возможным, и даже необходимым, исследование влияний, оказываемых на болезнь и бессознательным.

Поскольку, однако, проблема зависимости клинических расстройств от разнообразных психологических факторов - это один из наиболее сложных и спорных разделов современной теоретической медицины, то легко представить, какие препятствия пришлось преодолеть теории бессознательного, какой огромный труд поколений

исследователей был затрачен прежде, чем этой теории удалось проникнуть в клинику, вначале замедленно и робко и лишь много позже все более уверенно, опираясь на систематизированные клинические наблюдения, статистические разработки и многочисленные очень разно в методическом отношении ориентированные психологические и физиологические экспериментальные исследования.

Мы напомним сжато основные вехи этого пути, весьма поучительного для истории науки.

О зависимости болезней человека от психологических факторов от его душевной жизни, от испытываемых им состояний эмоционального стресса можно уверенно сказать, что это - область медицинского знания, не только особенно трудная для изучения, но и более богатая парадоксами, чем любая иная. Вступающий в эту область сразу же сталкивается, например, с таким озадачивающим обстоятельством.

Представление о существовании глубоких связей между здоровьем и болезнями человека, с одной стороны, и различными переживаниями, с другой, относится к числу наиболее старых идей медицины. Его отзвуки в эпосе, фольклоре, изобразительном и сценическом искусстве в художественной литературе, бытовых традициях и религиозных верованиях самых разных народов можно проследить на протяжений почти всей истории культуры человечества (вплоть до предгиппократовой эпохи Парменида в древней Греции, эпохи учения о трех "Dosas" в древней Индии, эпохи господства концепции "Янг" и "Ин" в древнем Китае). В наши дни это представление почти всегда можно обнаружить в форме убеждения полуинтуитивного, полуэмпирического происхождения у людей даже весьма далеких от размышлений на медицинские темы. Оно диктуется, наконец, просто логикой "здравого смысла", от которой так сильно зависит все наше мироощущение.

И, однако, вопреки этой длительности истории психосоматической идеи, трудно назвать какое-либо другое направление медицинской мысли, которое порождало бы столько же ожесточенных споров, которое было бы так же бедно согласованными представлениями о природе (т. е. о закономерностях, принципах, механизмах) фундаментальных фактов, с реальности которых ни у самого этого направления, ни у находящихся за его пределами никаких сомнений не возникает.

Это удивительное расхождение между очевидностью психосоматических соотношений и спорностью их объяснения отчетливо выступает л в истории психоанализа. Фрейд в свое время, например, писал: Стойкие аффективные состояния горестного или депрессивного типа... такие, как печаль, тревога, страдание, ослабляют питание организма, вызывают поседение волос, ликвидируют жировые наслоения, патологически изменяют стенки сосудов... Интенсивные аффекты явным образом связаны со способностью сопротивляться инфекционным заболеваниям; хороший пример этого дается указанием врачей на то, что гораздо большая подверженность таким болезням, как тиф и дезинтерия, наблюдается в армиях, терпящих поражение, чем в армиях победоносных... Мощный аффект может значительно повлиять на уже возникшую болезнь. Обычно это влияния, обостряющие болезнь. Однако нет недостатка и в таких случаях, когда душевное потрясение, тяжелая утрата обуславливают своеобразное изменение настроенности организма, благоприятно сказывающееся на уже прочно сложившихся патологических соотношениях и даже способное эти соотношения полностью устранить" [5]. Может ли даже самый суровый критик психоанализа что-либо возразить против этих неоспоримых констатаций? И, однако, хорошо известно, какие непримиримые разногласия возникли и удерживаются десятилетиями, даже внутри самой психоаналитической школы, как только заходит речь о законах и факторах, определяющих и объясняющих эти очевидные связи.

(2) Какие же причины обусловили эту своеобразную, мы вправе даже сказать беспрецедентную, судьбу проблемы? Изучение этого вопроса производилось неоднократно и помогло выявить обстоятельства, которые сыграли в данном случае как второстепенную, так и основную роль.

Начнем с обстоятельств второстепенных, они заставляют вспомнить о вещах, казалось бы банальных, но в действительности весьма существенных.

Для того, чтобы пато- (или сано-) генетические влияния, оказываемые психологическим фактором, например переживанием, создающим ситуацию эмоционального стресса, могли стать предметом строгого клинического или психологического исследования, необходимо, очевидно, этот психологический фактор достаточно точно описать. Но здесь мы сразу же наталкиваемся на характерные трудности.

Психологические феномены, относящиеся к области аффективных переживаний (именно такие переживания, как известно, наиболее резко влияют на течение болезни), описываются до настоящего времени с помощью очень неточных выражений, имеющих подчас характер даже только метафор или аллегорий. Психология, к сожалению, не вооружила нас пока сколько-нибудь строгими приемами их определения и, тем более, измерения. Именно

поэтому они оказываются предметом рассмотрения и исследования в художественной литературе и искусстве гораздо в большей степени, чем в науке. А если мы не можем точно охарактеризовать аффективный сдвиг, то можно ли надеяться, что влияние, оказываемое на здоровье и болезнь этим ускользающим от строгого анализа агентом, удастся уложить в рамки определенных закономерностей, в матрицу рациональных зависимостей, без опоры на которые научный подход не мыслим?

Вряд ли можно сомневаться в том, что эта неотшлифованность психологических понятий, недостаточная разработанность категориального аппарата теории эмоций сыграла определенную, и не столь уж малую, роль в накоплении трудностей, тормозивших развитие психосоматической концепции.

Второй момент, подчеркивающий значение отрицательных последствий первого. Нельзя отвлекаться от того практически неустранимого, как правило, обстоятельства, что когда возникает задача исследования психологической ситуации, в которой психологический сдвиг спровоцировал возникновение (или, напротив, обратное развитие) болезни, то приходится ставить и решать задачу чаше всего post factum, т. е. заниматься гипотетической реконструкцией более или менее далекого прошлого. Невыгодность подобной позиции, неуверенность и аппроксимации, с которыми она сопряжена, очевидны.

Однако нечеткость используемых понятий и возможность анализа только post factum это отнюдь не самые большие препятствия, возникающие перед психосоматически ориентированным исследованием. Подобные препятствия не имеют специфического для психосоматики характера, научный поиск сталкивается с ними в самых разных областях, и мы располагаем немалым количеством приемов если не полного их устранения, то, во всяком случае, смягчения и компенсации их отрицательных последствий. Гораздо значительней трудности, которые выступают как специфические для психосоматического подхода. Их две, они одинаково серьезны и наложили глубокий отпечаток на все современное понимание психосоматических отношений.

Первая из них вытекает из недопустимости рассмотрения травмирующего (или санирующего) эмоционального фактора в отвлечении от системы психологических ценностей, от параметра значимости переживаний травмируемого психически субъекта. Мы имеем в виду следующее.

Когда физиолог изучает влияние, оказываемое на организм определенным объективным стимулом, или фармаколог - эффекты действия лекарственного препарата, они оба могут (при условии, что не будут выходить, рассуждая, за рамки понятий своих дисциплин) рассматривать эти раздражитель и препарат как некие объективные данности, влияние которых на организм, разумеется, изменчиво (в зависимости от функционального состояния последнего), но которые являются, тем не менее, носителями вполне определенных качеств, позволяющих именно из-за этой их определенности прогнозировать характер реакций, которыми организм отвечает на воздействия.

В психосоматической же ситуации мы оказываемся перед лицом если не принципиально иного положения вещей, то, во всяком случае, резкого изменения акцентов, ибо здесь почти все (а иногда и все) зависит не от объективных характеристик аффектогенного события (разлука, утрата, болезнь, оскорбление, страх, неудовлетворение потребности или, напротив, успех, достижение, освобождение, выздоровление, встреча и т. д.), а от значения, которое это событие имеет для субъекта. Именно "субъективное значение", а не "объективное содержание" обстоятельств, от которых дебютируют психосоматические сдвиги, прежде всего определяет последующую динамику клинического чроцесса. Выражая эту мысль другими словами, можно сказать, что тогда возникает вопрос об объективных причинах психосоматического расстройства, то эти причины не определимы в отрыве от глубокого анализа внутреннего мира субъекта. А если быть более точным, - что интенсивность действия этих причин зависит от положения, которое они занимают в иерархии психологических ценностей субъекта, или, что то же, от значимости связанных с ними событий для субъекта.

В этом смысле исходные причины психосоматических нарушений не существуют "сами по себе" так, как существуют, например, причины изменений физиологического или биохимического порядка. Они становятся видимыми только, если рассматриваются через "призму" значимости, которую имеет для больного, - иногда явно, иногда скрыто, - окружающий его мир. И это, конечно, чрезвычайно осложняет определение подлинных психосоматических детерминаций, ибо вряд ли нужно обосновывать, насколько мы еще мало подготовлены к тому, чтобы умело оперировать подобной "призмой". Очевидно, однако, что без ее использования психосоматический анализ осуждается заранее на выявление не реальных каузальных связей, а всего лишь их, в лучшем случае, артефактных подобий.

И вторая, не менее серьезная, трудность. Определение исходных психологических причин психосоматического расстройства невозможно, как мы пытались это сейчас показать, при отвлечении от фактора значимости

переживаний. Определение же особенностей клинического течения этого расстройства, вплоть до его конечной фазы, оказывается в значительной степени зависящим от того, какие меры психологической защиты субъект оказывается способным развить, чтобы предотвратить возникновение или хотя бы ослабить выраженность отрицательных последствий психической травмы. Идея психосоматического расстройства не менее поэтому тесно связана с концепцией психологической защиты, чем с концепцией значимости переживаний. Психологическая защита выступает, в той или другой форме, как обязательный, по существу, компонент функциональной структуры любой психической травмы, развязывающей цепь патологических соматических нарушений. И вряд ли требуется разъяснять, в какой степени наличие этой связи (между травмой и защитой) затрудняет для наблюдателя выявление природы психосоматического сдвига и прогнозирование его дальнейшей судьбы.

(3) Охарактеризованное выше понимание трудностей, на которые наталкиваются психосоматические исследования, не может вызывать сколько-нибудь серьезных споров. Представление о связи психосоматического расстройства с параметром значимости переживания и с активностью психологической защиты прочно вошло в современные трактовки, - как советские, так и западные, - и является отправным для любой формы более глубокого анализа. Совсем, однако, иное положение вещей создается, когда от этих труднооспоримых общих констатаций мы переходим к более конкретному рассмотрению, когда ставятся вопросы, например, о том, какие именно "значимые" переживания выступают как прежде всего ответственные за провокацию психосоматических расстройств, или какова природа, механизмы, возможности, роль психологической защиты, в чем заключается своеобразие этой защиты в условиях нормы, субклиники, патологии органической и патологии функциональной, и, наконец, last but not least, какова взаимосвязь в структуре психологической защиты разных ее компонентов - осознаваемых ясно, осознаваемых смутно и не осознаваемых вовсе. Почти по каждому из этих вопросов высказываются в литературе разноречивые суждения, указывающие нередко на принципиальную несовместимость существующих теоретических подходов. Хорошо, например, известно, какие расхождения мнений возникали даже внутри самой психоаналитической концепции при попытках решения проблемы "ведущих" и, следовательно, наиболее "значимых" для субъекта мотивов поведения, - от исходных биологизирующих трактовок Фрейда, через подчеркивание (особенно американскими неофрейдистами 50-х гг. и несколько позже западногерманскими психоаналитиками) роли разнообразных социальнообусловленных факторов деятельности и "жизненной позиции" до связывания этой проблемы, по примеру современных французских психоаналитических течений, со всей сложностью мотивов поведения, выявляемых анализом функций речи.

В советской литературе этим трактовкам всегда противостояло понимание основных мотивов деятельности человека, вытекающее из марксистски ориентированного анализа его социально-исторической природы: понимание, раскрывающее зависимость сознания и стремлений людей от их социальной практики, от формирующих влияний, оказываемых на них и на иерархию их психологических ценностей на протяжении всей их истории их производственной, общественной и культурной деятельностью, их принадлежность к определенным социальным формациям и классам. Психологическое же раскрытие, конкретизация этих общих, преимущественно философских и методологических положений и составила основное содержание работ таких корифеев советской психологии, как Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн. В последние десятилетии эта марксистская концепция мотивов деятельности, подчеркивающая организующую, направляющую роль смыслового аспекта этой деятельности, была углублена работами А. Н. Леонтьева.

Уже из этих сжатых противопоставляющих определений достаточно ясно, что согласие по поводу факта зависимости психосоматической динамики от параметра значимости переживаний отнюдь еще не означает согласия по поводу того, к значимости каких переживаний мы должны в первую очередь обращаться, когда пытаемся раскрывать тайну зарождения психосоматического сдвига. То, что подобный анализ не мыслим без ориентации на иерархию психологических ценностей субъекта, ясно для всех, но представления о генезе и структуре этой иерархии варьируют пока в очень широком диапазоне.

Весьма сходным образом обстоит дело и с проблемой психологической защиты. Не вызывает сомнений, что идея этой защиты, зародившаяся в рамках психоаналитической школы и отражающая существование сложных форм реагирования сознания на психическую травму, в высшей степени важна для понимания принципов и закономерностей душевной жизни как здорового, так и больного человека. Хорошо известна трактовка этой идеи, разработанная Фрейдом, а в дальнейшем углубленная рядом представителей психоаналитической школы, особенно А. Фрейд. Но ее рассмотрение только лишний раз подтверждает, что согласие по поводу реальности факта - это менее всего обязательность согласия по поводу его существа.

Концепция психологической защиты, разработанная на протяжении последних лет советскими исследователями с позиции теоретических построений Д. Н. Узнадзе и его школы, представлена в советской литературе во многих работах и, по-видимому, известна и за пределами Советского Союза. Мы напомним поэтому только некоторые основные относящиеся к ней положения.

Психологическая защита, если говорить о ней обобщенно, обрисовывается в этих работах, в отличие от ее истолкования психоанализом, как специфическое преобразование системы психологических установок (системы отношений субъекта к самому себе и к окружающему миру, отношений, выражающихся в форме оценок, влечений, намерений, истолкований), которое возникает, обычно, вслед за психической травмой и направлено на нейтрализацию вызываемых последней тягостных для субъекта эмоциональных напряжений. В результате осуществления этой функции психологической защиты восприятие окружающего изменяется таким образом, что последствия психической травмы теряют в той или иной степени свою "значимость" для субъекта, а тем самым и свое патогенное влияние. Возникает эффект своеобразной транквиллизации, но транквиллизации не фармакологической, с ее не всегда желательными побочными последствиями, а транквиллизации естественной, отражающей процессы приспособительных психологических перестроек.

Если, например, в результате психической травмы отпадает возможность реализации в поведении какой-то уже упрочившейся эмоционально насыщенной установки, то нейтрализовать создающееся патогенное напряжение можно сформировав другую установку, более глобальную в смысловом отношении, в рамках которой конфликт между первоначальным стремлением и препятствием устраняется. Входя в функциональную структуру этой более широкой установки, первоначальное стремление преобразуется как мотив и поэтому обезвреживается. Существуют и различные другие конкретные формы защитного преобразования установок (имеющие, например, характер не включения уже сложившейся установки в более глобальную систему, а ее замещения в системе мотивов поведения, подстановки вместо нее иной установки, не встречающей препятствий при своем выражении в поведении; возможно проявление психологической защиты, происходящее по типу реорганизации установки с подменой лишь отдельных элементов ее содержания при сохранении ее общей направленности и т. д.).

Если же по каким-либо причинам защитная реорганизация психологических установок не происходит, то конфликтная ситуация, связанная с психической травмой, остается субъективно неразрешенной и новая, способная заместить нарушенную, упорядоченность отношений не возникает. В этих условиях психогенно возникающие клинические расстройства могут приобрести застойный и даже прогредиентно-деструктивный характер. Их становится трудно устранять даже при применении энергичного специального лечения.

В настоящее время накоплено уже значительное количество наблюдений, говорящих в пользу продуктивности подобного понимания проблемы психологической защиты и практически важных возможностей, создаваемых им при разработке вопросов как общей психологии, так и клиники. Было, например, показано, что способность к защитной трансформации психологических установок является типологической характеристикой, выраженной у разных людей в очень разной степени. Если у одних, "хорошо психологически защищенных", интенсивная переработка патогенных старых и возникновение более адекватных новых психологических установок начинается, как только лица этого душевного склада встречают даже незначительное препятствие в своих стремлениях, испытывают даже минимальную психическую травму, то другие, "плохо психологически защищенные", оказываются неспособными развить эту защитную активность даже в гораздо более серьезных случаях, даже тогда, когда над ними нависает угроза тяжелых психогенно обусловленных клинических расстройств. Когда же прослеживается в связи с этой способностью к психологической защите динамика конкретных заболеваний, то выявляется, что начало самых разных патологических процессов (не только невротических расстройств, но и процессов грубо-органической модальности) бывает отнюдь нередко связано с предварительной дезорганизацией или даже с полным распадом механизма психологической защиты, как бы открывающими дорогу более грубым структурно и функционально физиологическим факторам патогенеза.

Общие идеи подобного рода высказывались ведущими советскими клиницистами как непосредственный вывод из данных врачебной эмпирии еще десятилетия назад (*См., например, относящиеся еще к 30-м - 40-м гг. работы известного советского терапевта Р. А. Лурия, в частности, его "Внутреннюю картину болезни" (переизданную в 1977 г.) и др*). Развитие же теории психологической установки позволило придать этим идеям концептуальный характер и положить их в некоторых случаях в основу лечебной деятельности. Такой подход применяется в настоящее время в психотерапевтической клинике ЦОЛИУ (Москва), а также в некоторых других лечебных учреждениях Москвы, Тбилиси, Ленинграда, Горького.

(4) Нетрудно заметить, насколько охарактеризованное выше понимание механизмов и функций психологической защиты, преобладающее в советской литературе, отличается от того, как интерпретируется идея "психической защиты" ("psychic defence") в теории психоанализа. Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что здесь обнаруживаются и некоторые элементы сходства. Сходство это проявляется, прежде всего, в том, что при любом истолковании "защитных" механизмов сознания их активность связывается с функциями бессознательного.

То, что психоаналитическая концепция психической защиты (проявляющейся в процессах вытеснения, проекции, вымещения, сублимации и т. п.) является лишь одним из разделов общей психоаналитической теории

бессознательного, широко известно, и мы на этом сейчас задерживаться не будем. Необходимо, однако, подчеркнуть, что представление о психологической установке, на основе которого создается, как мы это напомнили выше, непсихоаналитически ориентированное истолкование психологической защиты, также было исходно самым тесным образом увязано его автором, Д. Н. Узнадзе, с идеей бессознательного. Много позже, в 60-х гг. в рамках школы Д. Н. Узнадзе возникли споры о том, неизбежна ли неосознаваемость психологической установки, не является ли основным моментом в ее динамике ее переходы из состояния неосознаваемости в состояние, при котором она отражается в сознании, - и наоборот. По этому поводу высказывались разные мнения, однако возможность существования неосознаваемых установок и важнейшая роль, которую они в условиях этой своей неосознаваемости играют в регуляции поведения, не подвергалась сомнению никогда. Учитывая эти обстоятельства можно с основанием утверждать, что идея психологической защиты, при любой ее ннтерпретации, в отрыве от представлений о бессознательном раскрыта быть не может.

Но тогда снова возникает вопрос, сходный с тем, который уже занимал нас выше. Если психоаналитически и непсихоаналитически ориентированные представления о защитных механизмах сознания в равной степени апеллируют к активности бессознательного, то так ли уж они полярны по отношению друг к другу? и ответ будет в принципиальном отношении таким же, каким он был, когда мы задались вопросом: не означает ли согласие по поводу реальности психосоматических детерминаций согласие по поводу их природы. То, что и психосоматики, и их критики вынуждены связывать теорию защитных механизмов сознания с теорией неосознаваемой психической деятельности, отнюдь, конечно, не говорит о подлинной близости их позиций, ибо проявление бессознательного, толкование законов неосознаваемой психической деятельности, к которым обращается каждое из этих направлений, феноменологически и концептуально различны.

В чем же заключается это различие, к чему сводится расхождение между объяснением природы бессознательного, разработанным психоаналитическим направлением, и пониманием, предлагаемым оппонентами этого направления? Легко подметить всю фундаментальность этого вопроса: ответ на него определяет, очевидно, если не все, то, во всяком случае, очень многое в постановке любых других проблем. И этот ответ был нами уже, но существу, дан (во "Введении"). Мы не будем поэтому сейчас его повторять и напомним только его основную мысль. Если иметь в виду главный недостаток психоанализа как концепции не философской, не методологической, а собственно-психологической (какой он, вопреки всем изгибам и перипетиям его истории, все же остается), то определить этот недостаток следует, прежде всего, как систематическое принятие частного за общее, как оказавшуюся роковой, по нашему мнению, для всей судьбы психоанализа, имеющую неисчислимые последствия ошибку возведения в ранг генерального (или даже универсального) закона таких черт, тенденций, особенностей, которые характеризуют в действительности лишь ограниченный круг явлений, наблюдаемых к тому лее, как правило, только при наличии специфических, не всегда осуществляющихся условий. А на психоаналитической концепции психической защиты этот методологический дефект психоанализа проявился, пожалуй, даже более отчетливо, чем в каком- либо другом случае. Вместе с тем, - и в этом проявилась своеобразная диалектика развития научной мысли, - подстановка психоанализом частного вместо общего привела к тому, что подлинные общие зависимости от психоанализа ускользнули.

Теперь, после того, как мы несколько подробнее остановились на представлениях, которые могут быть противопоставлены психоаналитической концепции защитных механизмов сознания (на понимании защиты как реорганизации психологических установок), нетрудно заметить, что эти представления формулируются в категориях более общих чем те, в которых излагается концепция психической защиты, созданная фрейдизмом. Феномены вытеснения, проекции, сублимации, вымещения и т. п. выступают, по существу, как реальные и важные, но, тем не менее, неизменно лишь как частные формы защитной активности сознания, заключающейся в действительности, если определять ее обобщенно, в изменении значимости переживаний, которое стимулируется разными формами реконструкции психологических установок. Вряд ли, однако, найдутся несогласные с тем, что рассмотрение любого конкретного отношения, любого феномена как частного выражения более общей закономерности создает новое видение этого феномена, позволяет глубже понять его природу и роль, поскольку он становится при подобном рассмотрении элементом более широкой системы связей с действительностью. Именно из такого нового видения и вытекают далеко еще не использованные до конца преимущества, проявляющиеся при анализе не только защитных механизмов сознания, но и проблемы бессознательного в целом, с позиций концепции Д. Н. Узнадзе, по сравнению с возможностями, вытекавшими из интерпретаций, разработанных в начале века З. Фрейдом.

(5) Сказанного выше достаточно, чтобы обрисовать исключительное своеобразие и столь же исключительную сложность проблемы психосоматических детерминаций. И, однако, не вызывает сомнений, что если из-за трудности анализа этих детерминаций мы от них будем отвлекаться, если мы вернемся к преобладавшей долгое время тенденции объяснять органические патологические процессы лишь органическими же факторами, то это будет равносильно ограничению сферы медицинского анализа рассмотрением не реально существующих болезней, а лишь их абстрактных схем, лишь артефактных моделей подлинных патологических процессов. Ибо

реальное клиническое страдание, т. е. страдание конкретного человека, всегда жестко привязано к своему психосоматическому аспекту и во многом именно последним определяется. Немало глубоких мыслей по этому поводу можно найти в трудах корифеев русской и советской теоретической медицины от Пирогова и Сеченова до Павлова и Ухтомского, от Мудрова, Захарьина и Боткина до Бехтерева, Сперанского и Давыдовского. И, напротив, заострение внимания на этом психосоматическом аспекте выступает, особенно в свете опыта, накопленного и клиникой, и психологией на протяжении последних десятилетий, как условие, единственно позволяющее перейти к изучению подлинной клинической патологии во всей сложности ее неповторимо своеобразных индивидуальных проявлений.

А поскольку неосознаваемая психическая деятельность неизбежным образом входит, более или менее скрыто, в функциональную структуру любой психосоматической связи, становится очевидным, насколько велика роль бессознательного в клинике и насколько необходимым является не только понимание реальности этого факта, но и определение конкретных форм и путей вмешательства бессознательного в формирование психосоматических синдромов. Мы хотели бы высказать теперь несколько соображений по поводу именно этой наиболее в практическом отношении важной стороны дела.

Когда во второй половине XIX века, в эпоху еще первых, преимущественно французских работ, посвященных анализу явлений гипноза и истерии, возник вопрос не просто о реальности соматических сдвигов, вызываемых психическими воздействиями, а о возможности непосредственного отражения в клиническом синдроме психологического содержания спровоцировавшего его эмоционального конфликта, стало ясным, что без введения новых понятий, без существенного расширения категориального аппарата неврологии и медицинской психологии разобраться в этой неожиданно обрисовавшейся проблеме вряд ли удастся. Особенно в подобных новых понятиях нуждалась создававшаяся в те годы теория истерии. А несколько позже эта же задача необходимости объяснить проявляющиеся нередко связи между формой синдромов и содержанием конфликтов возникла и перед Фрейдом. В этих условиях происходит формирование целого ряда новых теоретических представлений, новых клинико-психологических категорий, на долгие годы наложивших отпечаток на врачебную и психологическую мысль Запада. Мы имеем в виду постепенное упрочение таких представлений, как "понятная связь" (между эмоцией и синдромом) "символика" вегетативных реакций, "язык тела", "конверсия на орган" и т. п.

Психоанализом эти представления, особенно идея выражения на "языке тела" того, что вытеснено из области осознаваемого и не может быть реализовано в поведении, были, как это хорошо известно, положены в основу всего понимания отношений между душевной жизнью и болезнью. А западной психосоматической медициной психоаналитическая концепция "символической конверсии на орган" была принята, расширительно истолкована и превращена в принцип, на основе которого объяснялся патогенез не только истерических расстройств (как это имело место в первых работах Фрейда), но и многих нарушений более грубой, органической модальности. Так логическая простота концепции ("синдром - это лишь символ вытесненного") придала последней широкую популярность и огромную силу убеждения, влияние которого проявляется в разных формах поныне.

В советской теоретической медицине сложился в это же приблизительно время существенно иной подход к проблеме психосоматической связи. То, что в клинике истерии действительно можно наблюдать состояния, при которых между характером нарушения (формой синдрома) и конкретным психологическим содержанием предшествующих переживаний больного обрисовывается определенная логическая, "понятная" связь, не вызывает, конечно, никаких сомнений. В этих условиях соматическое или вегетативное расстройство действительно может приобретать, внешне, "символический" характер (парез, например, ноги при осознаваемом или неосознаваемом нежелании истерика куда-то идти и т. п.). Но вытекает ли отсюда, что психофизиологический механизм, реализующий подобные расстройства, это - изначально существующая тенденция к символическому изображению того, что "вытеснено" в бессознательное, тенденция к картинному выражению неосознаваемого мотива на самостоятельно работающем "языке тела"? Не имеем ли мы здесь дело в действительности с совсем иными, уже давно нам хорошо знакомыми, психофизиологическими процессами, создающими благодаря особому стечению обстоятельств лишь своеобразную имитацию символики?

Хорошо известно, что именно так был поставлен вопрос в знаменитом споре двух гигантов мысли И. П. Павлова и П. Жане о патогенезе истерии. И мы позволим себе напомнить, словами Павлова альтернативу конверсионного толкования: "Истерика можно и должно представлять себе даже при обыкновенных условиях жизни хронически загипнотизированным в известной степени... Тормозные симптомы могут возникнуть у истерика-гипнотика путем внушения и самовнушения... Всякое представление о тормозном эффекте из боязни ли, из интереса или выгоды (курсив наш. - Редколл.)... в силу эмоциональности истерика совершенно так же, как в гипнозе слово гипнотизера вызовет и зафиксирует эти симптомы на продолжительное время... Это случай роковых физиологических отношений" [2].

Этими словами Павлов дает понять, как могут возникать, при наличии определенных ("дроковых") отношений, самые причудливые эффекты псевдосимволизации вытесненного, самые неожиданные "понятные" клинико-психологические связи. Определяться же эти отношения и связи будут не изначально существующим, не самостоятельно действующим, не независящим ни от чего другого законом символического выражения телом того, что вытеснено, а всего лишь довольно банальными аутогипнотическими механизмами.

Охарактеризованная выше альтернатива, противопоставленность двух антагонистических подходов к проблеме психосоматической связи психоаналитического и психофизиологического медленно назревала на протяжении всей первой половины нашего века, и в ней нашло свое выражение глубокое различие методологий, с позиций которых решался вопрос о влиянии духа на сому, эмоции на здоровье и болезнь. Мысль о влиянии на функции тела в условиях как нормы, так и патологии различных, в том числе наиболее сложных, форм нервной деятельности, включающих активность второй сигнальной системы, была для павловского подхода исходной. Указание на важность этих влияний было сформулировано Павловым как положение принципиального значения еще в 1883 г. при разработке им идеи нервизма (*Характеризуя идею нервизма, этого подлинного, как стало ясно позже, ядра павловских представлений в их приложении к клинике, Павлов указывал, что нервизм - это "физиологическое направление, стремящееся распространить влияние нервной системы на возможно большее количество деятельностей организма" [1]*). Однако обоснование этих представлений происходило в рамках павловского подхода с опорой только на физиологические категории, почти без какого-либо обращения как к рабочим понятиям к представлениям психологии. Конверсионные же толкования исключали на первых этапах своего развития апелляцию к физиологии как нарушающую их стиль и извращающую их логику, как неприемлемое обращение к "иной" науке, отнюдь, якобы, не необходимой для раскрытия природы и законов психосоматической связи.

В последующие годы каждое из этих направлений претерпело дальнейшую эволюцию. Но если развитие павловского подхода имело, в основном, прямолинейный, поступательный характер, обогащалось постепенно новыми более глубокими формами отражения действительности, новым видением, которое не требовало радикального пересмотра и, тем более, отказа от того, что было выявлено ранее, то преобразования конверсионной концепции и связанных с нею представлений оказались гораздо более противоречивыми и сложными. Здесь происходили и серьезные изменения и пересмотры и, что особенно важно, подвергались весьма подчас резкой критике понятия, которые, как оказалось, не поддаются четким определениям и не помогают поэтому углублению анализа даже при самых настойчивых попытках их рационального раскрытия.

Вряд ли уместно сейчас особенно задерживаться на том,какой широкий и глубокий характер имела предпринятая в рамках самой же западной медицины периода 60-х гг. критика ортодоксальных психоаналитических представлений, на которых долгое время основывался весь психосоматический подход (*Яркая картина этой критики дана, в частности, в известном обзоре Диповского [7]. Цитируемые далее критические замечания почерпнуты, з основном, из этого обзора*). В рамках этой критики подчеркивалось, что характерным для современного психосоматического направления является пересмотр преобладавших ранее узких представлений о психогенезе психосоматических расстройств; что признание сложности "психо-социо-биологических" детерминаций, определяющих болезнь и здоровье, постепенно все более замещает ранние "редукционистские" гипотезы, подсказанные ортодоксальным психоанализом; что важнейшей задачей психосоматического подхода на современном этапе является уточнение смысла используемых им понятий, устранение семантических и концептуальных двусмысленностей, которыми он изобилует. Указывалось, что психосоматическая медицина должна отказаться от "необузданного" ("frantic") стремления к выявлению психосоматических детерминаций соматических расстройств и обратиться в большей степени к таким проблемам, как неразрывная взаимосвязь психологических, биологических и социальных моментов, которая не только предрасполагает человека к болезням, но и противодействует последним; что чрезмерная концентрация внимания на интрапсихических конфликтах создает неадекватное, одностороннее представление о психике как о каком-то неисправимом болезнетворном агенте ("morbific agent"); что неправомерное расширение представлений о психогенезе соматических расстройств оттесняет на задний план важнейшую идею мультикаузальности, полигенетичности клинических синдромов и т. д. и т. п.

Уже одни только эти критические соображения, принадлежащие наиболее дальновидным теоретикам и практикам самой же психосоматической медицины, позволяют создать представление, насколько глубок кризис, потрясающий на сегодня основы с такими усилиями воздвигавшегося на протяжении десятилетий здания этой концепции. Подобное впечатление становится, однако, еще более отчетливым, если учитывается отношение психосоматической концепции к фундаментальным психоаналитическим категориям, хотя бы к тому же упоминавшемуся уже принципу психосоматической специфичности (специфичности связей между содержательной стороной переживания, спровоцировавшего возникновение болезни, и характером спровоцированного клинического синдрома). Высказывающиеся по этому поводу подчеркивают, что в последнее время "во все большей степени распространяется скептицизм по поводу методологической ценности идеи

специфичности как объясняющей категории" (Липовскнй); что "идея специфичности, как она понималась до сих пор, устраняется" (Гительсон); что вызывает удивление натянутость, малая доказательность теоретических представлений о психологической специфичности как о факторе, определяющем развитие и локализацию рака (Гринкер), - и подобные мнения, сформулированные даже нередко более резким образом, отнюдь не малочисленны.

Было бы неправильным недооценивать положительное влияние, которое оказала на концептуальные основы западной психосоматической медицины эта сильная критическая струя. Если мы сопоставим, например, ранние, весьма наивные представления о принципах регрессии и конверсии, существовавшие в 30-х - 40-х гг. хотя бы у Ференчи, автора "Талассы", у Ранка или даже позже у Сола и Лайонса, выводивших генез и симптоматику дыхательных расстройств из стремления больного к возврату в ранние фазы онтогенеза [9], с пониманием, которое предлагается Энгелем и Шмалем [4], то легко подметим, насколько более интересным и глубоким, более тонким становится постепенно и сам принцип конверсии в ограничительном истолковании этих последних авторов (сведение роли конверсии к определению не существа, не качества органического синдрома, а только зоны, физиологической системы его преимущественного проявления и т. п.). В настоящее время происходит, по-видимому, вообще определенный отход психосоматики на Западе от проблем традиционного психоаналитического стиля и тем самым усиливается ее стремление к более 206 широкому охвату проявлений болезни, чем учет только зависимости последней от фактора бессознательного (*Хорошее представление об этом сдвиге дают слова одного из видных теоретиков психосоматического направления, бывшего президента Американского психосоматического об-ва У. Грина: "Несомненно, возросшая строгость исследований помогает отделять существенное от несущественного. Но эти данные редко приводят к постановке адекватных новых проблем и к формулировке пригодных ответов... Я сомневаюсь, что ответы на наши вопросы будут получены в результате более глубокого изучения "бессознательного". Наиболее важное развитие в нашей области за последние 25 лет - это изменение теоретической перспективы. Оно выражается в повышении интереса не только к проблеме болезни, но и к проблеме здоровья... Сегодня уже не занимаются так много тягостными эмоциями вины и гнева как ускорениями болезни... Может быть больше всего дает понятие "coping", которое в общих чертах можно определить как то, что позволяет сохранять психологическую и физиологическую устойчивость, вопреки отрицательным эмоциям" [6]. Вряд ли можно не заметить, насколько отклоняется все это развитие мысли от канонов и традиционных интересов психоанализа и "классической" психосоматики и насколько оно приближается к кругу вопросов, все более активно разрабатываемых л за рамками психосоматической медицины*).

И, однако, несмотря на все это, конверсионная концепция продолжает стоять перед непреодоленными трудностями, когда она пытается как-то систематизировать и обобщать накопленные ею данные. Ж. Валабрега было, во всяком случае, не так давно отчетливо сказано: "Механизм истерической конверсии от нас до сих пор ускользает" [8]. И весьма интересно, что причины этих трудностей многие даже из убежденных сторонников конверсионной трактовки видят в настоящее время в недостаточности знаний о биологических (а если говорить точнее, о физиологических) связях, существующих между нарушениями эмоциональными и нарушениями соматическими. "Любые рассуждения о механизмах, на основе которых комплекс "giving up - given up" (*Трудно переводимое, используемое Энгелем и Шмалем условное обозначение зажного, по их мнению, психологического сдвига, имеющего часто патологические последствия. В структуру этого комплекса входят в качестве его основных компонентов переживания беспомощности и безнадежности*) приводит к соматическим нарушениям, должны включать соображения по поводу его биологического аспекта" [4, 361]. Так, хотя и с большим запозданием и не в очень четкой форме, постепенно, по-видимому, в рамках самого психосоматического подхода созревает мысль о том, что на основе использования только психологических категорий раскрыть представление о природе психосоматической связи, - о ее механизмах, принципах, законах, - принципиально невозможно.

(6) Такой, если ее характеризовать, конечно, лишь в самых общих, грубых чертах, вырисовывается эволюция представлений о психосоматической связи, основывающихся на идее конверсии. Подход к проблеме этой связи, характерный для советских исследователей, также на протяжении последних десятилетий развивался, но, как мы это уже указывали, совсем иным образом.

Если мы попытаемся проследить основные идеи, двигавшие это развитие, то здесь на передний план выступает следующее.

В возможности прямого отражения в определенных клинических синдромах психологического содержания эмоционально напряженных переживаний у Павлова, при всех его расхождениях с Жане, сомнений, как мы это видели, не оставалось, хотя объяснение этого феномена было дано им без какого бы то ни было обращения к функции символизации. Такое общее понимание не исключало, что при достаточно массивном "обрастании" органического ядра синдрома функциональными наслоениями, - явление, как известно, отнюдь нередкое, - своеобразные формы прямой связи между синдромом, течением болезни, с одной стороны, и душевной жизнью больного, его осознаваемыми и не осознаваемыми психологическими установками, стремлениями, аффектами, с

другой, можно наблюдать в отчетливой форме в клинике даже наиболее грубых органических расстройств. Особенно, общий характер течения органического процесса - "судьба болезни", ее прогрессирующее утяжеление или, напротив, ее регресс - оказывается весьма часто зависящим именно от этих функциональных компонентов страдания, способных маскировать и даже, на какое-то время, изменять направленность необратимых (в конечном счете) сдвигов собственно органического порядка. Именно отсюда - так хорошо знакомые каждому клиницисту "непонятные" ремиссии при заведомо прогрессирующих органических расстройствах или, напротив, трудно объяснимые утяжеления болезни при слабой выраженности и медленности развития ее органической основы, словом, все те особенности заболевания, которые невыводимы непосредственно из топики патологического процесса, из его патофизиологических, биохимических, иммунологических и других объективных характеристик.

Следует, однако, иметь в виду, что подобное отражение душевной жизни в болезни через функциональные компоненты синдрома - это отнюдь не единственная форма проявления эмоционального напряжения в динамике патологических процессов. Иногда, - а, возможно, и наиболее часто, - результатом напряженного переживания является органический сдвиг, не имеющий по своему характеру никакого отношения к психологическому содержанию переживаний. В таких случаях выступает на передний план закономерность зависимости последствий напряженных переживаний от функционально-морфологического состояния физиологических систем на момент переживания. Эта зависимость хорошо вписывается в концепцию т. н. "второго удара", по А. Д. Сперанскому, и можно было бы привести неограниченное количество экспериментальных и клинических доказательств того, что при избирательной преморбидной ослабленности (индивидуально приобретенной или унаследованной) определенной физиологической системы именно эта ослабленная система преимущественно вовлекается в патологический процесс, независимо от того, каким является психологическое содержание соответствующего эмоционального конфликта у человека или каков характер экспериментальной "сшибки" условных рефлексов у животного. Легко понять, насколько веским доводом в пользу не только существования, но и, по-видимому, даже преобладания психологически неспецифических отношений между эмоцией и синдромом являются подобные картины. Для скорее эффективных, чем глубоких идей "символизации", "языка тела" и т. п. в их рамках места, очевидно, не остается вовсе.

Даже если мы ограничимся сейчас, рассматривая связи, существующие между психологическими факторами и соматическими сдвигами, напоминанием только трех упомянутых выше их видов (псевдосимволика в условиях истерического расстройства; влияние на "судьбу" болезни функциональных компонентов, входящих в структуру органического синдрома; непосредственный органический отзвук душевного потрясения, возникающий по принципу "второго удара" в понимании Сперанского), то и тогда будет достаточно ясно, насколько сложна и внутренне противоречива проблема психосоматической связи. Но, конечно, этими тремя видами разнообразие существующих здесь отношений не ограничивается. Психосоматические отношения детерминации гораздо более полиморфны, и поэтому не удивительно, что и в западной и в советской литературе в последнее время во все возрастающей степени приковывается внимание к самым разным их аспектам.

Советскими исследователями недавно, например, обсуждался вопрос о весомости этих детерминаций, о роли, которую эмоционально напряженные переживания играют в провокации болезней, сопоставительно с другими этиологическими факторами. Как иллюстрацию выводов, к которым приводят подобные исследования, мы напомним докторскую диссертацию В. М. Губачева (1975). В ней было показано, что в ряду "факторов риска" острой ишемической болезни сердца "вес" фактора эмоционального напряжения превышает сумму "весов" остальных факторов, взятых совокупно. В материалах настоящей монографии представлена, с другой стороны, работа (Е. Я. Лунц, 1976), посвященная проблеме возможностей прогноза возникновения психосоматических расстройств и дополняющая в некоторых отношениях данные широко известных прогностических исследований Витткувера, Поллока, Вайнера с соавторами, Мирски и др. В результате этого исследования подтверждена и уточнена возможность прогнозирования, при определенных условиях, развития язв желудка и двенадцатиперстной кишки на основе данных обследования, проводимого с помощью проективных тестов.

(7) Сказанное выше достаточно убедительно говорит в пользу практической важности исследования психосоматических отношений и фактической выполнимости подобных работ при существующем на сегодня уровне развития методик. Нет недостатка и в общих идеях, которые будут, по-видимому, направлять все это течение мысли в ближайшие годы. Мы хотели бы в заключение настоящей статьи коротко остановиться именно на этом особенно важном в плане дальнейших перспектив теоретическом моменте.

Концепция психологической установки Д. Н. Узнадзе смогла сыграть столь заметную роль в развитии советской психологии потому, что ею была предложена фундаментальная категория - понятие установки, - открывшая путь к пониманию наиболее сложной, наиболее труднопостижимой стороны поведения человека - активности и целенаправленности разных форм его деятельности. В теоретическом отношении круг вопросов, поднятых и заостренных Д. Н. Узнадзе еще в 20-х-30-х гг., предварил и облегчил постановку проблем, поставленных несколько позже другими выдающимися советскими исследователями: П. К. Анохиным и Н. А.

Бернштейном, вошедшими в историю советской науки как создатели теории физиологии активности (Н. А. Б.) и концепции функциональных систем (П. К. А.), И. В. Давыдовским, который впервые в истории общей патологии поставил (в последних своих работах) основные категории этой дисциплины в связь с идеями психологии, А. Д. Сперанским, одним из наиболее талантливых учеников Павлова, стимулировавшим дальнейшее оригинальное развитие концепции нервизма.

Возникшие на основе всех этих родственных подходов тесно друг с другом связанные представления довольно быстро дали о себе знать и за рамками психологии, физиологии и общей патологии. Их проникновение в клинику, начавшееся еще в 50-х гг., шло широким фронтом, было стремительным и плодотворным. Основная идея, подсказанная ими в аспекте клиники, заключалась в указании на зависимость течения болезни от активности отношения больного к своему страданию, к собственному внутреннему миру и ко всей окружающей его объективной среде.

Следует сразу же уточнить, что в той или другой степени и отталкиваясь от разных исходных позиций шли к пониманию этой в высшей степени важной для клиники общей идеи на протяжении последних лет многие. Надо только уметь распознавать ядро этой идеи в представлениях весьма разного стиля, выражавшихся на разных концептуальных "языках". Если это ядро вычленяется, то отчетливо выступает взаимная близость таких, например, казалось бы разных явлений и высказываний, как "иммунитет нужности" (описывавшийся неоднократно феномен высокой сопротивляемости заболеваниям в условиях осознаваемого или неосознаваемого переживания субъектом своей необходимости для успешного выполнения высоко "значимой" для него деятельности при катастрофическом падении этой сопротивляемости после ослабления интенсивности подобного переживания); как опыты с психической и болевой травматизацией животного в условиях предоставления животному возможности активно отвечать движениями на повреждающий стимул и без предоставления такой возможности (было показано, что соматическая патология развивается в значительно более тяжелой форме у животных второй группы); как уже приводившееся выше указание У. Грина на решающее значение, которое имеет в преодолении болезни функция "coping" (активность, позволяющая сохранять психологическую и физиологическую устойчивость, вопреки отрицательным эмоциям) и т. д. Все это - экспериментальные и теоретические указания на какую-то нами пока еще, к сожалению, мало понимаемую, но весьма, по-видимому, важную в плане борьбы с болезнью роль общей "активности" (организма и личности), направленной на преодоление неблагоприятных внешних воздействий. Эффектное экспериментальное обоснование такого общего понимания было дано недавно В. С. Ротенбергом и В. В. Аршавским [3]. показавшими, что развитие соматической патологии у животного наблюдается лишь в ослабленной форме, если животное реагирует на травмирующие воздействия поведением активно-, а не пассивно-оборонительного типа. Значение, которое имеют исследования подобного рода для дальнейшего углубления этиопатогенетических представлений о природе психосоматических связей, очевидно.

Думается поэтому, что на настоящем этапе развития проблемы психосоматических отношений мы не только констатируем реальность психосоматических детерминаций, не только распознаем разные их формы, не только получаем возможность предвидения их следствий и тем самым управления ими, но в какой-то степени начинаем более глубоко понимать и определяющие их психологические закономерности, и реализующие их физиологические механизмы.

Остаются ли здесь темы для споров? Было бы недопустимым отрицать это. Реально ли суженное понимание конверсии, предлагаемое Энгелем и Шмалем (определение аффектом не существа, не природы соматического ответа, а только зоны его проявления, только его топических характеристик)? Если в клиническом синдроме не отражается конкретное психологическое содержание аффективного конфликта, тоне может ли в нем, тем не менее, однозначно звучать тип аффекта (т. е. то, что хронический страх, например, вызывает иные формы соматической патологии, чем хроническая тоска или хроническое раздражение)? Как следует толковать примечательный и лишь изредка принимаемый клиницистами во внимание феномен "shift-синдрома", описанного голландскими авторами (возникновение вместо одной болезни, устраненной в результате терапевтических усилий, какой-то другой, выявляющее скрытую психогенную, по мнению некоторых исследователей, обусловленность подобных клинических картин)? Наконец, вопрос особенно для нас важный: идентичны ли влияния, оказываемые на сому осознаваемым и неосознаваемым эмоциональным напряжением - душевным конфликтом, который ясно предстоит сознанию его субъекта, и противоречием мотивов, вытесненных в бессознательное?

Надо прямо сказать, что во всем этом мы еще очень плохо разбираемся. Как отзвук исходных идей Фрейда существовало одно время представление, по которому разрушает здоровье, главным образом, вытесненное. Мы знаем теперь, что это далеко не так. И осознаваемое эмоциональное напряжение может обуславливать катастрофические сдвиги. Но существует ли какая-то специфичность в действии каждого из этих факторов, остается пока не ясным. Все эти важные темы для дальнейших дискуссий, в которых последнее слово будет сказано, надо думать, еще не скоро.

(8) В настоящем, пятом, тематическом разделе монографии представлены сообщения, с очень разных сторон освещающие проблему проявления осознаваемых и неосознаваемых психических факторов в клинике.

В первой статье, М. М. Кабанова, обсуждаются общие принципы психотерапевтических и реабилитационных мероприятий. Вводя понятие т. н. психологической модели ожидаемых результатов лечения, автор раскрывает значение этой модели как важного терапевтического фактора, влияющего на "внутреннюю картину" болезни, на процесс и результаты врачебных воздействий.

А. Каценштейн, один из ведущих психотерапевтов ГДР, рассматривает в своем сообщении отношения, существующие в психической деятельности между ее осознаваемыми и неосознаваемыми компонентами. Сообщение можно рассматривать как принципиальное теоретическое обоснование системы традиционно применяемых терапевтических мероприятий. Автор связывает свой анализ с идеями школы Д. Н. Узнадзе.

Затем приведен цикл статей иностранных авторов, освещающих разные аспекты психосоматической проблемы: Г. Поллока (дающего в двух статьях глубокий анализ психосоматического принципа специфичности); Э. Виттковера и Г. Уорнса (краткий обзор истории психосоматической проблемы); Г. Аммона (прослеживающего зависимость подверженности психосоматическим заболеваниям от травмирующих переживаний раннего детства, особенно - от отклонений, происходящих в системе ребенок - мать); Г. Вайнера (связывающего психосоматическую проблему с более широким вопросом о принципах психофизической связи вообще).

В статьях (Г. Поллока. одного из ведущих теоретиков и практиков американской психосоматической медицины, возглавившего после кончины Г. Александера руководство Чикагским психоаналитическим институтом, подвергаются интересному и глубокому анализу основные методологические проблемы психосоматического клинического подхода. Автор справедливо указывает на важную роль, которую в развязывании болезни играют т. н. психодинамические констелляции (конфликты и первичные защиты), т. н. "onset - ситуация" ("объективные преморбидные условия"), факторы предрасположения, степень уязвимости и т. п. В несколько меньшей степени им подчеркивается роль "позиции" заболевающего в отношении окружающей его среды и близящейся клинической катастрофы: степень характерного для него сопротивления неблагоприятным обстоятельствам, сила его психологической установки на здоровье, выраженность в его поведении активного поиска оптимальных ситуаций. Между тем, в работах советских исследователей, выполненных как в экспериментах на животных (сопоставление заболеваемости животных с преобладанием пассивно-оборонительных и агрессивно-наступательных реакций на травмирующий стимул), так и на людях, была показана исключительно важная роль именно этих последних моментов, способных при их достаточной выраженности нейтрализовать эффекты действия даже мощных ансамблей патогенетических факторов [см., например, 3]. При разработке этой проблемы советские исследователи опираются на упрочившиеся в нашей литературе идеи т. н. "физиологии активности" Н. А. Бернштейна, и это создает для них ценные возможности углубления анализа.

Представление об особенностях современного психосоматического подхода в клинике в его западной интерпретации дается также в статье Э. Виттковера (Канада) и Г. Уорнеа (Ирландия). Небезынтересно, что весьма компетентные авторы этой статьи, являющиеся сторонниками психоаналитического подхода, вместе с тем указывают: "наше предположение, что психосоматические нарушения будут легко устранимы с .помощью психоанализа и других форм психотерапии, не оправдалось". В сообщении президента западногерманской Академии психоанализа Г. Аммона поставлена практически важная проблема психодинамики бессознательного в случае психосоматической болезни. Автор рассматривает .методологические аспекты этой проблемы. Своеобразным философским дополнением к этим сообщениям о психосоматических подходах в клинике является статья Г. Вайнера (США), в которой обсуждаются и некоторые принципиальные проблемы теории детерминизма.

Упомянутые выше статьи составляют логически как бы первый подраздел пятого раздела, затрагивающий общие вопросы методологического порядка. Последующие работы этого раздела имеют более специальный характер.

Так, в статье Ф. Б. Березина рассматриваются механизмы, позволяющие устранять проявления расстройства психосоматических отношений, вызываемого тревогой, причины которой ее субъектом не осознаются. Автор показывает, что эти механизмы связаны с включением процессов интрапсихической адаптации (разновидности психологической защиты). В уже упоминавшейся статье Е. Я. Лунц обосновывается возможность прогноза развития психосоматических заболеваний при учете данных обследования, проводимого с помощью проективной методики.

Следующий цикл сообщений советских авторов (Э. Г. Симерницкая, М. В. Сербиненко с соавт., А. М. Вейн с соавт., Э. С. Бейн, Е. Ю. Артемьева с соавт.) возвращает нас к уже рассмотренной (в III тематическом разделе)

проблеме особенностей функциональной активности доминантной и субдоминантной гемисфер мозга, но здесь эта проблема рассматривается преимущественно в клиническом аспекте, с определением синдромов, характерных для разной топики поражений. Этот цикл завершается статьей Э. И. Канделя, в которой обобщены клинические факты, относящиеся к проблеме локализации сознания и осознания.

Далее следуют сообщения, затрагивающие различные вопросы психотерапии неврозов с обращением особого внимания на выступающие при этом механизмы психологической защиты и осознания вытесненного (В. Е. Рожнов с соавт., Р. А. Зачепицкий с соавт., А. Е. Свядощ). Развитое в них понимание заметным образом отличается от трактовки сходных тем зарубежными авторами - Б. Мульдворфом (Франция), А. Сольнитом (США), Р. Роджерс (США), ставящими акценты на особой роли в патогенезе невротических состояний переживаний раннего детства, на подавлении агрессивных устремлений, на специфических аффективных отношениях, возникающих в рамках малых социальных групп. Этот цикл статей завершается имеющим особое значение сообщением Д. Мармора (США) "Осознаваемые и неосознаваемые факторы в психотерапии".

Статья Д. Мармора представляет особый интерес в связи с обобщенностью и некоторыми характерными тенденциями представленного в ней подхода. Автор с самого начала подчеркивает условность понятия "бессознательное", необходимость рассмотрения этого термина как обозначающего лишь особое качество определенных форм психической деятельности, а не некую активность sui generis, некую специфическую мозговую функцию ("the unconscious"). Нетрудно подметить здесь несколько неожиданную близость к пониманию, неоднократно высказывавшемуся и в советской литературе.

Далее Мармор уточняет представление о роли бессознательного в психотерапевтическом процессе. При этом, однако, он не столько обращается к априорно постулируемым бессознательным компонентам душевной жизни больного, сколько отправляется от предварительно предпринимаемого им исследования психологической структуры психотерапевтической ситуации, трактуемой как своеобразная динамическая схема, в которой психологические воздействия, происходящие на основе обратных связей (не только врач воздействует на больного, но и больной на врача), не всегда в достаточной степени и больным, и врачом осознаются.

Анализ психологической структуры психотерапевтического процесса, производимый Мармором, оригинален и имеет широкий характер, относясь к разным методам психотерапевтического воздействия. В качестве наиболее важных компонентов этой структуры, от которых зависит психотерапевтический эффект, Мармор вычленяет, прежде всего, установление адекватных эмоциональных отношений в системе "врач - больной" (это - основная матрица", предваряющая и предопределяющая все остальное); инициальное снижение аффективной напряженности у больного, возникающее уже в силу самого факта его обращения к врачу, на сочувственную помощь которого он надеется; "познавательное обучение" ("cognitive learning") больного, происходящее путем предъявления ему новой информации и создания у него на этой основе новой системы отношений, новых психологических установок к окружающему ("операциональное обуславливание", при котором в качестве "подкрепления" выступает эксплицито или имплицито "одобрение" - "неодобрение" со стороны психотерапевта); "социальное обучение" больного (если пользоваться термином Миллера и Долларда) или его "идентификация" (в психоаналитическом понимании) с врачом; убеждение с элементами суггестии и ряд других сходных видов психологического воздействия.

Поскольку некоторые из этих форм активности остаются неосознанными их субъектом, очевидно, тем самым широко раскрывается возможность проникновения бессознательного в структуру психотерапевтического процесса. Мармор видит экспериментальное обоснование общего излагаемого им понимания не только (как об этом можно заключить по используемой им терминологии) в концепции "лечения поведением" ("behavior therapy"), он апеллирует также к старым экспериментальным работам широко известного советского исследователя А. Р. Лурия. В целом же весь этот подход с характерной для него сложностью и в какой то степени эклектичностью весьма показателен для новейшей эволюции психотерапевтической мысли на Западе, позволяющей последней занять, во всяком случае, нетрадиционное отношение к психоаналитическим психотерапевтическим схемам.

В заключительной части раздела представлены статьи, затрагивающие проблему роли осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в клинике истерии и психастении (В. М. Блейхер с соавт.), шизофрении (В. Иванов, С. М. Лифшиц с соавт., А. С. Спиваковская), состояний ипохондрических (И. В. Баканова с соавт.) и пресуицидальных (Д. Д. Федотов). Завершается эта серия сообщений статьей Г. С. Васильченко о проявлениях активности бессознательного в условиях сексуальной патологии.

И как своеобразный "эпилог" звучат сообщения, посвященные важной при любом специальном подходе общей теме психологии межперсональных отношений: статья А. Е. Личко о психологии отношений как об особом

теоретическом направлении, сложившемся в рамках советской психологической науки под воздействием идей и трудов В. Н. Мясищева. статья М. Сапира (Франция), в которой заостряется вопрос о неосознаваемых отношениях, возникающих в системе "врач - больной" и статья Р. Лангса (США), касающаяся развития идеи трансфера после Фрейда.

87. Психологическая модель ожидаемых результатов лечения и ее значение для психотерапии и реабилитации. (К вопросу о внутренней картине болезни) М. М. Кабанов

Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Ленинград

Современное понимание концепции реабилитации включает в себя направленность всех лечебно-восстановительных мероприятий к личности больного ("апелляция к личности" [4; 11]). Среди многочисленных методов в системе реабилитационных воздействий - медицинских, психологических и социальных - психотерапии принадлежит особое место. Это объясняется сложной функцией психотерапии, которая, являясь формой медицинского (лечебного) вмешательства, в некоторых своих аспектах является также формой психологического (психокоррекционного) и социального воздействия.

В психотерапевтической (психо-социальной) работе с больными и их родственниками (пример - семейная психотерапия) в процессе реабилитации большая роль принадлежит тому, что можно назвать "моделью ожидаемых результатов лечения" [9, 271]. Выработка в процессе психотерапии и реабилитации у больных адекватной модели ожидаемых результатов лечения является существенным фактором, который зачастую становится определяющим в реализации той или иной реабилитационной программы.

Внутренняя картина болезни [6] зависит от особенностей личности больного и включает различные уровни психического отражения больным собственного состояния [1; 7]. Различают уровни непосредственного чувственного отражения, интеллектуальной оценки заболевания и его последствий, эмоциональной реакции на него, возникновения новых мотивов деятельности, связанных с заболеванием [7]. Наряду с ними следует иметь в виду возможность участия "бессознательного" (в понимании Ф. В. Бассина - как фактора регуляции поведения с учетом как осознаваемых, так и неосознаваемых психологических установок) в отдельных уровнях психического отражения внутренней картины болезни. Логично предположить, что должна иметь место связь между внутренней картиной болезни и моделью ожидаемых результатов лечения у больного. Эти понятия следует рассматривать в их единстве, так же как и другие составные компоненты внутренней картины болезни: модели ведущих синдромов болезни, прогноза и, наконец, полученных результатов лечения [9]. Имеются также тесные связи между так называемой схемой тела и внутренней картиной болезни. Успех проводимого психотерапевтического лечения во многих случаях зависит от умения врача (или психолога) вскрыть бессознательные (неосознаваемые) механизмы, влияющие на те или иные психические или физиологические функции или на поведение в целом. Требуется, в частности, умение (вместе с пациентом - "принцип партнерства") сделать минимальным разрыв между моделями ожидаемых и полученных результатов или сделать этот разрыв менее чувствительным для больного. В этой кропотливой и упорной работе многое зависит не только от особенностей личности пациента, но и от личностных особенностей врача, его "эмпатийного потенциала", а также в ряде случаев от разработки адекватной модели ожидаемых результатов лечения у родственников больного.

Многолетние наблюдения, проведеные в реабилитационной клинике института им. В. М. Бехтерева в процессе восстановительного лечения больных затяжными формами психических заболеваний (шизофренией, эндогенными и эндореактивными депрессиями), показали большое значение для прогноза заболевания и уровня ресоциализации отношения больных к характеру своего заболевания, формирования у них адекватной модели ожидаемых результатов лечения.

Особенно следует подчеркнуть, что те формы лечебного воздействия, которые являлись общепризнанными (например, лекарственная терапия) или доставляли пациентам нашей клиники удовлетворение, хотя и не воспринимались обычно как лечение (например, режимы полного нестеснения - "открытых дверей", "частичной госпитализации"), чаще ими оценивались положительно. Сложнее обстояло дело с оценкой такого непривычного в первый период деятельности реабилитационной клиники метода работы с психически больными, как групповая психотерапия. Отношение к этому, общепризнанному среди специалистов, методу ресоциализации психически больных у пациентов нашей клиники было противоречивым. У многих больных шизофренией оно было одно время отрицательным [5, 130; 3, 271]. В настоящее время групповая психотерапия в психиатрической клинике стала более привычной, и отношение к ней меняется [2].

Наши наблюдения показывают, что в психотерапевтической работе с психически больными часто не удается воздействовать на механизмы различных болезненных проявлений "лобовой атакой". Нередко приходится оставлять нетронутыми некоторые механизмы "психологической защиты", представленные в виде тех или иных моделей своего заболевания (в таких случаях дает хорошие результаты методика "козла отпущения", заключающаяся в поисках больным совместно с врачом приемлемых "причин" своего болезненного состояния, дискомфорта).

По Ф. В. Бассину [1], вплетение "бессознательного" допускается как "активного фактора регуляции" в структуру действия. А реабилитация - это прежде всего "действие", "арена, системной деятельности" с позиций системного подхода.

В реабилитационном подходе к больному, помимо принципа "партнерства", важны также и другие принципы: разносторонность (разноплановость) проводимых усилий, воздействий и мероприятий; единство биологических и психосоциальных воздействий, а также переходность ("ступенчатость") этих воздействий. В число психосоциальных воздействий входят различные формы психо- и социотерапии, где коррекция внутренней картины болезни различными методами играет огромную роль, Используется большое количество методических приемов в процессе индивидуальной и групповой психотерапии, а также во время психологического обследования. В этих методах существенная роль принадлежит малоизученным у нас явлениям, обозначаемым в психоаналитической литературе как "интеракция", "экоплорация", "инсайт", "перенос" и "контрперенос". Правильная трактовка этих явлений невозможна без материалистического понимания взаимоотношения деятельности сознания и "бессознательного".

С нашей точки зрения, и в теории психологической установки Д. Н. Узнадзе и его школы [8; 10; 11; 12] и в теории неосознаваемых форм психической деятельности Ф. В. Бассина заложены большие возможности для понимания оценки больным динамики внутренней картины болезни с ее моделью ожидаемых и полученных результатов лечения, их соотношения и "принятия". Переосмысление психоаналитических положений о "психологической защите", анализ "бессознательного" должны проводиться с диалектико-материалистических позиций, в частности с учетом данных психологии отношений по А. Ф. Лазурскому и В. Н. Мясищеву.

94. Некоторые механизмы интрапсихической адаптации и психосоматические соотношения. Ф. Б. Березин

I Московский медицинский институт

Исследование влияния бессознательной психической деятельности на психосоматические соотношения предполагает рассмотрение нескольких, по-видимому тесно связанных между собой, но все же независимых аспектов проблемы.

Во-первых, это вопрос о том, в каких случаях происходит нарушение указанных соотношений и в какой мере оно связано с проблемой неосознанания.

Во-вторых, - вопрос о том, какое влияние оказывают на формирование психосоматических соотношений механизмы интрапсихической адаптации (психологические защиты).

И, наконец, представляется существенным исследование связи изменений вегетативно-гуморального регулирования при нарушении психосоматических соотношений с характером механизмов интрапсихической адаптации, с особенностями психического реагирования, т. е. исследование взаимоотношений между двумя компонентами единой реакции: психическим и вегетативно-гуморальным.

Одним из наиболее адекватных объектов для изучения перечисленных вопросов могут служить состояния, в которых изменение психосоматических соотношений связано с гипоталамическими нарушениями. Это объясняется особой, "двойственной" [12] функцией гипоталамических структур, которые, осуществляя интеграцию вегетативно-гуморального регулирования, в то же время играют важную роль в организации поведения, в формировании его эмоциональных и мотивационных аспектов. Этим определяется роль гипоталамуса "как специфически построенного отдела мозга... реагирующего на малейшие колебания в гуморальных показателях и формирующего в ответ на эти сдвиги целесообразные поведенческие акты" [7]. Характер психосоматической интеграции при указанных состояниях оценивался путем сопоставления в течение длительного, нередко многолетнего, наблюдения психического статуса (изучавшегося клинически и с помощью ряда тестовых методик) и особенностей вегетативно-гуморального регулирования (которое оценивалось по характеру и интенсивности сосудистых реакций, обмена нейрогормонов (медиаторов), тиреоидных гормонов,

функции системы гипофиз - кора надпочечников) (*Исследование психогуморальных соотношений проводилось совместно с сотрудниками межклинической гормональной лаборатории, результаты этих исследований были частично опубликованы ранее [1; 2; 3; 6]*).

При этом был установлен определенный стереотип изменений психосоматической интеграции, тесно связанный, с одной стороны, с выраженностью и стабильностью (или пароксизмальностью) тревожных расстройств, а с другой - с характером и последовательностью включения механизмов "интрапсихической адаптации. Значение тревожных расстройств в генезе психопатологических явлений, отмеченное З. Фрейдом, который назвал тревогу "стволом общей невротической организации", неоднократно подтверждалось многочисленными исследователями [14; 15; 18; 22]. Неоднократно описывались и вегетативно-гуморалыные изменения, наступающие при тревоге настолько неизменно, что W. Poldinger [20] выделяет в синдроме тревоги, как обязательные компоненты психопатологические, психомоторные и вегетативные проявления.

В настоящей работе предполагалось проследить изменения психосоматической интеграции, возникающие при острой (пароксизмальной) тревоге, причина которой не осознается субъектом, и трансформацию этих изменений в зависимости от бессознательных механизмов интрапсихической адаптации, таких, как отрицание, вытеснение, фиксация тревоги, снижение общего уровня побуждений и концептуализация.

Тревожные расстройства отмечались у описываемой категории больных на фоне вегетативно-сосудистых нарушений и нейро-эндокринных расстройств, характеризующих наиболее ранний период заболевания. Тревога обычно предваряла и сопровождала вегетативно-сосудистые пароксизмы, возникая как субъективное переживание нарушенного психосоматического (психовегетативного, психогуморального) равновесия. О связи аффекта тревоги с нарушением указанного равновесия может свидетельствовать и тот факт, что опыт благоприятного исхода предшествующих пароксизмов не предотвращает возникновения тревожных расстройств в очередном вегетативно-сосудистом кризе.

Симптомы, относящиеся к тревожным расстройствам, могут рассматриваться как элементы единого ряда, в котором они сменяют друг друга по мере нарастания тяжести состояния. Наименее выраженным расстройством этого ряда является ощущение внутренней напряженности, беспокойства, предчувствия чего-то неизвестного, что, однако, не расценивается еще как угрожающее. Причина, вызывающая это ощущение, не осознается. Субъективно оно воспринимается как беспричинное и необъяснимое. Это исключает возможность целесообразного поведения, направленного на устранение напряженности, и придает ощущению тягостный оттенок. Нарастание чувства внутренней напряженности часто приводит к появлению гиперстезических реакций, которые возникают как результат затруднения разграничения сигнала и фона, дифференцирования значимых и незначимых раздражителей. При этом ранее индифферентные раздражители приобретают неприятный эмоциональный оттенок, и реакции на них воспринимаются субъектом как необъяснимые, беспричинные или болезненные. Такое восприятие, в свою очередь, может приводить к нарастанию интенсивности тревожных явлений. Центральный элемент описываемого ряда представляет собой собственно тревогу, т. е. ощущение неопределенной угрозы, характер и (или) время возникновения которой не поддается предсказанию. Неосознание причины тревоги, невозможность предугадать характер угрозы, существование которой представляется субъекту несомненным, исключает адекватную оценку ситуации и вызывает ощущение беспомощности. При дальнейшем нарастании тяжести состояния тревога сменяется страхом, т. е. ощущением уже не неопределенной, а конкретной угрозы. В описываемых случаях наиболее часто страх связывается с угрозой внезапной смерти или тяжелого физического страдания (инфаркта миокарда, кровоизлияния в мозг и т. п.). Хотя на этой стадии представление о конкретном источнике угрозы делает возможным целенаправленное поведение (например, поиски врачебной помощи), защитный эффект такого поведения при остром развитии тревожных расстройств ослабляется появлением чувства неотвратимости надвигающейся катастрофы, с которым связано представление о заведомой бесполезности любых предпринимаемых усилий. Как крайнее выражение этого ощущения может наблюдаться тревожно-боязливое возбуждение.

Из сказанного ясно, что неосознание причины тревоги играет важную патогенетическую роль в развитии расстройств рассматриваемого ряда.

При пароксизмальном развитии тревожных расстройств они могут сменять друг друга в указанной последовательности в течение нескольких часов или даже минут, а при абортивных пароксизмах обрываться на любой из перечисленных стадий. Очевидно, что между расстройствами, образующими тревожный ряд, существует скорее количественная, чем качественная разница. В пользу этого предположения свидетельствует также возможность перехода более тяжелых тревожных нарушений не менее тяжелые под влиянием анксиолитических (транквилизирующих) фармакологических средств.

Наряду с тревожными расстройствами у описываемых больных в период пароксизма наблюдались и другие психопатологические нарушения. В инициальном периоде к ним относились нарушения влечений, расстройства сна и бодрствования, астенические явления. Позднее (в период полиморфной психопатологической симптоматики) наблюдались разнообразные сенестопатии, психосенсорные и дереализационные нарушения, отдельные и непостоянные истерические стигмы или фобические феномены. Все эти расстройства возникали у одного и того же больного хаотично, в разное время, с различной интенсивностью, не складываясь в единую систему. Также отсутствовала закономерная связь между характером психопатологических и вегетативно-гуморальных нарушений. Различия в психопатологическом сопровождении разных типов вегетативно-сосудистых пароксизмов были невелики и непостоянны. Симпато-адреналовые и ваго-инсулярные кризы, протекающие с противоположными изменениями вегетативно-гуморального регулирования, могли сочетаться с однотипными психопатологическими расстройствами. С другой стороны, психические явления могли иметь различную структуру и выраженность при однотипных вегетативно-гуморальных расстройствах. Подобная же диссоциация касается и психомоторных соотношений. По данным, полученным с помощью методики миокинетической психодиагностики [19], описываемым состояниям присуща неустойчивость моторных характеристик, отражающих, в частности, уровень энергии и витального тонуса, эмотивности, ажитации или заторможенности.

Таким образом, пароксизмально возникающие психические расстройства, характеризующиеся тревогой, причина которой не осознается субъектом, сопровождаются нарушением как интрапсихической, так и психосоматической интеграции.

Поскольку неосознавание причин тревожных расстройств исключает возможность целесообразного поведения, направленного на ликвидацию источника тревоги, восстановление нарушенной интеграции оказывается возможным только благодаря включению бессознательных механизмов интрапсихической адаптации. Изучение характера формирующихся при этом психопатологических синдромов, смены одних синдромов другими и параллельное исследование вегетативно-гуморального регулирования позволяет оценить иерархию механизмов интрапсихической адаптации и их влияние на состояние психосоматической интеграции.

Начальные этапы исследуемого процесса характеризуются либо отрицанием аффекта тревоги и вытеснением из сознания всех фактов, противоречащих этому отрицанию, либо неосознаваемой тенденцией к фиксации тревоги на определенных стимулах или объектах. В первом случае тревога отрицается на уровне перцепции внутреннего состояния. Возникает выраженная диссоциация между поведением, которое сохраняет черты, отражающие тревожные расстройства, и категорическим отрицанием тревожных расстройств при вербальном контакте. Вытеснение из сознания сигналов, указывающих на наличие расстройств тревожного ряда, позволяет больным декларировать свое "мужество и стойкость" перед лицом страдания. Использование такого механизма психологической защиты требует подчеркивания тяжести соматических нарушений, которые в этих случаях "подаются" и "раскрашиваются", за счет чего поведение больных приобретает черты демонстративности. Этот процесс достигает своего крайнего выражения в появлении истероподобных копий вегетативного криза, во время которых более или менее стереотипно повторяются его поведенческие компоненты при отсутствии объективно регистрируемых вегетативных расстройств. Описанные механизмы способствуют повышению самооценки больных, позволяя относить за счет заболевания любые социальные затруднения и конфликты. Заболевание становится основой для построения межличностных отношений, в которых больные исходят из того, что их состояние дает им право на повышенное внимание и заботу со стороны окружающих, освобождая их в то же время от ответных обязанностей.

Значение описываемого механизма интрапсихической адаптации для восстановления психосоматической интеграции, нарушенной на начальных этапах заболевания, подтверждается урежением или исчезновением вегетативных кризов, которые полностью или частично заменяются поведенческими копиями.

Однако при резких расстройствах психо-вегетативных соотношений, характерных для гипоталамических нарушений, этот механизм, который в иных случаях может длительно функционировать, по-видимому, недостаточно эффективен. Связанные с ним явления определяют клинический синдром только в некоторых случаях и на относительно короткий срок. Пароксизмы тревожных расстройств и дисфорические эпизоды вновь возникают на их фоне, становятся все более частыми и приводят к включению иных, более эффективных механизмов интрапсихической адаптации, наиболее часто - механизмов снижения уровня побуждений или концептуализации.

Значительно чаще на начальных этапах включения механизмов интрапсихической адаптации отмечается стабилизация тревоги за счет бессознательной тенденции к фиксации ее на определенных стимулах или объектах, позволяющей конкретизировать угрозу. По мере конкретизации угрозы, которая связывается вначале с возможностью соматической катастрофы, а в дальнейшем с условиями, в которых ощущение угрозы возрастает (пребывание в одиночестве или в толпе, поездки на городском транспорте и т. п.), расстройства тревожного ряда

становятся все более стабильными, а вегетативные кризы, с которыми первоначально были связаны эти расстройства, теряют очерченность, сглаживаются, а затем исчезают. Стабилизация тревоги сопровождается и исчезновением наиболее тяжелых тревожных расстройств: ощущения неотвратимости надвигающейся катастрофы и тревожно-боязливого возбуждения. Отнесение тревоги за счет определенных стимулов и ее стабилизация сопровождаются уже не приступообразными, не хаотичными, а стабильными изменениями вегетативно-гуморального регулирования. Эти изменения характеризуются следующими данными.

Географические исследования (выполнены совместно с В. И. Ильиным) обнаруживают повышение реографического индекса как церебральных, так и периферических сосудов, более высокий уровень их тонического напряжения и более резкую сосудистую реакцию при фармакологической нагрузке (введение никотиновой кислоты). Психомоторные отношения также стабилизируются, характеризуясь, в частности, стабильным возрастанием моторных коррелятов тревоги и эмотивности (рис. 1, А). Изучение обмена тиреоидных гормонов обнаруживает повышение всех этапов этого обмена [4].

Наиболее характерно изменяется обмен катехоламинов. Связь тревожных явлений с повышенной продукцией катехоламинов в настоящее время может считаться установленной [1; 5; 8; 9; 10; 11; 13; 16; 21]. Для настоящей же работы особый интерес представляет вопрос о том, в какой мере при фиксированной, стабилизированной тревоге повышенная продукция катехоламинов отражает психосоматическую интеграцию. С этой точки зрения важно отметить, что повышенное содержание в крови и повышенный уровень экскреции катехоламинов (особенно норадреналина, - "НА") сочетается с ускорением синтеза НА (судя по увеличению отношения НА/дофамин, - "ДА") (*Оценка обмена катехоламинов проводилась по отношению уровня экскреции вещества-метаболита к веществу-предшественнику, как это было предложено Т. Д. Большаковой (1973)*) и замедлением оксиметилирования и окислительного дезаминирования катехоламинов с образованием ванилинминдальной кислоты - "ВМК" (уменьшение отношения ВМК/адреналин - А + НА), см. рис. 2 А. Такие изменения обмена катехоламинов физиологически синергичяы: ускорение синтеза катехоламинов так же способствует повышению их содержания в организме, как и замедление метаболизма. Эта синергичность может расцениваться как свидетельство центрально обусловленной интегрированности процессов обмена катехоламинов. В последнее время синаргичное ускорение синтеза катехоламинов и замедление их метаболизма были подтверждены при экспериментальном моделировании психического стресса прямым определением активности ферментов, обеспечивающих синтез и метаболизм катехоламинов [17].

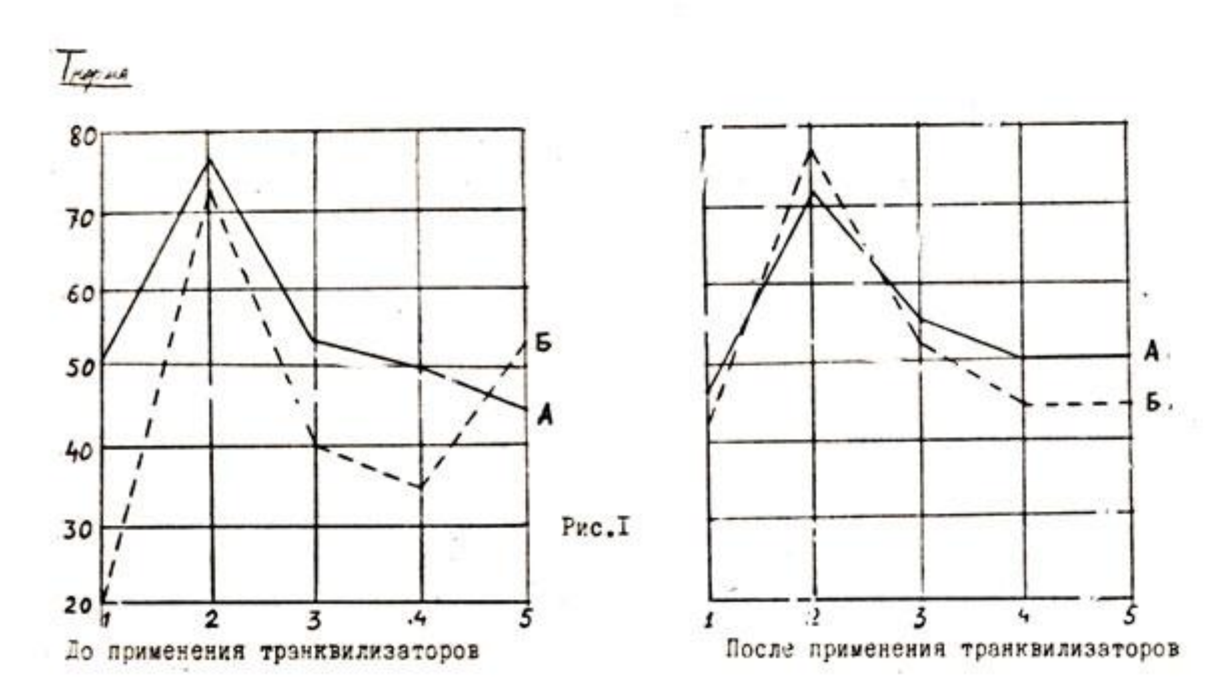
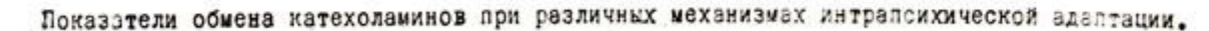


Рис. 1. Психомоторные соотношения при различных механизмах интрапсихической адаптации. Доминантная рука. Моторные корреляты: 1 - тревоги, 2 - психомоторного тонуса, 3 - агрессивности, 4 - эмотивности, 5 - экстра-интраьерсии

Синергичность гуморального регулирования подтверждается также тем фактом, что повышение симпатоадреналовой активности сопровождается уменьшением содержания в крови ацетилхолина и снижением холинергической активности.

Приведенные данные позволяют считать, что включение механизма интрапсихической адаптации, благодаря которому тревожные расстройства относятся за счет определенного стимула, дает возможность восстановить и стабилизировать (хотя и на ином уровне) нарушенную ранее психосоматическую интеграцию, другими словами, восстановить равновесие между характером психической деятельности, определяющей поведение, и характером вегетативно-гуморального регулирования, которое это поведение обеспечивает. При этом фиксированной тревоге соответствует совокупность вегетативно-гуморальных изменений, характерных для эрготропного сдвига вегетативного регулирования.



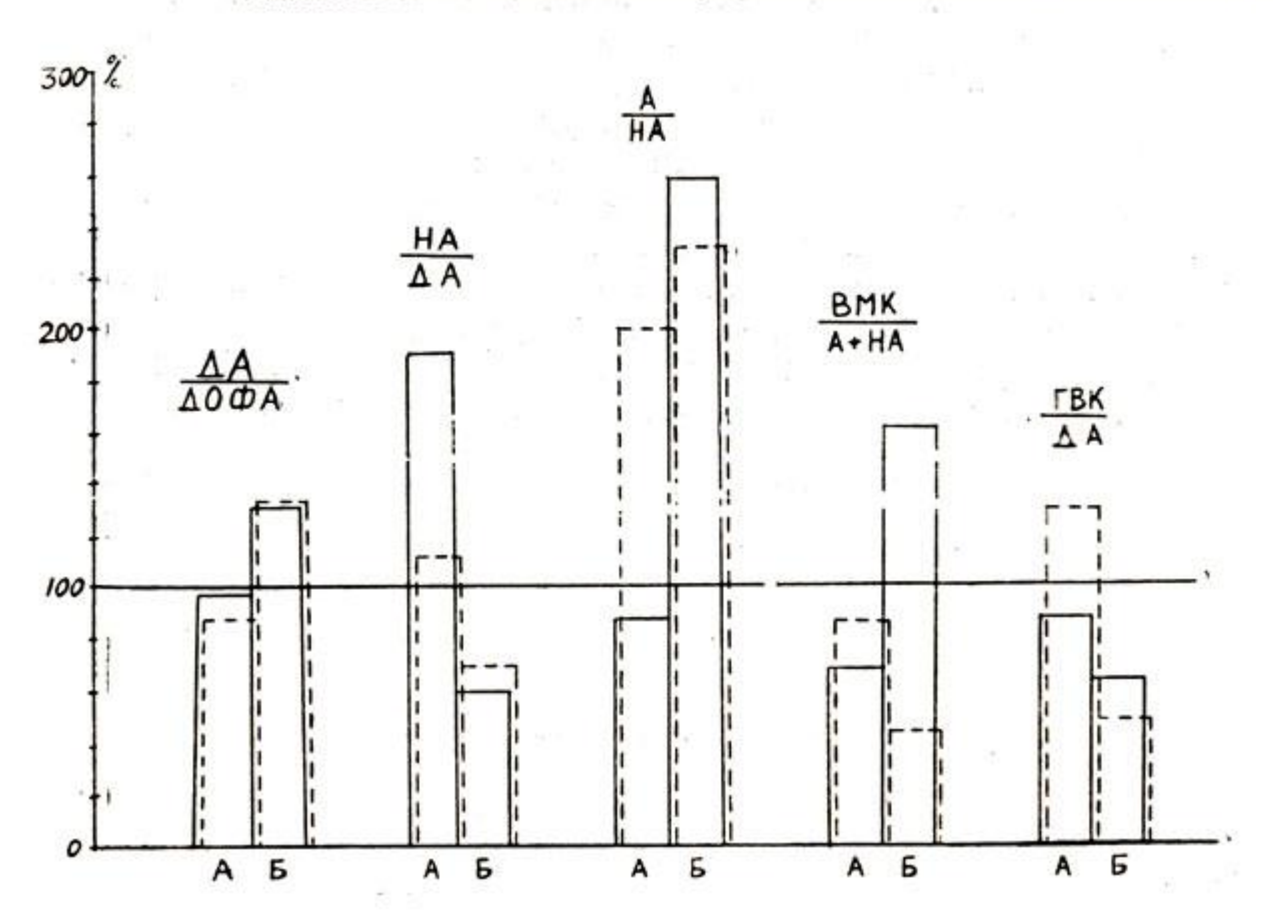


Рис. 2 Объяснение в тексте. Пунктиром показано изменение показателей при применении транквилизаторов

Интенсивность перечисленных изменений может уменьшаться при ограничительном поведении. Возможность такого поведения, как уже указывалось, становится реальной, поскольку фиксация тревоги позволяет рационализировать ситуацию.

Как и отрицание тревоги, ограничительное поведение, направленное на избегание стимулов, с которыми тревога связывается, может быть длительно эффективным при неврозах, в основе которых не лежит первичное и грубое нарушение психосоматической интеграции, но, как правило, оказывается недостаточным при рассматриваемой гипоталамической патологии. Относительность и хрупкость психосоматической интеграции, восстановленной благодаря фиксации тревоги, может быть выявлена при рассмотрении следующих фактов.

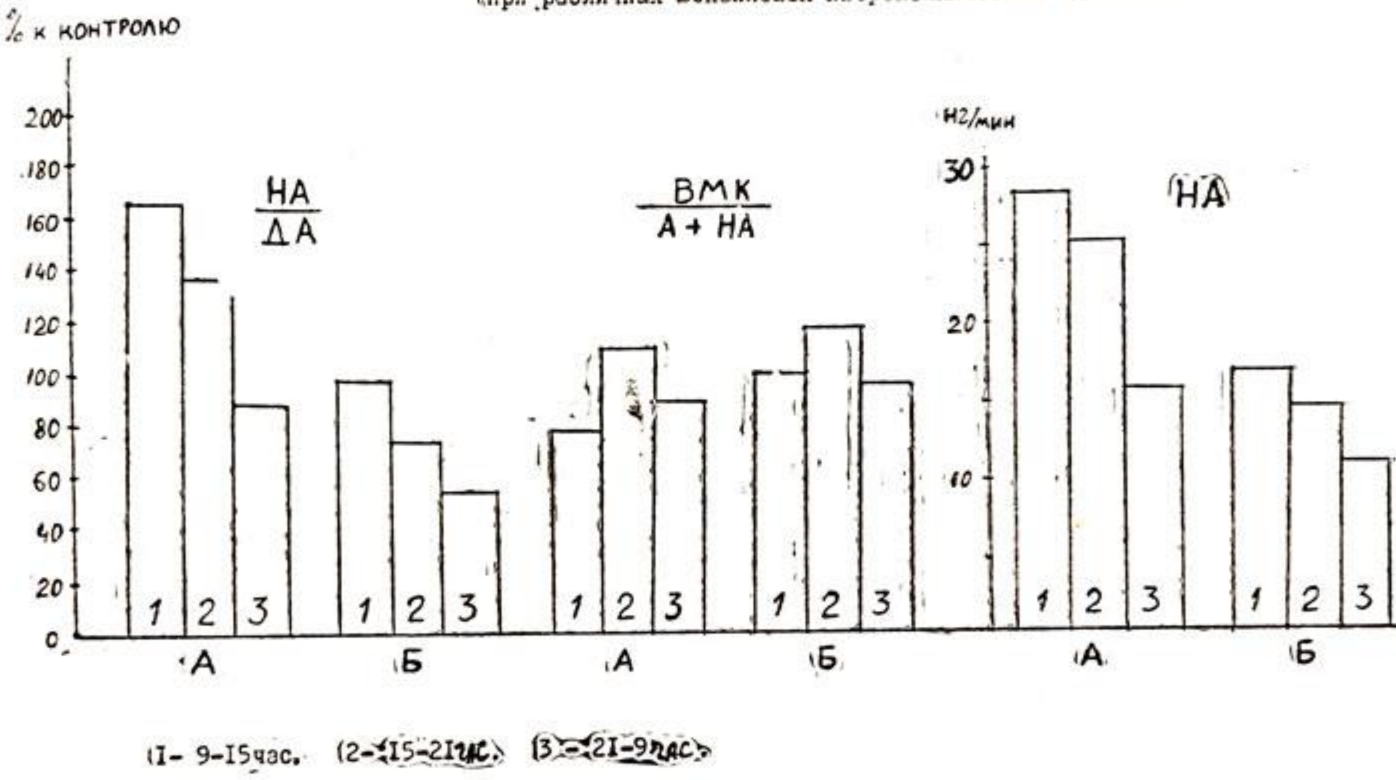


Рис. 3. Суточный ритм экскреции норадреналина и показателей, отражающих его синтез и суммарный метаболизм адреналина и норадреналина при различных механизмах интралсихической адаптации

Уровень экскреции норадреналина, скорость его синтеза (судя по отношению НА/ДА) и интенсивность метаболизма катехоламинов с образованием ВМК (отношение ВМКУА+НА) обнаруживали в течение суток резкие колебания, которые не отмечались в контроле (рис. 3, А).

На хрупкость достигнутой стабилизации может указывать интенсивность повышения содержания АКТГ в крови при введении метапирона (рис. 4, А). Обнаруживаемая таким образом постоянная готовность к выраженному адренокортикотропному ответу, по-видимому, служит физиологическим коррелятом постоянного ожидания угрозы. Это обстоятельство, так же как резкое усиление синтеза НА и замедление метаболизма катехоламинов в часы наиболее высокого уровня бодрствования, позволяет ожидать включения иных механизмов интралсихической адаптации, устраняющих ощущение угрозы и более эффективно стабилизирующих психосоматические соотношения. Такими механизмами, как уже отмечалось, являются снижение уровня побуждений и концептуализация.

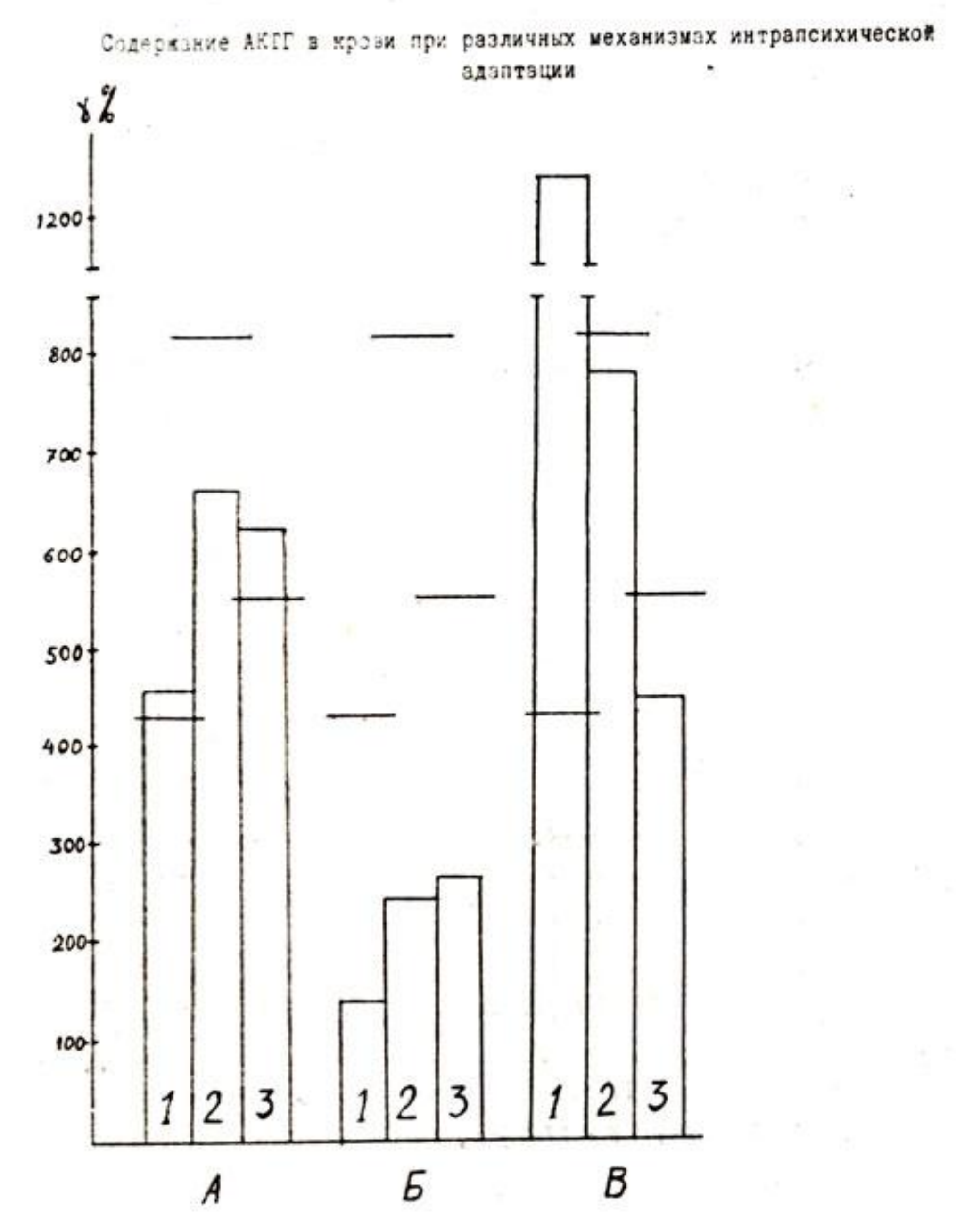


Рис. 4. Содержание АКТГ в крови при различных механизмах интрапсихической адаптации. 1 - до введения метапирона, 2 - через 4 часа после введения, 3 - через 8 часов

Включение первого из названных механизмов клинически выражается формированием депрессии.

Поскольку тревожные расстройства субъективно ощущаются как угроза существенным устремлениям или ценностям, включая сохранение самого физического существования индивидуума, она может иметь место только до тех пор, пока существует потребность реализовать эти

стремления и сохранить ценности. В этой связи развитие депрессии может рассматриваться как бессознательный процесс устранения тревоги путем снижения уровня побуждения за счет обесценивания исходных потребностей. Ощущение угрозы при этом сменяется чувством безразличия к прежним интересам, привязанностям и к самой жизни (апатическая депрессия) или чувством глубокой астении, по сравнению с которой прежние интересы и устремления представляются несущественными (астеническая депрессия). Между указанными состояниями и состояниями, характеризующимися фиксированной тревогой, обычно отмечается переходный период, в течение которого тревожные и депрессивные расстройства существуют одновременно.

В этом периоде (периоде тревожной депрессии) характер психосоматической интеграции определяется теми же чертами, что и при фиксированной тревоге. После устранения тревожных расстройств устанавливается новый, в равной мере интегрированный, но характеризующийся противоположной направленностью изменения вегетативно-гуморальных показателей тип психосоматических соотношений. Сосудистый тонус и интенсивность сосудистых реакций снижаются. Психомоторные соотношения отличаются низким уровнем моторных коррелятов тревоги и эмотивности (рис. 1 Б). Уровень экскреции норадреналина становится несколько ниже, чем в контроле. Процесс синтеза норадреналина замедляется, а метаболизм катехоламинов с образованием ВМК ускоряется (рис. 2 Б). При этом отсутствуют отмечающиеся при фиксированной тревоге резкие колебания интенсивности процессов синтеза и метаболизма катехоламинов в течение суток. Исчезает также резко выраженный адренокортикотропный эффект на введение ме- тапирона.

Таким образом, включению иного механизма интрапсихической адаптации - снижению уровня побуждений - соответствует и иной характер психосоматической интеграции.

Если, используя психофармакологические средства - антидепрессанты, не обладающие выраженным анксиолитическим эффектом, повысить уровень побуждений, ликвидировать чувство обесценивания потребностей, то одновременно с устранением депрессии вновь возникают пароксизмальные тревожные расстройства и грубые нарушения психосоматических соотношений. Это обстоятельство подтверждает роль снижения уровня побуждений как механизма интрапсихической адаптации.

Наиболее стабильным механизмом интрапсихической адаптации, по-видимому, является концептуализация. В рассматриваемых случаях концептуализация наиболее часто завершает процесс чередования адаптивных механизмов. Под концептуализацией понимается построение (в результате интенсивного идеаторного анализа состояния индивидуума и целостной ситуации) концепции, которая с точки зрения больного удовлетворительно объясняет возникновение ситуации и позволяет осуществить выбор целенаправленного поведения. При гипоталамических нарушениях построение концепции обычно базируется на сенестопатических ощущениях, которые тщательно и детально описываются, анализируются. Этот анализ позволяет построить систему представлений, касающихся физического здоровья субъекта, и определить более или менее четкие рамки "допустимого" поведения, соблюдая которое можно предотвратить неблагоприятные последствия. Устранение тревоги достигается при этом путем постоянного совершенствования концепции, превращения заболевания в модус существования индивидуума с одновременным отказом от деятельности в тех или иных областях (профессиональная деятельность, внепрофессиональные межличностные контакты и т. п.).

Состояние вегетативно-гуморального регулирования при этом в основном совпадает с таковым при депрессивных состояниях, отличаясь, однако, одной важной особенностью: высоким базальным уровнем АКТГ и парадоксальным снижением этого уровня при введении метапирона (рис. 4 В).

По-видимому, низкий уровень АКТГ в крови при состояниях астенической и апатической депрессии соответствует ощущению безнадежности и отказу от усилий, тогда как обусловленное концептуализацией сверхценное отношение субъекта к своему состоянию коррелирует с высокой продукцией АКТГ и снижением резервных возможностей системы гипоталамус - гипофиз - кора надпочечников.

Мощный эффект концептуализации может быть успешно использован при проведении ориентирующей психотерапии. Под этим термином мы понимаем разработку в психотерапевтической беседе концепции, приемлемой для больного и подкрепленной авторитетом врача, эффективно устраняющей тревогу и в то же время обеспечивающей возможно более полную социальную реабилитацию.

Чтобы закончить рассмотрение связи (между типом интрапсихических адаптивных механизмов и характером психосоматической интеграции, следует отметить еще два важных факта.

Во-первых, то, что при эффективном применении транквилизаторов, устраняющих тревогу, рассмотренные показатели вегетативно-гуморального регулирования изменяются при разных типах интрапсихической адаптации в разных направлениях (рис. 2). Поскольку противоположные изменения вегетативно-гуморального регулирования вызывались одними и теми же психофармакологическими средствами, применявшимися в одних и тех же дозах, эти изменения могут быть связаны только с выключением бессознательных механизмов интрапсихической адаптации в связи с устранением тревоги.

Во-вторых, то, что аналогичное влияние оказывают транквилизаторы на характер вегетативного регулирования у здоровых (добровольцев, реагирующих фиксированной тревогой или снижением уровня побуждений на стресс, вызванный приемом с непонятной испытуемым целью неизвестного им препарата - плацебо). Последнее

обстоятельство, по-видимому, свидетельствует о том, что описанные соотношения между способом интрапсихической адаптации и характером вегетативно-гуморального регулирования могут отмечаться у здоровых и, возможно, носят универсальный характер.

Вышеизложенное позволяет прийти к следующим выводам.

Нарушение стабильности психосоматических соотношений, возникающее при острой тревоге, причины которой не осознаются индивидуумом, устраняются благодаря включению бессознательных механизмов интрапсихической адаптации.

Существует определенная последовательность включения этих механизмов, обеспечивающих при глубоких нарушениях вегетативно-гуморального регулирования смену менее эффективных механизмов более эффективными. При этом каждому из рассмотренных механизмов соответствует определенный характер психосоматических соотношений.

Устранение тревоги в процессе эффективной терапии может привести к выключению упомянутых механизмов и соответствующему изменению психосоматической интеграции.

96. Нейропсихологический анализ функционального взаимодействия полушарий головного мозга. Э. Г. Симерницкая

МГУ, факультет психологии

Современное учение о принципах функциональной специализации полушарий головного мозга базируется главным образом на анализе нарушений психических функций, возникающих при локальных мозговых поражениях. Факты, накопленные в нейропсихологии, показывают, что поражения (речевых зон левого полушария приводят к качественному изменению структуры психических функций, но оставляют сохранным смысловой целенаправленный характер поведения, вопреки тому, что речевой (т. е. осознанный) анализ внешней среды является нарушенным или даже совсем невозможным.

Эти данные получили в последние годы частичное объяснение благодаря классическим опытам, проведенным Сперри и Газзанига на комиссуротомированных больных [2; 3].

Перерезая мозолистое тело, волокна которого обеспечивают связь обоих полушарий головного мозга, эти исследователи установили, что в данных случаях больные без труда могут называть предметы, воспринимаемые правой половиной поля зрения, и оказываются неспособными дать словесный отчет о сензорных стимулах, проецируемых в левое поле зрения, т. е. в правое полушарие. Существенно, что, хотя комиссуротомированные пациенты не могли описать словами рисунки или геометрические фигуры, предъявляемые в левую половину поля зрения, они могли выбирать их из большого комплекта предметов. Больные не могли читать слова, предъявляемые тахистоскопически в правое полушарие, но при этом без всякого затруднения выбирали соответствующие этим словам объекты.

Авторы интерпретируют свои данные с позиций теории функциональной специализации полушарий головного мозга и полагают, что возникающее в этих случаях нарушение словесного обозначения зрительных (как, впрочем, и любых других) стимулов, проецируемых в правое полушарие, обусловлено не собственно речевыми, амнестико-афазическими расстройствами, а разобщением перцепторных центров правого полушария и речевых механизмов, расположенных в левом полушарии головного мозга. Вследствие этого разобщения неправильные вербальные ответы обусловлены "неинформированностью" левого полушария о процессах восприятия, происходящих в правом полушарии.

Описанные американскими авторами данные представляют интерес не только в плане проблемы функциональной специализации полушарий головного мозга, но и для изучения неосознаваемых форм психической деятельности. Тот факт, что правое полушарие мозга, лишенное основных для человека средств вербальной экспрессии, может независимо от доминантной стороны интегрировать раздражители разных модальностей, ассоциировать слова с объектами внешней среды и т. д., существенно перестраивает наши взгляды на психологическую организацию перцептивного процесса, который до сих пор рассматривался как опирающийся на участие готовых кодов и прежде всего кодов языка. Если, действительно, "безмолвное" правое полушарие не уступает доминантному левому полушарию по способности "воспринимать", "запоминать" и "думать", то

признание этого факта делает необходимым пересмотр современных представлений о структуре сложных психических процессов и, в частности, процессов зрительного восприятия.

Поскольку опознание стимулов, предъявляемых в правое полушарие, совершается, если судить по показателям невербального отчета, у комиссуротомированных больных в основном так же, как и в левом полушарии, это позволяет говорить о том, что при расщеплении мозга на уровне мозолистого тела перцептивные процессы могут одинаково обеспечиваться структурами как правого, так и левого полушария.

Следовательно, формирование латеральных различий в восприятии происходит не на кортикальном, а на более низком уровне организации зрительно-перцептивных функций. Это согласуется с литературными данными о том, что функциональная асимметрия мозга отчетливо выступает уже на таламическом уровне [4].

Можно полагать, что анализ именно таких случаев, в которых нарушение межполушарного взаимодействия происходит на более низких, подкорковых уровнях организации перцептивных функций, позволит приблизиться к пониманию вклада, вносимого каждым из полушарий в переработку зрительной информации.

Для изучения межполушарных различий в зрительном восприятии, пожалуй, наиболее адекватным является метод прямого предъявления стимулов в правое или левое полушарие. Это достигается обычно очень кратковременной, не превышающей латентного периода поворота глаз, экспозицией стимула либо в правые, либо в левые половины сетчаток, непосредственно связанные с затылочной областью одноименного полушария. При предъявлении зрительных стимулов в правые половины сетчаток обоих глаз зрительная информация поступит непосредственно - в правое, а при предъявлении в левые половины - в левое полушарие мозга.

В клинике очаговых мозговых поражений задача избирательного предъявления стимулов в правое или левое полушарие оказывается легко осуществимой на больных с различными видами гемианопсий, у которых одна из двух затылочных областей исключается из работы, а другая вследствие этого начинает функционировать изолированно.

Настоящее сообщение посвящено анализу нарушений зрительного восприятия у 3-х больных, у которых вследствие глубокого поражения мозга на таламическом уровне имели место различного типа нарушения периферического зрения, позволяющие избирательно направлять зрительные стимулы в одно из полушарий головного мозга. Анализ полученных фактов позволил прийти к выводу о том, что при расщеплении зрительных систем на подкорковом, таламическом уровне ни правое, ни левое полушарие, будучи функционально изолированными, не могут самостоятельно обеспечить нормальное протекание перцептивного процесса. Это свидетельствует о том, что адекватное восприятие зрительных стимулов осуществляется совместной работой обоих полушарий.

Больная А., 28 лет, заболела остро, внезапно появилась головная боль, рвота. В анамнезе три субарахноидальных кровоизлияния в 1958, 1959 и 1965 гг. Все кровоизлияния сопровождались правосторонним гемипарезом, регрессировавшим в течение одного-двух месяцев. В клинической картине обнаруживались четкие симптомы поражения теменно-затылочных областей левого полушария - слабость в правой руке, ослабление оптокинетического нистагма вправо, асимметрия экспериментального нистагма с преобладанием влево и полная правосторонняя гомонимная гемианопсия. При нейропсихологическом исследовании на фоне сохранности речевых, мнестических и интеллектуальных функций выявлялись негрубые дефекты цветового и оптико-пространственного гнозиса, а также легкие нарушения конструктивного праксиса.

Во время операции у больной была удалена артерио-венозная аневризма, расположенная в области задне-наружных отделов подушки левого зрительного бугра, для подступа к которой была произведена кольцевая резекция мозга диаметром около 3-3,5 см на уровне валика мозолистого тела.

После операции у больной появились грубые двигательные и чувствительные нарушения на правой половине тела (которые постепенно регрессировали) и грубые дефекты зрительного восприятия, проявлявшиеся в избирательном нарушении называния зрительно предъявляемых объектов при сохранности называния тактильно воспринимаемых стимулов.

Указанные расстройства зрительного восприятия обнаруживались на фоне полной правосторонней гомонимной гемианопсии, вследствие которой все предъявляемые больной зрительные стимулы воспринимались лишь левой половиной зрительного поля и поступали, следовательно, в правое полушарие мозга. Поскольку в данном случае поражение левого зрительного центра происходило на подкорковом уровне, это позволяет полагать,

что не только рецепция стимулов, но и все последующие этапы переработки информации обеспечивались структурами только правого полушария.

Анализ особенностей называния зрительных стимулов у больной позволил говорить о том, что правое полушарие мозга, будучи изолированным от левого на подкорковом уровне, неспособно самостоятельно обеспечить нормальное протекание перцептивного процесса. Зрительное восприятие объектов находилось у больной в пределах непосредственного впечатления, отражавшего общий смысл воспринимаемого, лишаясь того дифференцированного характера отнесения объекта к четкому месту в общей категории, которое, по-видимому, не может осуществляться без участия левого полушария. Так, попытка назвать зрительно предъявленное изображение вызывала у больной всплывание целой серии названий, близких по каким-либо признакам к искомому. Например, изображение бабочки оценивалось, как "петух, уточка"; вороны - как "курица"; цыпленка - как "ребенок" и т. "д.

Характерно, что больная критически относилась к своим ошибкам, активно пыталась их исправить, постепенно переходя от общих, смысловых свойств воспринимаемого объекта к его более конкретным и частным признакам. Так, предъявленное изображение птицы больная оценивала следующим образом: "Это плавает... нет, это идет ногами... курица... нет, это утка... но у нее не такие лапы... у нее лапы более широкие... у курицы такие лапы... но у курицы должен быть гребешок на голове нарисован... это что-то из тех, что ходят... нет, не ходят, а летают ...птица".

Приведенные примеры, хотя и чрезвычайно близки к сооственно речевым дефектам называния (которые могли бы быть объяснены дисфункцией височно-затылочных областей левого полушария), одна; ко они не укладывались в синдром ни амнестической, ни оптической афазии.

В отличие от больных с амнестическои афазиеи, больная обнаруживала трудности называния только зрительно предъявляемых ей объектов, легко справляясь с задачей называния тактильно воспринимаемых стимулов. Против предположения о наличии оптико-гностических расстройств говорил тот факт, что, не умея назвать объект, больная легко опознавала его при повторном предъявлении, а также выбирала его из ряда других объектов.

Выявленные расстройства не укладывались в картину и оптической афазии, поскольку не ограничивались восприятием изображений, а обнаруживались также в восприятии зрительно предъявляемых символов, в частности при чтении написанных слов. Больная не могла назвать ни одной из предъявляемых ей букв, не могла прочесть ни одного, даже самого короткого, в том числе и хорошо знакомого слова, но при этом улавливала его наиболее общие, недостаточно дифференцированные признаки и правильно делала заключение о его смысловом значении.

Приведем соответствующие примеры. Слово "дочка" больная оценивала как "что-то знакомое... это голова чья-то и лицо... на ребенка похоже"; слово "мама" - "знакомое, очень приятное... какое-то имя, наверное"; "Володя" (имя мужа) - "это на мужской галстук похоже, как у моего мужа"; "Владимир" - "что-то знакомое, но прочитать не могу... это, наверное, фамилия или имя... да, это имя, которое полностью... не Коля, а Николай... это полное имя"; "Лидия" (имя больной) - "по-моему, Лида, но почему-то одна буква лишняя... не знаю"; "север" - "что-то холодное... там льды, холодина страшная... наверно, восток".

Приведенные примеры показывают, что в условиях нарушения нормального взаимодействия с левым полушарием зрительные зоны правого полушария обеспечивают получение только общего впечатления о воспринимаемых стимулах. Они отражают общие, смысловые качества воспринимаемого, оказываясь, однако, не в состоянии самостоятельно обеспечить восприятие дифференцированное, организованное с помощью предметного действия и речевых кодов, которое может иметь место лишь при участии левого полушария.

Тот факт, что нарушения зрительного восприятия могут носить не только амнестико-агностичеекий характер, но и быть обусловлены нарушением подкоркового взаимодействия билатерально расположенных зрительных систем мозга, доказывает анализ других случаев, в которых дефекты восприятия обнаруживались при глубоких поражениях мозга без каких-либо признаков дисфункции височно-затылочных областей. В частности, нарушения зрительного восприятия могут иметь место у некоторых больных с опухолью III желудочка, у которых вследствие большого размера опухоли происходит поражение медиальных поверхностей обоих зрительных бугров, образующих боковые стенки III желудочка. Приведем результаты исследования одного из таких больных, у которого нарушения зрительного восприятия могли быть объяснены нарушением межполушарного взаимодействия зрительных систем мозга на таламическом уровне.

Больной К., 13 лет. Поступил в Институт нейрохирургии с жалобами на снижение зрения и периодические головные боли. В клинической картине у больного обнаруживался четкий хиазмальный синдром со снижением

остроты зрения до 0,2 и изменением полей зрения по типу битемпоральной гемианопсии. На глазном дне отмечалось побледнение сосков зрительных нервов. На краниограмме - изменения в области турецкого седла - истончение, расширение входа, тени петрификатов. Отчетливо выступали симптомы гипертензии - усиление пальцевых вдавлений, расширение швов.

Больному была произведена операция частичного удаления большой опухоли (около 6 см в диаметре) в хиазмально-селлярной области, которая покрывала зрительные нервы и хиазму и распространялась кзади в полость III желудочка.

При нейропсихологическом исследовании на фоне сохранности двигательных, речевых, мнестических и интеллектуальных функций у больного обнаруживались отчетливые нарушения зрительного восприятия, при этом словесные оценки предметных изображений, производимые с помощью правого и левого глаз, оказывались совершенно различными для одних и тех же объектов.

Исследование монокулярного зрения было обусловлено тем, что в данном случае имела место не гомонимная, а битемпоральная, разноименная гемианопсия, при которой в одном глазу выпадает правое, а в другом - левое поле зрения. Вследствие этого предъявление зрительных стимулов в одно из полушарий могло достигаться только в условиях их монокулярного восприятия. Поскольку и в правом и левом глазу выпадали височные половины поля зрения, то при восприятии стимулов правым глазом они попадали в правое полушарие мозга, а при рассматривании левым глазом - в левое полушарие.

Полученные факты показывают, что при рассматривании объектов правым глазом (т. е. когда информация о них поступает в правое полушарие) нарушение оценки зрительных изображений было обусловлено, как и у предыдущей больной, недостаточной дифференцированностью зрительно получаемой информации и диффузностью в выделении ее существенных признаков. В результате этого зрительное восприятие объектов ограничивалось общим впечатлением, не переходя на более высокие ступени, характерные для осознанного, предметного восприятия.

Приведем некоторые примеры ошибок, полученных при оценке ярких раскрашенных изображений, рассматриваемых правым глазом. Так, изображение курицы оценивалось как "животное какое-то... нет, рыба"; белка - "лиса... животное какое-то", цыпленок - "кошка, щеночек... насекомое... мышь"; кофта - "из одежды... пальто... или штаны"; ворона - "насекомое... мышь", лягушка - "сова" и т. д.

Совсем иначе оценивались те же самые изображения при их рассматривании левым глазом, т. е. когда зрительные стимулы поступали в левое полушарие мозга. В этом случае белка (коричневая) оценивалась как "хлеб... ботинок"; лягушка (зеленая) - как "капуста"; кот (черный) - "пальто... костюм" и т. д. Следовательно, одни и те же объекты оценивались по-разному в зависимости от того, воспринимались ли они правым или левым полушарием. Эти нарушения зрительного восприятия (т. е. словесного обозначения зрительно воспринимаемых объектов) не могли быть объяснены в данном случае ни за счет поражения зрительных или речевых центров, ни за счет их разобщения, поскольку имели место и при монокулярном восприятии стимулов левым глазом, т. е. когда зрительно-перцептивные и речевые центры локализовались в одном полушарии. Можно полагать, что указанные расстройства были обусловлены воздействием опухоли на медиальные стенки обоих зрительных бугров и, следовательно, нарушением взаимодействия зрительных центров правого и левого полушарий на подкорковом уровне.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что восприятие афферентной информации происходит по двум независимым каналам [1; 5], которые совершенно по-разному решают задачу на опознание стимула. Существенно при этом, что правое полушарие мозга обеспечивает восприятие наиболее обобщенных, смысловых признаков объектов не только при восприятии предметных изображений, но и, как это было показано в первом приведенном выше наблюдении, при восприятии зрительно предъявляемых символов, в частности при чтении написанных слов.

Более того, при предъявлении зрительных стимулов в правое полушарие больные, оказываясь совершенно неспособными назвать предъявляемые им буквы, могут, тем не менее, улавливать смысл не только написанных слов, но и целых фраз. В наиболее отчетливой форме эти факты выступили у больной с клинической картиной грубого поражения таламо-диэнцефальных отделов мозга. Приводим это наблюдение.

Больная К., 24 лет. Находилась в Институте нейрохирургии дважды - в 1971 и 1973 гг. Клиническая картина заболевания складывалась из правостороннего гемипареза с гемиатаксией и нарушением всех видов эпикритической и протопатической чувствительности справа. Периодически возникали приступы повышенной

жажды и повышенного аппетита. Была нарушена формула сна, что указывало на поражение структур диэнцефального мозга. Исследование зрительных функций показало снижение остроты зрения до 0,2 и резкое концентрическое сужение полей зрения, особенно в назальных половинах. На ЭЭГ обнаруживалась межполушарная асимметрия электрической активности с преобладанием патологических изменений в теменно-центрально-височных отделах левого полушария.

Эти данные позволили говорить о наличии поражения глубоких отделов височно-теменной области и таламо-диэнцефальных структур слева.

При нейропсихологическом исследовании у больной обнаружился атипичный синдром динамических нарушений высших психических функций, который мог быть объяснен нарушением нормальных таламо-диэнцефальных влияний на кору. Характерная особенность этого синдрома состояла в том, что показания одноименных парных рецепторов (обоих глаз, ушей и рук) оказывались совершенно различными для одних и тех же стимулов.

Исследование зрительного восприятия проводилось у данной больной также в условиях монокулярного зрения, поскольку у нее наблюдалось преимущественное выпадение назальных, т. е. разноименных половин зрительного поля. Вследствие этого при рассмотрении объектов правым глазом они преимущественно попадали в левое полушарие, а левым - в правое.

Полученные в результате исследования больной факты показали, что при поражении зрительных систем на подкорковом уровне ни одно полушарие не может самостоятельно обеспечить адекватной словесной оценки воспринимаемых стимулов.

Так, при восприятии предметов правым глазом больная оценивала только внешние, непосредственно представленные признаки: изображение стола оценивалось как "большое квадратное пятно и четыре палочки"; цыпленок - "маленькое пятно"; мяч - "круглый контур, половина темная"; огурец - "вытянутое пятно" и т. д. Совсем иначе оценивались те же самые стимулы при их восприятии левым глазом, т. е. правым полушарием. В этом случае больная оценивала не исходную информацию, а, скорее, некоторые смысловые признаки, непосредственно не представленные зрительно в наглядном изображении. Так, изображение цыпленка оценивается как "что-то пушистое"; мяч - "мягкое"; огурец - "что-то зеленое" и т. д.

Аналогичные факты были получены и при чтении написанных слов и фраз. При восприятии вербальных стимулов правым глазом больная правильно воспроизводила внешний контур предъявленного слова, количество входящих в него букв, но не могла ни назвать эти буквы, ни оценить значение предъявленного слова. При восприятии слов левым глазом больная также не могла назвать ни одной входящей в него буквы, но при этом оказывалась способной выделять общий, диффузный смысл написанных слов и фраз. Так, слово "лес" оценивалось как "что-то очень красивое, зеленое"; "мир" - "что-то для людей радостное; "стремление" - "что-то быстрое" и т. д. В результате этого у больной возникали своеобразные паралексии, когда она слово "берег" читала как "речка"; "награда" - "ордена"; "режим" - "строгость" и т. п.

Более того, не умея назвать ни одной буквы, больная улавливала смысл не только отдельных слов, но и целых фраз. Так, при предъявлении больной предложения "сегодня хорошая погода" она нарисовала солнце, а при чтении фразы "на дороге произошла авария" сказала, что это "про какую-то неприятность и горе" и нарисовала перевернутую машину.

Представленные факты показывают, что любая, даже самая элементарная, перцептивная деятельность включает в свой состав как неосознаваемые, чувственные, непосредственно переживаемые, так и речевые, логически кодированные компоненты. Они подтверждают литературные данные (и прежде всего полученные на комиссуротомированных больных), что правое полушарие мозга играет важную роль в перцепции не только невербальных, но и вербальных стимулов.

Есть основания полагать, что чувственные и логические компоненты в структуре перцептивных процессов имеют не только самостоятельное функциональное значение, но и обеспечиваются различными структурами, расположенными в правом и левом полушариях, а их "сплав" осуществляется тесным функциональным взаимодействием обоих полушарий головного мозга.

100. Об операциональной и содержательной структурах процесса осознания. Е. Ю. Артемьева, М. Ш. Баймишева

МГУ, факультет психологии

Процессы осознания давно вызывают интерес у психологов. Однако изучение этих процессов имеет, как правило, теоретико-методологический, а не экспериментальный характер.

Поводом для осуществления нашей работы явилось желание экспериментально разобраться в природе симптомов, трактуемых в клинике локальных повреждений головного мозга, как нарушения осознания, в частности симптомов некритичности (неосознание факта заболевания; недооценка тяжести болезни и ее последствий; отсутствие контроля за собственной деятельностью; дезориентированность в месте, времени, ситуации; нарушения осмысления в интеллектуальных пробах).

Рассмотрим одну из форм критичности - некритичное отношение субъекта к его болезни. Таким или эквивалентным термином обозначаются в клинике нарушения, проявляющиеся в неадекватном ответе больного на вопрос, как он себя чувствует. Эти нарушения входят нередко в структуру лобного синдрома и служат одним из оснований для топической диагностики поражений. Однако проявления их при разной локализации очага различны. Так, например, больная с левоосторонним поражением передних отделов головного мозга в ответ на упомянутый вопрос может сказать, что она больной себя не чувствует, что попала в клинику по недоразумению. Больные же с правосторонним поражением сообщают чаще, что они больны, но правильно оценить свой дефект не могут, либо преуменьшают его (тяжелый больной, не поднимающийся с постели, может сказать: "Если бы не зрение, то мог бы работать"), либо сообщают формальные сведения о дефекте, ссылаясь при этом на мнение других лиц ("Врач говорит, что у меня..."). Создается впечатление, что в первом случае (левосторонние поражения) происходит полное отчуждение от вопроса, во втором же невозможна оценка собственного состояния как таковая. Нами было предпринято исследование, направленное на проверку этого представления. Материалом послужили протоколы (всего около 150) обследований больных с локальными поражениями головного мозга, проведенных сотрудниками лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ на базе Института нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Во всех изученных случаях было установлено одностороннее поражение передних отделов головного мозга. Обследования проводились по диагностической схеме А. Р. Лурия [2]. Поскольку эта диагностическая (тестовая) схема первоначально была разработана для различения не сторон, а областей поражения (лобной, височной, теменно-затылочной), она дает тем лучшие результаты, чем специфичнее (в смысле модальности процесса) поражение. Для различения же поражений внутри лобной области потребовалась специальная процедура извлечения информации из накопленных в архиве протоколов обследований [1]. Основные этапы этой процедуры были следующими.

На основании предварительного качественного анализа протоколов была выдвинута гипотеза о том, что все симптомы, наблюдаемые у больных обеих контрольных групп (право- и левосторонние поражения) распадаются на два комплекса. Первый включал в себя симптомы "утери" текущей деятельности, "отчуждения" от нее, потери контроля за выполнением программы действий, независимо от ее содержания - эти симптомы условно были названы "нарушениями контроля". Примеры таких симптомов: невключение в действие, невозможность закончить его, персеверации, некритичность типа благодушия и т. п. Второй комплекс состоял из симптомов, тесно связанных с содержанием выполняемых программ, со структурой предъявляемой или воспроизводимой информации, с ее объемом. Таковы, например, фрагментарность всех видов нарушения упорядочивания или схем, осознаваемая утеря части программы. Эти симптомы мы будем называть в дальнейшем "нарушениями структуры". Понятно, что если предложенная классификация симптомов адекватна, то рассмотренным комплексам должны соответствовать разные формы динамики нарушения: "нарушениям контроля" - устойчивость ошибок, независимость от содержания задания, "нарушениям структуры" - устранение ошибок при изменении задания и т. п.

При анализе материала применялись особые обозначения динамики нарушений. Положительная динамика (знак +) - улучшение выполнения задания от начала к концу опыта, исправление ошибок, лабильность нарушений, зависимость от темпа и программы, доступность ранее недоступного задания при переформулировке и т. п. Отрицательная динамика (знак-) - ухудшение от начала к концу опыта, стабильность ошибок, невозможность улучшения при переформулировке задания.

Все нарушения, отмеченные в протоколах, интерпретировались в приведенных выше терминах. Отдельно учитывались все симптомы, которые не удавалось интерпретировать таким образом. Они оказались близкими к обычным неврологическим (нарушения чувствительности, обоняния и т. п.) или психиатрическим симптомам. На табл. 1 приведены примеры таких записей.

Для окончательного представления на графике суммировались для первой координаты - количество симптомов "нарушения контроля" и число " + " в динамике, для второй координаты - количество симптомов "нарушения структуры" и число "-" в динамике.

В результате обнаруживалось отчетливое разделение больных, позволяющее говорить о лево- и правосторонней симптоматике, как симптоматике нарушения, соответственно, "контроля" и "структуры". На графике точки, обозначающие больных с лево- и правосторонними поражениями, попали в непересекающиеся и даже далеко отстоящие друг от друга области. Таким образом, первый шаг исследования подтвердил правомерность представлений о различной природе нарушений.

Больной, локализация	Хар-ка динамики	Симптомы «структуры»	Симптомы «контроля»	Другие симптомы
Хол. Арахноид-эндотелиома правой лобной области	Нарушения нестойкие. (1 : 0)	Отдельные дефекты в повторении ряда слов. Затруднение в перенесении позы с левой руки на правую. 2	При воспроизведении ритмов—иногда нестойкое персеверирование предыдущего стереотипа 0.5	Обонятельные и звуковые обманы.
Хин. Арахноид-эндотелиома крыльев основной кости справа.	Возможность выполнения задания при переформулировке (расск.) Сохранность морали (2 : 0)	Фрагментарность в гнозисе и сюжетных картинках. В реципрокных пробах—отставание левой руки. Игнорирование стороны. Трудности понимания сложных логико-гр. конструкций (не только пространствен.) 6	Приклеивание: змея «кашне, м.б. змея?» расческа «змеевик» 1	Эпиприпадки, замедленен, аспонтанен, зачеркнутые фигуры не узнает, фразы с интерф. невозможны. Застывание.
Кол. Олигодендроглиома левой лобной обл.	Стойкость ошибок. Последние предъявл. хуже первых. (0 : 2)	Грубая дискоординация в коорд. пробах. Нарушение порядка слов (при первом предъявлении сохранен). 1.5	Очень стойкие персеверации программы при воспроизведении ритмов, жесткое застревание при воспроизведении порядка слов. Зацикливание: «Луна светит, светит, светит». Ошибки не осознаются. Нарушение критики по типу неосознавания болезни, неопрятность. 5	Моторные затруднения в рисунке.
Поц. Опухоль полюса левой лобной доли и гл. отдел. лев. вис. обл.	(0 : 0)	Игнорирование правой руки при движениях. 1	Отчетливое приклеивание, вплетение. Аналогичные агнозии. Невключение программы в сюж. карт. Вычурные замещения. 6	Пароксизмы слабости, злобность, агрессивность. Грубое нарушение понимания обращ. речи (отдельн. слова и фонемы воспринимаются).

Таблица 1

Второй этап исследования состоял в формулировке уточненной гипотезы о структуре нарушений и статистической проверке ее. Уточненная гипотеза гласила: нарушения психических функций при поражении передних отделов головного мозга проявляются не столько в распаде отдельных процессов (памяти, восприятия и т. п.), сколько в патологических особенностях строения деятельности вообще. При этом левосторонние симптомы

связаны с нарушением выполнения операций, а правосторонние - с нарушением симультанного сохранения программ. Для проверки гипотезы были рассмотрены результаты выполнения нескольких нейропсихологичееких тестон: "повторение ряда слов", "серийный счет", "кривая заучивания", "повторение рассказов".

а) Тест "повторение ряда слов" состоит в том, что больному предлагается воспроизвести в определенном порядке 4-5 слов [2]. Тест выявляет у больных возможность запоминания структурированного материала.

Следовало ожидать, что этот тест окажется достаточно удобным для проверки гипотезы, поскольку удерживание последовательности связано с трудностями симультанного сохранения и должно страдать при "структурных" нарушениях. С другой стороны, при "нарушении контроля" должны возрастать доля ошибок, не связанных с последовательностью воспроизведения, и трудности самостоятельного их исправления.

Для больных с правосторонним поражением оказалась характерной трудность удержания порядка последовательности слов при правильном воспроизведении отдельных из них, например:

дом лес кот стол звон:

1) дом лес кот звон стол

2) дом лес кот звон стол

3) дом лес кот стол звон

Для больных с левосторонними поражениями более характерны ошибки типа парафазий, например:

дом лес кот

дос кос мот

При формальном анализе выполнения теста для каждого больного регистрировались следующие параметры:

1. Доля нарушений последовательности в рамках общего количества предъявлений теста.

2. Доля ошибок, не связанных с нарушением последовательности.

3. Качественный индекс ошибки

единичная ошибка оценивается баллом +1

повторенная сразу же - +2

повторенная n раз - +n

$U = 1+2+ \ldots +n_1+1+.. n_2+1+ \ldots +n_k/N$

где N - общее число предъявлений теста, n_k - число повторений ошибок.

4. Индекс динамики: "Д"

$Д^-$

- 1 за исправление единичной ошибки

- 2 тенденция к исправлению

- 3 устойчивое исправление ошибок, выраженная динамика

$Д^{+}$

+ 1 повторение ошибки

+ 2 тенденция к застреванию

+ 3 настойчивое повторение нию ошибок, выраженная динамика

Каждому больному ставился соответственно вектор (1, 2, 3, $Д^{-}$, $Д^{+}$). На графике изображались точки с координатами ($1+Д^{-}$, $2+3+Д^{+}$), соответствующими в содержательном отношении трудностям сохранения последовательности и трудностям контроля.

б) Тест "кривая заучивания". Для исследования процесса заучивания больному предъявляют 10 слов, не связанных между собой, предлагают запомнить этот ряд и воспроизвести его в любом порядке. В протоколе фиксируется число удержанных элементов. Процедура повторяется 8-10 раз, и полученные результаты изображаются в виде "кривой заучивания" [2].

При исследовании теста было обнаружено, что у больных с правосторонней локализацией очага продуктивность кривой заучивания выше, чем у больных с левосторонним поражением. У больных с левосторонним поражением отмечаются парафазии, вплетения, персеверации.

При оценке теста регистрировались следующие параметры:

1. Число парафазий - "П".

2. Индекс динамики - "Д": разность между числом воспроизведенных слов при первом и последнем предъявлении.

Как легко видеть, оба параметра связаны с возможными нарушениями "контроля". Для нас осталось неясным, что могло бы соответствовать "структурным" нарушениям при выполнении данного теста. Каждому больному ставился индекс сохранности "контроля": число = -/П+Д/. Мы обнаружили, что больные с правосторонними поражениями обладают относительно большей сохранностью нормальной динамики и точности воспроизведения (соответствующие средние значения для больных с левосторонними поражениями равны 1, а у больных с правосторонними поражениями - 3, 7).

в) Тест "серийный счет от 100 до 7". Больному предлагалось последовательно высчитать от 100 до 7 [2]. Эта проба, по-видимому, позволяет выявить способность длительного сохранения программы. К сожалению, объективно очень трудно квалифицировать ошибки, возникающие при выполнении этого теста. Одна и та же ошибка может объясняться и утерей части программы и отключением контроля за ее выполнением. Причину некоторых ошибок трудно понять, разнообразие типов ошибок велико. Поэтому нам пришлось ограничиться здесь лишь частичной формализацией полученных данных; ошибки обоих типов оценивались в баллах.

К ошибкам "структурного" типа' мы относили ошибки, явно связанные с трудностями симультанного манипулирования структурой числа: утеря операции над десятками, добавление остатка вычитаемого к десятке, явные трудности удержания, устраняемые при письменном выполнении задания. К ошибкам "контроля" относились персеверации, "нелепые" ошибки, ошибки, легко замечаемые, сам факт неосознанных ошибок. Отсутствие ошибок оценивалось баллом 0, единичные ошибки - баллом 1, повторяющиеся - баллом 2, массовые - баллом 3. Для каждого больного строился вектор, первая координата которого была равна оценке ошибок "структурного" типа, вторая - ошибок "контроля".

Оказалось, что больные, допускающие множество ошибок, явно разделяются этим тестом, но больные с единичными ошибками образуют смешанную группу. Трудно истолковать такое смешение: оно может объясняться как объективными причинами (например, случайным характером единичных ошибок), так и тем, что мы неверно квалифицировали природу некоторых ошибок.

г) Тест "пересказ рассказа". Тест состоит в том, что больному сообщается короткий рассказ с предложением пересказать его. Иногда после пересказа задается вопрос о смысле рассказа. Если больной отказывается от самостоятельного пересказа, ему задаются вопросы с целью выяснения того, являются ли трудности пересказа только трудностями активной речи или они связаны с неприятием самого рассказа для внутреннего

манипулирования. Хорошо известно, что больные с поражениями передних отделов головного мозга, как правило, делают специфические ошибки при передаче рассказов. Диапазон этих ошибок весьма широк: начиная от прямого отказа передать рассказ до едва заметных посторонних вплетений в ткань рассказа. Влияние латеральности поражения на передачу рассказа, насколько нам известно, специально не исследовалось. Однако если рассматривать передачу рассказа как частный случай психической деятельности по активному воспроизведению следов, то естественно ожидать латеральных особенностей при его выполнении, т. е. как симптомов нарушения "контроля", так и симптомов "распада структуры".

Эти различия были сразу же установлены. Больные с левосторонним поражением передних отделов головного мозга, отказываясь от пересказа, никак не аргументируют это, иногда даже не осознают, что они не выполняют инструкцию. Больные с правосторонним поражением редко отказываются от пересказа, а когда это происходит, они сообщают экспериментатору, что устали, забыли рассказ, забыли часть сюжета и, действительно, после отдыха или подсказки возобновляют адекватную деятельность. Аналогичным образом по-разному выражается у больных с лево- и правосторонними пороженнями и известный симптом вовлечения в пересказ стереотипов. У первых это, как правило, утеря рассказа, безвозвратная стереотипия; у вторых - стереотипия временная, вплетение внешних связей, которые, видимо, заполняют паузы в затруднительном для больного развертывании рассказа.

Больные с левосторонним поражением передних отделов не могут сообщить смысл рассказа, даже если им задают прямые вопросы. Для них характерен либо уход в стереотипию, либо сообщение в качестве морали чего-то никак не связанного с рассказом. Больные же с правосторонними поражениями обычно правильно (как правило, односложно) отвечают на вопросы о смысле рассказа, даже если передача последнего им недоступна.

Поэтому для статистического анализа архивного материала по этому тесту мы выбрали следующие параметры: нарушение поведения при выполнении теста - смех, прекращение рассказа и необоснованный переход к другой деятельности и т. п. (C_1); возвратный (C_2) и невозвратный (C_3) вход в стереотипию; невозможность прямого выяснения смысла рассказа (C_4); трудности самостоятельной передачи, снимаемые подсказкой или вопросами экспериментатора (C_5); осознаваемые замены имен персонажей, невозможность воспроизвести рассказ полностью при сохранности общей схемы или ее части (C_6). Наличие каждого симптома у больного отмечалось числом +1, для каждого больного строился вектор, первая координата которого равна сумме единиц за симптомы C_1 C_2 и C_3, вторая - за симптомы C_2, C_5, C_6. Симптомы C_1, C_3 и C_4 предполагались входящими в группу нарушений "контроля", C_2, C_5 и C_6 - нарушений "структуры".

Формальные результаты выполнения отдельных тестов, получившие графическое отображение, вновь подтвердили хорошее соответствие типа симптоматики (в альтернативе "нарушения контроля" - "нарушения структуры") стороне поражения.

Таким образом, эксперименты показали, что для левосторонних поражений передних отделов головного мозга характерно нарушение контроля больного за своим состоянием, собственно неосознание дефекта, "невключение" процесса осознания, для правосторонних - невозможность оценки дефекта за счет разрушения структуры осознания. Эти факты позволяют перейти к обсуждению вопроса о месте осознания в общей структуре деятельности и о функциональном назначении лобных долей мозга.

Данные исследования подчеркнули, что нарушение критики к своему состоянию не является модально-специфическим, а обусловлено, по-видимому, определенными нарушениями в общей организации структуры деятельности индивида. То же можно сказать и о других проявлениях неосознания. С развиваемой точки зрения, например, можно интерпретировать и феномены дезориентированности. Дезориентированность во времени (типа перестановки дат), в пространстве (типа невозможности владения пространственными схемами), в ситуации (типа фрагментарности, "распада" ситуации) может входить в симптомокомплекс "нарушений структуры". Однако эти же симптомы, проявляясь в другом контексте (при общей дезориентированности, связанной с уходом от задания), могут входить в альтернативный комплекс "нарушений контроля". Отсюда понятно, насколько важно иметь обоснованное предположение о месте в общей структуре деятельности психических операций, входящих в процесс осознания. Построить такое предположение, видимо, возможно только, рассматривая процесс осознания в качестве особого, своеобразного вида психической деятельности.

Любую же психическую деятельность следует рассматривать как единство ее функциональных и содержательных структур. Под "функциональной структурой" деятельности мы понимаем набор операций (программ), участвующих в ее осуществлении. "Содержательная структура" - это конкретное наполнение программы, ее "овеществление". Почти все тесты, созданные в нейропсихологической клинике, направлены на выяснение дефектов в содержательной структуре деятельности, в конкретном модально-специфическом наполнении операций. Однако проведенные нами опыты показали, что при латерализованных поражениях лобных

долей мы имеем дело с функциональной структурой деятельности. Функциональная структура делится, в свою очередь, на собственно операции и на обеспечение осуществления операций. Схема дробления структуры деятельности выглядит так (рис. 1).

Наблюдение симптомов односторонних поражений лобных долей заставляет полагать, что мы имеем дело с неполадками в блоках 6 и 7.

Можно думать, что процесс осознания, будучи элементом функциональной структуры различных видов деятельности (и являясь сам определенной деятельностью), имеет свою собственную содержательную и функциональную структуру. Нарушение функциональной структуры процесса осознания влечет за собой нарушения в функциональной структуре текущей деятельности, обусловливая симптомокомплекс "нарушения контроля". Расстройство содержательной структуры осознания также влечет за собой нарушения в функциональной структуре текущей деятельности, но уже по типу "нарушений структуры".

Рассмотрение нарушений, проявляющихся при поражении передних отделов головного мозга, показывает, что почти все они могут трактоваться в терминах нарушения осознания. Понимание же осознания как звена в функциональной структуре деятельности позволяет приписать этому звену функцию регистрации собственного состояния, индивида.

В пользу такой трактовки говорят как клинические наблюдения, так и эволюционная оправданность существования в структуре деятельности специального блока регистрации собственных состояний субъекта. Об экспериментальных фактах мы уже говорили выше. Эволюционная же оправданность связана с тем, что по мере усложнения деятельности индивида, развития программ поведения становится необходимым управлять этими программами, иметь информацию о том, какой такт программы осуществляется в данный момент и какие узловые ответвления программы уже пройдены. Естественно ожидать, что лобные доли - образования, молодые в эволюционном отношении, могли бы участвовать в структурировании сведений о собственном состоянии субъекта. Видимо, при поражении передних отделов головного мозга нарушается способность субъекта регистрировать собственную текущую деятельность или обнаруживать собственное состояние. При левостороннем поражении это выражается в невозможности ответа на вопрос "что со мной происходит", при правосторонних же нарушениях - в невозможности ответа на вопрос, поставленный по другому: "каково то, что со мной происходит".

101. О материальном субстрате нарушений сознания в свете нейрохирургического опыта. Э. И. Кандель

Институт неврологии АМН СССР, Москва

Если иметь в виду не философский, а медико-биологический аспект понятия "сознание", то следует признать, что последнее до настоящего времени не имеет строго научного определения. Смысл, вкладываемый в это понятие различными исследователями, весьма варьирует. Как известно, дать определение - это значит включить данное понятие в некую более широкую категорию, отметив далее признак (или признаки), отличающий объект определения от других ему подобных. Поэтому трудности с определением термина "сознание" обусловлены, по-видимому, тем, что практически невозможно подобрать более широкое понятие, в которое "сознание" могло бы войти как частный случай. Следует, однако, отметить, что для клинициста-невропатолога и нейрохирурга важен не столь вопрос об адекватности определения понятия "сознание", сколько вопрос о механизмах его нарушений при заболеваниях и повреждениях головного мозга. В свое время эту мысль хорошо сформулировал известный английский нейрохирург Д. Джефферсон примерно следующим образом: "Мы не знаем, что такое сознание, но хорошо знаем, что такое его нарушения".

Поскольку объектом нейрохирургии является мозг как материальный субстрат сознания, эта дисциплина накопила огромный фактический материал, характеризующий состояние сознания и формы его нарушения при самых различных заболеваниях. Следует, однако, подчеркнуть, что возможности нейрохирургии не ограничиваются лишь констатацией многочисленных форм изменения сознания при патологии мозга. Если рассматривать операции на мозге как своеобразные нейрофизиологические эксперименты, к чему в свое время призывал основатель отечественной нейрохирургии Н. Н. Бурденко, то количество источников информации о сознании неизмеримо возрастает. Поскольку нейрохирургические операции производятся на мозге человека, то можно утверждать, что по информативности они весьма часто превосходят даже наиболее тонкие нейрофизиологические эксперименты на животных. Этому способствует и разнообразие методик, применяемых в нейрохирургической клинике с целью решения (что само собой разумеется) различных терапевтических задач. К числу подобных методик относятся:

1. Экстирпация или разрушение структур и частей мозга: почти всех отделов его коры, полюсов лобной, височной, затылочной долей, полушарий и глубоких ядер мозжечка, многих подкорковых структур и т. д.

2. Перерезка на различных уровнях проводящих путей мозга: мозолистого тела, лобно-таламических, кортико-спинальных, денто-рубро-таламических и др.

3. Электрическая стимуляция почти всех корковых, подкорковых и стволовых структур мозга, включая базальные ганглии, гипоталамус, ядра мозжечка и т. д.

4. Отведение биопотенциалов от этих структур, в частности с помощью микроэлектродной техники.

Все это дает возможность рассматривать нейрохирургию как особый метод изучения функциональной организации мозга и, в частности, как своеобразный метод изучения проблемы сознания.

Начнем анализ с рассмотрения давно возникшего, но доныне интенсивно обсуждаемого вопроса: существует ли в мозгу "центр сознания", т. е. некая неврональная структура, разрушение (или, наоборот, стимуляция) которой ведет к мгновенному "выключению" сознания? Нейрохирургический опыт свидетельствует, что такой строго локальной структуры в мозгу, по-видимому, нет - в противном случае она, несомненно, была бы давно обнаружена нейрохирургами. Зададим теперь этот же вопрос, но в более широкой форме: можно ли выделить зону (область) мозга, имеющую наиболее тесное отношение к "реализации" сознания, или область, морфологическая целостность которой является необходимым условием для сохранности сознания? Опыт нейрохирургии показывает, что такая область есть, хотя ее границы трудно определить с большой точностью. Это оральные отделы мозгового ствола (мезэнцефалон и диэнцефалон), включающие покрышку среднего мозга, область сильвиева водопровода, четверохолмие, гипоталамус и оральные отделы продолговатого мозга. Клинический опыт позволяет утверждать, что поражение и, в частности, ишемия, компрессия или дислокация этой области мозга наиболее часто ведут к угнетению или полному выключению сознания. Известно, что в этой области локализуется так называемая восходящая активирующая система ретикулярной формации, которая стимулирует деятельность коры мозга, необходимую для интеграции сенсорной афферентации и превращения ее в осознанные ощущения.

Поражение других отделов мозга, как правило, не дает такого эффекта выключения сознания, который имеет место при поражениях ствола. Нейрохирургический опыт и, и частности опыт операций, которые в прошлом производились под местной анестезией, что давало возможность контролировать сознание больного, свидетельствует, что даже обширные резекции долей мозга, различных зон мозговой коры, полушарий и червя мозжечка, резкое воздействие на лобные доли (приподымание их для доступа к базальным отделам мозга) - все это в подавляющем большинстве случаев не ведет к потере сознания. То же самое можно сказать и о стереотаксической деструкции ядер таламуса, бледного шара и других базальных ганглиев.

Известно, что сознание полностью сохраняется и у больных, которым была произведена продольная перерезка мозолистого тела.

Не только клинический, но, несомненно, и теоретический интерес представляет вопрос о степени и характере нарушения сознания при различных поражениях головного мозга.

На основании клинического опыта мы хотели бы предложить разделение всех главных нарушений сознания на две основные группы. Не претендуя на строгость этой классификации и понимая ее условность, мы все же полагаем, что она может быть полезной для разграничения основных направлений исследования. К первой группе мы относим нарушения сознания, условно определяемые как "количественные". Сюда входят изменения "уровня" ("объема") сознания, происходящие в диапазоне от относительно нерезкого снижения этого уровня по сравнению с "нормальным", до полного отсутствия сознания. У клинициста не вызывают сомнений проявляющиеся здесь положительные корреляции со степенью тяжести поражения мозга при глобальной оценке такого поражения.

Именно на этом "количественном" принципе основаны широко принятые в нейрохирургической клинике классификации, например шкала Боттерелла - "ясное сознание", "оглушение (сомноленция) ", "сопор", "кома". Состояние комы подразделяется на просто кому и атоническую или запредельную кому.

Ко второй группе мы относим "качественные" изменения сознания, включающие необозримое множество его нарушений. Очевидно, что в эту группу входят изменения сознания при многих психических заболеваниях.

Если такая аналогия дозволена, то первую группу нарушений сознания мы сравнили бы с уровнем громкости радиоприемника, в то время как вторую - с содержанием радиопередач. Из этого сравнения вытекает и несомненная зависимость между обеими группами, ибо, чем меньше громкость, тем труднее оценить содержание.

Предлагаемое условное разделение, само по себе, еще, конечно, не приближает нас к раскрытию патофизиологических механизмов нарушений сознания при поражениях мозга, однако оно позволяет наметить и разграничить аспекты обсуждения проблемы.

Как было подчеркнуто выше, существуют немалые трудности в выявлении детерминированности "уровня" или "степени ясности" сознания конкретными церебральными структурами. Несколько иное положение возникает при оценке его "качественных" нарушений. Органические поражения многих областей мозга, как об этом свидетельствует клинический опыт, могут уловимо закономерным образом модифицировать состояние сознания, вызывая самые разнообразные его нарушения. Нисколько не претендуя на обобщение этих явлений неизмеримой сложности, мы опять-таки допустили бы их разграничение на две группы. К первой можно отнести качественные, нередко специфические нарушения психической деятельности, возникающие при поражении (разрушении) вполне определенных мозговых структур. Ярким примером этой группы являются изменения сознания при поражениях лобной доли. Или другой характерный пример - сумеречные состояния сознания и психомоторные пароксизмы при височной эпилепсии, возникающие вследствие поражения глубоких структур височной доли - гиппокамповой извилины и миндалевидного ядра. Нарушения сознания этого вида в принципе обратимы. После удаления, например, опухоли лобной доли или участка глиоза в гиппокампе они обычно полностью исчезают.

Ко второй группе можно отнести нарушения сознания, обусловленные не локальным, а общим поражением мозга. Такого рода нарушение деятельности мозга в целом может иметь место при воздействии разнообразных экзогенных и эндогенных патологических факторов (инфекции, интоксикации, артериосклероз, повышение внутричерепного давления и т. п.). В отличие от первой группы эти нарушения сознания значительно менее специфичны. При более же выраженном воздействии патогенного фактора возникают не только "качественные", но и "количественные" нарушения сознания в соответствии с представленной выше классификацией.

Можно уверенно сказать, что сознание в конечном итоге детерминируется сложнейшими биохимическими процессами, определяющими жизнедеятельность мозга. В связи с этим следует полагать, что лежащая в основе сознания интегративная нейрональная активность головного мозга обусловлена как интенсивностью, так и качеством его метаболизма. В виде рабочей гипотезы мы могли бы даже предположить, что охарактеризованные выше "количественные" изменения сознания зависят от интенсивности (уровня) церебрального метаболизма, в то время как "качественные" нарушения обусловлены изменениями характера этого метаболизма. В качестве примера первого варианта можно привести метаболическую депрессию мозга при гипотермии, примером второго могут быть токсические поражения мозга (бактериальные токсины, алкоголь, наркотики). Есть основания думать, что специфические изменения сознания, стоящие в центре внимания настоящего симпозиума (разнообразные нарушения степени и качества осознаваемости психической деятельности ее субъектом), также в какой-то степени могут быть связаны со сдвигами в характере церебрального метаболизма. Психопатология при алкогольных и других интоксикациях заставляет, во всяком случае, не упускать подобную возможность из вида.

Как известно, метаболизм непосредственно обусловлен кровообращением мозга. Прекращение церебрального кровотока вызывает практически мгновенную потерю сознания. Этот давно известный факт получил отражение в названии главных артерий, питающих мозг (сонные артерии). Однако лишь в последние годы после разработки применимых в клинике количественных методов исследования мозгового кровообращения появилась возможность определить его "критический уровень", т. е. уровень, ниже которого закономерно наступает потеря сознания. Этот уровень равен примерно 20-25 мл кропи, протекающей через 100 г. мозгового вещества в 1 минуту. Это означает, что прекращение сознания возникает при снижении нормального объемного мозгового кровотока (ОМК) примерно наполовину. В то же время установлено, что линейной зависимости между "уровнем" сознания и величиной ОМК нет. Другими словами, снижение ОМК в конце концов неизбежно приведет к потере сознания, однако это может произойти и при достаточно высоком ОМК. Так, глубокая кома после отравления барбитуратами может иметь место и при нормальном уровне ОМК. Более того, при полном или почти полном отсутствии сознания после массивного инфаркта мозга ОМК может быть значительно выше нормальных цифр (феномен избыточной или "роскошной" перфузии по Ингвару и Лассену). Из этих фактов можно сделать вывод, что прямые корреляции "уровня" сознания должны существовать не с кровоснабжением, л с метаболизмом мозга. Актуальность и важность дальнейшего углубленного изучения этого вопроса не вызывает сомнений.

Обобщение фактического материала, накопленного неврологической клиникой, и уникального опыта общей и стереотаксической нейрохирургии позволяет нам предложить следующую ориентировочную схему взаимоотношений сознания с его материальным субстратом, т. е. с комплексами церебральных структур,

обеспечивающих и осуществляющих активность сознания (подразумевая, что сознание, как высшая интегративная функция мозга в целом, безусловно, не может рассматриваться с позиций узкого локализационизма).

Есть основания выделить три основные регуляторные системы мозга, осуществляющие функцию сознания. Первая из них - наиболее древняя в филогенетическом плане - представлена мезэнцефальными и диэнцефальными структурами. На основании приведенных выше данных можно предположить, что эта система ответственна за "количественный" уровень сознания. Эту регуляторную систему можно представить себе в виде триггерного механизма, не только "включающего" и "выключающего" сознание, но и определяющего его базисный "уровень".

Второй регуляторчой системой или вторым уровнем интеграции следует признать лимбическую систему - гиппокамп и медио-базальные структуры височной доли. Древняя кора лимбической области осуществляет регуляцию эмоциональных и аффективных реакций и уже хотя бы поэтому должна быть в какой-то мере связана с динамикой осознаваемости переживаний, так резко нарушающейся в условиях аффекта. На уровне лимбической системы происходит также интеграция всего потока афферентации, включая интеро- и экстерорецепцию с соматическими и висцеро-вегетативными системами, также играющими важную роль в состоянии сознания. Поражение этой второй системы интеграции приводит к резко выраженным нарушениям "качественного" уровня сознания (расстройства памяти, ориентировки, психомоторное возбуждение и т. д.).

И, наконец, третьей, наиболее молодой в филогенетическом отношении системой регуляции является мозговая кора, адаптирующая сознание к изменчивым условиям внешней среды. При поражении этого высшего уровня интеграции страдают детерминированные сознанием сложнейшие функции мозга (речь, тонкая моторика, интеллектуальные процессы и т. д.). В свете новейших данных о т. н. "правополушарной психике" связь этого уровня с феноменом осознания выступает особенно отчетливо (неосознаваемость того, что не опосредуется речью! и т. д.).

Все три перечисленные выше регуляторные системы, конечно, тесно взаимодействуют между собой, благодаря чему и реализуется созние - эта высшая интегративная функция человеческого мозга.

102. Учение о бессознательном и клиническая психотерапия: постановка вопроса. В. Е. Рожнов, М. Е. Бурно

Московский ЦОЛИУ врачей, кафедра психотерапии

Психоаналитическая психотерапия не совместима с психотерапией клинической (каким бы глубоким психотерапевтическим анализом ни отличалась последняя) прежде всего потому, что любая психоаналитическая система основывается на вере в "аксиомы", предложенные ее творцом, клиницизм же проникнут проверкой практикой жизни. Психоаналитическое мышление, несомненно, не отличается трезвой осторожностью, истинным критицизмом, оно оригинально-аутично в том смысле, что реальные факты не воздействуют творчески на своеобразие его построений, а построения эти претендуют на объяснение всей сложности жизни до последней черточки, как, впрочем, и постулаты любой религиозной системы. Так, к примеру, отечественный психоаналитик В. А. Внуков писал: "С необычайной легкостью можно заявить, что повесть Гоголя "Нос" есть символизация penis-a, путешествующего по улицам даже без разрешения на то начальства, что здесь мы имеем проработку комплекса страха кастрации" [5, 153]. Психоаналитическое мышление, несомненно, идеалистично по своей структуре, и к нему вполне подходят ленинские слова о философском идеализме вообще: "Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное uberschwengliches (Dietzgen) развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный" [10, 332].

Психоанализ, разрешающий сознанию и бессознательному говорить на человеческом языке, побуждаться, подобно зверям Киплинга, человеческими мотивами, есть, видимо, поэтически-мифологический этап спирального развития психиатрии и психологии, который предшествует этапу истинно научного, клинического углубления в бессознательное. В наше время высокой эмоциональной напряженности в мире [3], когда вместе с ростом скоростей заметно увеличивается количество пограничных состояний и делаются чрезвычайно актуальными конкретные вопросы психотерапии, психогигиены, психопрофилактики, психоанализ переживает кризис. Известный западногерманский клиницист К. Конрад еще в 1958 г. писал, что стало невозможным мирное сосуществование классической психиатрии, тесно связанной с естественными науками, и психоанализа, толкующего психическую патологию, исходя из глубинных "аксиом" [14, 3].

За какой же психотерапией близкое будущее? Думается, за истинным врачеванием, то есть за психотерапией клинической. Но и она в сегодняшнем своем виде испытывает серьезные трудности.

Сейчас, как никогда, заметна проявляющаяся нередко определенная механистичность традиционного психотерапевтического подхода. Эта механистичность трезвее фантастичности психоаналитика, но и скучнее нее. Психоаналитик, не "вкапываясь" особенно в клинику, умозрительно, но интересно размышляет о психогенном происхождении симптома. Клинический же психотерапевт на сегодняшний день в большинстве случаев недостаточно интересуется психогенетическим (психодинамическим) существом симптома (состояния). Он подбирает к клинически рассмотренному симптому психотерапевтический ключ-прием, однако нередко также не может помочь, как хотел бы. Объясняется это, хотя бы отчасти, тем, что если психоаналитик "обращается" с бессознательным, в соответствии с духом своей психоаналитической ориентации (мифом), умозрительно-вольно, то клинический психотерапевт еще не способен трактовать бессознательное истинно клинически. Патогенетическая психотерапия В. Н. Мясищева, как и каузальная аналитическая терапия А. М. Свядоща, не являются, как нам думается, в полной мере клиническими приемами, так как недостаточно опираются на тонкое проникновение именно в клинические нюансы. В них за тщательным социологическим разбором ситуации теряются, в какой- то мере, клинические подробности, отражающие стереотипы личностного реагирования.

Таково в самых общих чертах сегодняшнее состояние психотерапии. На преодоление немалых связанных с ним трудностей сохранится надежда, если клиническая психотерапия, соблюдая клиническую всесторонность и осторожность, предельную внимательность к нозологии и симптому, врачующую сердечность к больному, значительно смелее пойдет в направлении клинико-экспериментальных исследований взаимодействия сознания с бессознательным, с тем, чтобы полученные на этом пути данные использовать в целях глубокого клинического изучения психогенеза (психодинамики) пограничных состояний.

В настоящей работе мы попытаемся конкретно показать, в чем именно, как нам думается, заключается сам дух клинического исследования бессознательного. Здесь, в сущности, ничего принципиально нового нет. В психиатрии действуют те же механизмы общей патологии, что и в невропатологии, в учении о внутренних болезнях. Сущность болезни заключается в приспособительном реагировании организма на различные внешние и внутренние вредности (И. В. Давыдовский), в реагировании, выходящем, однако, за рамки целесообразности, поскольку в великой мудрости природы диалектически звучит и "слепая" ограниченность. Эта "слепота" приспособления организма "оправдывает необходимость медицинской науки как искусства" [4, 117]. Однако и ныне, как и в гиппократовское время, лучшим врачом остается сама природа - в том смысле, что врач прежде всего должен понять, как защищается от вредности сам организм, и разумно, опасаясь повредить, должен пытаться на этой основе ему помочь.

Болеет - защищается - организм индивидуально, сообразно своей конституции и закрепленным в нем эволюцией стереотипам. "Этиология травмы, будь то психическая или физическая, это сегодня, - пишут И. В. Давыдовский и А. В. Снежневский, - этиология психогенного или физиогенного травматического процесса, это история многих тысячелетий развития человека как вида" [6, 8]. "Поиски причин болезней в непосредственном окружении индивидуума", по И. В. Давыдовскому и А. В. Снежневскому, "есть лишь один момент познания и притом ограниченного значения. В ходе развития медицины все больше выясняется принципиальная недостаточность достигнутых знаний и осуществляемых мер, а именно, их отрыв от изучения исторических, то есть патогенетических основ нозологии человека как вида" [6, 12].

Сообразно своему психофизиологическому типу (конституции), разные люди по-разному предрасположены к различным болезням. На пограничном психиатрическом материале это обнаруживается, например, в том, что клинически убедительные психастенические или истерические психопаты, по нашим наблюдениям, не заболевают шизофренией, поскольку реагируют на вредности собственными формами психастенической или истерической патологической защиты, исключающими шизофреническое реагирование, процессуальную "поломку". Психологическая защита есть психологический элемент общей, глобальной защиты организма. Ф. В. Бассин перенес термин "психологическая защита" из психоанализа в диалектико-материалистическую психофизиологию и дал ему новое содержание, определив как "нормальный, широко обнаруживаемый механизм, направленный на предотвращение расстройств поведения и биологических процессов не только при конфликтах сознания и "бессознательного", но и при столкновении вполне осознаваемых аффективно насыщенных установок". Ф. В. Бассин далее замечает, что способность к психологической защите у разных людей разная, "ее недостаточность облегчает развитие не только функциональных расстройств, но и нарушений грубо органической модальности" [1, 102]. О различных типах "психологической компенсации" интересно пишет Ю. С. Савенко [11]. Мы рассмотрим феномен психологической защиты клинически, основываясь на пограничном материале, наметим, как обнаруживается в некоторых случаях психологическая защита и как для пограничных состояний характерны различные формы защиты.

1. Ощущение нереальности происходящего (деперсонализационно-дереализационные явления)

В художественной литературе встречаются утонченные описания подобных защитных душевных реакций при тяжелых или необычайных обстоятельствах. Нереальность испытывает Пьер Безухов в плену у французов, особенно когда рядом с ним тяжело заболевает и тем самым, при данных обстоятельствах, обречен на смерть Каратаев. Лев Толстой показывает и то, как на фоне ощущения нереальности защитно переключается внимание на посторонние травмирующему событию моменты.

"Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французских солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц - один из них робко взглянул на Пьера - было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. "Экая дура, о чем она воет?" - подумал Пьер [12, 526]. "Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму" [12, 522].

Впадает в острой фронтовой ситуации в ощущение ирреальности и хемингуэйевский герой Роберт Джордан: "... он все еще не мог прийти в себя от удивления, что не погиб при взрыве. Он настолько приготовился к гибели, что теперь все происходившее казалось ему нереальным. Надо стряхнуть с себя это, подумал он. Надо от этого избавиться. Мне сегодня еще много, много нужно сделать. Но избавиться не удавалось, и все вокруг - он сам сознавал это - было как во сне" [13, 588].

Американский автор Горсивиц [15] отмечает транзиторный синдром деперсонализации у космонавтов и водолазов в условиях необычности окружающего, изоляции, стресса.

Защитное "онемение души" с относительной ясностью мысли, сопровождающееся нередко защитным переключением внимания на явления, не имеющие отношения к травмирующему событию, нередко спасительно предупреждает развитие депрессивных реакций людей определенного душевного склада или защитно-патологически звучит уже в самой депрессивной структуре. Однако и сама деперсонализация может весьма болезненно переживаться особенно при эндогенных депрессиях. С. С. Корсаков писал по поводу этого "мучительного притупления душевной чувствительности" (anaesthesia psychica dolorosa), что "больные чувствуют, по их словам, как бы онемение всего их существа, неспособность что-либо чувствовать" [8, 235]. Переживание собственной патологической окаменелости в депрессии, видимо, уже не столько защищает от "разъедающих" душу событий, сколько усугубляет страдание, подобно тому, как в основе своей защитная рвота, сделавшись патологически-неукротимой, смертельно обезвоживает.

Деперсонализационный (в широком смысле) вариант психологической защиты наиболее свойственен в его очерченных, чистых формах психастеникам, но встречается и у некоторых астеников, циклоидов, шизоидов, а также у здоровых людей сходного характерологического склада. Однако здесь он выступает обычно на фоне склонности к самонаблюдению, самоанализу. Больные шизофренией с деперсонализационно-дереализационными расстройствами также склонны к рефлексии. В гипнотическом состоянии они сохраняют сознание непомраченным, несуженым, испытывая более или менее мягкое состояние душевного онеменения, отрешенности, при достаточной ясности мысли. Можно сказать, что в гипнотическом состоянии оживляется, стимулируется их психологическая защита, - факт весьма важный в терапевтическом отношении (*Мы рассматриваем гипноз как искусственно вызываемый прием психологической защиты*).

2. Аффектогенно возникающая способность не отдавать себе отчета в переживаниях, способность вытеснять из сознания травмирующие моменты, сужение сознания вплоть до сомнамбулизма

Этот способ психологической защиты свойственен очень многим детям, а также инфантильным (ювенильным) личностям, предрасположенным к истерическим реакциям, а при гипнотизации к сомнамбулизму (*Патологическое*

проявление инфантильной ("художественной" - по И. П. Павлову) личности - истерическая и неустойчивая психопатия). Явления такого рода, усиленные до патологии, являются, по сути дела, истерическими расстройствами сознания. При описанном выше защитном перемещении внимания на деперсонализационном фоне человек способен отвлекаться от психотравмирующих моментов посторонними явлениями, но при этом сознает беду или опасность и даже способен наблюдать как бы со стороны, как он отвлекается мелочами на фоне притуплённого душевного состояния. При сужении же сознания нет самонаблюдения, а возникает истерическая диссоциация: слепая вера в то, что, например, близкий человек не умер, а жив, - вплоть до галлюцинирования. Истерическую психологическую защиту прекрасно анализировал Э. Кречмер: "Для сущности истерической психики характерно, что она предпочитает скорее избегать тяжелых переживаний, чем становиться с ними лицом к лицу. Поэтому она пытается, с большим или меньшим успехом, внутренне притворяться сама перед собой, неприятные представления отбрасывать в сторону, превращать их в переносимые, даже в радостные, или по крайней мере на время избавляться от них посредством основательной эмоциональной разрядки. И снова, так же как при истерических выразительных процессах, это удается иногда вполне - при использовании простейших форм нормального психического реагирования, иногда же - только отчасти - ценой расщепления личности. В этом последнем случае выступают, в точном соответствии с гипобулическим расщеплением воли, гипноические мыслительные механизмы в виде двойственного сознания, сновидений, припадков и сумеречных состояний" [9, 138].

3. Бессознательное стремление "растворить" свое душевное напряжение в различных выразительных движениях и действиях

Эта форма психологической защиты характерна для сангвинических (циклоидных) натур. Мы нередко видим и вне клиники, как выразительно, с богатой жестикуляцией "шумит" рассерженный чем-то сангвиник, как в выразительных, но естественных движениях горя он способен "выплакать" или выговорить в подробностях собеседнику свою обиду и как эти интенсивно-выразительные разряды смягчают аффективное напряжение.

4. Злобно-агрессивная (дисфорическая) защита

Эта форма смягчения душевного напряжения особенно свойственна эпитимным, эпилептоидным личностям. Она наблюдается и у органиков. Как часто приходится психиатру слышать от близких эпилептоида, что еще в детстве делался он веселее, спокойнее, если помучает какое-либо животное или насекомое.

5. Астенический вариант психологической защиты

Это - свойственная людям астенической (в широком смысле) конституции способность защищаться от травмирующей ситуации невротической реакцией, выражающей собой пассивно-оборонительный уход, с признанием несостоятельности. Известное психастеническое стремление устраняться без борьбы от неприятностей, уйти на менее выгодную должность, раз трудно, хлопотно пребывать на более выгодной, есть одно из более сложных и осознанных выражений именно этого варианта защиты.

6. Стремление отрешиться от забот, уйдя в "первобытное" состояние, "растворяясь" среди природы, чувствуя свое родство с ней, с животными, растениями

Эта форма защиты наблюдается иногда у шизотимных, шизоидных, шизофренических субъектов.

Мы наметили здесь лишь некоторые (далеко не все) психопатологические феномены, в которых проявляется психологическая защита. Так, например, мы совершенно не затронули в этом плане проблему навязчивостей и сверхценных образований [2]. Думается, однако, что сказанного достаточно, чтобы поставить вопрос: не следует ли пограничный психиатрический материал, а, может быть, и некоторые аспекты большой психиатрии, пересмотреть под углом зрения понятия психологической защиты? Элементом общим для психопатий, неврозов, реактивных состояний, процессов патологического развития являются направляющие клиническую картину различные патологические формы психологической защиты. В случае психопатии врожденные патологические защитные психологические реакции затрагивают преимущественно личностный аспект поведения. В случае невроза психологическая защита, не вполне осознаваемая больным, возникает в ответ на психические травмы, значимые для больного, и ощущается и рассматривается им как нечто чуждое его собственному миросозерцанию, желаниям (раздражительная слабость с вегетативными расстройствами при неврастении; кардиофобия при неврозе навязчивых страхов и т. д.). О том, что при неврозе "личность принимает ту или иную защитную реакцию", писал, в частности, Н. В. Иванов [7, 355]. В клинической картине реактивного состояния отчетливо звучит содержание

психической травмы; больной, как правило, в отличие от невротика, превосходно знает, чем вызвано его болезненное состояние (о чем тоскует, чего и почему боится и т. д.), т. е. здесь больше сознательной переработки переживаний.

Намеченные формы психологической защиты тесно связаны с различными психофизиологическими конституциями и представляют собой глубинные защитные стереотипы реагирования организма. Их зависимость от характера психической травмы опосредуется "личностной значимостью" характера травмы для субъекта. Сложностью человеческих характеров, существованием еще не описанных "промежуточных" нормальных и патологических типов характера объясняется то, что указанные нами формы психологической защиты могут каким-то образом сочетаться у конкретного субъекта. Это обстоятельство следует всегда учитывать в целях большей эффективности целенаправленного психотерапевтического вмешательства. Отсюда следует, что каждому больному показана своя, индивидуальная психотерапия, исходящая прежде всего из понимания психогенеза его болезненного состояния, из того, как сама природа, какими средствами психологической защиты пытается тут помочь. В этой связи, например, йоговские упражнения и некоторые зен-буддистские психотерапевтические приемы могут быть полезны преимущественно в случаях шизоидной и шизофренической патологии, так же как суггестия незаменима во многих случаях истерических моносимптомов. Так же, как психастенику для душевного облегчения, укрепления необходимо строгое в своей точности познание себя и других, так и шизоидному психопату или шизофреническому больному помогает в занятиях психической саморегуляцией попытка внять "сверхлогическому" "языку природы". Если психастенику полезно иногда приемами лечебного самовнушения тренироваться в "сооружении" психологической защиты на случай экзамена, возникновения неприятной обстановки и т. п., то в случаях невротического состояния, развившегося на тревожно-сангвинической почве, полезно дать больному возможность катарсически отреагировать на неприятность в плаче или вообразить сцену мщения (в духе известной сказки, в которой цирюльник, сунув голову в яму, накричался в поле всласть, что у царя, которого он брил, ослиные уши).

Психологическая защита тем сложнее, чем сложнее психически субъект, она включает в себя защитно-сознательные моменты (например, вполне осознанное стремление психастеника огораживаться от знакомств, дабы меньше было обязательств, просьб, "душевной суеты" и т. п.), но в своей основе она всегда проникнута работой бессознательного в формах, сообразных с душевным складом субъекта.

Психотерапевту надо чаще себя спрашивать: что стало бы с таким-то человеком, если бы его психологическая защита не обеспечила ему уход от тяжелой психотравмирующей обстановки в истерическое состояние? Что сталось бы, если бы в другом случае не открылся "клапан" кардиофобии? Подобные вопросы могут быть плодотворными как для разработки новых психотерапевтических и психопрофилактических методик, так и для более глубокого проникновения в законы душевной жизни человека.

Природа, в том числе человеческая, всегда "мудрее" человека. Врач должен поэтому постоянно "подглядывать", как врачует сама природа, чтобы помогать ей в меру возможностей науки и искусства.

103. Вопросы соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетической психотерапии неврозов. Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский

Ленинградский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева

В настоящее время проблема неврозов признана одной из ведущих в медицине и психологии, что объясняется ее близостью к более общей проблеме психологического стресса и стрессоустойчивости в условиях возрастающего напряжения современной жизни.

Вместе с тем существует определенный разрыв между практическим значением проблемы и интенсивностью разработки теоретических основ терапии и профилактики неврозов. Это связано с пограничным характером учения о неврозах, возникшего на стыке медицины, биологии, психологии, социологии, педагогики, и с трудностям и, порождаемыми многообразием и различием теоретико-методологических позиций, во многом зависящих от господствующей в обществе идеологии. И это понятно, так как в центре любой концепции неврозов и их психотерапии находится человек во взаимосвязи с его конкретным социальным окружением.

Сказанное в полной мере относится и к широкому кругу вопросов, касающихся значения проблемы бессознательного для психоневрологии, психологии и других наук. Обращению к этой проблеме мы, несомненно, обязаны психологической школе Д. Н. Узнадзе, в частности исследованиям Ф. В. Бассина (1968) с В. Е. Рожновым и М. А. Рожновой (1972, 1974), А. Е. Шерозия (1968, 1973) и других советских авторов. В 1966 г. состоялся

Всесоюзный симпозиум по проблемам сознания, на котором, в частности, были предприняты попытки толкования бессознательного с позиций советской психологии и физиологии.

Следует, однако, отметить, что, несмотря на некоторые весьма значительные успехи последних лет в этом направлении, переход от общенаучного, мировоззренческого методологического уровня в рассмотрении "бессознательного" к конкретно-научной разработке принципов и методов исследования осуществляется явно замедленно. Это не может не сказаться на темпах развития прежде всего таких важных разделов психоневрологии, как учение о психогенных заболеваниях и психотерапии, по существу находящихся в настоящее время на пути к превращению в самостоятельную дисциплину.

Следует также подчеркнуть, что если раньше практика работы психотерапевтов не столь явно определялась остротой теоретических дискуссий (ввиду немногочисленности психотерапевтических групп в стране), то сегодня положение существенно изменилось. От того, какой методологией и какими методиками мы вооружим не десятки, а сотни специалистов (учитывая мероприятия министерства здравоохранения СССР по созданию психотерапевтической службы в стране), зависит в значительной мере судьба советской психотерапии. Становится все более очевидной необходимость разработки научных основ системы психотерапии, каузальной и патогенетической по своему характеру.

Мы приближаемся к созданию такой системы применительно к неврозам - основной группе психогенных заболеваний человека, в комплексном лечении которых психотерапия играет решающую роль.

Поэтому представляется целесообразным рассмотреть чрезвычайно важную как в теоретическом, так и в чисто практическом плане проблему соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетического понимания неврозов и патогенетической концепции психотерапии, в течение десятилетий разрабатывавшейся В. Н. Мясищевым и его сотрудниками (Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский, С. С. Либих, В. К. Мягер, А. Я. Страумит, Ю. Я. Тупицын, Е. К. Яковлева).

Существование бессознательного в психической жизни человека было известно задолго до появления психоанализа. Последний лишь неправильно представил его содержание и его роль в поведении людей и предложил лечение невротических нарушений поведения путем включения в сознание вытесненных из него биологических влечений, составляющих, по Фрейду, источник невротических расстройств. Другие, родственные психоанализу, современные субъективистские направления в психотерапии придают значение исходным психобиологическим тенденциям, модифицированным социально-культурными условиями (неопсихоанализ), или - "изначальному проекту бытия" (экзистенциальный психоанализ). Неудовлетворительность подобных воззрений вытекает из неправильного понимания ими сущности личности, источников бессознательного и его соотношения с сознанием.

Для научного решения этих вопросов огромное, основополагающее значение имеет использование идей К. Маркса о явлениях сознания и бессознательного, намного опередивших искания современных психологов и философов. Объективный анализ общественно-экономических процессов и категорий позволил К. Марксу по-новому осветить природу и формы человеческого сознания. Если классическая философия рассматривала сознание лишь в однородной плоскости восприятий и представлений субъекта, то К. Маркс открыл его многомерный характер, показав, что субъективное отражение объектов реальности определяется сложной системой социальных отношений, причем социальные механизмы этой преобразующей системы сознанием не улавливаются. Поскольку образования сознания обусловлены не прямолинейной причинной зависимостью от реальных объектов, они представляют собой, по К. Марксу, "превращенные формы" действительности, что обычно затрудняет понимание сущности самих явлений действительности. Отсюда очевидна наивность житейского представления, будто наши восприятия являются зеркальным отражением существующего вне нас реального мира. Всякое восприятие избирательно и конструктивно. Оно не есть простая реакция на стимул. Объекты воспринимаются в свете прежнего опыта, человеческих предположений, предвидений и ожиданий.

Известно марксистское определение сущности самого человека как "совокупности всех общественных отношений" (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 3). Вместе с тем примечательно, что данному определению К. Маркс предпосылает указание на то, что "сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду" (там же). Это можно понимать таким образом, что у отдельного человека природная (биологическая) структура его мозга является конкретной базой, на которой развивается надстраивающаяся отражательная и творческая активность его сознания, функционирующего под влиянием социальных воздействий.

В свете этих положений человек рассматривается в единстве его социальной сущности и биологической основы. Но чтобы понять его в главном его существе, т. е. его личность, невозможно сознание и бессознательное

исследовать одними лишь нейрофизиологическими методами, какими изучается поведение животных. Это было ясно передовым отечественным психологам (Л. С. Выготский, Д. Н. Узнадзе, В. Н. Мясищев и др.) и недавно вновь подчеркнуто с большой силой французским психологом марксистом Л. Сэвом.

Начало приложению такого подхода к разработке проблем психотерапии было положено трудами В. Н. Мясищева и его сотрудников. Эти исследования исходят из диалектико-материалистического положения о том, что при отсутствии грубой органической патологии головного мозга или психотических расстройств поведение людей определяется в основном их сознанием, с которым связан активный и избирательный характер их отношений, прежде всего взаимоотношений с другими людьми. Неосознаваемые процессы психической деятельности не находятся в антагонизме с сознанием, но взаимодействуют с ним. Не осознается механика социальной динамики, превращающая явления действительности в явления сознания. В область неосознаваемого переходят ранее осознававшиеся акты, когда они автоматизируются, благодаря многократному повторению, а также явления внешней и внутренней среды человека, не находящиеся в данный момент в поле его активного внимания. В сознание с большей или меньшей легкостью возвращается хранящийся в области неосознаваемого материал, необходимый при решении возникающих перед человеком задач.

Вместе с тем известно, что большая часть больных неврозами и другими психогенными расстройствами обычно не осознает многих обстоятельств, сыгравших патогенную роль в развитии их болезненного состояния. Это происходит, с одной стороны, потому, что источники их расстройств кроются в области социальных отношений, не находящих зачастую, как указывалось, прямолинейного отражения в сознании, с другой - вследствие вытеснения из сознания непереносимых для больных психотравмирующих моментов. О вытеснении говорит и психоанализ. Но, в отличие от него, материалистическая психотерапия признает наиболее существенным в патогенетическом плане вытеснение не биологических влечений, а моментов, определяемых столкновением личности с такими обстоятельствами, которые несовместимы с ее особо значимыми осознаваемыми ею отношениями, сформировавшимися в течение жизни индивида. Такое столкновение вызывает эмоциональное перенапряжение, нарушающее динамику нервных процессов в высших отделах головного мозга, что влечет за собой торможение отражения в сознании многих сторон патогенной ситуации за исключением выступающего на передний план тягостного переживания возникших болезненных расстройств (симптомов). Само происхождение невротического симптома обычно ускользает от сознания больного. Представление о неспособности к движению, возникающее в момент "подкашивания" ног при острой психотравме, может вести к истерическому параличу по механизму, сходному с неосознаваемым идеомоторным актом, но противоположным по направлению. Неврастеническое напряжение может вызвать нарушения висцерально-вегетативных функций в органах или системах, конституционально или прижизненно ослабленных, без осознания больным связи этих нарушений с психогенными моментами. Симптомы навязчивости нередко образуются по неосознаваемому механизму условной связи случайных впечатлений или действий с патогенной ситуацией. В подобных случаях невротический симптом выступает в качестве своеобразного заместителя подлинного источника болезни. что можно видеть, например, из нижеприводимого наблюдения.

Больная П., 33 лет, инженер по специальности. Обратилась с жалобами на навязчивый страх заболевания злокачественной опухолью, который, по словам больной, появился у нее 6 месяцев тому назад после обращения к врачу в связи с похуданием и некоторым затвердением в области молочной железы. Врач, хотя и считал это изменение неопасным, все-таки предложил операцию. Такое же предложение было сделано другим врачом два года назад. В то время больная не придала значения этой рекомендации врачей, узнав от онколога, что это не рак. Теперь же, несмотря на неоднократные последующие заключения специалистов о том, что рака у нее нет, она не успокаивалась. В состоянии нарастающего эмоционального напряжения непрерывно обращается к врачам, перестала проявлять заботу о сыне и муже, прекратила ведение домашнего хозяйства, утратила интерес к окружающему, много плакала, считая себя обреченной. Оставила работу на заводе. Никакое лечение не давало облегчения.

Под влиянием успокаивающих бесед с врачом появлялась критика к своим опасениям, однако почти полностью исчезавшая, как только больная оставалась одна. Была повышенно эмотивной, тревожной, много говорила о своем заболевании.

Лишь при длительном углубленном изучении истории жизни больной, особенностей формирования системы ее отношений постепенно удалось выяснить основные звенья патогенетического механизма ее болезненного состояния. Было установлено, что в развитии невроза ятрогения явилась лишь случайным, побочным моментом, на который переключилось все внимание больной в период возникших у нее сложных, трудно разрешимых конфликтных семейных переживаний. В беседах с больной выяснено, что она находится накануне разрыва с мужем. В беседах с врачом она легко переключалась с мысли о заболевании раком на волнующие ее семейные переживания. С мужем она прожила счастливо 16 лет. Причиной возникшего семейного конфликта послужил следующий факт. Больная случайно по возвращении мужа из дома отдыха нашла у него фотокарточку молодой

незнакомой женщины с трогательной надписью. Вначале муж отрицал свою вину, а затем признался в кратковременной случайной связи с девушкой, с которой познакомился в доме отдыха. Больная была потрясена этим, потеряла к мужу всякое доверие и приняла решение расторгнуть брак. Таким образом, на первом этапе психотерапевтического процесса, помимо опасений за свое здоровье, возникших после неосторожного высказывания врача, в качестве причины невроза выступали тягостные переживания больной, связанные с чувством оскорбления, нанесенного мужем. В дальнейшем вначале психотерапевту, а затем и самой больной становилась все более понятной противоречивость ее отношений к мужу. В течение 3 месяцев она не могла спокойно его видеть, постоянно упрекала его, из-за чего дома создавалась очень напряженная обстановка. Вместе с тем, когда однажды муж заявил ей, что если он стал ей неприятен, то ему лучше уйти из семьи, она, хотя и не возразила мужу, но позднее послала к нему своего десятилетнего сына, чтобы тот уговорил отца остаться. Так постепенно вырисовывалось наличие и другой мотивации, которая только в процессе психотерапии стала достаточно полно осознаваться больной: стремление сохранить, вопреки всему, семью, положительное значение которой для нее вытекало из некоторых фактов ее прошлой жизни и особенностей формирования ее личности. Для нее, воспитанницы детского дома, не знавшей родителей, семья занимала особое место в системе значимых отношений. Угроза потери семьи обусловливала фрустрацию, тем более выраженную, что муж был единственным близким человеком, которого она ранее любила, ценила и даже несколько идеализировала.

Постепенно в процессе психотерапии больная стала улавливать ускользавшее ранее из ее сознания подлинное содержание тяготившего ее психологического конфликта, приблизившись к пониманию того, что, по существу, канцерофобия лишь создавала "выход" из возникшего трудного положения ("Как же мне уходить от мужа, когда я теперь так тяжело больна").

После того, как в процессе длительной активной психотерапии больная до конца осознала все обстоятельства, послужившие источником ее заболевания, она стала постепенно поправляться. "Побледнели", а затем практически исчезли так мучившие ее навязчивые мысли о заболевании раком, выровнялось настроение. Улучшению состояния больной способствовала семейная психотерапия, в которой участвовал и муж. Больная приняла твердое решение не разрушать семью. Работоспособность ее восстановилась.

Существует много методов лечения невротических расстройств. Они могут быть эффективными, если применяются в системе патогенетической психотерапии, главная задача которой состоит в том, чтобы помочь самому больному осознать все взаимосвязи, совокупность которых определила развитие болезни. В противоположность субъективно-психологическим психотерапевтическим концепциям здесь речь идет не об осознании мифического материала психоаналитического или экзистенциального толка, а об уяснении больным реальных соотношений между его жизненным опытом, сформированной в этом опыте системой его отношений, ситуацией, с которой они пришли в противоречие, и проявлениями болезни. Весьма важным является при этом привлечение внимания больного не только к его субъективным переживаниям и оценкам, но также и к внешним условиям его социальной среды, к ее особенностям, к взаимоотношениям окружающих его людей в семье, на производстве и т. д.

Подчеркивая роль учета неосознанных отношений для процесса патогенетической психотерапии, В. Н. Мясищев отмечает, что при исследовании больных психогенными заболеваниями нередко обнаруживаются отрицательные или положительные отношения или тенденции, однако без сознательной формулировки человеком своего отношения или потребности. За вычетом тех случаев, когда эти отношения утаиваются, речь идет о неосознанных отношениях. Цель психотерапевтической работы заключается в значительной степени в том, чтобы помочь больному уяснить, осмыслить связи и значение того, что определяет его поведение, но чего он ранее не осознавал. Для В. Н. Мясищева "бессознательное" это то, что еще не интегрировано нашим мышлением. Центральной задачей патогенетической психотерапии является, однако, не само по себе осознание противоречивости интересов и потребностей, а образование на этой основе регуляции потребностей, формирование сознательного отношения.

Выявлению не улавливаемых больным патогенных связей способствует целенаправленный процесс общения больного с врачом или с другими больными при групповой психотерапии.

Исследования, проводимые в клинике неврозов и психотерапии Института им. В. М. Бехтерева, показали, что значимость различных критериев эффективности психотерапии больных неврозами (т. е. степени симптоматического улучшения, осознания психологических механизмов болезни, перестройки 'нарушенных отношений личности и восстановления социального функционирования) не одинаковы. Работами А. П. Федорова, Э. А. Карандашевой, В. А. Ташлыкова и др. установлена отчетливая зависимость непосредственных и отдаленных результатов патогенетической психотерапии от степени осознания больным имеющихся нарушений отношений и их перестройки. С помощью экспериментально-психологических методов (проективные методики, Q - сортировка и др.) рассмотрена динамика и некоторые механизмы осознания психологических конфликтов в условиях

индивидуальной и групповой психотерапии при неврозах (В. А. Мурзенко, И. А. Винкшна, Б. В. Иовлев, Г. Н. Цветков, В. Н. Корж и др.).

Учитывая единство социально и физиологически обусловленных черт личности, представляющее в каждом случае уникальное своеобразие, для уточнения соотношения осознаваемого и неосознаваемого в психогенезе невроза и оценки динамики саногенеза необходимы не только психологические и психофизиологические, но также и социально-психологические и социологические исследования, тесно связанные с клиническими и терапевтическими задачами.

104. Роль неосознаваемых мотивов в клинике неврозов. А. М. Свядощ

Ленинградская психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова

Неврозы являются теми заболеваниями, в возникновении которых сторонниками психоанализа придавалось особенно большое значение роли "бессознательного". Именно наблюдения над больными неврозами натолкнули З. Фрейда на разработку психоаналитических концепций. С другой стороны, некоторые противники психоанализа при изучении неврозов упрощали психогенез болезни, игнорировали роль неосознаваемых переживаний, оставляя исследование этой области, как отмечают Ф. В. Бассин и В. Е. Рожнов, сторонникам психоанализа.

До того, как перейти к рассмотрению роли неосознаваемых мотивов в генезе неврозов, остановимся на понимании неврозов З. Фрейдом.

Согласно Фрейду, в раннем детском возрасте - обычно в первые 3 года жизни и никогда не позже 5 лет - у ребенка появляется ряд влечений, которые не кажутся ему недозволенными или запретными. Эти влечения носят сексуальный характер, например, половое влечение девочки к отцу, мальчика к матери (эдипов комплекс), аутоэротические влечения (мастурбация, нарциссизм и др.), гомосексуальные влечения и т. п. В процессе воспитания ребенок, по мнению Фрейда, узнает о запретности всех этих влечений и они подавляются. Даже сама мысль об их существовании становится недопустимой, неприемлемой из-за несовместимости ее с высшими понятиями о приличии. Она не допускается до сознания, вытесняется в "бессознательное" и подвергается амнезии. Силы, ведущие к подавлению этих влечений, недопущению их отражения в сознании, Фрейд обозначил термином "цензура", а сам процесс подавления этих влечений - "вытеснением". Переживания, оказавшиеся вытесненными в "бессознательное", получили название "комплексов". Если последующие переживания усилят эти комплексы, тогда, по мнению Фрейда, может возникнуть заболевание неврозом.

В норме энергия вытесняемого сексуального влечения, по Фрейду, переводится (сублимируется) в допускаемые "цензурой" виды деятельности, например, занятие благотворительностью, искусством, наукой, религией. Если же этот процесс оказывается нарушенным, то аффективно заряженные комплексы могут оторваться от породивших их первоначально переживаний и присоединиться к каким-либо, до того нейтральным, представлениям или психическим актам, находя в них свое символическое выражение. Так, вытесненный "аутоэротический комплекс" и связанная с ним повышенная любовь к себе может привести при попадании в военную обстановку к возникновению "военного невроза" с чувством страха за свою жизнь; скрытые "гомосексуальные комплексы" - к тяжелому хроническому алкоголизму.

В результате может возникнуть явление навязчивости, какой-либо истерический симптом или патологическое влечение. Случаи, когда "вытесненный комплекс присоединяется к симптому соматическому" обозначаются Фрейдом термином "конверсия" ("конверсионная истерия"). Причина болезни, по Фрейду, таким образом таится в комплексных переживаниях, возникших в раннем детском возрасте. Она долго может оставаться скрытой, например, чувство отвращения, возникшее в связи с половым влечением к отцу, может не обнаруживаться долгие годы. Во время неудачного замужества подавляемое чувство отвращения к мужу может усилить влечение к отцу и привести к появлению истерических рвот, как бы символически отражающих отвращение.

Исходя из этой теории, Фрейд предложил свой метод лечения неврозов - психоанализ, основанный на восстановлении в памяти - "вскрытии" сексуальных переживаний детского возраста (инфантильно-сексуальных комплексов), якобы являющихся причиной неврозов. Для выявления этих комплексов высказывания больного (свободные ассоциации, воспоминания, сновидения) подвергаются специальному истолкованию при помощи особого кода сексуальной символики. Таковы основные положения теории неврозов, разработанной Фрейдом.

Наши 30-летние наблюдения над больными неврозами убедили нас в несостоятельности инфантильно-сексуальной теории неврозов З. Фрейда, многократно подвергавшейся справедливой критике как со стороны отечественных (последние годы особенно успешно Ф. В. Басенным), так и зарубежных авторов.

Мы рассматриваем неврозы как заболевания, вызванные действием психотравмирующих раздражителей (психических травм). Действие последних определяется той информацией, которую они несут. Причем патогенными могут оказаться как однократно подействовавшие сверхсильные, так и, особенно, многократно действующие, относительно слабые раздражители.

Сила психотравмирующего воздействия определяется значимостью информации для данного индивидуума, т. е. зависит не от количественной, а от семантической стороны сообщения. Поэтому известие об измене мужа или насмешка по поводу внешности может явиться тяжелой психической травмой для одного и не являться ею для другого.

Воспитание человека, его жизненный опыт, взгляды, идеалы, его идеология, обусловленные влиянием социальной среды, определяют значимость, а в связи с этим и патогенность для него той или иной информации, влияют на характер психической переработки, которой эта информация подвергается.

Часто патогенными оказываются события, ведущие к возникновению конфликта, неразрешимого для данного человека, т. е. приводящие к сосуществованию у него противоречивых стремлений. Так, у одной нашей больной невроз возник после того, как она узнала об измене мужа. Она не могла простить ему этого и хотела уйти от него, но в то же время не могла решиться оставить его, так как хотела сохранить семью ради детей; у другой - в связи с тем, что она заставляла себя оставаться на работе, которая ей не нравилась. Типологические и характерологические особенности человека имеют большое значение для возникновения невроза. Ревность, мнительность, боязливость, повышенная озабоченность своим здоровьем, повышенное чувство справедливости, гордость, тщеславие могут сделать человека особенно чувствительным к таким травмам, которые задевают эти его особенности, оставляя его резистентным к другим воздействиям. К возникновению неврозов предрасполагает и все то, что астенизирует нервную систему (травмы мозга, инфекции, интоксикации и т. п.).

Часто большую роль в генезе неврозов, особенно невроза навязчивых состояний и истерии, играют неосознаваемые мотивы.

Мы различаем элементарные и криптогенные навязчивые состояния. Возникновение первых находит отражение в сознании. Сюда относится, например, закрепившаяся на многие годы боязнь воды у тонувшего, страх перед некоторыми животными. В отличие от элементарных, криптогенные (от греческого слова "криптос" - скрытый) навязчивые состояния возникают, казалось бы, без внешнего повода. Причина их возникновения скрыта, не осознается больным.

Характерно следующее наше наблюдение.

Больной X., 28 лет, однажды, спускаясь утром по лестнице, чтобы пойти на работу, вдруг остановился, так как появилась мысль: "Не осталась ли дверь открытой?". Вернулся, проверил - дверь была плотно закрыта. С этого времени его стало проследовать навязчивое сомнение: "Не осталась ли дверь открытой?". При уходе его из дому дверь закрывалась женой на засовы, задвижки, замки, и тем не менее он по многу раз в день, оставив работу, вынужден был возвращаться домой, чтобы проверить, не осталась ли дверь открытой. Он понимал необоснованность своей тревоги, боролся с ней, но не мог ее преодолеть. Сам больной не мог связать свое заболевание с какой-либо причиной. Оно казалось ему возникшим без всякого внешнего повода.

Больной женат вторично. Первую жену он очень любил, прожил с ней около 2 лет. К концу этого периода он стал вспыльчивым, раздражительным. Отношения с женой стали ухудшаться, и однажды, придя домой, он застал дверь в квартиру открытой и на столе записку от жены, в которой она сообщала, что ушла от него к другому. Очень болезненно пережил это, просил ее вернуться, но она отказала. Через полтора года женился вторично. Брак оказался удачным. Прожили вместе около 2 лет, и однажды внезапно развилось описанное выше болезненное состояние. Жена отметила, что незадолго до появления навязчивости больной стал вспыльчивым, раздражительным, ворчливым. В связи с этим отношения между ними ухудшились. Сам больной этого не замечал.

В данном случае навязчивое сомнение связано с переживаниями больного. Оно обозначает в скрытой, завуалированной (символической) форме боязнь ухода второй жены. Как уже было сказано, когда у больного ухудшились отношения с первой женой, он, придя домой, застал дверь открытой и узнал, что жена ушла. Возникла связь между представлением об открытой двери и уходом жены. Теперь, когда стали ухудшаться отношения со

второй женой, появилась боязнь потерять ее. Однако мысль о том, что вторая жена может уйти, оказалась столь тягостной, что она была подавлена, вытеснена, не нашла достаточного отражения в сознании, осталась неосознанной и прорвалась в скрытой символической форме - в виде боязни застать дверь открытой.

Каузальная психотерапия, в процессе которой больному была разъяснена связь его заболевания с представлением об уходе жены, привела к полному излечению, подтвердив тем самым правильность предположения о роли этих переживаний в возникновении болезни.

В этом наблюдении отчетливо выступает один из механизмов "психологической защиты" [1, 118; 2,60] - механизм вытеснения тягостных для больного переживаний, встречающийся как в норме, так и в патологии. Этот же механизм может играть большую роль в возникновении, например, боязни острых предметов и связанных с этим страхом защитных ритуалов в случае развития двойственного отношения к близкому человеку: чувства любви и неосознаваемого желания ему смерти.

При неврозе навязчивых состояний во многих случаях дело не в том, что больные не помнят психотравмировавшее событие, лежащее в основе навязчивого явления, а в том, что они не могут установить связь между этим событием и навязчивым симптомом.

Генезис криптогенной фобии иногда может быть тесно связан с особенностями развития личности, сделавшими последнюю избирательно-чувствительной к определенным раздражителям.

Неосознаваемые мотивы лежат, как правило, и в основе истерических реакций.

Клиницистами давно была замечена характерная особенность истерических реакций, заключающаяся в том, что тот или иной истерический симптом является для больного желательным, приятным, дающим больному определенные житейские выгоды - либо выход из тяжелой для него ситуации, либо уход от ставшей несносной действительности. Отсюда возникло представление "о бегстве в болезнь", "воле к болезни" (З. Фрейд) как о характернейшей черте истерии. Эта особенность истерических симптомов отчетливо выступила во время первой мировой войны. Стало очевидно, что в основе истерических припадков, параличей, глухонемоты, гиперкинезов и тому подобных расстройств у солдат лежит страх перед возвращением на фронт, в связи с чем Э. Крепелин в своем руководстве по психиатрии обозначил эти реакции, как "состояния протеста против возвращения на фронт". При этом "бегство в болезнь" стало рассматриваться как проявление какой- то особой бессознательной воли, якобы присущей этим больным ("гипобулика" Кречмера), или даже просто как симуляция.

И. П. Павлов, признавая, что "бегство в болезнь", "воля к болезни" является характернейшей чертой истерии, показал, что временные нарушения функции организма, дающие человеку ту или иную жизненную выгоду, например, удаление из опасной для жизни обстановки, могут приобрести черты "условной приятности или желательности" и по механизму образования условного рефлекса закрепиться. Это и лежит в основе истерической фиксации болезненного симптома. Особенно часто такой механизм будет действовать "у слабого субъекта, который является жизненным инвалидом, не способным положительными качествами вызвать к себе внимание, уважение, расположение", но он может проявляться и у нормального субъекта.

Приобретут ли у человека представления о том или ином болезненном симптоме характер "условной приятности или желательности", зависит, с одной стороны, от особенностей той ситуации, в которой он находится, с другой - от его прошлого опыта, от имеющихся у него представлений, определяющих его этические и нравственные устои.

Так, у преступника, дрожащего от страха перед ответственностью за совершенное деяние, не разовьется истерический гиперкинез путем усиления и фиксации этого дрожания, не разовьется истерическая глухота на одно ухо или истерическая слепота на один глаз, даже если в момент ареста или до этого один глаз или ухо болели, не разовьется и истерический паралич руки, даже если в это время он был ранен в руку. Представления об этих болезнях не могут у него приобрести характера "условной приятности" именно в данной ситуации, поскольку дрожание руки или головы, глухота на одно ухо или слепота на один глаз не освободят его от ответственности за совершенное деяние. Иное дело представление о том, что у него возникло сумасшествие. Оно обладает для него "условной приятностью или желательностью". И действительно, под действием информации о необходимости ответить за совершенное преступление чаще всего возникает псевдодеменция, синдром Ганзера или истерический ступор.

Наоборот, как показывает клиника так называемых "рентных неврозов", после ушиба головы, полученного в результате несчастного случая на производстве, может развиться нарастающая истерическая слепота или глухота

на той стороне, на которой была травма, после ранения руки - истерическая моноплегия. Соображения о материальной компенсации (рента) за полученное увечье делают в этих случаях представление о потере зрения, слуха или паралича руки, возникшем якобы в результате производственной травмы, "условно приятным или желательным" и могут повести к их возникновению и фиксации. Но при этом обычно не развивается длящийся несколько лет псевдокататонический истерический ступор, требующий содержания в психиатрической больнице, так как в данной ситуации он не может иметь характера "условной приятности или желательности". Отсюда понятно, почему при истерии симптомы поражают своей "рациональностью", поражают тем, что возникает именно тот симптом, который в данных условиях "удобен", "выгоден" для больного. Инфантильно-сексуальные комплексы тут не при чем.

Возникшие после испуга истерические припадки, астазия-абазия или истерическое сумеречное состояние лишь в наивном представлении обывателя вызваны этим испугом. В действительности они вызваны психотравмирующей ситуацией, ведущей к тому, что представления об этих болезненных симптомах становятся "условно приятными или желательными".

При истерии больные обычно не осознают связи своего заболевания с психотравмирующей ситуацией, породившей "бегство в болезнь", и считают его возникшим вследствие физической травмы, нарушения внутренних органов, испуга или т. п. При истерических амнезиях из памяти обычно вытесняются тягостные для больного психотравмирующие события, что является одним из проявлений "психологической защиты". Так, например, заболевшая мать "не помнит" о смерти ребенка и считает его живым; жена, заболевшая после ссоры с мужем, "не узнает" его, хотя прожила с ним много лет. При этом воспоминание порой может быть легко восстановлено путем гипнотического внушения.

Сторонники психоанализа утверждают, что рациональная и суггестивная психотерапия могут давать лишь временное устранение невротического симптома. Истинное же исцеление дает лишь психоанализ, направленный на вскрытие и осознание инфантильно-сексуальных комплексов, неизменно являющихся, якобы, первопричиной болезни. Это утверждение не соответствует действительности. Вышеуказанные методы, основанные на выявлении психотравмирующей ситуации и либо ее устранении, либо изменении отношения к ней, высоко эффективны и могут давать стойкий терапевтический эффект. В результате подобного вмешательства породившие заболевание болезненные переживания утрачивают свою значимость и, тем самым, патогенность. Перевоспитание личности больного, привитие ему новых установок имеет в связи с этим огромное значение для профилактики рецидивов невроза.

Во многих случаях важной предпосылкой возможности устранения невротических реакций является сознание тех обстоятельств, которые привели к их возникновению. Так, например, у одной нашей больной, у которой понос возникал по условнорефлекторному механизму, выздоровление наступило после того, как ей разъяснили причину возникновения этого расстройства (она осознала, что ставшая для нее неприятной служебная обстановка вызывает понос по механизму условного рефлекса).

Таким образом, оказывается, что для того, чтобы избавиться от некоторых болезненных симптомов психогенного характера, нужно выявить и осознать порождающую их причину. Причина по-латыни causa, поэтому и метод лечения, основанный на выяснении причины заболевания, может быть назван каузальной или причинной психотерапией. В широком смысле слова он относится к аналитическим методам.

При лечении по этому методу отыскиваются "вместе с больным или помимо его, или даже при его сопротивлении среди хаоса жизненных отношений те разом и медленно действовавшие условия и обостоятельства, с которыми может быть связано происхождение болезненного отклонения..." [3, 148]. Это не всегда, конечно, бывает просто сделать. Для выяснения подобных обстоятельств иногда приходится длительно и многократно беседовать с больным, выясняя различные детали его жизни. Много ценного при этом может дать изучение сновидений больного, восстановление в памяти забытых им событий путем расспроса во время гипнотического сна, изучение его свободных ассоциаций и всплывающих у него воспоминаний. После того, как неосознаваемые больным причины заболевания обнаружились, приступают к разъяснению их больному [4].

Принцип аналитической терапии, т. е. лечения путем выявления и осознания генеза болезненного симптома, был выдвинут Фрейдом. Им же дан тонкий анализ формирования некоторых невротических симптомов, в частности навязчивости у одной больной, и показана их связь с реальными (не инфантильно-сексуальными) психотравмирующими переживаниями. Однако подобные случаи симптомообразования Фрейд считал редкими и при разработке метода аналитической терапии пошел по пути психоанализа, т. е. выявления мифических инфантильно-сексуальных комплексов, якобы лежащих в основе невроза.

Итак, неосознаваемые мотивы могут играть значительную роль в генезе неврозов. Изучение их, опирающееся на клиническую реальность, а не на предвзятые психоаналитические концепции, имеет большое значение для понимания этиологии, патогенеза, симптоматологии и терапии этих заболеваний.

109. О проявлениях бессознательного в психиатрической симптоматике и необходимость учета этого фактора в психотерапии. В. М. Блейхер, Л. И. Завилянская, И. Я. Завилянский

Киевская психоневрологическая больница, лаборатория патопсихологии

1. На протяжении последних десятилетий накопились научные факты и появились исследования, показывающие слабые стороны фрейдизма. Тем не менее, и в наше время довольно широко представлено мнение о том, что теория Фрейда это единственная, якобы, теория бессознательного.

Советская психиатрия отвергает доктрину фрейдизма и не идет на компромиссы с его методологией, отрицая эклектические попытки сочетать психоанализ с диалектико-материалистическим подходом к проблемам психопатологии. Советские исследователи, как и многие зарубежные психиатры, отмечают произвольный характер фрейдистских построений, сомнительную эффективность психоаналитической терапии и усматривают вред психоанализа в биологизации им социальных проблем и маскировке истинных причин социальных явлений. Всю трудно-представимую сложность отношений между сознанием и бессознательные Фрейд свел к одной лишь динамической тенденции - к функциональному антагонизму между ними. Это нашло свое отражение в психоаналитическом учении о "вытеснении" и символике, во многом исказившем представления о подлинном характере неосознаваемых форм высшей нервной деятельности.

В противоположность Фрейду и его последователям, советскими психологами (мы говорим прежде всего о многолетних исследованиях Д. Н. Узнадзе и его сотрудников) был найден путь для адекватной научной разработки концепции бессознательного - была создана теория неосознаваемых психологических установок [10; 12; 13]. Д. Н. Узнадзе говорил об установке, как о специфическом состоянии, предваряющем появление определенных актов сознания. Состояние установки возникает не только в условиях известного модельного эксперимента (иллюзия Шарпантье), но неизмеримо шире, выступая как важнейший, функциональный компонент всякой приспособительной деятельности.

Понятие установки на длительном пути его развития не было однозначным. Оно сближалось с понятием "готовности", отождествлялось с идеей динамического стереотипа, трактовалось как "модус" и ныне рассматривается как фактор психофизиологического регулирования деятельности. Функцией установки является не только создание "предрасположения" к еще не наступившему действию, но и, как это подчеркивает Ф. В. Бассин, "актуальное управление уже реализующейся реакцией (или сенсорным отражением)" [2, 51].

Для психотерапевта проблема взаимоотношений между выработавшейся в процессе жизненного развития человека установкой и сознанием имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Выражение Д. Н. Узнадзе "...обычно эти установки не сознаются" и его же положение о том, что воля является фактором, выбывающим актуализацию установки, дали Ф. В. Бассину повод построить такое убедительное рассуждение: "Если воля актуализирует (т. е. выражает в поведении) установки к "воображаемой деятельности", установки, "найденные целесообразными", то можно ли сомневаться в том, что информированность субъекта о подобных установках предваряет во времени объективные эффекты регулирующего влияния этих установок на поведение" [1, 47]. Допущением принципиальной неосознаваемости установок, по мнению Ф. В. Бассина, наносится тот ущерб, что выпадает узловой момент в понимании деятельности, "как процесса, определяемого и сознанием и бессознательным, - переходов, превращения неосознаваемых установок в осознаваемые и наоборот" [1, 51]. Таким образом, подчеркивается очень важный для теории сознания "факт регулируемости психологических установок сознательной волей человека" (там же). "Если понимать под установкой состояние, обусловленное организацией предшествующего опыта и приводящее к регулированию последующего поведения, то нет ни логических, ни фактических оснований, - пишет Ф. В. Бассин, - полагать, что подобное состояние не может быть и осознаваемым" [2, 229].

В медицинской литературе термин "установка" не был однозначным. Так, в физиологическом аспекте П. К. Анохин (в выступлении на дискуссии по проблеме установки в 1955 г.) рассматривал установку с позиций концепции акцептора деятельности, сближая ее с понятием возбуждения "опережающего" типа. В психотерапии принято говорить об установках чисто эмпирически, как о состояниях, связываемых с перестройкой отношений больного. В экспериментально-психологическом плане, в соответствии с теорией Д. Н. Узнадзе, об установке

говорится как о состоянии, предваряющем появление определенных фактов сознания, определяющем тенденцию к известному содержанию сознания.

Н. В. Иванов характеризует установку в психотерапии "не как состояние готовности к конкретному психическому акту, а как состояние, определяющее направленность ряда переживаний или поступков больного" [5, 78]. Автор делает попытку выделить "установки личностного плана", отражающие основные тенденции личности [6]. Говоря об этапах психотерапевтического процесса, Н. В. Иванов, как и В. С. Мерлин, отмечает, что на первом этапе разъясняющие и ободряющие указания врача больным не воспринимаются всерьез и понимаются им как формальное выполнение врачом своих обязанностей. Затем выделяется другой этап - решительного перелома, когда прежние указания психотерапевта становятся действенными для больного и он "с исключительной облегченностью начинает осуществлять противоположное поведение". По Н. В. Иванову, с этого момента психотерапевт констатирует возникновение новой установки у больного, а именно, установки на выздоровление. Для И. В. Иванова это - личностные установки, вариантами которых являются установки, связанные с эмоциональным отношением личности к тому или иному объекту или кругу явлений, а также установки, связанные с возникновением определенных интересов личности, и установки мировоззренческие, определяющие наиболее значимые, основные направленности личности. В обеих упомянутых выше работах предпринимается, таким образом, интересная попытка рассматривать эффект психотерапевтического воздействия с позиций концепции установки. В теоретическом и практическом отношении важно раскрытие характеристики этапности психотерапевтического процесса, о которой говорил и В. Н. Мясищев [7]. Обе работы свидетельствуют о значении созревания установки в развитии личности.

По мере углубления психотерапевтического процесса вместе со смягчением значимости для больного психической травмы исчезают симптомы, образующие весь клинический ансамбль. Эта эволюция совершается одновременно с формированием нового отношения больного к болезни. Д. Н. Узнадзе, применив принцип установки в целях раскрытия закономерностей развития личности, обнаружил, что симптомокомплекс динамических особенностей установки изменяется вместе с перестройкой структуры и направленности личности. Он говорил, что установка имеет и психологическое содержание, не менее значимое, чем ее динамические особенности.

Отношение больного к болезни и ее симптомам имеет исключительно большое значение для психотерапевта, который часто формирует у больного, незаметно для последнего, новые установки. Стимулируя его желание выздороветь, психотерапевт понимает, что оно становится саногенным, если принимает форму "подлинной установки". Активную работу сознания подкрепляет вербальный материал психотерапевтического процесса и потенцирует эмоциональный климат психотерапевтических ситуаций новой системой мотивов, целей и потребностей личности больного. Здесь надо отметить, что "желание" выздороветь остается чисто вербальным до того момента, пока оно не превратится в установку, пока оно не интериоризируется, не захватит систему главных мотивов личности и не актуализирует физиологические механизмы, нервные процессы, связанные с неосознаваемыми формами высшей нервной деятельности.

2. Анализ сновидений, производимый с учетом их неосознаваемой детерминированности, позволяет врачу при достаточном знании объективного и субъективного анамнеза больного, определять его личностные тенденции, понять психологическую ситуацию, в которой этот больной пребывает. В этом отношении может быть приведено, как пример, сновидение наблюдавшегося нами больного, который впал в депрессивное состояние после того, как, оставив жену, сошелся с другой женщиной. Ему снится, что он едет со своей новой женой к родителям в деревню. Он ощущает какую-то неловкость и обеспокоен предстоящей встречей с родителями, людьми религиозными и твердых жизненных правил. Вдруг, взглянув на свои ноги, он замечает, что он босой. На этом он с неприятным чувством просыпается. В этом сновидении отражено опасение больного, что он будет осужден родными. То, что он замечает, что он босой, говорит, как это выясняется в психотерапевтической беседе, о том, что он поступил как "босяк" (в его кругу босяком и разгильдяем назывался человек, ведущий предосудительный образ жизни). Отсюда видно, в частности, как важны комментарии, которыми больные сопровождают рассказ о своих сновидениях.

Другой наблюдавшийся нами больной - научный работник, лечившийся по поводу психастении. Его сновидение: он присутствует на конференции, где должен выступить с докладом. В курительной комнате, совмещенной с туалетом, больной встречает своего друга, с которым прежде работал в соавторстве. Разговаривая с ним, больной вдруг замечает, что его белый халат запачкан. Друг указывает больному, что запачканы не только халат, но и обувь и брюки. Больной просыпается с неприятным чувством. Можно думать, что в этом сновидении отражена тенденция не готовить доклад на предстоящую конференцию. Дав согласие выступить, больной вскоре пожалел об этом, В дальнейшем о" работал, полный сомнений относительно качества доклада, посвященного теме, далекой от его научных интересов. В этом случае, как и в предыдущем, сновидение больного символически отразило сложную для больного жизненную ситуацию.

Касаясь символики сновидений, можно говорить о присущей им функции деабстрагирования, проявляющейся в том, что отвлеченные понятия получают в них конкретно-образный характер. Может ли быть раскрыт символизм сновидений с не психоаналитических позиций? Анализ символики сновидений И. Е. Вольпертом [4] был проведен с позиции учения А. А. Ухтомского [11] о доминанте. Обычно в осуществлении высшей нервной деятельности участвует целая иерархия доминант различного уровня и содержания. А. А. Ухтомский писал о высших корковых доминантах, определяющих психическую деятельность человека, будучи локализованными в подсознательном, и усматривал в них тот физиологический механизм, который Фрейдом и его школой трактовался как "психические комплексы".

В этом положении А. А. Ухтомского как бы сближается физиологическое понятие "доминанты" с психоаналитическим понятием "комплекса". Ф. В. Бассин в "Проблеме бессознательного" рассматривает доминанту как "важный элемент физиологического механизма установки". Господствующая доминанта не только тормозит посторонние для нее функции, но она же и привлекает к участию в своей работе энергию различных раздражений, не имеющих прямого к ней отношения. При ослаблении господствующей доминанты может давать о себе знать латентная доминанта, которая в своей заторможенности вовсе не осознается, но своим аффективным зарядом влияет на психическое поведение своего носителя и подчас даже вторгается в деятельность второй сигнальной системы, т. е. в мышление. Исходя из того, что физиологической основой бессознательного является в основном иерархия доминант, скрытых, заторможенных либо приторможенных господствующей, осознанной доминантой, можно полагать, что доминанты - это та сила, которая в сновидениях соединяет в нечто целостное самые разнородные элементы пережитых в прошлом впечатлений.

Аффективность в сновидениях действует как качество доминанты, притягивающей в сферу своего влияния различные возбуждения. Сновидения - продукт чаще всего не одной, а нескольких доминант, объединяемых в них лишь отдельными деталями. Эти детали и приобретают значение намеков на то целое, из которого они взяты, т. е. значение символов целого. Символы в сновидениях - это случайные "обломки", "осколки" доминант в сонном сознании. Это образы, возникшие на "боковых" по отношению к доминанте (глубоко заторможенной) путях. Следы, казалось бы, случайных, образующих периферию доминанты образов, будучи активированными, и образуют те подчас вовсе непонятные символы, которые ярко выступают в сновидениях.

Для психологического анализа сновидений в процессе психотерапии необходимо знание больного, достигающееся собиранием полноценного объективного и субъективного анамнеза, сведений об особенностях жизненной ситуации больного, его личностных свойствах и о характерных для него отношениях с окружающими. Какие бы то ни было претензии на непогрешимость при истолковании сновидений лишены оснований. Психологическое раскрытие содержания сновидений всегда гипотетично. И. Е. Вольперт говорит [4] о "разночтении" материалов сновидения, однако этим не обесцениваются попытки понять сновидение психологически.

3. Психоаналитические воззрения на конфронтацию между сознанием и бессознательным способствовали формированию понятия о "психологической защите". Травмирующие психику переживания порождают феномены, цель которых - предотвращение клинически проявляющихся следствий психогении. Так возникли представления о механизмах "сублимации", "вымещения", "проекции", "рационализации", "вытеснения" и др. Т. Шибутани [14] считает, что защитные механизмы связаны в основном с процессами восприятия и символизации. "Вытеснением" исключается из сознания импульс, возбуждающий тревогу и напряжение. Образование противоположной реакции, когда неприемлемая для сознания тенденция изменяется без опознавания этого на полярно-противоположную, также относится к механизмам "психологической защиты", как и "проекция", при которой неосознаваемый импульс или чувство переориентируется на другой, более доступный, объект (например, когда человек переносит свои нежелательные черты на других людей). Под "сублимацией" понимают бессознательную попытку превратить социально-неприемлемый импульс в социально-приемлемый. В этих случаях происходит как бы переключение энергии из одного русла в другое. При "рационализации" мы встречаемся с тенденцией рассудочно обосновать неадекватное стремление или идею. При этом нелепые, неясные или неуместные поступки истолковываются так, чтобы они казались адекватными и пристойными. Защитные механизмы как бы призваны обеспечить устойчивость личному самосознанию в условиях, когда ему угрожает психический конфликт.

В последующие годы "психологическая защита" многими рассматривается как повседневно применяемый психологический механизм, вступающий в действие при столкновении аффективно окрашенных психологических установок. Проявления "психологической защиты" определяют динамику как неосознаваемых, так и смутно осознаваемых переживаний при различных психологических конфликтах. Способность к "защитной психической деятельности" послужила основанием для Ф. В. Бассина, В. Е. Рожнов а и М. А. Рожновой говорить о личностях, "хорошо психологически защищенных" и "плохо психологически защищенных", и связать начало ряда патологических процессов с предварительным распадом системы "психологической защиты".

Знание механизмов "психологической защиты" крайне важно для целей психотерапии, направленной на нейтрализацию психической травмы. Можно думать, что именно "плохо психологически защищенные" не обладают способностями развивать защитную психологическую активность, либо же, что эта активность может принимать у них формы психопатологического характера. В этом отношении представляют интерес наши наблюдения над лицами, определяемыми как тревожно-мнительные или психастеники. Помимо навязчивых образований символического характера, у психастеников наблюдается явление своеобразной рационализации - психастеник, которому приходится предпринять какое-либо действие, предъявляющее определенные требования к его личности (например, к его активности, смелости, решительности), "заранее знает", что это действие не следует осуществлять, "потому что ничего не выйдет". Так проявляется и развивается инертность, мизонеизм психастеника.

Исследуя навязчивые ритуальные симптомообразования при психастении, можно рассматривать их как своеобразные меры психологической защиты. Особенно четко это выступает в рамках своеобразных ананкастных развитий, где ритуальные действия носят символико-магический характер. Примером может служить следующее наблюдение.

Больная 22-х лет страдает навязчивым мытьем рук. Кроме того, она совершает навязчивые действия; взяв в руки бумагу (безразлично какую - полученное письмо, обертку, записку, счет и т. п.), она испытывает непреодолимую потребность разорвать ее на мелкие кусочки, что и делает обычно. Карманы ее одежды постоянно полны обрывками бумаги. Сначала она рвет бумагу три раза, затем снова троекратно и опять, пока она не останавливается на какой-то цифре, кратной трем. Так как на работе больная имеет дело с бумагами, а рвать их не может из-за опасения привлечь внимание сотрудников, то прежде, чем прочесть полученную бумагу либо отправить ее по назначению, она трижды проводит языком по нёбу. Иногда это действие она производит до тех нор, пока не останавливается на какой-нибудь цифре, кратной трем. В анамнезе у больной - на протяжении последних лет неблагоприятно для нее заканчивавшиеся взаимоотношения с молодыми людьми. Трое молодых людей, которых она считала своими женихами, оставили больную и женились на других девушках. Заболевание началось с навязчивого мытья рук, затем симптом иррадиировал - появилось навязчивое оперирование с бумагами. Больная, обладая интеллектом выше среднего, сама объясняет свое отношение к цифре "три" тем, что у нее было "три жениха", как она иронически называет молодых людей. Цифра "три" для нее магическая - она предохраняет от смерти, т. к., по словам больной, после ухода третьего жениха было желание покончить с собой.

Психотерапевтический анализ состояний больных с навязчивыми симптомами нередко обнаруживает, что навязчивая аритмомания скрывает за собой "магические" представления и служит защитой от тревоги. "Магическое" в этих случаях - это количество повторений навязчивого ритуала. Цифре 5 или 7 и др. приписывается магическое значение, как это нередко наблюдается у суеверных людей, утверждающих, например, что для устранения нежелательных последствий страшного сновидения надо трижды сплюнуть и т. п. Защита, добываемая ритуально-навязчивым действием, проявляется в том, что, выполнив это действие, носитель навязчивости успокаивается, у него ликвидируется тревога.

Замечено, что в периоды больших тревог, волнений у психастеников усиливаются проявления навязчивости. Это проявляется в учащении навязчивых действий, в обрастании их новыми навязчивостями - получаются, если можно так выразиться, своеобразные ананкастные молитвы, обращенные к судьбе, к мистическим силам, которые символически-навязчивыми действиями призываются к защите. Эта целевая направленность навязчивых действий во многих случаях не скрыта от их носителя. В подобных случаях неосознаваемым остается их патогенез, но их направленность находится целиком в сфере сознания. Это заставляет ананкаста стыдиться своей навязчивости, всячески, ее маскировать. И если на стереотипном действии больного шизофренией, напоминающем порой навязчивость психастеника, лежит печать аутизма, инертности, аутистического расщепления, то навязчивое действие психастеника отражает патологическую мотивацию этого больного, сближающую его с суеверным человеком, испрашивающим благоволение у судьбы. Опыт клинического наблюдения показывает, что интеллектуальный уровень подобных больных может быть даже высоким, эти больные могут обнаруживать весьма трезвые суждения в отношении новых жизненных проблем и в то же время в отношении своих навязчивостей они проявляют себя как дети, считающие, что учитель сегодня их не вызовет, если они будут идти в школу не по левой, а по правой стороне улицы и если они свой завтрак отдадут собаке. И в этих случаях, как и при навязчивых ритуалах, обнаруживаются поиски защиты, принимаются "меры защиты", и поэтому можно сказать, что ритуальные навязчивые действия психастеников выступают в качестве меры, если не психологической, то психопатологической защиты.

4. Известно, что в клинике истерических реакций во многих случаях можно говорить о существовании логических связей между особенностями психогенно-травмирующей ситуации и характером функциональных нарушений. Это мы наблюдаем в особенности в случаях т. н. конверсионной истерии. Симптом здесь насыщен символическим содержанием, нередко отражающим психогенную ситуацию. В таких случаях симптом

психологически "понятен", его оформление доступно психологическому анализу. Так, например, истерический парапарез может возникнуть при необходимости бегства в условиях психогенной ситуации, истерический амавроз своим появлением отражает тенденцию - "глаза бы мои не видели". Рассматривая такого рода случаи, можно сказать, что психогения отражается символическим симптомообразованием, для этого используются конкретные образы соматического характера без осознания указанной связи между ними и особенностями конфликтной ситуации.

С символическим симптомообразованием мы встречаемся и в клинике психастении, обычно противопоставляемой истерии. Так, навязчивые симптомы у психастеников, как уже указывалось, тоже нередко имеют символический характер. В одних случаях эта символика навязчивого симптома понятна больному, в других - не понятна. За такого рода навязчивостями почти всегда скрывается страх, что если какое-либо действие не будет выполнено, то случится несчастье либо с самим больным либо с кем-то из его близких.

В патофизиологическом аспекте различный характер символического симптомообразования при истерии и психастении можно объяснить теми особенностями высшей нервной деятельности при этих заболеваниях, на которые в свое время указывал И. П. Павлов [8; 9]. При истерии функциональная патология разыгрывается в первой сигнальной системе, системе конкретных образов, а при психастении мы имеем дело с преобладанием второй сигнальной системы над первой. Именно этим можно объяснить то, что символика психастеников образуется преимущественно в сфере понятийного мышления, в плане навязчивых идей. И даже там, где речь идет о навязчивых действиях, ритуальный характер которых не вызывает сомнений, эти действия имеют за собой "понятийную подоплеку".

Нередко у больных с истерическими реакциями мы обнаруживаем такие особенности реагирования, которые могли бы быть охарактеризованы как рудиментные псевдодементности. Термином "рудименты" подчеркивается то, что, взятые сами по себе, эти особенности реагирования не дают оснований характеризовать больных как псевдодементных. Больные эти упорядочены в поведении, ориентируются в собственной личности и окружающем, но, вместе с тем, они проявляют черты, позволяющие трактовать их как зачаточные симптомы псевдодеменции, не получившей полного клинического развития. Это сказывается в позиции больных при исследовании их психического статуса, в "непонимании" вопросов, в переспрашиваниях, в тенденциях отвлекаться от основной темы беседы, в уходе от ответов на задаваемые вопросы. Черты подобного реагирования проявляются не только в диалоге, но и в поведении. При общеизвестной тенденции истериков привлекать внимание мимикой и поведением, больные могут вести себя так, что создается впечатление об игнорировании ими нарушений. Так, например, при астазии-абазии больной не только не жалуется на то, что он не может ходить, но ведет себя так, словно в его заболевании нет ничего особенного. Такой больной может говорить врачу о беспокоящей его головной боли, но умалчивает о невозможности самостоятельно передвигаться. При необходимости исследовать реакцию зрачков на свет такой больной при первых попытках врача это сделать как бы невольно закрывает глаза или закатывает вверх глазные яблоки, хотя при этом он всем своим видом стремится показать врачу, что идет навстречу его желанию исследовать зрачки. Нередко в процессе беседы больной уходит в сторону от предлагаемого вопроса, отвечает мимо него.

Если в развернутых картинах псевдодеменции явление "мимо речи" резко выражено в диалоге, то в случаях "малой истерии", которую мы сейчас имеем в виду, этот симптом лишь едва намечен, однако он несет в себе элементы, присущие истерическим реакциям. Этот симптом наблюдается в связи с психогенией, отличается целенаправленностью и "условной желательностью" для больного. Если в случаях развернутых картин псевдодеменции целенаправленность истерической симптоматики выступает очень ярко и воспринимается неискушенным наблюдателем как притворство, то в рудиментарном виде симптомы эти выступают не резко и оцениваются как уход от ответов собеседнику, нежелание подвергнуться исследованию. В этих случаях можно видеть смысловую детерминированность реакций больного и за их проявлениями заметить просвечивание латентной установки на актуальную ситуацию. Влияние латентных установок выступает здесь в завуалированной форме. И нет надобности пользоваться психоаналитическими категориями для объяснения этого явления. В случаях, о которых идет речь, установка проявляется неосознанно и отражает расхождение между требованиями, предъявляемыми актуальной ситуацией, и скрытыми мотивами. Психическое состояние больного включает в себя и неосознанные тенденции, продолжающие существовать в форме установок.

Клинический тщательный анализ психогенных симптомообразований позволяет, таким образом, выделить в них проявления неосознаваемых форм высшей нервной деятельности, учет которых, при их адекватной психологической и патофизиологической интерпретации, необходим для рационального построения психотерапевтического процесса.

110. Проблема шизофренического бреда в свете взаимоотношения сознательного и бессознательного. В. Иванов (110. The Problem of Schizophrenic Delusion in the Light of the Interrelationship of the Conscious and the Unconscious. V. Ivanov)

Варнский медицинский институт, Болгария

1. Бред при шизофрении - одно из весьма распространенных и в то же время одно из наименее понятных (в отношении механизмов его возникновения и протекания) явлений в психопатологии. Поэтому вполне объяснимо, что по его поводу создано множество теорий. Объем настоящей работы не позволяет нам рассмотреть подробно все подходы к теории шизофренического бредообразования. Мы коснемся только нескольких проблем, имеющих, по нашему мнению, основное значение.

Мы придерживаемся мнения, что бред является болезненным расстройством процесса мышления, независимо от того, связан ли он с нарушениями эмоций и восприятий. В результате бреда возникает логически неадекватное отражение действительности, которое не поддается коррекции ни рациональным, ни суггестивным путем. В западной же литературе распространено представление, по которому бред рассматривается как связанный с более низкими уровнями психической деятельности, - с сенсорным или даже "чувственным" восприятием и, - что особенно интересует нас в данном случае, - как феномен, не связанный с сознательной "душевной жизнью".

Дефиниция бреда (в его "настоящем понимании") дана К. Ясперсом [5] и предусматривает "независимость" бреда от познания. Если бред психологически объясним, Ясперс называет его "бредоподобной идеей" ("wahnhafte Idee"), но, по его мнению, это - уже другое, производное явление. Качеством "первичности" обладают, по Ясперсу, лишь необъяснимые идеи, - объяснимые являются вторичным продуктом. По нашему мнению, деление К. Ясперса можно принять, только оставаясь в рамках феноменологии. Нам кажется, что механизмы возникновения "вторичного" и "первичного" бреда одинаково необъяснимы чисто "психологическим путем". Если согласиться с Ясперсом, то остается непонятным, почему галлюцинаторные голоса, которыми определяется содержание бредовых идей, отражают реальность не правильно, а в грубо искаженном виде. Возникает и вопрос: почему больной верит этим галлюцинациям вместо того, чтобы проявить к ним критическое отношение? Единство содержания вербальных галлюцинаций и бредовых идей свидетельствует об общности их механизмов, их генеза. Поскольку "голоса" выражают определенные мысли, можно оказать, что вербальные галлюцинации "объективируют" мысли больного, т. е. являются частью, формой его мыслительного процесса, "оторвавшегося" от контроля сознания и принявшего (в силу гипнотически-фазовых отношений?) яркость реального восприятия. Можно полагать, что таким же образом обстоит дело и при зрительных галлюцинациях, только последние находятся в сфере конкретно-образного мышления, которое сложным образом коррелирует с логическим. Из сказанного, однако, отнюдь не следует, что мы утверждаем первичность бредовых и вторичность галлюцинаторных явлений; наш тезис - это обусловленность и тех и других феноменов единым патологическим процессом в мозгу.

Подтверждение взгляда, по которому содержание бреда всегда является результатом первичного изменения процесса мышления (хотя при этом можно наблюдать изменения и других психических функций), мы видим и в том обстоятельстве, что далеко не всегда наблюдается единство содержания мышления, восприятий и эмоций, а также параллелизм их динамики. К. Ясперс и ряд других авторов указывают, что дистимия рождает бред виновности, бесперспективности и т. п., аффект страха - бред преследования и т. д., однако на фоне дистимии в течении шизофренического процесса может появиться бред величия, на основе маниакального состояния - бредовые идеи отношения и пр. Именно шизофреническая паратимия дает возможность увидеть независимость бреда от эмоциональных изменений.

Во взглядах других современных авторов прослеживается еще большая оторванность объяснений бреда от изменения мышления и от влияния реальной действительности. Так например, Г. Груле [4] определяет бред как "отношение (значение) без повода", "непосредственное впечатление без повода" и "настроение без повода". Что касается "интимных" механизмов бредообразования, Груле стоит на позициях фрейдизма и ищет их объяснение в "сублимированных" желаниях, заторможенных стремлениях и т. д. Нам кажется ненужным здесь отклоняться от темы, чтобы доказывать несостоятельность подобных психоаналитических концепций.

Хотя К. Шнайдер [6] и постулирует, что бред относится к расстройствам мышления, его определение бреда и вся его трактовка противоречат этому пониманию. Отвергая понятия "бредовая идея" и "бредовое представление", он подменяет их терминами "бредовое восприятие ("Wahnwahrnehmung") и "бредовое озарение" (Wahneinfall"). К. Шнайдер подчеркивает значение бредового восприятия, указывая, что оно невыводимо из реальной действительности - по его словам, оно является "посланцем другого мира", "высшей действительностью".

Независимо от методологических основ этих взглядов, о которых мы скажем дальше, надо подчеркнуть, что они неприемлемы и с практической точки зрения. Разница между двумя вводимыми Шнайдером формами описывается недостаточно четко. Так, по собственному признанию К. Шнайдера, "бредовое озарение" также часто связано с восприятием. Если больной увидел полицейского, который посмотрел на него "особенно", и в связи с этим у него возникла мысль, что его арестуют - это будет "бредовое восприятие". Однако, если полицейский прошел мимо, не смотря на больного, а у него все-таки возникла та же мысль - это будет уже "озарение". Трудно признать такую разницу убедительной.

Подобное расчленение "первичного" бреда мы встречаем и у Ясперса. Он различает "бредовое восприятие" ("Wahnwahrnehmung"), "бредовое представление" ("Wahnvorstellung") и "бредовое осознание" ("Wahnbewu?theit"). Первое определение относится к бредовому истолкованию неизмененного восприятия; при бредовом представлении мы сталкиваемся с новыми значениями житейских воспоминаний или неожиданным "бредовым озарением"; бредовое осознание является "знанием" о мировых, исторических и других значительных событиях, о которых больные не имели в прошлом реального представления.

Первичные бредовые переживания, по мнению К. Ясперса, необъяснимы и не сводимы к нарушениям ни сенсорного, ни логического познания. Здесь, кроме этих двух форм познания, есть "еще что-то", не поддающееся определению. Утверждение, однако, что бред является отражением чего-то не интерпретируемого, означает, что существует такая "реальность", которая находится вне наших возможностей познания; реальность, доступная только интуиции психически больных. Вряд ли можно сомневаться, что эти взгляды являются, с одной стороны, чистейшим агностицизмом, а с другой, - поскольку они утверждают существование "иного", трансцендентального мира, - весьма родственны мистицизму.

Основой этих взглядов является, по нашему мнению, применяемый указанными авторами метод чистого психологизирования, стремление выводить одни психические функции из других (в их "идеальном" понимании) и отказ от попыток объяснения вообще, если такое выведение не удается. К. Шнайдер утверждает, что психиатров интересуют не логические ошибки, а ошибки, обусловленные чувственно, на основе переживания страха, недоверия, гнева. С одной стороны, в этом утверждении нетрудно увидеть влияние концепций экзистенциализма, который неразрывно связывает человеческое существование с эмоциями подавленности, тревоги, бесперспективности. А с другой стороны, здесь выступают характерные тенденции современной буржуазной психологии, заставляющие ее ставить акценты почти всегда на более "глубоких", низших, архаичных механизмах, структурах и функциях и недооценивать значение сознательной, интеллектуальной деятельности человека. Чем ниже уровень человеческой деятельности и психики, тем меньше возможности сознательного изменения социальной действительности. Человек в этих условиях находится в плену биологического, он не в состоянии разобраться в собственных переживаниях, он - не властелин собственной психики и, следовательно, не может быть творцом нового мира. В этом и находится скрытая классово-обусловленная сущность всех подобных концепций.

2. С точки зрения патофизиологии высшей нервной деятельности основой бреда является формирование патодинамической структуры, одна из характерных черт которой - инертность процесса возбуждения. По нашему мнению, от существования гипнотического состояния в этой структуре и от его степени (т. е. от характера гипнотических фаз) зависит и степень неадекватности отражения (содержание бреда). Если, например, в начале заболевания мы имеем дело только с фазой повышенной возбудимости, то больной еще может переживать (хотя и более выраженно, при повышенной оценке, гиперболизируя) реальные обстоятельства жизни. На этом начальном этапе бреда нередко проявляются сверхценные идеи, и поэтому его можно обозначить, по термину Б. Смулевича [3], как сверхценностный бред.

Однако фазовая реактивность патодинамической структуры может углубиться - после фазы повышенной возбудимости может наступить парадоксальная или - чаще - ультрапарадоксальная фаза. Она является основой искаженного субъективного отражения объективной действительности. Конечно, ультрапарадоксальная реактивность может проявляться и сразу. Поэтому бред может в одних случаях начинаться правдоподобно, выглядеть психогенно обусловленным и лишь позже приобрести характер нелепости и грубого несоответствия объективной реальности, а в других - он имеет такой характер с самого начала заболевания. Поэтому мы считаем, что принципиальное разграничение двух разных категорий бреда - "понятного" и "непонятного" - является искусственным.

Как могут быть объяснены с точки зрения учения о высшей нервной деятельности варианты бреда, описываемые К. Шнайдером? Бредовое восприятие" является, по нашему мнению, мгновенным замыканием новой условной связи в рамках ясного сознания. Здесь имеет место ассоциация на основе конкретного восприятия, которое приводит к неправильному логическому заключению. При бредовом "озарении" также происходит мгновенное замыкание временной связи между конкретным образом и логическим отражением, однако эта связь

осуществляется вне поля ясного сознания. Таким образом, в сознании внезапно появляется конечный результат этой ассоциативной деятельности.

Можно, однако, спросить, не умозрительна ли такая интерпретация и каким способом можно ее доказать? Исследуя, экспериментально, 200 больных параноидной шизофренией, мы сосредоточили внимание прежде всего на создании модели индуктивного умозаключения, являющегося основным прототипом мыслительных операций. Для этой цели мы вырабатывали у больных сложные условно-условные (словесные) связи на несколько понятий, обобщающих группы словесных и зрительных образов, по формуле:

А=F	А=И	Следовательно:
Б=G	Б=Ж	
В=G	В=Ж	
Г=F	Г=И	F=И
Д=G	Д=Ж	G=Ж
Е=F	Е=И	
и т. д.	и т. д.	и т. д.
(Выработка новых связей)	(Переключение в цепь условных связей понятийных обобщений прошлого опыта)	(Индуктивное умозаключение в словесном отчете)

Результаты наших исследований показали, что индуктивное умозаключение, которое основывается на понятийном обобщении прошлого опыта, как и само понятийное обобщение, является психическим процессом весьма сложным по своей физиологической структуре. Оказалось, что установление временной связи между общим словесным обозначением определенной группы предметов или явлений и конкретными элементами этой группы может произойти в процессе выработки понятия на разных уровнях. Это обстоятельство можно объяснить тем, что любой сложный раздражитель (комплексный образ) составлен из множества компонентов с определенным сигнальным значением. Особенно это относится к словесным раздражителям, каждый из которых ассоциирован со множеством более конкретных признаков, и все они могут вступать в связь с обобщающим понятием.

У больных параноидной шизофренией в процессе обобщения часто принимают участие несущественные или "слабые", по выражению Ю. Ф. Полякова [2], признаки. Наш эксперимент был поставлен так, чтобы для индуктивного умозаключения больные пользовались уже выработанными ранее понятийными обобщениями. Однако подобные, созданные в прошлом опыте связи между отдельными сигналами и обобщающим понятием, которые необходимо было включать в новые цепи, могли оказаться недействующими, заторможенными. В то же время больные легко осуществляли связи с "новым понятием" по несущественным признакам.

В этих условиях могло происходить формирование новых слов с новым (обычно причудливым) содержанием - т. н. шизофренных неологизмов. Как будет показано дальше, этот процесс имеет отношение и к процессу бредообразования, хотя патофизиологический механизм таких "причудливых" замыканий пока неизвестен. Можно лишь предполагать, что здесь выступает, по выражению К. Заимова, т. н. фазовость связей [1].

В подобных случаях больной ставит акцент на некотором, хотя и несущественном, но все же наличном общем признаке. Труднее для понимания случаи, в которых "обобщение" производится по "признаку", встречающемуся только в отдельном случае или которого даже вообще нет в предоставленном испытуемому материале. По нашему мнению, в первом случае здесь также происходит замыкание новой связи на более низком понятийном уровне: не с обобщающим понятием данной группы образов, а с конкретным признаком, который не является общим для всех элементов этой группы.

Найти объяснение всем этим феноменам трудно. Возможно, что из-за слабости процесса возбуждения, раз уже выработалась одна связь с обобщающей ответной реакцией, новые замыкания не происходят. Эта связь становится

доминирующей и путем отрицательной индукции тормозит выработки других связей. Можно полагать, что это и есть физиологическая основа т. н. неполной индукции, являющейся одной из основных ошибок мышления и, в частности, индуктивного обобщения. Аналогичный случай мы имеем при втором варианте, только здесь индуктивное "обобщение" происходит на основе генерализации мнимого признака. Поэтому здесь возникают основания говорить о фиктивной индукции. Весьма правдоподобно, что и тот и другой механизм принимают участие в процессе бредообразования.

Как известно, большое значение при исследовании высшей нервной деятельности имеет словесный отчет, посредством которого изучают степень осознанности замыкательной функции. Мы наблюдали весьма своеобразную форму такого отчета, при котором испытуемый описывает правильно выполненное задание, хотя в самом эксперименте правильного решения не было. Нам кажется, что здесь возможны два объяснения: или условная связь вырабатывается в конце эксперимента и даже во время самого словесного отчета, или же эта связь своевременно замыкается на самом высоком, понятийном уровне, не будучи, однако, в состоянии правильно переключиться в экспрессивные (в том числе речевые) реакции из-за легкой тормозимости (возможно путем отрицательной индукции) более низких уровней нервной системы или же из-за отсутствия селективной иррадиации между двумя системами. С другой стороны, возможно неправильное формирование словесного отчета, как если бы в ходе эксперимента была выработана связь, не соответствующая экспериментальной программе, хотя в действительности подобного замыкания не было.

Можно, таким образом, полагать, что, если не во всех, то, по крайней мере, во многих случаях, неожиданное появление бреда является результатом неполной индукции, т. е. абсолютизирования определенной несущественной связи и даже определенного несуществующего (неправильно воспринятого или неправильно понятого) признака. В первом случае мы сталкиваемся с подобием того, что называется некоторыми авторами "бредовым восприятием", а во втором - "бредовым озарением". В силу инертности нервных процессов эта патологическая связь становится доминантной, притягивает к себе энергию внешних раздражений и тормозит путем отрицательной индукции или фазовых отношений остальные, более реальные связи. В случаях инициального правдоподобного бреда ("бредоподобных идей") первоначально новая связь может быть результатом нормальной замыкательной функции коры больших полушарий, не нося характера грубого противоречия с действительностью. В дальнейшем, в силу слабости процессов внутреннего торможения и возбуждения, а также инертности последнего, включаются остальные механизмы, о которых шла выше речь. Это находит свое отражение и в клинической характеристике бреда. В начале своего проявления бред очень разнообразен и обычно связан с условиями жизни, с прошлым опытом, с неблагоприятными (психогенными) воздействиями. В дальнейшем же содержание шизофренического бреда все более унифицируется, причем его ядром становятся параноидные бредовые идеи.

Итак, патогенез шизофренического бреда - очень сложное явление. С точки зрения патофизиологии высшей нервной деятельности, формирование бреда можно определить как замыкание патологического сложного условно-условного рефлекса. Это формирование может произойти на разных уровнях, **при разных степенях участия сознания**. Предметом осознания могут быть либо все компоненты рефлекса, либо его отдельные составные части, причем самым интересным для нас в данном случае является осознание только "конечного результата" без понимания значения сигналов и связей между ними. В зависимости от этого бред может казаться более или менее обоснованным, "вытекающим" из данной ситуации или совершенно неожиданным, проявляющимся как "Deus ex machina" (т. н. "бредовое озарение"). Тем самым сознательное и бессознательное как бы сосуществуют в бреде, "интерферируют" между собой, но не в смысле двух диаметрально противоположных категорий реальной и трансцендентальной действительности (как утверждает идеалистически ориентированная психиатрия), а как разные варианты динамики высшей нервной деятельности больного.

Литература

1. Займов К., Совр. медицина, 1953, 1, 5.

2. Поляков Ю. Ф., В сб.: Сосудистые заболевания головного мозга. М., 1961, 264.

3. Смулевич А. Б., Ж. им. С. С. Корсакова (Москва), 1965, 65, 1824.

4. Grule, H. W.. Der Wahn, In: Psychologie der Schizophrenie. Herausg. J. Berze u. H. W. Grule, Berlin, Springer Verlag, 1929.

5. Jaspers, K., Allgemeine Psychopathologie, Berlin - Heidelberg - New York, Springer Verlag, 1965.

6. Schneider, K., Klinische Psychopathologie, 8. erganzte, Aufl., Stuttgart, Thieme Verlag, 1967. in

111. Взаимоотношения сознательного и бессознательного при шизофрении. С. М. Лившиц, Е. И. Теплицкая

Киевская городская клиническая психоневрологическая больница им. И. П. Павлова

Психическая деятельность человека проявляется в осознаваемых и неосознаваемых процессах, находящихся в определенных взаимоотношениях друг с другом. Эти отношения нередко считают антагонистичными и конкурирующими; предполагается, что бессознательное препятствует работе сознания, а сознательные процессы блокируют выявление бессознательного. Однако, как справедливо отмечает Ф. В. Бассин[1], между сознанием и бессознательным имеются и синергические взаимоотношения. Бессознательное обусловливает внутреннюю согласованность актов поведения. Без предваряющей бессознательной деятельности была бы невозможна сознательная. Между стимулом к деятельности и конечным результатом последней имеется целая цепь процессов бессознательной активности, каждое звено которой вытекает из предыдущего звена и определяет последующее. Бессознательное рассматривается также как отражение воздействий, испытанных субъектом ранее. Следы этих воздействий сохраняются латентно, создавая определенные тенденции реагирования, направленность действий и поступков, участвуя в формировании содержания сознания, т. е. выполняя функции того, что Д. Н. Узнадзе и его школа определяют как психологическую установку [2; 9; 12; 21; 22].

В процессе клинического изучения 380 больных с начальным проявлениями шизофрении и экспериментального психологического и физиологического исследования 160 больных шизофренией на разных этапах развития шизофренического процесса мы могли отметить две характерные тенденции нарушения взаимоотношений сознательного и бессознательного. С одной стороны, у больных отмечалось усиление неосознаваемых влияний на психическую деятельность, с участием этих влияний в формировании клинических симптомов. С другой - наблюдалось привнесение сознательного компонента в автоматизированные и неосознаваемые в норме проявления психической активности. Эти тенденции отражали свойственные шизофрении диссоциацию и снижение "уровня бодрствования", которые мы постоянно отмечали в своих исследованиях.

Подобные расстройства организации мозговой деятельности могут объяснить отмечавшееся нами у больных шизофренией (преимущественно в начальных стадиях заболевания) оживление следов перенесенных в прошлом психических и соматических нарушений. Сохраняясь в латентном состоянии в виде "патодинамических структур" [5], эти следы проявляются клинически при определенной констелляции внешних и внутренних патологических факторов, действующих по принципу "второго удара" [16]. Именно этим обстоятельством, как нам представляется, объясняется столь часто отмечаемая роль внешних влияний в манифестации шизофренического процесса.

Внешние неблагоприятные факторы не вызывают, по-видимому, непосредственно начало шизофренического процесса, а оказываются провоцирующими болезнь потому, что у данного лица имеется "следовая готовность" к их действию. Такое понимание роли актуализации следовых влияний способствует более точному определению понятия "почвы", клинического расстройства вообще и, в частности, более правильному пониманию этой "почвы" у больных шизофренией.

Одно из первых проявлений шизофрении - "позиция соматического самонаблюдения" [8], "телесная озабоченность" [25], когда больные начинают проявлять настороженное внимание к своим телесным ощущениям и физически чувствовать осуществление своих вегетативных и мыслительных процессов, - является, возможно, следствием оживления и осознания тех интероцептивных "темных ощущений" [15] (*Выражение "темные ощущения" впервые оыло применено в отношении ощущений, осознаваемых смутно, И. Кантом (редколлегия)*), которых в норме человек не замечает. Больные начинают ощущать, как происходит акт дыхания, как реализуется мускульное усилие, процессы мышления.

Особую силу приобретают следы перенесенных в прошлом неблагоприятных соматических процессов и психических травм, которые в дальнейшем входят в структуру и содержание психопатологических синдромов. Больной, перенесший в прошлом бронхит, утверждает, что у него раздуты легкие. Больная, подвергавшаяся в прошлом операции по поводу внематочной беременности, утверждает, что ей в матку внесли инфекцию.

Использование в процессе проведения экспериментальных исследований временных характеристик позволило получить объективные показатели значения инертности в фиксации и воспроизведении следов внешних влияний.

Актуализации следовых влияний при шизофрении способствует, по нашим наблюдениям, наличие гипноидного синдрома, при котором отмечается нарушение соответствия эффекта стимула физической

интенсивности последнего. При этом один из компонентов стимулирующей системы может провоцировать весь комплекс реакций, связанных с этой системой.

Возможно, эта системность в оживлении следов играет роль в воспроизведении всей картины перенесенного в прошлом заболевания. Это подтверждает мысль И. П. Павлова о косности стереотипа, воспроизводящегося при новых условиях. Следовые влияния, обычно не доходящие до порога сознания, начинают преобладать над экстероцептивными, проецируются вовне и входят в структуру и в содержание патологических проявлений, вследствие чего происходит соединение в сознании случайно совпавших, но содержательно не связанных между собой интероцептивных ощущений и ситуационных обстоятельств. Больные связывают изменения своего самочувствия с окружающими явлениями и немотивированно выводят первые из вторых.

В подобных условиях нарушение отношений сознательного и бессознательного, при котором неосознаваемые обычно следы воздействий начинают осознаваться, может явиться основой для развития позиции недоверия, настороженности, появления мыслей о постороннем влиянии, явлений отчуждения. Расстройства рецепции, как указывал Е. К. Сепп [14], приводят к искажению эмоциональных реакций. Это подтверждает клиническое представление о том, что шизофренический бред - не бред психологического толкования, а физикальный, телесный, "первичный" бред, являющийся следствием глубоких нарушений высших форм познавательной деятельности.

С целью исследования последействия раздражений у больных шизофренией мы применяли звуковую стимуляцию (звуковой раздражитель 100 кб, 250 гц, 800 мсек) на фоне двигательной реакции типа усложненного tapping с заданным ритмом. Стимуляция приводила к кратковременному блокированию двигательной реакции по типу реактивного торможения. Следовое влияние стимуляции ("последействие") обнаруживалось в том, что в дальнейшем, уже без раздражителя, в осуществлении двигательной реакции наблюдались еще 3 спонтанных блока почти такой же продолжительности. В других наших исследованиях влияние раздражителя также проявлялось не в периоде его действия, а после его прекращения.

В механизме этих феноменов, очевидно, играет роль способность предваряющих воздействий создавать установку, т. е. готовность к определенной деятельности, в смысле настройки определенной функциональной структуры.

То, что след ранее перенесенного воздействия может найти отражение в новом патологическом явлении, свидетельствует, что след может являться физиологической основой установки. И след, и установка выступают на определенном этапе как неосознаваемые формы высшей нервной деятельности. Бессознательное, таким образом, - это следы пережитого в прошлом, создающие определенную установку, входящую в структуру личности и определяющую возможность ее сознательной деятельности.

При шизофрении, как показали И. Т. Бжалава [2] и его сотрудники [6; 7; 13; 20 и др.], наблюдается патология установки - ее ригидность, константность, стабильность и одновременно легкая возбудимость, что проявляется в нарушениях личности больных шизофренией и отражается в структуре и содержании бредового синдрома.

Инертность установки при шизофрении, по И. Т. Бжалава, подтверждается в наших экспериментальных исследованиях как малой изменяемостью реакций и характера словесных ассоциаций при изменении ситуации эксперимента, так и независимостью этих реакций от характера предупредительных сигналов и даже от модальности стимула.

Нарушения установок проявляются также в распаде автоматизированной деятельности, постоянно наблюдаемом при шизофрении. Неосознаваемость автоматизированных действий и формирования содержания сознания, являющиеся по Л. Беллаку [24] структурным аспектом бессознательного, нарушаются при шизофрении. Характерное для шизофрении нарушение целостности восприятия проявляется в необходимости привнесения сознательной деятельности в обычно автоматизированный акт восприятия. Иногда, чтобы воспринять предмет целиком, больной должен сложить его из отдельных составляющих его частей. Справедливо указывая на эту особенность, И. Чэпмен [25] трактует ее как нарушение перцептуальной устойчивости и внимания, в то время как она является, по-видимому, скорее проявлением дезавтоматизации процесса восприятия.

Это приводит у больных шизофренией к нарушениям восприятия цвета, яркости, объемности и целостности объектов, подвижности телесных образов. Больные указывают, что им необходимо контролировать, как направить ноги в нужном направлении, нужно сознательное усилие, чтобы воспринять речь собеседника. Из-за этого им трудно справиться с ситуациями, осуществить намерение. Нарушается согласованность движений, целостность самовосприятия. "Сознание пациента затоплено избытком сенсорных данных" [25].

Больные отмечают, что ощущают, как происходит "торможение в голове", "мысли перекрещиваются", приходится "дорабатывать мысли", "тяжело разговаривать, стричься, умываться", "ноги, как чугунные". Больные вынуждены давать себе самоинструкции, на что уходят все их силы. Они как бы преодолевают невидимые препятствия. По-видимому, именно этим объясняется отмеченное А. Хомбургером [27] обеднение тональностей, моторное оскудение, нарушение согласованности выразительных движений, ритма, стиля и темпа движений у больных шизофренией. Необходимость думать о каждом последующем движении замедляет действия, делает их прерывистыми, требует сознательной направленности для их выполнения.

Больному приходится в разговоре подбирать нужные слова, отсеивать неподходящие, "отбирать и составлять мысли", так как ощущается дефект в автоматическом отборе соответствующих слов. Появляется необходимость проговаривать слова, совмещать словесные реакции с двигательными. Вербализация облегчает двигательное выполнение. Если вербализация опыта в норме препятствует формированию некоторых простых форм условно-рефлекторной деятельности, то, как показали опыты Кимбля [28], при шизофрении она облегчает его.

Дезавтоматизация привычных действий отражается на времени двигательных реакций, особенно в начальной фазе шизофрении. У больных, как отмечает Ф. В. Бассин, происходит "отщепление" сигнального действия раздражителя от отражения последнего в сознании, что проявляется в импульсивных поступках, вторжении посторонних мыслей в сознание, задержках и остановках деятельности, симптомах отчуждения, когда нарушаются нормальные представления о соотношении между "Я" и объективным миром и происходит смещение основных "проекций" переживания [1].

В проведенных нами экспериментальных исследованиях дезавтоматизация проявлялась в замедлении двигательных реакций на непосредственные раздражители, причем, в отличие от психически здоровых, больше изменялось время простой реакции, чем дифференцировочной, что было отмечено также А. Бантоном, Р. Йентшем, Валером [23, 373-376]. Этот феномен был отмечен нами [17] и при статистической обработке материалов других авторов [29; 30, 1-17; 31, 115-123] и еще более резко проявился на нашем материале, чем у А. Бантона и др. [23].

Так, разница в скоростях простых реакций у здоровых и длительно болеющих шизофренией - 1,25; дифференцировочной - 0,51. При начальной шизофрении разница соответственно 0,62 и 0,32, при длительно текущей кататоно-параноидной шизофрении - 1,79 и 0,82. Это противоречит выводу Кинга [29] об одинаковой трудности перехода от простой реакции к дифференцировочной у больных шизофренией и здоровых.

Простые реакции более автоматизированы, чем дифференцировочные, требующие избирательного отношения к раздражителям, и поэтому нарушения автоматизированности отражаются на их динамике более резко. Еще отчетливее эта закономерность выступает при сравнении дифференцирования непосредственных и вербальных раздражителей. Коэффициент отношения времени дифференцирования непосредственных раздражителей ко времени дифференцирования вербальных (Вр. д. н. р./Вр. д. в. р.=2,096±0,195) растет при начальной шизофрении за счет числителя, так как замедляется дифференцирование непосредственных раздражителей.

Нарушение осуществления автоматизированных действий и простой реакции свидетельствует о расстройстве у больных шизофренией способности к поддержанию установки. Привнесение элемента "сознательного", необходимость "словесного плана действия" [15] компенсирует этот недостаток, но выполнение оказывается замедленным (также и по причине снижения уровня возбудимости, имеющего, очевидно, охранительное значение). Можно, кроме того, предположить, что нарушается не только использование установок, но и их формирование. Это соответствует наблюдениям Д. Шакоу с соавторами, по которым больные шизофренией не могут воспользоваться оптимальными условиями опыта, у них ВР меньше при длительных и нерегулярных интервалах, чем при коротких и регулярных. Разная степень дезавтоматизации действий и участие торможения и здесь способствуют проявлению характерных особенностей шизофренического дефекта.

112. Роль осознаваемых и неосознаваемых переживаний в формировании аутистических установок. А. С. Спиваковская

МГУ, факультет психологии

В задачу данного сообщения входит анализ некоторых соотношений осознанного и неосознаваемого в структуре аутистического синдрома у детей, страдающих шизофренией.

Известно, что такие аффективные реакции, как переживание удовольствия, успокоения и, наоборот, неудовольствия, дискомфорта, являются простейшими формами взаимодействия ребенка с окружающей средой.

Изучение анамнестических данных показывает, что у детей с явлениями аутизма с самого раннего возраста происходит изменение всего регистра аффективных реакций.

В период младенчества отмечается искажение реакции на дискомфорт. Бурные реакции испуга и плача возникают в ответ на слабые звуковые раздражители, на незначительные изменения окружающей обстановки. Наряду с этим, дети остаются индифферентными к достаточно сильным раздражителям; отмечается ослабление реакции на позу кормления, незначительным является выражение удовольствия после кормления. У детей искажается "реакция оживления", характеризующая, как известно, аффективную готовность к общению со взрослыми. У большинства детей "комплекс оживления" вообще не выражен. Наряду с этим, компоненты реакции оживления проявляются при отсутствии взрослого и относятся к неодушевленным предметам, например, к висящей над кроватью декоративной тарелке или игрушке.

Анализ биографических данных, относящихся к дошкольному возрасту, а также наблюдения за поведением, играми, рисованием показывают, что у детей возникают особые аффективные системы или "сплавы" переживаний. Внутри таких систем происходит фиксация, сплавление аффекта с (конкретным предметом, целостной ситуацией или с определенным человеком.

Рассмотрим несколько примеров.

Случай I. Катя Т-с, 6,5 лет, д-з: шизофрения.

В возрасте 3,5 лет у Кати возник навязчивый интерес к уткам и лебедям, который сохранился вплоть до семилетнего возраста. Девочка постоянно говорит об их семье, играет с меховой уткой по имени Умница. Рассказывает, что у Умницы есть сестра - Утя Утюшевна, а ее сына зовут Кряк. Позже возникли новые персонажи - Лебеденочек и Лиса. Упоминание о лисе вызывает у девочки выраженную реакцию страха и вместе с тем она часто возвращается к разговорам на эту тему: "Я ненавижу Лису, она вспугивает уток и лебедей ".

Девочке подарили игрушечную лису. Катя била ее об стенку, отрывала хвост. Просила спрятать лису: "Уберите ее, она на меня смотрит", однако тут же требовала, чтобы ей разрешили с ней играть. В рисунках девочки отражались те же темы, она любила изображать уток и лебедей, которые забивали лисе иголки в глаз, хвост и в сердце.

У детей наблюдались также другие аффективные системы, сходные с описанным "утиным семейством", комплексы "чертей", "часов", "паутины", "проводов", "мамы-бабы Яги" и другие.

При всем разнообразии содержаний таких комплексов структура их аффективного компонента характеризуется рядом сходных признаков. Прежде всего выступает одновременность переживания удовольствия и страха, на что не раз указывали исследователи аутизма (Е. А. Блейлер, Г. Е. Сухарева и др.). Возможно, что именно амбивалентность придает этим переживаниям повышенную устойчивость. Второй характерной особенностью подобных аффективных систем является их патологическая инертность.

Встает вопрос: в каком отношении к сознанию стоят описанные системы переживаний, иными словами, осознаются ли они?

Как известно, по мнению некоторых психоаналитиков, такие переживания являются бессознательными символическими структурами, определяющими поведение ребенка. В ряде случаев именно они вызывают патологические, в том числе аутистические симптомы.

Клинические факты, однако, показывают, что дети дошкольного возраста часто осознают свои патологические переживания, понимают их неестественный, болезненный характер. Более того, они даже отдают себе отчет в том, что связанное с этими переживаниями поведение социально неприемлемо, наказуемо, вызывает неудовольствие и осуждение взрослых. Такой вывод следует из анализа высказываний детей.

Оля А-ва, 6,5 лет., д-з: шизофрения.

Девочка испытывала выраженное влечение к маленьким детям со стремлением причинить им боль. Ее агрессивное влечение направляется также на близких взрослых. Оля рассказывает об этом так: "Я не люблю грудных детей, а как увижу их на улице - сразу пугаю. Говорю: Укол Вам. А баба кричит: Оля, Оля нельзя! А я все равно их пугаю, я их бью. А бабе я болтаю всякие глупости. Я однажды толкнула в грязь маленького мальчишку, а он не мог меня столкнуть. Он упал и орал, а я радовалась и веселилась".

Психоаналитические ориентированные исследователи аутизма часто связывают возникновение аутических симптомов с появлением в семье второго ребенка. Считается, что возникающая неприязнь к младшему в силу социальной неприемлемости вытесняется в область бессознательного. Одно из наших наблюдений показывает, однако, что и этот патологический аффект может осознаваться ребенком.

Сева У-н, 7 лет, д-з: шизофрения.

Мальчик рассказывает о своем брате: "Я братика своего Витю не люблю, мне всегда хочется его пугать. Он белочки своей боится, а я его держу, чтобы он дрожал и боялся.

Я считаю так, зачем держать в доме букашку, он ведь говорить не умеет, пищит только, я бы его выбросил".

Подобные случаи дают основание полагать, что наблюдаемые у больных детей патологические аффективные системы могут относиться к области осознаваемых переживаний.

Означает ли это, однако, что в генезе аутистического синдрома отсутствуют механизмы, связанные с неосознаваемыми явлениями?

Ответом на этот вопрос в известной степени послужило изучение структуры игровой деятельности детей с синдромом аутизма. Оказалось возможным проследить, как осознаваемые, но патологически измененные аффективные комплексы, искажая игровую деятельность, приводят к нарушению осознания реальных связей и отношений окружающего мира.

При сравнении игры здоровых и больных дошкольников выяснилось, что сфера и степень осознаваемого ими весьма различны. Остановимся на некоторых, результатах исследования (*Условимся для удобства изложения называть игру здоровых детей социализированной, а игру больных детей - аутистической*).

Важным моментом, различающим социализированную и аутистическую игру, является соотношение 2-х планов: осознание игровой роли и осознание собственного поведения. Как известно, взяв на себя определенную роль, здоровые дети всегда понимают условность игры, у них сохраняется осознание игры и реальности. Аутистические игры лишены этого критического "взгляда со стороны". Дети настолько входят в изображаемую игровую ситуацию, что утрачивают осознание реальности и, разыгрывая привлекательный сюжет, нередко впадают в экстатическое состояние. Границы игры и реальности здесь размываются.

Так, например, больной Дима К-о, 5 лет 4 мес., аффективный комплекс которого был связан со страхом и одновременно влечением ко всему горящему, воспламеняющемуся, постоянно играл "в костер". В сюжете игры воспроизводилось сжигание сухих листьев, веток, мусора. Мальчик собирал мелкие игрушки в кучу, приносил бруски, затем как будто поджигал эти предметы. В такой игре постепенно нарастало возбуждение ребенка, ускорялся темп речи, увеличивалась громкость, движения становились хаотичными, суетливыми. Ребенок переставал отвечать на вопросы, не реагировал на изменения в игровой комнате. Его поведение совершенно утрачивало качества подконтрольности и осознанности.

Однако такими пароксизмальными состояниями не ограничивается искажение осознаваемого при детском аутизме. Исследование показало, что у больных детей ослаблялось подчинение ролевым правилам. Воспроизведение игровых ролей утрачивало качества подконтрольности и осознанности. Знакомые детям общественно выработанные нормативы отношений, заключенные в ролях, не становятся регуляторами игрового поведения. Наоборот, дети часто производили асоциальные и наказуемые действия, противоречащие принятой в игре роли.

Так, назвав себя доктором, мальчик мог сначала выслушать куклу-больного, а затем бросить ее на пол, ударить ногой. Девочка-мама смеялась, когда ее "дети" попали в больницу, она же выливала суп на голову "детям".

Наблюдения за детской аутистической игрой показывают, что в этой деятельности ослаблена такая существенная для развития личности ребенка функция, как осознание социальных нормативов поведения, сознательное отражение отношений между людьми.

Остановимся еще на одном весьма важном различии аутистической и социализированной игры. Сравнение по параметру выбора игрушек и состава игровых действий показало, во-первых, что аутистическая игра характеризуется уменьшением числа используемых игрушек. Во-вторых, в социализированной дошкольной игре преобладают предметные и замещающие действия, а манипуляции отсутствуют. В аутистической игре, наоборот, сохраняются адекватные и неадекватные манипуляции и значительно уменьшается число предметных действий.

Наблюдения показали, что у каждого больного ребенка выделялся свой, особый круг игрушек, предпочитаемых в течение нескольких лет. Одни играли только с зажигающимися игрушками, другие - исключительно паровозами. Некоторые, игнорируя обычные игрушки, использовали бытовые предметы, такие, как телефон, часы, киноаппарат, кофемолку, мясорубку. Весьма часто возникали игры мебелью, обувью, бумажками, веревочками, тряпочками. Причем игра с такими предпочитаемыми предметами соответствовала содержанию аффективных комплексов.

Таким образом, у больных аутизмом резко ограничивается сфера предметов, включающихся в игровую деятельность, что затрудняет полноценное овладение предметным миром и, естественно, препятствует всестороннему осознанию окружающего. Более того, включающиеся в аутистическую игру предметы и действия осознаются неадекватно - лишь в той степени, в какой они способствуют воспроизведению, вызыванию переживаний, соответствующих зафиксированному комплексу.

Осознание предмета замыкается областью его манипуляторных возможностей, а его функциональные, коммуникативные свойства оказываются на периферии осознаваемого и в игровой деятельности игнорируются. Аутистическая игра, таким образом, не становится источником и условием формирования и отработки предметных действий, не становится деятельностью, в которой порождается осознание социальных смыслов.

Эксперименты показали также, что в связи со всем этим в сознании детей патологически расширяется возможность замещения одних предметов другими. Вероятно, по той же причине мыслительные операции (обобщения, исключение и др.) производятся детьми на основе именно физических признаков. Есть основания предполагать, что дефектное осознание функций предметов, фиксируемое в искаженных значениях, практически безграничная возможность замещения одних предметов другими и являются факторами, лежащими в основе специфического символизма аутистической речи. Из сказанного вытекает, что отношение сознательного и неосознаваемого играет в генезе детского аутизма весьма существенную роль. Анализ биографических данных и наблюдений за игрой детей с аутистическим синдромом показали, что патологические переживания, будучи осознаваемыми, приводят к значительным искажениям осознания окружающего, препятствуют полноценному усвоению социального опыта.

В заключение хотелось бы остановиться на некоторых выводах для коррекции аутистического поведения. За рубежом аутистические явления в детском возрасте эффективно подвергаются психотерапевтическому воздействию, в частности используется метод терапии игрой. Однако конкретные приемы игротерапии отнюдь не вытекают из предлагаемого теоретического обоснования. Как уже отмечалось, положение об осознании якобы вытесненного аутистического аффекта как главном психотерапевтическом факторе не выдерживает критики. Вместе с тем, ложность этого положения не снимает объективно верного и полезного содержания конкретных методических приемов игротерапии.

Рассмотрим в связи с этим ситуации, в которых наблюдавшиеся нами дети обсуждали свои переживания, связанные с аффективными комплексами. Высказывания такого типа возникали при выполнении экспериментальных заданий, в процессе рисования, но больше всего в ситуации игротерапии. Может показаться на первый взгляд, что этот факт подтверждает психоаналитическое толкование, по которому в игре, являющейся деятельностью, наименее контролируемой обществом, происходит при создании особой психотерапевтической атмосферы осознавание вытесненных переживаний. Однако такое понимание, восходящее к психоаналитическому взгляду на игру, не подтверждается клиническим опытом.

В наших экспериментах, так же как в недирективной игротерапии, устанавливалась атмосфера теплоты, спокойствия, известной свободы поведения. Даже если предположить существование вытесненных аффектов, трудно согласиться с тем, что создания условий свободной игры достаточно для осознания ребенком его бессознательных переживаний. Функция особого психологического климата игротерапевтических сеансов заключается в ином, а именно, в создании той атмосферы доверительности, которая необходима здоровым, а тем

более детям, испытывающим трудности общения, для того, чтобы они стали обсуждать свои переживания с малознакомым взрослым. Таким образом, спонтанные высказывания относительно патологических аффектов проявляются чаще в игротерапии не потому, что переживания эти только здесь и осознаются, а потому лишь, что созданы наилучшие условия для обсуждения осознаваемых эмоциональных проблем, для разговора именно на эту тему. Следовательно, такие приемы, как предоставление свободы действий и высказываний, отказ от поспешных оценок, от форсирования общения и другие, являются, безусловно, необходимыми для установления контактов с пациентами. Но сами по себе приемы установления контакта бессильны в устранении аутистических симптомов.

Игротерапия не может ограничиваться только формированием общения с ребенком. Учитывая, что под влиянием патологических аффективных комплексов искажается ведущая деятельность ребенка и вся система осознания им окружающего мира, терапевтическую работу целесообразно подчинить задаче формирования полноценной игровой деятельности. Необходимо разрабатывать приемы развития игры, позволяющие преодолеть ограниченность аутистического сознания, расширить сферу аффективно значимого. С этой целью в игро-терапевтических сеансах с аутичными детьми [1, 2] использовались аффективно детерминированные (пусть даже патологически) игры. Постепенно к игре с привлекательными игрушками подключались новые предметы, экспериментатор побуждал ребенка к действию с ними. Таким образом расширялся диапазон предметов, с которыми дети устойчиво играли. Экспериментатор помогал в обогащении сюжета игры, привлекал к адекватному использованию функциональных игрушек.

Игротерапевтическая работа с детьми, страдающими аутизмом, еще только начинается. Однако некоторые позитивные результаты позволяют надеяться, что при специальной разработке теории и практики терапии игрой этот метод займет достойное место в арсенале лечебной педагогики.

113. Отношение к болезни как условие формирования осознаваемых и неосознаваемых мотивов деятельности. И. В. Баканова, Б. В. Зейгарник, В. В. Николаева, О. С. Шефтелевич

МГУ, факультет психологии

Цель данного сообщения - показать, как отношение к своему состоянию может стать условием перестройки иерархии потребностей и мотивов.

1. Среди совокупности новых условий, вносимых болезнью в жизнь человека, значительное место занимает то, как отражается болезнь в его сознании. Объективное значение заболевания может быть различным: болезнь может быть тяжелой или легкой, скоропроходящей или хронической, доброкачественной или злокачественной и т. д. Однако это объективное значение приобретает для больного определенный личностный смысл, лишь преломляясь через мотивационную сферу личности. Болезнь создает затруднения, препятствия на пути реализации некоторых мотивов. Чем выше находится мотив в иерархии, тем больший личностный смысл приобретает для человека болезнь, если она препятствует реализации этого мотива. Вместе с тем, чем беднее мотивационная сфера больного, тем большую доминантность приобретает болезнь. Нередко именно наличие широких общественно значимых мотивов деятельности "заслоняет" собою ограничения, вносимые болезнью. Следовательно, в том, какой личностный смысл приобретает болезнь для человека, проявляется смысловая иерархия его личности. Вместе с тем само это отношение к болезни становится важным условием дальнейшего развития личности, в частности развития ее мотивационной сферы.

В медицинской, в особенности психиатрической литературе, издавна обсуждается проблема "личность и болезнь" [4; 7; 8; 9; 11;, 12; 13; 14; 15]. Подходя с различных позиций к решению этого вопроса, многочисленные исследователи едины в одном: в создании субъективной картины болезни, в реакциях на заболевание принимает участие вся личность человека в целом, обнаруживается та "психическая активность", с которой человек относится к своему заболеванию, т. е. находит отражение то, какой личностный смысл приобретает болезнь для человека.

Однако субъективная картина заболевания не возникает внезапно в тот момент, когда человек узнает о своем заболевании. Она формируется постепенно, становясь важным условием дальнейшего развития личности заболевшего, способствуя значительной перестройке мотивационной сферы личности. Именно прослеживание динамики ее формирования позволяет судить об изменении характера ведущих смыслообразующих мотивов человека. В дальнейшем изложении мы остановимся на рассмотрении двух вопросов: какова предположительная динамика формирования субъективной картины болезни и в каких случаях субъективная внутренняя картина болезни способствует изменению личности больных (т. е. приводит к образованию новых мотивов деятельности и изменению смысловой иерархии мотивов). При этом мы рассмотрим только один из вариантов субъективной картины болезни - ипохондрический, наблюдаемый при самых разных заболеваниях как психических, так и

соматических, проявляющийся либо в виде кратковременных состояний (ипохондрические реакции) либо в форме ипохондрического развития личности.

Литература изобилует клиническими работами по проблеме ипохондрии, однако попыток психологического анализа этого феномена с позиций современной отечественной психологии мы не обнаружили. Нами изучались больные с ипохондрическими реакциями и ипохондрическим развитием личности на почве соматических заболеваний (гипертоническая болезнь, порок сердца).

Феноменология этих расстройств довольно однообразна, несмотря на различные клинические варианты синдрома. Изучение формирования ипохондрического отношения к болезни позволяет выделить некоторые этапы становления этого отношения.

Появление болезненных ощущений. Больные начинают предъявлять множество самых разнообразных жалоб на неприятные, болезненно переживаемые ощущения в различных зонах тела. Эти жалобы при тщательном клиническом исследовании часто не находят достаточного обоснования. Несмотря на это больной многократно просит повторять одни и те же исследования, настороженно относится к деятельности различных органов своего тела.

У больного возникает "рассудочное знание", т. е. представления о возможном значении испытываемых им ощущений как симптома болезни. При этом происходит работа над актуализацией этого "знания": больной вспоминает сведения о различных болезнях, почерпнутые из медицинских журналов, книг, разговоров в больнице, бесед с врачами. В клиническом материале мы находим множество иллюстраций того, каким образом происходит этот процесс актуализации знаний о болезни. Так, больная З. считает, что у нее "стерты какие-то бугорки в сосудах - это и служит причиной болезни". Больного Д. врач спросил, нет ли у него болей в левой руке. Болей не было, но позже, прислушиваясь, он заметил, что "действительно, левая рука как бы немеет... при физической нагрузке немеет кончик языка" и т. д.

Наличие "рассудочного знания" еще, однако, недостаточно для формирования внутренней картины болезни, так как оно лишено эмоциональной окраски, без которой не складывается определенное отношение к болезни. В создании такого отношения существенную роль играет воображение. Еще в 1933 г. Л. С. Выготский [3] выдвинул положение об особых формах воображения, которые способствуют оформлению, осуществлению и проявлению эмоции, регулирующей деятельность в соответствии с предвосхищением будущего. В дальнейшем было показано [5], что эмоциональное предвосхищение возникает в результате особой внутренней ориентировочно-исследовательской, аффективно-познавательной деятельности, формирующейся на основе практического взаимодействия с окружающей действительностью. Эта аффективно-познавательная деятельность первоначально складывается как внешняя, развернутая, имеющая экстериоризованный характер. По мере освоения условий, действия все больше интериоризуются, отдельные звенья их сокращаются. Деятельность приобретает внутренний характер и осуществляется в идеальном плане. Создается так называемая деятельность "эмоционального воображения", которая позволяет заранее не только представить, но и пережить отдельные последствия своих ощущений. Наш материал дает яркие примеры подобного явления. Нередко больная совершает воображаемые действия, проигрывает в идеальном плане различные варианты взаимоотношений с окружающими, мысленно занимая определенную позицию в предполагаемых обстоятельствах.

Так, больной Ч. описывает, что гипертонические кризы у него сопровождаются мыслями об инсульте и следующим за ним разрывом сердца. Перед глазами больного ярко возникают образы склонившихся над ним плачущих жены и матери. Другой больной видит свою маленькую дочь с заплаканным лицом.

(4) Сложившаяся в воображении угрожающая ситуация может вызвать у больного состояние аффекта.

Следует заметить, что в развернутой структуре внутренней картины болезни описанные элементы не только связаны определенной последовательностью возникновения, но и отношением взаимовлияния. Так, воображение и аффект придают значимость ощущению, которое начинает привлекать к себе пристальное внимание больного. А это, в свою очередь, может оказать влияние на появление в организме функционального сдвига, влекущего за собой новое ощущение.

Таким образом, в начальной стадии формирования внутренней картины болезни, носящей пока еще внешний, экстериоризованный характер, вычленяются, по крайней мере, четыре вышеперечисленных элемента.

Будучи постоянно фиксированным на состоянии своего здоровья, больной не один раз развернуто, поэлементно переживает или, говоря иными словами, "обыгрывает" свою болезнь. Вследствие такого

многократного повторения развернутая структура внутренней картины болезни начинает претерпевать существенные изменения. Происходит "свертывание" таких элементов, как рассудочное осмысление и воображение. "Рассудочное" знание и воображение, претерпевая в ходе интериоризации сокращение, превращаются в предвосхищающий компонент эмоции. Именно в результате этого сокращения впервые появляется эмоция, которая замещает аффект в структуре процесса.

Развитая внутренняя картина болезни при ипохондрии характеризуется как бы непосредственным контактом ощущения и эмоции.

Появление предвосхищающей эмоции является важным переломным моментом в жизни больного. Существенно меняется качество эмоционального процесса в структуре внутренней картины болезни.

Если аффект - относительно кратковременное состояние, возникающее в ответ на уже сложившуюся ситуацию, то "эмоция выражает оценочное личностное отношение к складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и своим проявлениям в ней" [10]. Возникновение эмоции свидетельствует об актуализации соответствующего мотива деятельности, в данном случае мотива, связанного с сохранением здоровья. Феноменологически этот факт выступает следующим образом: больной выражает опасение за свое будущее, страх перед повторением приступов болезни, тревогу по поводу возможности продолжать свою профессиональную деятельность и т. д.

Клиническая практика показывает, что именно с этого момента начинается процесс существенной перестройки личности.

В ходе жизнедеятельности человека как личности происходит постоянный процесс такой перестройки, "подчинения и переподчинения мотивов" [10], который может происходить постепенно, но может и "конкретизироваться, создавая нравственные переломы" [там же]. В ходе такой перестройки происходит не только изменение отношения к актуальной действительности, но и к прошлому и предвидимому будущему субъекта.

2. Начавшийся процесс перестройки иерархии мотивов может быть не представлен актуально в сознании человека, только тщательный психологический анализ деятельности больного убеждает в том, что процесс этот совершается. Попытаемся рассмотреть, в чем сущность этого процесса.

Как было показано ранее, появление эмоции в структуре внутренней картины болезни связано с актуализацией соответствующего мотива. Деятельность, направленная на его реализацию, начинает постепенно обогащаться, разветвляться, обрастать все новыми действиями (больной обращается к врачам, проходит ряд исследований, начинает соблюдать режим жизни и труда, искать соответствующие лекарства и т. д.). При этом и другие мотивы еще имеют достаточную побудительную силу: профессиональные, мотивы общения, забота о близких и т. д. В дальнейшем, как показывает анализ клинического материала (главным образом, историй болезни) круг деятельности сужается, а оставшиеся в "арсенале" личности виды деятельности начинают все больше подчиняться выделившемуся мотиву сохранения здоровья. С течением времени образуется жесткая "одновершинная" иерархия: все виды деятельности оказываются соподчиненными одной, главной, деятельности сохранения здоровья, которая становится ведущей и начинает определять всю жизнь и поведение больного.

Клинический материал убеждает в том, что возможны как постепенные, так и почти внезапные перестройки мотивационной иерархии. Однако возникающая в этих случаях новая ведущая деятельность не обладает такой стойкостью и ригидностью, как при постепенном изменении, и относительно более легко поддается коррекции.

Эмоция играет очень важную роль в процессе становления ведущей деятельности. Сигнализируя субъекту об актуализации мотива, как правило, еще неосознаваемого им или осознанного не в полной степени, она в дальнейшем способствует "поддержанию" этого мотива и выделению его из ряда других мотивов, способствует оформлению его как ведущего смыслообразующего мотива деятельности. Непосредственная связь ощущения и превосходящей эмоции служит последним "пусковым сигналом" к перестройке смысловой иерархии личности. При возникновении подобного "контакта" ощущения и эмоции происходит как бы их вторичное воссоединение: имеющие единый генетический корень в первоначальной нерасчлененной чувственности [10], они разделяются в ходе развития и обогащения деятельности. Их "воссоединение" происходит на фоне обеднения и сужения деятельности человека. Любое новое ощущение в этих условиях, в ходе реализации- "узкой" деятельности по сохранению здоровья у ипохондрика начинает оцениваться больным как катастрофа, угрожающая самому его существованию.

* * *

Мы рассмотрели только один из возможных вариантов развития мотивационной сферы личности в условиях тяжелого заболевания и отдаем себе отчет в том, что наши представления о ходе подобного развития страдают схематизмом. Задача дальнейших наших исследований - избавиться от этого недостатка. Мы же попытались лишь применить достижения современной психологической науки к анализу одного из распространенных клинических феноменов. Подобного рода исследования уже имеются в отечественной патопсихологии [1; 2; 6], поэтому правомерность такого подхода к рассмотрению клинических фактов не нуждается в специальном обосновании.

114. К проблеме бессознательного в психиатрии. Д. Д. Федотов

НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Москва

Категории "сознательного" и "бессознательного" давно используются в психиатрии. И хотя они представляют собой объект постоянной полемики, тем не менее, клиницист прибегает к ним в своей практической деятельности. Деперсонализация, дереализация, делирий, онероид, помрачение сознания, сужение сознания - все это далеко не полный перечень клинических дефиниций, которыми повседневно оперирует диагностическая практика. Эти дефиниции несмотря на неотчетливость их границ имеют прямое отношение к концепциям "сознательного" и "бессознательного".

Поскольку проблема сознания и сознательного достаточно детально представлена в современной литературе, мы остановимся на взаимоотношении сознания и бессознательного.

Если говорить в самом общем виде, то следует отнести к категории бессознательного ту часть психической деятельности, которая находится за пределами сознания. Здесь, в первую очередь, следует назвать различные формы автоматизированной деятельности.

В работах А. Н. Бернштейна, А. Н. Леонтьева и мн. др. даны физиологические и психологические обоснования того, как сознательный акт путем многократных повторений постепенно автоматизируется и превращается как бы в своеобразный "функциональный орган" (А. А. Ухтомский). Таким образом, "бессознательное" это то, что было ранее сознательным, что формировалось под влиянием воздействия внешней, преимущественно социальной среды. В этом плане должен рассматриваться и характер человека, понимаемый как индивидуальный стереотип реакций на относительно однородную внешнюю ситуацию.

Бессознательное, следовательно, это не самостоятельная сущность, действующая сама по себе и данная человеку в готовом виде природой. Как раз наоборот. Бессознательное, будучи "бывшим сознательным", никогда не освобождается от власти сознания, от его контроля и опеки. По существу психическая деятельность - это сложный интеграл сознательного и бессознательного.

Рассматривая бессознательное как динамический набор относительно стабильных, но тем не менее непрерывно обновляющихся "функциональных органов", мы можем понять некоторые сложные психопатологические явления. Попытки в этом направлении предпринимаются до самого последнего времени и, как нам кажется, не без успеха. Примером тому может служить деперсонализация как синдром, выражающий нарушение самосознания. Частным случаем деперсонализации является синдром психического автоматизма, т е. отчуждение психических процессов от личности как суверенного и индивидуально своеобразного субъекта.

Больной с псевдогаллюцинациями рассматривает свои психические процессы (речь, локомоции) как нечто независящее от его собственной воли, как процессы, развертывающиеся непроизвольно (ментизм) или под влиянием посторонних сил (псевдогаллюцинации). При этом обнаруживается нарушение идентификации психических процессов, которые становятся чуждыми и до трагичности независимыми от сознания. На этих примерах мы видим, что идиовербальный "функциональный орган", выходя из-под власти и контроля сознательного, может переключаться как бы на самостоятельное, автономное функционирование. Отсюда и название "психический автоматизм", существовавшее еще в старой психиатрической литературе.

По всей вероятности, такого же рода механизм лежит в основе кататонического синдрома с его ступором и стереотипным беспредметным возбуждением. В этом случае мы также наблюдаем в условиях клиники переход другого "функционального органа" - идеомоторного на автоматический режим работы. Выйдя из под произвольного контроля, став автоматной системой, этот "орган" обнаруживает весьма ограниченные возможности функционирования. Он или выключается (ступор) или впадает в состояние хаотического возбуждения, в котором проявляются сложившиеся в процессе онтогенеза идеомоторные стереотипы.

При клинических синдромах другого ряда, таких, в частности, которые относятся к состояниям расстройства сознания, наблюдаются явления несколько другого порядка. Они не менее сложны и многогранны, о чем говорит большое количество различных психопатологических дефиниций, упомянутых выше. Здесь, однако, существует обычно феномен аутоидентификации, хотя и отмечается, как правило, недостаточное доминирование сознательного над бессознательным. На примере сумеречного расстройства сознания можно видеть, как по мере уменьшения подчиненности бессознательного сознательному поведение все более и более уходит из-под произвольного контроля и определяется внутренними тенденциями, почерпнутыми из области бессознательного. Еще в полной мере не ясно, по каким законам протекает выявление той или иной бессознательной тенденции.

Не исключается, что детерминирующую роль при этом могут играть различного рода оживившиеся идеомоторные и иные доминанты, в смысле А. А. Ухтомского. В пользу этого предположения говорят многочисленные наблюдения над случаями искусственно вызванного помрачения сознания, например при опьянении.

Именно в этих случаях человек приступает к реализации тех кататимных компонентов, которые у него возникли под влиянием ситуационных факторов, но которые были подавлены.

Подобного рода механизм еще более наглядно выступает при аффективных сужениях сознания, которые по аналогии с внешне сходными психическими эквивалентами эпилепсии все еще некоторыми авторами относятся к классу сумеречных расстройств сознания. При аффективном сужении сознания, возникающим в качестве психогенной реакции, подчас по типу "короткого замыкания", с особой отчетливостью выступает эмоциональная доминанта, которая определяет антисоциальное, вплоть до суицида, поведение больного.

Конечно, все то, о чем здесь говорится, не является выражением некого твердо установленного универсального закона. Современная психопатология в этом направлении ведет пока еще только разведывательную работу, и окончательное решение проблемы - дело будущего. Здесь, однако, "важно избежать с самого начала склонности, которая широко обнаруживалась на различных этапах истории психиатрии - экстраполировать частное на общее, специфическое выдавать за универсальное.

В свете сказанного рассмотрим некоторые вопросы проявлений бессознательного в суицидальном акте.

В результате проводившегося нами на протяжении длительного времени изучения большого количества лиц, совершавших суицидальные попытки и поступивших в связи с этим на излечение в Московский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, мы пришли к следующим выводам: 1. В основе каждого суицидального акта лежит совокупность социальных и биологических факторов. 2. Эти факторы между собой взаимосвязаны и на различных этапах суицидального поведения (предсуицид, суицид, постсуицидальный период) сложным образом взаимодействуют между собой. Их проявления могут быть различными как по длительности, так и по интенсивности воздействия. 3. Суицид - это клинически детерминированный акт. Ему предшествуют состояния, которые клинически проявляются в виде невротических или психопатических синдромов или симптомов, а также соматических заболеваний, сопровождающихся психотическими состояниями, чаще в виде соматогенной депрессии. Во всех случаях суицида отмечаются различной степени выраженности аффективные расстройства. 4. Каждый суицидальный акт надлежит рассматривать в рамках отдельных нозологических форм или в рамках строго очерченных синдромов, например депрессивного.

Руководствуясь этим принципом, мы подвергли клиническому анализу 995 больных, поступивших в Центр по лечению острых отравлений в связи с совершенными ими суицидальными действиями.

На первом месте среди причин, приведших к суицидальному акту, стоят различные нервно-психические расстройства, которые в настоящее время объединяются понятием пограничных состояний (неврозы, реактивные состояния, психопатии). Среди причин, приводящих к суициду, алкоголизм занимает второе место. Около 80% всех суицидов из обследованного контингента больных падает на лиц, страдающих пограничными заболеваниями и алкоголизмом.

При этих видах патологии наиболее отчетливо выявляется взаимодействие социального и биологического факторов. Важно указать на то, что на всех этапах суицидального поведения депрессивный синдром различной степени выраженности отмечается в 80% случаев, т. е. является, по существу, непременным компонентом предсуицидального состояния. У больных, относимых к пограничным состояниям, этот синдром чаще формируется под влиянием неблагоприятных условий в микросоциальной среде. Иногда суицидальный акт совершается в момент острой психотравмирующей ситуации. В таких случаях возникает состояние, напоминающее по клинической картине патологический аффект, и, следовательно, оно может быть приравнено к

временному расстройству психической деятельности типа острого депрессивного (раптусоподобного) состояния. Здесь, по-видимому, можно говорить о скачкообразном переходе социально-детерминированного состояния в биологически детерминированный акт. (Биологический (клинический) фактор в суициде доминирует у больных, страдающих различными неизлечимыми соматическими заболеваниями, угрожающими социальной позиции и даже жизни, не говоря о психотических эквивалентах этого вида патологии.

В случае, если суицидальный акт не привел к смертельному исходу, реакция пострадавших на совершенный поступок бывает различной. В подавляющем большинстве случаев наблюдается стремление больных к скорейшему выздоровлению. Обычно больные раскаиваются в совершенном ими поступке, критически его оценивают, не хотят, чтобы об этом знали на работе и т. д. У них появляется забота и тревога за благополучие детей и близких родных, они требуют срочной выписки из больницы, стремятся быстрее приступить к работе.

По нашим данным, лишь в 10% случаев больные, совершившие суицид, сожалеют, что их попытка не удалась и по-прежнему вынашивают мысли о самоубийстве. Эта группа больных, для которой характерен пролонгированный (неразрешившийся) депрессивный синдром, требует специального психиатрического наблюдения и лечения.

Вероятно, бессознательное в суицидальном акте в значительной: степени связано с тем, что клиницисты имеют в виду, говоря о предсуициде. Именно в предсуицидальном периоде возникают мысли о самоубийстве, но они по тем или иным причинам остаются нереализованными. Это особенно отчетливо проявляется у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. Факторы, приводящие алкоголика к самоубийству, многочисленны, неравнозначны и сложны в своих взаимоотношениях.

Часто возникает вопрос: является ли лицо, страдающее хроническим алкоголизмом и совершающее суицидальный ант, здоровым в психическом отношении? Многолетний клинический опыт убеждает нас в том, что этот акт совершается в состоянии нарушенной психической деятельности. Это нарушение может проявляться либо в форме остро протекающей психотической вспышки, например по типу реакции патологического аффекта или "реакции короткого замыкания", либо суицидальный акт совершается на фоне хронического психического заболевания, вызванного алкоголизмом (или - психическим больным, злоупотребляющим спиртными напитками).

В одних случаях в предсуицидальном периоде можно отметить, постепенное формирование мыслей о самоубийстве, в других случаях они возникают внезапно на высоте аффективно напряженных переживаний. Последние чаще встречаются у лиц психопатизированных, особенно у склонных давать истерические реакции. Заметим, что при алкоголизме истерические реакции наблюдаются довольно часто. Как правило, у дающих подобные реакции не только заостряются, но и выявляются ранее скрытые патологические черты характера, в связи с чем и возникают патологические формы реагирования на те или иные трудные ситуации. Среди алкоголиков молодого возраста нередко можно наблюдать черты психического инфантилизма. Этот вид патологии является благоприятной почвой для формирования патологических реакций, в том числе и суицида.

Прежде, чем совершить суицид, алкоголики нередко предупреждают окружающих о своем намерении либо в виде угроз привести свое намерение в исполнение, либо в виде демонстративных попыток к самоубийству. Заметим, что лица, угрожающие суицидом, в большинстве случаев совершают его. Суицидальные действия пьяниц обычно проявляются в нетрезвом виде. Известно, что во время опьянения критика резко снижается, а восприятие окружающей обстановки изменяется, аффективные реакции приобретают извращенный характер, незначительный повод может привести к вспышке гнева, ярости, обиды и иногда к агрессивным действиям, направленным на себя. Именно в этот момент алкоголики и совершают попытку к самоубийству.

Среди суицидальных больных, злоупотребляющих спиртными напитками, встречается немало лиц, перенесших в прошлом травму головы, воспалительные заболевания головного мозга и его оболочек, т. е. больных, страдающих остаточными явлениями органического поражения центральной нервной системы. Обычно у них отмечаются и психопатические черты различной степени выраженности. Нередко между запоями и без какой-либо выраженной связи с абстиненцией алкоголики впадают в своеобразное депрессивное состояние сложного генеза. Оно свойственно тем, кто с особой остротой переживает свое поведение, крах служебного положения, распад семьи и другие жизненные коллизии, порожденные алкоголизмом. Обычно подобные лица легко поддаются всякого рода психогениям, порой очень мало значащим для здорового человека. В состоянии опьянения перечисленные переживания достигают трагической силы. По своему клиническому проявлению, эмоциональному напряжению они напоминают меланхолический раптус.

Таким образом, в момент суицида изменяется психическое состояние, которое сопровождается насыщенным аффективным переживанием, снижением или полной утратой самоконтроля, сужением сознания, то есть формируется состояние, которое может быть приравнено к временному расстройству психической деятельности.

В связи с этим можно допустить, что в некоторых случаях бессознательное уходит от ситуационного контроля, и в поведении происходит выявление той или иной бессознательной тенденции.

115. Аппараты афферентного синтеза и акцептора результатов действия как физиологические корреляты бессознательного в сексуальной сфере. Г. С. Васильченко

Лаборатория сексопатологии НИИ психиатрии МЗ РСФСР, Москва

Сексуальность человека при методологическом подходе, исключающем неадекватные экстраполяции [9], является достаточно универсальной моделью системных отношений, развертывающихся в широком диапазоне, от элементарных рефлекторных реакций, иннерваторная зона которых не выходит за пределы приорганных вегетативных регуляции, до тончайших нюансов индивидуальной структуры личности. При этом, однако, для любой сексуальной реакции характерно, что сколь бы парциальной последняя ни была, она никогда полностью не эмансипируется от сложившейся у данного индивидуума единой функциональной констелляции иннерваторных клеточных ансамблей, которая составляет психофизиологическое обеспечение его сексуальной сферы [8]. В основе этой связи - биологически (генетически) обусловленная особая, сверхличностная значимость сексуальной сферы, обеспечивающей надиндивидуальные интересы популяции и вида.

Вторая, столь же характерная для сексуальной сферы человека специфическая особенность заключается в том, что весь диапазон собственно сексуальных проявлений представляет собою нерасторжимый "спай" феноменов произвольных и непроизвольных. В одних из этих феноменов доминируют реакции произвольные, в других - непроизвольные, но ни одно из подлинно сексуальных проявлений не может быть отнесено к разряду актов чисто произвольных (как, скажем, двигательные акты, высовывания языка, выполнения пальценосовой пробы и т. п.) или чисто непроизвольных (таких как продвижение пищевого комка по пищеводу, расширение или сужение зрачков и т. п.). В своей профессиональной деятельности, производя объективное обследование пациента, сексопатолог без труда производит оценку функционального состояния как чисто произвольных, так и чисто непроизвольных феноменов, но оказывается в серьезном затруднении, если возникает задача оценки состояния эрекций у мужчины или ин-дивидуальных характеристик эрогенных зон у женщины. В обоих названных примерах исследуемая активность может быть вызвана (и оценена) только в соответствующем "контексте", создаваемом ситуацией близости с адекватным сексуальным партнером (нужен, по выражению Ю. Б. Рюрикова "рифмующийся" партнер, с которым сложилась к тому же, достаточная степень интимности). И даже такой на первый взгляд непроизвольный феномен как эякуляция отнюдь не является абсолютно непроизвольным: в состоянии бодрствования эякуляция включена в контекст двигательной активности и может быть отсрочена как замедлением функций или дыхательной гипервентиляцией, так и психологически, отвлечением внимания. В других случаях эякуляция, наоборот, может возникнуть под влиянием чисто психического возбуждения без каких бы то ни было воздействий на эрогенную зону гениталий; при психогенной форме функционального аспермативма эякуляция не наступает независимо от длительности фрикций; наконец, даже наступление эякуляции при ночных поллюциях в большинстве случаев провоцируется явной или неосознаваемой активностью сознания - форме эротических фрустраций на протяжении предшествовавшего дня или эротических сновидений.

В плане значения сексуальной сферы как модели для изучения проблемы бессознательного описанные выше специфические особенности как раз и определяются динамикой соотношений сознательного и бессознательного, если это последнее понимать как "обобщение, к которому мы прибегаем, чтобы отразить способность к регулированию поведения и его вегетативных коррелятов, происходящему без непосредственного участия сознания" [3, 378]. В выделенных нами составляющих копулятивнопо цикла [4; 5] можно последовательно проследить различную долю участия как предельно автоматизированных вегетативных констелляций, связанных с сознанием лишь афферентацией "оповещания", так и церебральных механизмов, деятельность которых осуществляется на стыке осознаваемых и неосознаваемых регуляций. В системе регулирования полового поведения человека выделяются четыре функциональных комплекса (подсистемы), каждый из которых характеризуется определенным анатомо-физиологическим субстратом и той частной задачей, решение которой обеспечивает достижение определенного парциального (этапного) полезного результата:

1. Нейрогуморальная составляющая, связанная с деятельностью глубоких структур мозга и системы эндокринных желез. Этот функциональный комплекс обеспечивает выраженность полового влечения и соответствующую возбудимость всех отделов нервной системы, регулирующих половую деятельность.

2. Психическая составляющая, связанная с деятельностью кортикальных систем, определяет направленность полового влечения, облегчает возникновение эрекции до момента интроитуса и обеспечивает специфические для человека формы проявления половой активности, вплоть до соответствия поведенческих реакций условиям конкретной ситуации и морально-этическим требованиям.

3. Эрекционная составляющая, нервным субстр атом которой являются спинальные центры эрекции, регулирует активность конечного исполнительного аппарата, обеспечивающего главным образом механическую сторону полового акта.

4. Эякуляторная составляющая, анатомо-физиологическим субстратом которой является сложная интеграция структурных элементов от простаты с ее собственным нервным обеспечением до парацентральных долек коры головного мозга, обеспечивает основную и конечную биологическую задачу всей половой активности - выделение мужского оплодотворяющего начала.

Каждая из этих составляющих, включаясь в копулятивный цикл по мере его протекания сукцессивно, не завершает своей задачи и не отключается при подключении следующей составляющей, а интегративно с последней взаимодействуя, формирует симультанную иерархию: нейрогуморальная тонизирован ность, и психический настрой, и эрекции не только сохраняют достигнутый уровень активности, но и интенсифицируют его вплоть до завершения цикла эякуляцией и оргазмом. Иными словами - каждая из последующих составляющих формируется только опираясь на предыдущие. В результате разворачивается глобальный поведенческий акт, в котором четко осознается главным образом уровень действий, в то время как на уровнях операций и деятельности многое остается в тускло мерцающей мгле периферии сознания (напомним исходную модель: шофер за рулем, мастер у станка, спортсмен на тренировке, врач у постели больного выполняют элементарные "операции", которые входят в структуру одновременно формируемого более сложного "действия", последнее же выступает как составной элемент определенной опять же одновременно реализуемой "деятельности", отражающей более глубокие мотивы, личностные установки, планы субъекта [3, 285-286]).

Психофизиологическим механизмом, связывающим воедино три решающих звена неосознаваемых и лишь частично осознаваемых поведенческих реакций (информация - критерии предпочтения - антиэнтропический эффект) является выработка психологических установок [6; 7], лежащих в основе системы "тенденций реагирования", "достаточно гибких, чтобы изменяться при изменении ситуации, и одновременно достаточно стабильных, чтобы продолжать оказывать направляющее влияние, вопреки множеству принципиально возможных мешающих воздействий" [3, 368].

В свою очередь в роли физиологических коррелятов психологического механизма установки Д. Н. Узнадзе могут выступать аппараты афферентного синтеза и акцептора результатов действия [1], объединяющие нейрогуморальную и психическую составляющие копулятивного цикла в единую функциональную систему. Структура аппарата афферентного синтеза в применении к сексуальному поведению человека определяется:

I. Двумя потоками воздействий, исходящих из внутренних механизмов, носителем которых является данный субъект:

1. Доминирующей мотивацией, возникающей на основе той потребности, которая в данный момент является ведущей. Доминирущая мотивация связана с нарушением гомеостатического равновесия, что проявляется нейрогуморальными сдвигами, воспринимаемыми как чувство полового возбуждения и т. п.

2. Памятью, то есть совокупностью энграмм, приобретенных в результате личного опыта на основе психологической и физиологической активности, имевшей место ранее с вовлечением данной функциональной системы.

II. Двумя потоками воздействий, исходящих из внешней среды:

1. Ситуацией, определяемой совокупностью разрешающих и тормозных компонентов.

2. Стимулом, обычно выполняющим роль пусковой афферентации; в наиболее типичном случае сексуального поведения - прямым воздействием женщины (resp. - мужчины).

Конечным результатом афферентного синтеза является либо подавление, либо реализация определенной поведенческой реакции. В последнем случае в складывающую констелляцию включается второй, структурный

блок функциональной системы - акцептор результата действия. Как показали П. К. Анохин и его ученики, любая аффекторная реакция сопровождается формированием в центральной нервной системе особого физиологического аппарата, предназначенного для оценки успешности данной реакции. Если выявляется рассогласование действительного результата с ожидаемым, этот аппарат (акцептор результата действия) тотчас же включает корригирующие механизмы, направленные на устранение рассогласования.

В течении копулятивного цикла выделяются два момента, определяющих промежуточный и конечный физиологический результат: первым моментом, подлежащим параметрированию с участием акцептора результата действия, является, у мужчины, наличие эрекции, степень которой должна быть достаточной для обеспечения интроитуса; вторым является окончательный результат всего цикла - эякуляция, сопровождаемая оргазмом. Совершенно очевидно, что функциональная система, обеспечивающая копулятивный цикл, претерпевает постоянные динамические изменения на всем его протяжении, и эти изменения определяют флуктуацию степени осознанности отдельных элементов, реализуемых в ходе копулятивното цикла.

В рассмотренной схеме находит отражение теснейшая связь нейрогуморальной составляющей (мотивация) с психической (расчлененной здесь на три составные части: память, ситуацию и стимул).

При этом следует еще раз подчеркнуть, что термин память в применении к аппарату афферентного синтеза включает в себя не только энграммы событий, уже имевших место в прошлом, но и элементы вероятного прогнозирования, моделирование алгоритмов опережающего характера, т. е. предварительное построение целенаправленных иннерваторных последовательностей, еще не имевших места в индивидуальном жизненном опыте данного индивида. Каждый молодой мужчина, совершая первый половой акт, еще не располагает энграммами первого типа (отражающими предшествующий личный опыт) и опирается только на более или менее расплывчатые представления, основанные на различных источниках. И как показывает сексопатологическая практика, преодоление этого психологического "барьера неведения" для некоторых мужчин оказывается непосильной задачей.

Врач С., 32 лет, женившись 5 лет назад, не может начать половую жизнь, несмотря па то, что либидо и эрекции выражены в достаточной степени. Всякий раз, когда наступает момент близости, он не знает, как действовать, и доходит до полной растерянности. Как в профессиональной деятельности, так и вообще в жизни всегда отличался привычкой анализировать каждое свое действие.

В первую брачную ночь у него возникло состояние "общего мышечного и умственного оцепенения", парализовавшего его способность к действию. В последующие ночи подобных состояний уже не было, но всякий раз перед emission чувствуя себя находящимся лицом к лицу с неизвестностью, ловит себя на том, что активно пытается уйти от решительных действий (и чем далее - тем во все более ранней фазе".

Жене 28 лет. Она до сих пор virgo. Душевные взаимоотношения с пей очень хорошие. К половой несостоятельности мужа она относится так, как любящая мать относится к нежелательному, но не очень важному дефекту у своего ребенка.

Либидо у пациента пробудилось в 13 лет, когда он испытал первое, чисто платоническое, увлечение. Более специфические, чувственно окрашенные компоненты присоединились примерно через год и привели его к мастурбации. За 5 лет брака выраженных явлений привыкания и сексуального охлаждения к жене не отмечается, она до сих пор в полной мере сохраняет для него физическую привлекательность.

Всегда отличался настойчивостью в достижении поставленных целей и крайней возбудимостью, иногда до потери контроля над собой. После женитьбы стал более спокойным. Наряду с этим чрезвычайно мнителен и склонен к самоанализу.

В данном наблюдении была, таким образом, диагностирована декомпенсация психической составляющей (выявляющаяся на заключительном этапе эрекционной стадии) вследствие нарушения акцептора результата действия при попытка" перехода к коитусу после привычных (в течение 14-19 лет) маструбаций у личности мыслительного типа с чертами тревожной мнительности.

Часто встречающаяся в практике сексопатолога физиологическая коллизия между акцептором результата действия, зафиксировавшимся вследствие многолетней маструбации, и тем качественно новым акцептором результата действия, который экстренно формируется при изменении условий благодаря включению комплекса натуральных воздействий при попытке полового сношения с женщиной, имеет экспериментальную модель. Когда в эксперименте с собакой по условно-рефлекторной методике П. К. Анохин и Е. Ф. Стреж [2] заменили слабое, но

привычное подкрепление в виде 20 г сухарей на мясо, в результате у животного возникли подчеркнутая ориентировочная реакция, двигательное беспокойство и преходящий отказ от пищи.

Если проведенное выше клиническое наблюдение можно рассматривать как случай, в котором трудности перестройки акцептора результата действия определяются почти исключительно особенностями личности, то в большинстве других случаев попытки переключения на новую динамическую структуру полового акта предпринимались на фоне ослабления нейроэндокринного обеспечения, когда у пациентов имелись признаки задержки пубертатного развития в виде редукции как интенсивности, так и экстенсивности периода юношеской гиперсексуальности (т. е. позднего его начала и раннего окончания). Редукция же этого периода, устраняя натуральную гиперкомпенсацию, необходимую для преодоления барьера неизведанности, превращала незначительные помехи в неодолимые препятствия. Так, у одного из наших больных утрата эрекции последовала за состоянием растерянности, вызванным тем, что в первую брачную ночь жена сразу проявила готовность к физической близости, в то время как в той предполагаемой последовательности действий, которая сложилась в представлении пациента, "все должно было начаться с ласки, то есть с объятий и поцелуев". Понятно, что единственным физиологическим механизмом, способным преодолеть рассогласование вероятностной модели, построенной самим пациентом с соблюдением всех этических нюансов, и той натуралистической моделью, с которой он столкнулся, мог бы послужить только сильнейший либидинозный порыв, в норме как раз и обеспечиваемый юношеской гиперсексуальностью.

Ослабление нейрогуморального обеспечения при чрезмерной склонности к абстрактно-логической переработке впечатлений в ущерб непосредственно-чувственному восприятию окружающего придают у многих пациентов переживаниям и действиям столь чуждую сексуальной сфере интеллактуалистичность, с излишней осознанностью деталей, "не замечаемьых" здоровыми людьми. Именно о такого рода больных часто приходится слышать, что задолго до брака они "сохраняли" себя для будущей жены, не позволяли себе ни добрачных связей, ни даже мастурбаторных актов. После же брака, когда выявлялись непреодолимые препятствия к осуществлению половой жизни, подобные мотивы нередко приобретали еще более четкое звучание, тем самым демонстрируя свой защитный (в плане психологического оправдания) генез.

Теснейшая взаимосвязь механизма первичной (нейроэндокринное обеспечение), вторичной (безусловнорефлекторное подкрепление условных сигнальных комплексов) и третичной (чисто психологическое обоснование определенной линии поведения) мотивации с механизмами чисто ситуационными отражается в значительной распространенности среди сексологических больных выработки сначала угасательного, а затем и условного торможения на сумму тех натуральных сигнальных комплексов, носителем которых является женщина. В свое время [4, 107-109] при клинико-физиологичеоком анализе так называемой "импотенции женихов" иллюстрировалась роль внутреннего торможения в активном угашении натуральных условных раздражителей, когда основным патогенетическим механизмом расстройства является систематическое неподкрепление натуральных сигнальных комплексов оргазмом как безусловнорефлекторным компонентом специфической функциональной системы. Те же характерные черты систематического неподкрепления фрустранионных возбуждений выступают у многих больных с дебютирующими расстройствами потенции: так, трое наших больных, жены которых страдали парциальным вагинизмом, производили на протяжении от полугода до 2 лет ежесуточные попытки осуществления полового акта; у двух из них развилось прогрессирующее снижение эрекций на фоне постепенной утраты чувственного интереса к жене. У других больных провоцирующим моментом было длительное пребывание в той комнате, где спали молодожены, посторонних лиц; здесь, так же как и в случаях с преходящим псевдовагинизмом, развивается "братское" привыкание к жене, и к моменту, когда полностью устраняются все внешние помехи, проведение полового акта оказывается невозможным.

Подводя общий итог, можно считать, что именно неосознаваемым образом функционирующие аппараты афферентного синтеза и акцептора результата действия представляют тот физиологический коррелят, функционирование которого выполняет роль связующего звена между наличной "памятью" индивидуума (в том понимании, которое было определено выше) и экстренно формируемыми иняерваторными констелляциями, осуществляющими вероятностное прогнозирование, с моделированием алгоритмов опережающего характера. Только их нормальная активность обеспечивает разрешение рокового подчас противоречия "между необходимостью непрерывности регуляции действия и грубо прерывистым характером регулирующей активности сознания" [3, 278].

116. Проблема бессознательного и психология отношений. А. Е. Личко

Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Ленинград

Психология отношений - одна из теоретических концепций в изучении личности, возникшая и развивавшаяся в школе В. М. Бехтерева [7; 8; 9], не может оставаться в стороне от исследований важной сферы человеческой личности - сферы бессознательного. Подход к разработке этой проблемы должен осуществляться с общих для советской психологии методологических позиций, а также с учетом накопленного московскими и грузинскими психологами и психотерапевтами опыта изучения бессознательного [1; 2; 3; 14; 15; 16].

Психологию отношений как концепцию отличает ряд особенностей.

Прежде всего, личность рассматривается как система отношений. Исходной позицией в таком понимании личности явилось высказывание К. Маркса о том, что человеческая сущность в своей действительности представляет "совокупность общественных отношений".

Другой особенностью психологии отношений явилось ее духовное родство с рефлекторным учением. Не случайно эта концепция зародилась в Петербурге в годы становления учения И. П. Павлова об условных рефлексах, в годы развития идей В. М. Бехтерева о сочетательных рефлексах. Личность рассматривается как единая система отношений, подобно тому, как высшая нервная деятельность представляет собой единую систему условных и безусловных рефлексов. В отличие от условнорефлекторных связей человеческие отношения составляют качественно иной, высший уровень отражения действительности. Становление отношений имеет ряд закономерностей, общих с выработкой условных рефлексов: так же, как условные рефлексы, отношения образуются в ходе индивидуального развития, так же могут затормаживаться, угасать, переделываться, дифференцироваться и т. п. Но их принципиальное отличие от условных рефлексов прежде всего в том, что они всегда социально детерминированы, при этом не опосредованно, как, например, условные вегетативные реакции, а непосредственно. Отношения также либо осознаны, либо могут быть осознаны. Главная сфера человеческих отношений - это сфера сознания. Не случайно еще К. Марксом было отмечено, что для животных их отношения к окружающей среде не существуют "как отношения".

Представление о личности как о системе отношений не исключает сферы бессознательного. Однако психологии отношений присуще признание примата сознательного над бессознательным. Человеческое сознание является вершиной достижения эволюции жизни на Земле. Отношения являются высшей формой отражения действительности, возникшего на базе чрезвычайного развития наиболее молодых в эволюционном отношении отделов головного мозга, отношения, несомненно, являются главным и решающим регулятором человеческого поведения. Таким образом, психология отношений придерживается общих для советской психологической теории неосознаваемых форм психической деятельности положений о взаимодействии сознательного и бессознательного и о ведущей роли сознания [1; 2, 44].

Признавая существование особых "неосознанных" отношений у человека, В. Н. Мясищев [9] подчеркивал их коренное отличие от "несознательных" отношений у животного, однако детально эти отличия не рассматривались. Данные им неодинаковые наименования позволяют предположить, что "неосознанными" отношения у человека названы потому, что потенциально они всегда могут стать осознанными.

Что составляет эти особые неосознанные отношения, как они образуются, каково их значение для медицинской психологии и психотерапии?

Можно предположить, что неосознанные отношения, составляющие сферу бессознательного у человека, неоднородны по своему генезу и неоднозначны по своей роли в психической деятельности.

Сугубо схематично неосознанные отношения можно разделить на две большие группы.

Первая группа отношений формируется на ранних этапах онтогенеза, в раннем детстве, в период формирования речи и мышления, в первые годы жизни, т. е. в период "бессознательного детства", о котором впоследствии не остается никаких воспоминаний. Тем не менее, именно в этом периоде закладывается начало системы отношений. Речь идет о таких системах, как "ребенок - мать", "ребенок - член семьи", "ребенок - непосредственное окружение".

Большая часть отношений, закладывающихся в периоде раннего онтогенеза, в последующие годы развивается, совершенствуется, получает словесную квалификацию и становится сознательной. Однако некоторая часть отношений, в силу каких-то причин, остается неосознанной и неоречевленной. Такие неосознанные отношения могут лечь в основу смутных страхов, неясных опасений, необъяснимых симпатий и антипатий, непонятных предчувствий, примет, суеверий, а также отдельных невротических симптомов. Следует заметить, что так же, как выработанные в раннем онтогенезе условные рефлексы, отношения, образованные в этом периоде, отличаются

прочностью. Эта стойкость, возможно, обусловливается определенными свойствами нервной системы на ранних этапах онтогенеза, вероятно, сходными с теми, которые лежат в основе явления импринтинга. Другим фактором, обусловливающим стойкость этих отношений, является их тесная связь со сферой инстинктов, безусловных рефлексов, их сильная эмоциональная окрашенность, образование этих отношении на фоне мощного эмоционально-вегетативного аккомпанемента, сопровождающего большинство поведенческих актов в раннем детском возрасте.

По мере развития речи и мышления неосознанные отношения могут получать определенную словесную квалификацию, включаться в определенные системы речевых связей, однако генез их может оставаться по-прежнему неосознанным, особенно, если эти отношения перестают реализоваться. В течение дальнейшей жизни под влиянием определенных условий, особенно психотравмирующих ситуаций, подобные неосознанные по генезу отношения могут актуализироваться, включаться в новые системы отношений, сливаться с ними, создавая при этом новые, неправильные, искаженные представления о происхождении этих отношений, связывая их с новыми условиями и новыми событиями.

Изложенная точка зрения является в какой-то мере развитием психогенетической теории неврозов В. Н. Мясищева [9], но она может показаться близкой к психоаналитическим взглядам. Однако от ортодоксального фрейдизма [12; 13] ее отличает прежде всего отклонение идеи пансексуальности. Большинство неосознанных влечений в раннем онтогенезе формируются на основе не сексуального влечения, а имеют своей глубокой основой пищевой и оборонительный рефлексы. В отличие от неофрейдистских концепций, также стремящихся отмежеваться от пансексуальности З. Фрейда, изложенная точка зрения неприписывает неосознанным отношениям, т. е. сфере бессознательного, роль главного, наиболее сильного регулятора человеческого поведения. Между неосознанными отношениями и отношениями сознательными, как между сознательным и бессознательным вообще [2, 14], совсем не обязателен антагонизм. Как и любые сознательные, неосознанные отношения могут выступать то как единое целое, то вступать в противоречие друг с другом, то фигурировать относительно независимо друг от друга. Тем более неосознанным отношениям, образованным в раннем онтогенезе, вовсе не следует отводить роль "подспудных" сил, изгнанных из сознания и только стремящихся прорваться в него, хотя бы и окольными путями. Образованные в раннем онтогенезе, неосознанные отношения скорее представляют собой рудименты, всплывающие тогда, когда в силу каких-либо причин оказываются угнетенными высшие сознательные отношения, составляющие главную основу личности. Придавать подобным неосознанным отношениям самодавлеющее значение было бы аналогичным тому, как признать за рудиментарными рефлекторными актами типа рефлекса Бабинского важную роль в рефлекторной деятельности человека.

Второй тип неосознанных отношений, в отличие от описанных ранее, складывается в течение сознательной жизни. Для понимания их образования представляется небезынтересным привлечь гипотезу И. П. Павлова о "светлом пятне". И. П. Павлов представлял сознание как определенный участок больших полушарий (теперь бы мы скорее сказали, как определенную мозаичную систему), который в данный момент обладает известной оптимальной возбудимостью. Здесь легко образуются новые условные связи. Это в данный момент творческий отдел больших полушарий. Другие же отделы на такое творчество в данный момент не способны. Их функцию составляет, главным образом, стереотипное выполнение старых, ранее выработанных условных рефлексов. Участок с оптимальной возбудимостью постоянно перемещается в зависимости от связей и внешних раздражений. "Если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы... как по большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся по форме и величине причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более или менее значительной тенью" [10, 247-248].

Условнорефлекторные связи у человека, замыкание которых осу-ществлялось в пределах подобного светлого пятна, будут всегда максимально оречевлены, а отношения, сложившиеся на их основе, всегда осознаны. Однако можно допустить, что отдельные связи замыкаются и за пределами зоны оптимальной возбудимости, или в моменты, или когда даже в самом творческом отделе возбудимость не оптимальна. Это может случиться в силу того, что раздражитель был слишком слаб и не смог создать очага достаточной возбудимости (примером могут послужить условные рефлексы на субсенсорные раздражители, описанные Г. В. Гершуни [4], или, наоборот, когда чрезмерная сила раздражителя приводит к запредельному торможению. Последнее нередко имеет место, когда отношения возникают на фоне чрезвычайно сильного или напряженного аффекта. Чрезмерное возбуждение отнюдь не является оптимальным. В силу этого отношения, образующиеся в этот период, могут оказаться неосознанными и трактоваться как "кататимные вытеснения". Наконец, зона оптимальной возбудимости вообще может отсутствовать в особых условиях (просоночные и гипнотические состояния, патологические изменения сознания).

Есть еще один род отношений, процесс образования которых может оставаться неосознанным. Речь идет об отношениях, возникающих сразу, с ходу, без предварительной выработки, так сказать "с места" - это симпатии или

антипатии с первого взгляда, внезапное, как бы по сиюминутному озарению сложившееся отношение и т. п. Хотя подобные отношения появляются неожиданно, однако они также, несомненно, отражают предшествующий опыт, частично неоречевленный. Можно допустить, что механизм их возникновения имеет в прообразе так называемые - "агареакции", описанные В. Келлером |6] у человекообразных обезьян. Механизм этих реакций у детей был проанализирован А. Г. Ивановым-Смоленским [5, 19] на основании законов генерализации условных рефлексов. Сходный механизм возможен в генезе и некоторых сторон интуиции.

Психология отношений, претендуя на роль общепсихологической теоретической концепции, возникла и развивалась в основном в рамках медицинской психологии (*Сравни сопоставительно психологию установки Д. Н. Узнадзе, в частности возникшую в пределах этой психологии общую теорию сознания и бессознательного психического как единой системы отношений внутри целостной системы фундаментальных отношений личности, на основе ее первичной (все еще нереализованной и не фиксированной) установки [16, гл. I, § 4 и гл. IV]. - Примечание редколлегии*). Одну из ее важнейших задач составляет теоретическое обоснование психотерапевтических исследований. К сожалению, к психологии отношений в определенной мере может быть адресован тот упрек, который один из ее основателей - В. Н. Мясищев [9] бросил в 1948 г. всей советской психологии в целом. Он отметил, что "советская психология не насытила еще свои правильные методологические позиции конкретным содержанием и недостаточно связала их с социалистической практикой".

Изучение неосознанных отношений непосредственно связано с психотерапией. В ограниченную задачу данного сообщения не входит рассмотрение этой связи во всей ее полноте и сложности. Однако, учитывая ранее сказанное, нельзя не отметить, что психотерапевтический процесс должен учитывать особую прочность рудиментарных неосознанных отношений, образовавшихся в раннем онтогенезе. Если в процессе психотерапии ставится целью их угашение или переделка, то это может быть осуществлено только с похмощью сознания, только путем превращения этих неосознанных отношений в осознанные. Как указывалось, возникшие в более позднем онтогенезе неосознанные отношения такой природной стойкостью не отличаются - со временем они угасают. Примером тому может послужить непродолжительность эффекта многих случаев внушения в гипнозе. Если психотерапевтическая цель состоит в упрочении этих отношений, то здесь необходимо учитывать закономерности, определяющие стойкость условных рефлексов у человека (Трауготт и др. [11]), а именно: прочнее то, что теснее связано с безусловными рефлексами, то, что чаще практикуется, и то, что включается в обширные системы речевых связей.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть важность изучения неосознанных отношений для практических задач психотерапии.

119. Об отношении активности бессознательного к художественному творчеству и художественному восприятию. Вступительная статья от редакции

(1) Разработка вопроса о связи активности бессознательного с искусством, с художественным восприятием и художественным творчеством породила литературу поистине необозримую. И произошло это потому, что исследование подобных вопросов велось одновременно с концептуальных позиций не только разных школ и направлений, но и разных дисциплин, разных наук. В анализе этих проблем оказались заинтересованными не только психологи, но и психоаналитики, искусствоведы, специалисты по вопросам теории познания, творчества, эстетики, в одних планах - нейрофизиологи и кибернетики, в других - историки культуры, антропологи, литературоведы, лингвисты. Можно уверенно сказать, что именно психология искусства оказалась той областью знания, которая, вопреки всей неразработанности идеи бессознательного, вопреки отсутствию сколько-нибудь согласованных представлений о функциях бессознательного и его роли в душевной жизни человека, с удивительным постоянством на протяжении десятилетий, стремилась к включению этой идеи в свой категориальный аппарат, к ее использованию в качестве одного из основных объясняющих понятий. В некоторых случаях эта апелляция к бессознательному приобретала настолько резкую форму, что последнее объявлялось фактором, детерминирующим весь процесс становления художественного образа, единственно позволяющим понять законы и психологические механизмы, на основе которых этот образ создается. Говорилось даже о том, что если художник способен вербализовать замысел своего произведения, определить его смысл и, следовательно, его осознать, то тем самым он это произведение либо разрушает (если осознание замысла произошло еще в процессе формирования образа), либо выявляет (если произведение уже создано) его фальшивую "псевдо-художественную" природу [7]. От относительно неуверенных, представляющихся, по контрасту с некоторыми современными течениями, довольно сдержанными высказываний декадентов и модернистов XIX века, через прозвучавшие на рубеже столетий громкие требования принципиальной "иррациональности" искусства Бенедетто Кроче, до ознаменовавших последние десятилетия разнообразнейших проявлений пресловутого "антиискусства" (типа "театра абсурда", алеаторики (*Попытки музыкальной композиции, в основу которых кладется случайный, бернуллиевский процесс (числа, выпадающие при бросании игральных костей, карт и т. п.)*), поп-искусства или

"эскэйпизма" (*Направление, рассматривающее искусство как убежище (escape) от осознаваемой - и потому невыносимой - реальности*)) эта линия на тесное сращивание представлений о механизмах, нормах и цели художественного творчества с областью бессознательного не только никогда не переставала звучать, но становилась по мере углублявшегося духовного кризиса буржуазной эстетики все более откровенно обнаженной и уродливой.

Проблема бессознательного оказалась, таким образом, вовлеченной - и это далеко не единственный из парадоксов ее судьбы - еще задолго до выработки ее строгой психологической теории в споры о природе искусства. По мнению Метерлинка, Бергсона, в более позднем периоде Г. Рида [8] и многих других, ей выпало играть в этих спорах даже центральную роль (*"Иррациональное - это постоянная цель искусства". Actes du IV Congres. International d' Esthetique. Athenes, 1962*). Когда поэтому психоанализ со свойственным ему стремлением к акцентированию роли бессознательного в самых разных формах психической деятельности также связал художественное творчество с областью неосознаваемых мотивов, вытесненных переживаний и т. п., он отнюдь не сделал при этом какого-то радикально нового шага. Гораздо скорее он лишь поддержал с помощью новых аргументов истолкование природы искусства, которое сложилось до него и развивалось долгое время совершенно независимо от него.

Оказалось ли это сближение идеи бессознательного с концепциями художественного творчества продуктивным? Ответ на это далеко не прост.

С одной стороны, неоспоримо, что это сближение подчеркнуло своеобразное соучастие неосознаваемых форм психической деятельности в процессах создания художественных образов - факт не только реальный, но и настолько важный, что, отвлекаясь от него, мы полностью исключаем для себя возможность раскрытия как психологического процесса, приводящего к созданию художественного образа, так и психологически понимаемой функциональной структуры самого этого образа. С другой же стороны, проникновение в эстетические теории идеи бессознательного задолго до выработки ее научного истолкования серьезно помешало адекватному использованию этой идеи и превратило последнюю из эффективного средства дальнейшего развития психологии искусства, какой она потенциально является, в нелегко преодолимое препятствие любому подлинному углублению мысли в разделах знания, затронутых этим проникновением. На обоих этих противоречивых моментах нам целесообразно сейчас несколько задержаться.

Когда возникает вопрос, об участии бессознательного в генезе художественного произведения, мы касаемся проблемы, уже в значительной степени в психологическом отношении разработанной. Опора решений, выносимых художником при необходимости выбора им каких-то определенных линий, фигур, цветовых или звуковых тональностей, структуры мелодий или гармоний, особенностей композиции самых различных визуально или акустически воспринимаемых ансамблей, даже характера литературных сюжетов или персонажей преимущественно на не формализируемое, т. е. на психологические процессы и мотивы, которые остаются художником не "оречевленными" (не вербализованными, словесно не сформулированными, "безотчетными") и потому плохо или даже вовсе не осознаваемыми, - это явление слишком частое и очевидное, чтобы оно могло остаться незамеченным. Зависимость художественного произведения от активности бессознательного в этом плане никогда, по существу, сомнений не вызывала. Она относится к числу фактов, рассматриваемых как эмпирически бесспорные, и уже давно стала предметом исследований самого разного стиля - от ориентированных кибернетически и биофизически до психоаналитических и философских. Особое углубление представлений в этой области было достигнуто после того, как в последние годы заострилось внимание к вопросам роли интуиции в разных формах умственной деятельности и адаптации (*Большой материал, ярко иллюстрирующий связь процессов художественного творчества с активностью бессознательного, представлен, в частности, в очень обстоятельной монографии М. Арнаудова "Психология литературного творчества" (перевод с болгарского, М., 1970)*). К некоторым из работ этого направления мы еще вернемся ниже.

Значительно более сложной и трудной для понимания является проблема особенностей функциональной структуры художественного образа, определяемых связью этого образа в процессе его становления с активностью бессознательного. Эту проблему можно иначе выразить так: что именно в художественном образе выдает его порождение бессознательным? какие черты художественного образа могут быть поняты глубже, только если мы учтем неосознаваемость генеза образа? не существует ли определенной связи между порождением художественного образа неосознаваемой психической деятельностью и влиянием, оказываемым этим образом на воспринимающего его зрителя?

Очевидна как сложность, так и весьма еще малая изученность всех этих вопросов. И, тем не менее, игнорировать их нельзя.

Одним из основных, если не основным, положений марксистско-ленинской эстетики является, как это хорошо известно, представление о том, что художественный образ, как и научное понятие, это особая форма обобщенного отражения действительности. Но это именно "особая" форма, это - обобщение, говорящее на специфическом языке, не эквивалентном рациональному, формализованному языку науки. И понадобилось немало времени для того, чтобы хорошо понять, в чем это качественное, неизгладимое своеобразие языка эстетических образов заключается.

Художественный образ - это отражение действительности и вместе с тем или, точнее говоря, именно поэтому "искусство не требует признания его произведений за действительность" [2]. Этими словами В. И. Ленин исходно и радикально устраняет всякую возможность соскальзывания на путь вульгаризаций, игнорирующих специфику эстетического языка, его условность, его принципиальную несовместимость с идеей прямолинейности, психологической неопосредованности отражения, его скрытый подтекст, составляющий в художественном плане подлинную его сущность. Известный исследователь вопросов теории искусства Э. В. Леонтьева приводит в своей монографии характерные примеры ощущения скрытой сложности языка эстетических образов, его качественного отличия от языка рационального познания, которые можно встретить в работах некоторых зарубежных авторов [3, 42-431. Если Р. Коллингуд говорит о том, что истина, утверждаемая искусством, это истина "не интеллектуальная", а "конкретная", то, по Д. Моргану, это истина "фиктивная", непереводимая, "не отрицаемая", а по А Сессонскому - "сверхнаучная", "вненаучная", "донаучная". Уйатхэд более глубок, когда он отмечает, что истины искусства - это истины "непрямые" и что в то же время "неистинное в прямом смысле может быть в высшей степени эстетически правдиво (что иллюстрируется примерами из Кафки, Пикассо, фантастических произведений) подобно тому, как безобразное в прямом смысле становится прекрасным в искусстве" [3, 42-43]. Эту же мысль можно встретить как у Бальзака: "Правда природы не может быть и никогда не будет правдой искусства" [1], так и в тонкой форме, но не расшифрованно у А. Фадеева: "Возможны различные художественные решения. Все должно быть по существу жизненно, не обязательно все должно быть жизнеподобно" [4] и т. д.

Мысль о качественном своеобразии языка художественных образов и утверждаемой им особой "правды" отнюдь, следовательно, не нова. Э. В. Леонтьева, обобщая глубоко проанализированный ею разносторонний материал, отчетливо эту мысль - в ее, однако, только негативной форме - формулирует: "Стремление рассматривать проблему истины в искусстве по аналогии с наукой так же ошибочно, как и сведение художественной правды к "правде факта" (уравнивание реализма с натурализмом). Такое понимание истины в искусстве (а оно свойственно прежде всего позитивистам) ведет к тому, что значение искусства сводится к минимуму, ибо очевидно, что логические утверждения в науке, для которых истина - это всегда цель, не идут ни в какое сравнение с "утверждениями" в сфере, например, художественной литературы, зачастую отнюдь не претендующими на "соответствие референту" и играющими второстепенную роль при создании художественных образов (подчеркнуто нами. - Редколл.), которые... не должны быть соотносимы с научными суждениями" [3, 208].

И вместе с тем непреклонно: "Признание правдивости (подчеркнуто нами. - Редколл.) произведения фундаментом эстетической ценности, основным качеством, определяющим полнокровность художественных образов, является непоколебимым принципом марксистско-ленинской эстетики"; "вся история мирового искусства свидетельствует о том, что наиболее ценными для последующих эпох оказались те произведения, где была достигнута наивысшая возможная для данного исторического момента правдивость. И выводы классической эстетики, и эстетические воззрения крупнейших мастеров художественного творчества противоречат тому, что утверждают современные "ниспровергатели" художественной правды" [3, 228] и т. д.

Мы оказываемся, таким образом, перед лицом двух принципиальных положений, которые, однако, лишь при поверхностном толковании можно рассматривать как выражение альтернативы. Каждым из них заостряется, только в разной форме, один и тот же кардинальный момент: художественный образ - это особая форма обобщенного отражения мира, но отражение на языке, отличном от языка рационального знания; и поскольку образ - это отражение, он может и должен оцениваться в отношении его "правдивости", а поскольку его язык отличен от языка науки, его правдивость надо понимать по-иному, чем правдивость научного понятия или научного закона.

Нельзя, конечно, думать, что исследователи, подчеркивающие своеобразие языка искусства, ограничиваются лишь констатацией этого своеобразия и не пытаются раскрывать более глубоко, в чем именно оно заключается. Однако - и это момент, к которому мы особенно хотели бы привлечь внимание читателя - углубить представление об этом своеобразии, перевести его анализ из плана в лучшем случае тонкой феноменологии эстетики в план подлинной психологии эстетики приниципиально невозможно без обращения к трудной проблеме бессознательного, без учета специфических закономерностей неосознаваемой психической деятельности и роли, которую эта деятельность скрыто выполняет в процессах познания мира и общения людей.

Э. В. Леонтьева скупыми, но выразительными чертами намечает, как согласно традиционным представлениям объясняется существование специфической "правды искусства". Жизнь, реальность, подчеркивает она, входит в структуру художественного замысла или образа лишь как одно из многих его составляющих. Создание произведения искусства, безотносительно к тому, добавим мы, будет ли это произведение картиной, скульптурой, мелодией, драмой, романом или сонетом, предполагает творческую переработку и абстрактных, и чувственных данных, воспринятых ранее автором, отбор и изменение жизненного материала на основе предшествующего опыта, мыслей и чувств, вкусов и стремлений художника. Объективная реальность, поэтому, как бы сливается с эстетическим идеалом, с фантазией создателя художественного образа, и лишь на этой основе может возникать очень своеобразный, присущий одному только искусству мир "художественной правды". Своеобразие этого мира в том, что он, с одной стороны, неразрывно связан с эмоциональным отношением художника к изображаемому явлению, т. е. включает в себя, как это справедливо подчеркивает Э. В. Леонтьева, параметр аксиологический, ценностный, а с другой - сам в силу неустранимой включенности в него "субъективного" (подчас всей личности художника) может и должен становиться предметом оценки с точки зрения его социальной значимости, его соответствия или, напротив, несоответствия передовым эстетическим идеалам общества и эпохи, в условиях которых он был создан [3, 218 и др.].

Здесь мы уже близко подходим к черте, отграничивающей "правду искусства" от "правды науки". В таблице Менделеева, как и в теории относительности Эйнштейна, отнюдь не выражено эмоциональное отношение их создателей к проблемам атомного веса или единства пространства и времени, и "оценивать" эти интеллектуальные конструкции мы можем поэтому только в одном аспекте: их соответствия или несоответствия не общественным идеалам, а физической реальности, безучастно взирающей на тревоги людей. С художественными же образами дело обстоит, как мы это видели, принципиально по-иному и гораздо сложнее.

Но в таком случае возникает вопрос: как же приходит художник к этому специфическому для него, всегда только его личностному видению? и - главное - каким образом, в силу каких нелегко постигаемых психологических процессов, на основе этого видения, так резко окрашенного в субъективные (и, следовательно, казалось бы, произвольные, ненаправленные) тона, может происходить не отключение от объективной действительности, не замыкание искусства в изолированных от мира "башнях из слоновой кости" (в которых оно осуждено, если уж в них оказывается, на неотвратимое, хотя иногда и очень замедленное, умирание), а, напротив, проникновение в сокровенные тайники бытия и души человека, благодаря чему достигается знание, даже более подчас глубокое, чем то, которое дает нам наука с ее опорой на формализуемое? В рамках настоящего текста не представляется возможным, да и вряд ли это целесообразно, приводить примеры того, как определенные стороны действительности находили свое отражение в художественной литературе, изобразительном и сценическом искусстве, в фольклоре, эпосе, легендах, мифах, в пронизанных искусством, творческой активностью художников, бытовых обрядах и ритуалах задолго до того, как они становились предметом рационального знания. При желании можно было бы извлечь подобные примеры из истории культуры и этнологии в количестве, способном заполнить тома.

Теперь мы можем сформулировать основную мысль нашего анализа. Если мы обратимся к следующему, седьмому, разделу настоящей монографии, посвященному вопросам роли бессознательного в активности гнозиса, то увидим, что одной из характернейших особенностей неосознаваемой психической деятельности является именно то, что на ее основе возникает нередко знание, которое не может быть достигнуто при опоре на рациональный, логический, вербализуемый и поэтому осознаваемый опыт. Это "опережение" бессознательным активности сознания возникает с особой отчетливостью, когда мы сталкиваемся с необходимостью осмысления наиболее сложных сторон действительности, явлений, событий, которые настолько многогранны, настолько многокомпонентны и полидетерминированы, воплощаются в запутанном переплетении, в сетях настолько разнородных взаимосвязей и отношений, что попытки выявления их природы на основе аналитического и рационального подхода, на основе расчленения "глобального", целостных "континуумов" на их дискретные составляющие отступают в бессилии. И тогда может при наличии определенных психологических условий проявиться никогда не перестающая нас поражать мощь "нерасчленяющего" познания.

Проявление такого познания мы видим в мгновенных заключениях опытного клинициста, ставящего диагноз в труднейших для распознавания клинических случаях еще до того, как он может это свое заключение рационально аргументировать; в условиях лаборатории - в т. н. физиогномических экспериментах, в которых выносится суждение о характере эмоции, выражаемой портретным изображением лица человека, без возможности это суждение хоть как-то формально обосновать (объективность подобных оценок доказывается последующим статистическим анализом, выявляющим массовое совпадение этих оценок у разных испытуемых); в случаях распознания принадлежности определенному автору или исполнителю самых разнообразных предметов искусства, художественных подделок, а также движений, локомоций поэтических или прозаических высказываний, не по каким-то их конкретным признакам, а по их общему "стилю", по "манере", по "почерку" их создателей; в случаях выбора нужного слова для выражения определенной мысли - выбора, настолько строгого и требовательного, что

он может происходить только на основе интуитивного "чувства языка", а не путем опоры на формальные определения (*Наиболее убедительным экспериментальным доказательством незаменимости этого "чувства языка" в психологически сложных речевых ситуациях и невозможности его заменить сколь угодно детализированными формализованными системами правил является наблюдаемое сегодня почти полное прекращение попыток машинного перевода (с помощью ЭВМ) художественных литературных произведений*). Проявление сходных тенденций можно наблюдать и в неограниченном количестве других случаев, всегда несущих на себе отпечаток чего-то роднящего их с "искусством".

Уже одни эти примеры показывают, что познание "нерасчленяющее", познание интуитивное, опирающееся на неосознаваемую психическую деятельность, представлено в нашей душевной жизни исключительно широко. Оно дает о себе знать даже при наиболее рационализированных аналитических и логически дифференцированных формах мыслительной деятельности (достаточно напомнить классические споры о роли интуиции в математике). Но особое, "привиллегированное" место ему отведено, конечно, в творчестве художественном. Мы отнюдь не исказим природу процесса создания эстетического образа, если скажем, что этот процесс состоит из непрерывного ряда "решений", которые художник должен выносить, чтобы материализовать свой эстетический замысел. Эти решения, решения выбора эстетически оправданных форм, движений, красок, звуков, слов, всегда основываются на сложном сочетании того, что художник осознает, и того, что им как мотив решения осознается плохо или даже не осознается вовсе. Этот неосознаваемый мотив выбора присутствует, следовательно, в акте подлинно художественного творчества всегда, ибо если бы он вытеснялся и решение превращалось до конца в акт рациональный, ясно осознаваемый и логически аргументируемый, то этим подрывалось бы самое существо художественного процесса, нарушалась бы интимнейшая его психологическая структура и вместе с ней распадалась бы та сила проникновенного видения, та возможность постижения, "не разлагаемого на дискретное", которая составляет прерогативу и основу культурной значимости всякого подлинного искусства.

Устранив из акта художественного творчества опору на бессознательное (допустим на мгновение такую фантастическую возможность), мы тем самым это творчество полностью бы разрушили. С другой стороны, требование сведения процессов создания эстетического образа только к активности бессознательного, не раз провозглашавшееся как credo (мы об этом уже упоминали) на протяжении истории искусств, было возможным лишь в условиях полного непонимания того, что же это такое "бессознательное" - лишь в условиях отвлечения от двусторонних, прямых и обратных связей, неизбежно проявляющихся в системе "осознавамое - неосознаваемое", - и тем самым игнорирования одной из кардинальнейших психологических закономерностей, в соответстии с которой процесс формирования того, что не осознается, зависит от активности осознаваемого не в меньшей степени, чем возможности и функции последнего от скрытых особенностей бессознательного.

Итак. Художественное творчество детерминируется в какой-то своей части активностью бессознательного, и в этом смысле его корни уходят в "иррациональное". Оно развивается без того, чтобы движущие его силы, мотивы выбора (именно мотивы выбора, а не сам выбор!) при "художественных решениях", непрерывно производимых художником, были всегда доступны сознанию художника. Но зато они, эти силы, обеспечивают художнику возможность улавливания, возможность отражения в его произведениях отношений, столь сложно детерминированных, что на иных путях распознание этих отношений неосуществимо. Именно в этом основная сила искусства, объясняющая неизменность присутствия последнего в любой культуре, созданной человечеством на протяжении его исторического развития.

Художник, однако, вносит в процесс создания эстетического образа свое проникновенное видение, как мы уже говорили, свое эмоциональное отношение к изображаемому. Его видение в этой связи остается неизбежно глубоко субъективным, оно несет на себе отпечаток его личности и поэтому, как и любое другое выражение душевного склада индивида, может быть и консонирующим и диссонирующим с общественными эстетическими идеалами, может быть как прогрессивным и правдивым, так и реакционным и ложным. Опора на бессознательное обеспечивает художнику специфическую остроту видения, но истолкование, придаваемое им тому, что он видит, смысл, который он придает своим произведениям, определяются его личностью. Поэтому художественная правдивость произведений искусства отнюдь не гарантируется возможностями, создаваемыми опорой на бессознательное. Эта правдивость есть функция не особенностей психологического процесса создания эстетического обзора, а места, которое этот образ занимает, и роли, которую он выполняет в системе эстетических ценностей эпохи.

Только учитывая эти обстоятельства, можно, как нам представляется, методологически адекватно истолковать наличие иррационального в искусстве, понять невозможность отвлечения от этой иррациональности при рассмотрении психологического процесса формирования эстетического образа и одновременно неопределяемость этой иррациональностью общественной ценности созданного художником произведения искусства.

(2) Изложенным выше мы пытались подчеркнуть всю глубину связи процессов художественного творчества с активностью бессознательного. Мы отметили также, что к пониманию роли, которую в этом плане выполняет бессознательное, удалось приблизиться только после того, как была начата разработка более строгих психологических представлений о функциях бессознательного.

В советской литературе, как это хорошо известно, разработка концепции бессознательного на протяжении уже многих десятилетий связана с именем Д. Н. Узнадзе, с обоснованной этим мыслителем и его школой идеей психологической установки. Опираясь на теорию психологической установки, оказалось возможным внести в трудную область представлений о бессознательном дух объективности и экспе- риментализма и подчинить рассмотрение и истолкование этих представлений принципам и логике познавательного процесса в его строгом научном понимании. Мы не можем сейчас задерживаться на общей характеристике этого концептуального подхода, о ней по разным поводам уже шла речь во вступительных статьях к предшествующим тематическим разделам и мы еще вернемся к ней в заключительной статье монографии. Мы подчеркнем лишь две стороны представления о неосознаваемой психической деятельности, имеющие непосредственное отношение к идее психологической установки и выступающие особенно отчетливо, когда подвергается рассмотрению связь бессознательного с искусством.

Это, во-первых, возможность одновременного существования у художника ряда разно и даже противоречиво направленных неосознаваемых психологических установок - обстоятельство, отвлекаясь от которого бывает нередко невозможным понять ни генез, ни функциональную структуру созданного художником эстетического образа; во-вторых, возможность проявления бессознательного - в связи с различной природой психологических установок - на разных уровнях организации художественного творчества: как на наиболее высоких, на которых содержанием создаваемых эстетических образов является психическая деятельность человека во всей сложности ее индивидуальных и общественных проявлений, так и на более элементарных, на которых эстетическая ценность образа определяется его преимущественно физическими свойствами (геометрической структурой, цветовой тональностью и т. п.). Вовлеченность бессознательного в творческую активность, развиваемую на каждом из этих различных уровней, оказывается в значительной степени обусловленной полиморфностью психологических установок, их представленностью на всех уровнях иерархии психических состояний, от выражающих особенности личности до детерминируемых непосредственно физиологическими воздействиями.

Если мы не учтем эти две характерные особенности активности бессознательного, мы легко можем впасть в одностороннее и поэтому упрощенное понимание его проявлений. Остановимся сначала на первом из этих моментов.

На состоявшемся несколько лет назад во Франции симпозиуме, специально посвященном проблеме взаимоотношений искусства и психоанализа [6], затрагивались самые разные аспекты этой сложной темы. Один из них, вызвавший оживленную дискуссию, имел непосредственное отношение к обсуждаемым нами вопросам.

В сообщении Н. Дракулидеса "Творчество художника, подвергнутого психоанализу" был поставлен и очень прямолинейно решен вопрос, возвращающий нас к исходным представлениям Фрейда. Автор этого сообщения защищал тезис, по которому творчество художника стимулируется тягостными, выпавшими на его долю, переживаниями. Следуя за мыслью Стендаля "для искусства нужны люди немного меланхоличные и достаточно несчастные", Н. Дракулидес утверждает, что исследования биографий и творчества заставляют считать фрустрации и лишения всякого рода, особенно имеющие характер достаточно глубоких психических травм, действующими на талант художника как своего рода катализаторы, которые повышают потенциал дарований. Художественное творчество выступает при таком понимании как особая форма изживания психических конфликтов и приспособления к жизненным неудачам. Когда же травмирующие переживания сглаживаются или исчезают, ослабевает и стимул к творчеству. Пренебрегая немалыми опасностями, с которыми обычно сопряжены чрезмерно широкие обобщения, Н. Дракулидес не останавливается даже перед таким своеобразным социально-психическим обобщением, как: "искусство процветает среди народов менее счастливых" [6, 157].

Сформулировав это представление, Н. Дракулидес делает далее шаг, свидетельствующий о его приверженности к прямолинейным выводам, даже если последние толкают на путь весьма радикальных переоценок. Его мысль развивается так: раз фрустрация стимулирует творчество, все, что эту фрустрацию устраняет, ослабляет и творчество; поскольку же психоанализ или любой другой вид психотерапии является способом снятия фрустраций (*Мы сейчас, чтобы не уходить от основной линии развития мысли, полностью отвлекаемся от вопроса о терапевтической ценности психоанализа. Мы касались этой темы во вступительной статье к пятому тематическому разделу настоящей монографии*), его применение может иметь только отрицательные последствия для творческой активности художника, может эту активность только ослаблять или даже парализовать вовсе. Это свое понимание Н. Дракулидес подкрепляет ссылками на некоторые конкретные случаи снижения творческих потенций художников после того, как они подвергались психоаналитическому

лечению, и обобщает: "художник это человек, дезадаптированный к реальности, он находит в искусстве приспособительный modus vivendi; психоанализ восстанавливает его способность приспособляться к реальности, но тем самым дезадаптирует его к художественному творчеству" [6, 158].

Эта схема Н. Дракулидеса представляет интерес по нескольким признакам. Во-первых, потому, что она показывает, к каким неправильным заключениям может привести формализм логических выводов, отправляющихся от буквального истолкования, а не от подлинного смысла идеи, справедливой не вообще, а только иногда, при совпадении определенных, не так уж часто наблюдаемых обстоятельств. Во-вторых, потому, что реакция участников симпозиума, носившая характер резкого несогласия с утверждениями Н. Дракулидеса, показала, насколько серьезным является развитие, испытанное теорией психоанализа за последние десятилетия. Это развитие существенно отдалило психоаналитическую теорию от исходных представлений Фрейда, придало большую степень свободы, большую гибкость ее трактовкам, устранило или, во всяком случае, ослабило характеризовавший ее в прошлом догматизм.

Выступавшие по докладу Н. Дракулидеса указывали, что представление о художнике, созидающем потому, что он обездолен, это романтическая фантазия в духе представлений скорее XIX, чем XX века. Приводилось множество примеров - Веласкеса, Рубенса, Коро, Матисса, Клода, Монэ - художников, о которых в свое время говорилось, что они творят с такой же легкостью, с какой поют птицы. Указывалось на нередкие случаи, когда расцвет художественного дарования не устранялся, а, напротив, совпадал с периодом особого профессионального к семейного благополучия и душевного здоровья. Отмечалось - и это указание представляется в теоретическом плане особенно важным, - что снятие какой-то конкретной фрустрации отнюдь не приводит к ликвидации "всего" вытесненного, что бессознательное, в отличие от бочки Данаид, "всегда полно содержимым", которое может оказывать на художественное творчество как тормозящее, так и стимулирующее воздействие. Было сказано даже резкое слово о неэтичности ("скандальности") точки зрения, связывающей художественное творчество с психической травматизацией и обездоленностью, поскольку такое понимание заставляет видеть в игнорировании душевных запросов художника своего рода путь к созданию общественных ценностей и т. д.

Если обобщить теоретический подтекст всех этих высказываний, то из него отнюдь не следует отказ от известного психоаналитического представления о "сублимации". Принцип сублимации как таковой никем из участников дискуссии, насколько можно судить по опубликованным текстам, не отвергался. Однако - и это, по-видимому, было идеей, объединявшей оппонентов Н. Дракулидеса имплицитно, - возникает ли эффект сублимации, "изживание страдания в искусстве" или нет, зависит от множества сопутствующих моментов, от особенностей общей психологической ситуации, в которой происходит - или не происходит - отвлечение от тягостных переживаний путем сосредоточения на творчестве. Ошибка Н. Дракулидеса заключалась в свете этой критики не столько в самом факте увязывания фрустрации с творческим актом (отрицать возможность такой связи и значило бы отвергать самую основу идеи сублимации), сколько в представлении о неопосредованности, жесткости, неотвратимости этой связи и о ее значении как единственно стимулирующей творчество. Этой грубо упрощенной, механистической схеме было противопоставлено более широкое понимание, учитывающее сложность организации душевной жизни человека и невозможность прогноза особенностей ее течения при ориентации только на какую-то одну, пусть даже в принципе реальную, формирующую ее зависимость.

Мы обращаем внимание на этот последний подход потому, что он во многом приближается к представлению об организации душевной жизни, подсказываемому теорией психологической установки Д. Н. Узнадзе и уже давно звучащему в советской литературе. Когда Д. Н. Узнадзе выдвинул представление о психологических установках как о важнейшем элементе, как об основной функциональной единице психической деятельности человека, он никогда не мыслил, что эта деятельность может исчерпываться, даже на протяжении короткого мига, только какой-то одной установкой. Единичная установка может быть предметом анализа в специальном эксперименте, но в условиях внелабораторной действительности мы сталкиваемся всегда, имея дело с душевной жизнью человека, со сложными системами установок. Взаимоотношения этих установок, их преобразования и связи, их выражение в деятельности - вот та конкретная психологическая ткань, с которой мы прежде всего встречаемся, когда предпринимаем анализ переживаний, имеющих для человека какую-то степень эмоциональной значимости.

Отсюда сложность детерминации любого человеческого поступка, невозможность, как правило, ограничивать эту детерминацию только одним каким-то мотивом или тенденцией, даже если они характеризуются высокой аффективной напряженностью. И отсюда же невозможность мыслить отношения между установками как систему ригидную, жестко в функциональном отношении предопределенную, а сдвиги, происходящие в этой системе, как заранее предвидимые. Моделью душевной жизни человека подобные ригидные системы ни при каких условиях служить не могут.

В свете такого понимания слабые стороны схемы Н. Дракулидеса очевидны. Фрустрация в принципе может, конечно, стимулировать творчество. Эта "правда" выступила, кстати, как "правда искусства" в художественной литературе задолго, за века, до того, как она приобрела в концепции сублимации форму "правды науки". Вспомним хотя бы некоторые из сонетов о неразделенной любви Петрарки, известный древнегреческий миф о помощи, оказанной отвергнутому юноше Афродитой, или о том, как толкует Р. Роллан роль, которую сыграло в творчестве Л. Бетховена его безответное чувство к Джульетте Гвичарди. Но будет ли эта фрустрация стимулировать творчество в конкретном случае, это зависит от множества привходящих обстоятельств и поэтому чаще всего непредсказуемо. Мы находимся здесь в области т н. "сверхсложных" систем, в отношении которых прогнозы только вероятностны, но никак не заранее однозначно предопределены.

Все эти обстоятельства имеют для правильного понимания бессознательного в душевной жизни человека принципиальное значение. Бессознательное - очень важный фактор этой жизни, но работает оно в рамках "сверхсложной" системы, образуемой соотношением симультанно существующих осознаваемых и неосознаваемых психологических установок. Это обстоятельство относится к проявлениям бессознательного в условиях любой целенаправленной деятельности. Но особенно с ним приходится считаться при попытках исследования роли и места бессознательного в условиях художественного творчества. Здесь эффекты бессознательного выступают почти всегда как выражение в высшей степени сложного соотношения преформированных неосознаваемых психологических установок художника. Именно поэтому любой художественный акт, связанный даже с каким-то частным, узким содержанием, несет на себе обычно отпечаток всего душевного строя, в пределе всей личности художника, отражающихся в нем более подчас зримо, чем они отражаются в конкретном поступке или высказывании.

Поэтому, отметив неизменное присутствие бессознательного в художественном творчестве, мы в качестве следующего шага должны подчеркнуть его системный характер. Безусловной ошибкой является представлять бессознательное как некий изолированный, самостоятельно существующий фактор, как "the unconscious" (мы заимствуем этот образ у Д. Мармора - см. его статью в предшествующем тематическом разделе настоящей монографии, - умело использующего преимущества, создаваемые наличием в английском языке артикля "the"). Существует "the attitude", "the set", а за термином "бессознательное" "скрыты лишь системные, глобальные эффекты, обуславливаемые определенным соотношением неосознаваемых психологических установок, к выявлению которых только и может привести, в конечном счете, анализ бессознательного в искусстве.

Думается нам, что с позиций только такого общего понимания можно освещать адекватно проблему роли бессознательного в художественном творчестве, не сбиваясь ни на ложный, мертвящий эту проблему "сверхрационализм", ни на характерную для многих зарубежных направлений в эстетике апологетику бессознательного как "самостоятельного начала", т. е. на позиции, свидетельствующие лишь о непонимании подлинной природы неосознаваемой психической деятельности.

(3) Мы хотели бы остановиться еще на одном общем моменте, подсказываемом теорией психологической установки и помогающем: понять своеобразие и разнохарактерность проявлений бессознательного в искусстве.

Психологические установки могут возникать, как мы об этом уже упоминали, в условиях самых разных форм деятельности человека - от наиболее сложных, являющихся выражением его эмоций, стремлений, идеалов фантазий, до имеющих характер непосредственных реакций на физические сигналы. Соответственно этому и бессознательное может проявляться на разных уровнях художественного творчества. Выше мы пытались проследить эти проявления в их сложной форме. Сейчас остановимся на том, как бессознательное выступает при обращении художника к миру элементарных пространственных структур.

Наличие при зрительном восприятии подобных структур эстетического аспекта не вызывает сомнений. При отсутствии такого аспекта вся беспредельная область украшений типа орнамента, цветовой мозаики, архитектуры бессюжетных геометрических форм не могла бы, очевидно, существовать. Не требует доказательств и неосознаваемость факторов, под влиянием которых восприятие подобных образов приобретает эстетическую тональность: мы воспринимаем определенные формы или цвета как более привлекательные, но логически обосновать это предпочтение можно далеко не всегда ("нравится больше, а почему, не объяснишь"). В результате экспериментальных исследований последних лет кое-что, однако, в отношении факторов, порождающих подобные эстетические эффекты, стало более ясным.

Примером подобных исследований могут служить хотя бы весьма интересные опыты Д. Берлайна, посвященные анализу эстетического воздействия различных геометрических форм и их неорганизованных в структурированных комбинаций [5]. Д. Берлайну удалось обнаружить в этих экспериментах, что именно в соотношении геометрических образов стимулирует эстетические переживания.

Эти переживания возникают с тесной связи с психологическими установками, ориентирующими процесс восприятия на поиск определенной внутренней упорядоченности, определенного "закона организации" образов, предъявляемых для эстетической оценки. Эстетическое удовлетворение возникает, когда эта упорядоченность улавливается. Выявляются эти соотношения в условиях тахистоскопического предъявления образов на протяжении микроинтервалов времени.

Подобные эксперименты демонстрируют связь эстетических переживаний с установками, направленными на неосознаваемую переработку информации. Другая линия исследований, анализирующих отношения между неосознаваемыми психическими процессами и искусством, связана с проблемой т. н. подпороговых зрительных ощущений, разрабатывавшейся в Советском Союзе Б. Хачапуридзе и др. За рубежом Т. Фишер предъявлял тахистоскопически изображения на протяжении столь коротких интервалов времени, что они осознанно испытуемыми не воспринимались. Когда, однако, затем этим же испытуемым предоставлялась возможность рисовать в порядке свободного фантазирования тем, на их рисунках нередко появлялись те же образы, которые им предъявлялись ранее без того, чтобы они их осознанно воспринимали (*Мы заимствуем описание этого весьма интересного опыта из статьи А. Эренцвайга "Новый психоаналитический подход к эстетике", помещенной в упомянутом выше сборнике "Entretiens sur l'art et la psychanalyse" [6]. Возможностью ознакомиться с этими работами мы обязаны С. Леклеру (Франция), которому мы выражаем в этой связи сердечную благодарность*).

Эти и другие сходные факты заставляют некоторых исследователей (Р. Кли и др.) связывать творчество художников, их специфическое видение с различными неосознаваемыми ими особенностями их зрительных образов, их "внутреннего оптического мира" (умение освобождаться от обязательной для обычного зрения дифференциации зрительного образа на "фигуру" и "фон" и возможность видеть поэтому, например, в известном двойном профиле Кьюби одновременно два лица; умение неосознаваемым образом улавливать соотношения т. н. "золотого сечения" и подчинять им для достижения эстетического эффекта пропорции в архитектурных ансамблях и т. п.).

В литературе представлены и другие факты, говорящие об особой роли, которую играют в возникновении эстетических эффектов относительно простые, неосознаваемые формы психической деятельности, относящиеся зачастую скорее даже к области психофизиологии, чем психологии. Если же мы еще раз вспомним, какое влияние оказывают на формирование художественных образов неосознаваемые влечения, вытесненные мотивы поведения, "безотчетные" переживания художника, то вряд ли покажется преувеличенным утверждение, что искусство буквально пронизано активностью бессознательного на всех своих уровнях, от наиболее элементарных до наиболее высоких.

Надо только - скажем в заключение - не впадать в ошибочные представления о природе бессознательного и понимать его подлинную роль в художественном творчестве: роль неоспоримого участника в процесса создания произведений искусства, но менее всего фактора, единственно определяющего смысл и эстетическую ценность этих произведений. Смысл эстетического образа - то, о чем этот образ "говорит", то что этот образ "утверждает", - нерасторжимо связан с личностью художника, включающей его сознание, его бессознательное, мир его ценностей во всей их психологической сложности. Смысл произведения искусства выражается личностью его создателя, он именно этой личностью определяется, даже если активность бессознательного сыграла в становлении произведения весьма существенную роль.

Иное истолкование роли бессознательного в искусстве несовместимо с его современным научным пониманием и может только тормозить и без того трудный процесс постепенного углубления теории художественного творчества, все более отчетливо происходящий в наши дни на основе ее сближения с идеей неосознаваемой психической деятельности.

(4) В настоящем тематическом разделе представлены статьи, углубляющие некоторые из высказанных выше общих представлений.

Раздел открывается обстоятельными статьями Н. Я. Джинджихашвили, Т. А. Ломидзе и А. Г. Васадзе, в которых представлены некоторые принципиальные вопросы общей теории искусства и специфики художественной деятельности и художественного чувства как переживаний определенной неосознаваемой психологической установки; в статье П. В. Симонова излагаются представления о природе сознания и бессознательного в их непосредственной связи с концепцией "сверхсознания" в понимании К. С. Станиславского. Особый интерес вызывает идея автора, по которой процесс формирования принципиально новых гипотез не является функцией сознания, за последним сохраняется лишь функция отбора гипотез, отражающих реальную действительность; Р. Г. Каралашвили анализирует функцию персонажа как "фигуры" бессознательного в творчестве Германа Гессе; В. В. Ивашевой прослеживается проблема отношений сознания и бессознательного

психического, как она представлена на материале зарубежной художественной литературы - психологического романа и новеллы 50-х - 60-х гг. XX века; исследование литературного произведения (романа Л. Н. Толстого "Война и мир") с позиции представлений о важной роли в художественном творчестве процессов вытеснения, идентификации, проекции (в их традиционном психоаналитическом понимании) представлено в статье Л. И. Слитинской. В примечании редколлегии к этой статье уточняется "право" автора художественного произведения на идентификации и биографическое значение последних; Т. А. Флоренской в статье "Катарсис как осознание" дается на материале трагедии Софокла "Эдип-царь" противопоставление катарсиса как осознания, как "расширения границ индивидуального сознания", психоаналитическому толкованию катарсиса.

Статья Г. Н. Кечхуашвили "Музыка и фиксированная установка" освещает вопрос о субъективных факторах эстетической оценки музыкальных произведений. Автор экспериментально показывает, что отрицательное эстетическое восприятие теми, кто музыкально воспитан на ладотональной музыке XVII-XIX веков, музыки модернистской обусловлено существованием у этих лиц специфических фиксированных психологических установок (в понимании Д. Н. Узнадзе). Закономерности музыкального творчества касаются также статьи А. П. Милки о психологических предпосылках функциональности в музыке, М. Г. Арановского о двух функциях бессознательного в творческом процессе композитора, А. Н. Климовицкого относительно функции стилевой модели в творчестве Бетховена и Л. И. Долидзе относительно специфики проявления национального в творчестве Стравинского в свете общей теории сознания и бессознательного психического. Г. В. Ворониным анализируется связь между современной музыкальной системой и общим характером неосознаваемой человеком организации биологических процессов в его организме ("циклической системой биологических процессов"). В работе Д. И. Ковда приведен материал, подтверждающий, что художественное творчество во многом определяется неосознаваемыми психологическими установками и особенностями аффективного отношения художника к действительности.

Далее следуют сообщения зарубежных и советских авторов, ставящих общие проблемы психологии искусства: А. Делюви (Франция) - об отношениях, существующих, в свете идей Ж. Лакана, между функциями бессознательного, речью и направлением сюрреализма; Э. Рудинеско (Франция) - о связи с активностью бессознательного определенных форм художественного творчества и художественных оценок (автором оспариваются традиционные способы использования психоанализа в теории художественного творчества и предлагается новый подход, основанный на дешифровках и сложных интерпретациях художественных переживаний); М. Гуревич (Франция) - о постановке проблемы бессознательного в античной литературе. Последняя из этих статей выделяется богатством тонко проанализированного материала (классических древнегреческих литературных источников), положенного в основу ее выводов. Завершают этот раздел статьи Г. С. Буачидзе и Э. А. Вачнадзе, ставящие интересные, еще мало исследованные вопросы о проявлениях бессознательного в условиях языкового перевода (поэтических произведений) и о сходстве, существующем между художественным "творчеством" больных и декадентским искусством.

Как видно уже из одного этого перечисления тем сообщений, материал шестого раздела содержит работы оригинальной направленности, расширяющие обычно используемые методические приемы анализа бессознательного.

120. К вопросу о психологической необходимости искусства. Н. Я. Джинджихашвили

Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии

"Искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни" [6, 33]. Эгу заключительную мысль из известного исследования А. Выготского мы хотели бы представить как своеобразный итог длительного изучения искусства в качестве инвариантной системы психических процессов и, в частности, как современную модификацию идей о существовании психологических установок на искусство, идей о потребности катарсиса.

Не отвлекаясь на критико-теоретическое осмысление истории этих идей, отметим, что, по нашим наблюдениям, их эволюция носила характер социологизации и расширения реальных границ термина "очищение" (*Если пифагорейцы вкладывали в катарсис исключительно физиологический смысл, то со временем этот термин понимается шире: тотальное очищение духовного от телесного (Платон), психофизическое очищение (Аристотель), моральное очищение (Лессинг), гедонистическое очищение (Э. Мюллер), эстетическое очищение (Э. Целлер), религиозно-мистическое очищение (К. Целль)*). Потребность катарсиса, сразу же воспринятая как основной момент психологических установок на искусство, тем не менее, понималась сперва как реакция на локально значимую человеческую способность реального изживания эффектов посредством их стимулирования.

Иными словами, обращалось внимание на то, что, несмотря на иллюзорность ситуации, заявленной в художественном произведении, переживания, возбуждаемые ею, абсолютно реальны. Отсюда заключалось, что искусство является средоточием "биологических процессов" общественной личности и поэтому обладает способностью нейтрализации присущих человеку "неудобных" чувств. "Неудобность" этих чувств определялась, однако, не только с психофизиологической точки зрения (страх), но и с морально-общественной (злоба, зависть). Разумеется, это придавало ранним учениям о катарсисе социальный смысл, но лишь в той мере, в какой речь шла об изживании "негативных" общественно-значимых переживаний. Кстати, отголоски такого представления о катарсической функции искусства можно услышать сегодня в тех буржуазных эстетико-социологических концепциях, которые пытаются объявить искусство панацеей от всех психических уродств социальной личности и предлагают расценивать художественную действительность как "лобное место" уничтожения "внутренне присущих" человеку низменных стремлений и антисоциальных эффектов. Можно сказать, что традиция теоретического оправдания многоликого искусства ужасов восходит именно к раннему варианту осмысления потребности катарсиса, к такому - одностороннему - ее толкованию, которое позже наиболее объемлюще было сформулировано "эстопсихологом" Э. Гэннекеном: "Эстетические эмоции способны, накопляясь и повторяясь, привести к существенным практическим результатам. Эти результаты обусловлены и общим свойством эстетической эмоции и частными свойствами каждой из этих эмоций. Многократные упражнения какой-нибудь определенной группы чувств под влиянием вымысла, нереальных умонастроений и вообще причин, которые не могут вызвать действия, отучая человека от активных проявлений, несомненно ослабляют и общее свойство реальных эмоций - стремление их выразиться действием". [7, 110-111]. Ограничение понятия катарсиса лишь т. н. "очищающим" смыслом приводило к существенному обеднению содержания общей реальной человеческой потребности катарсиса, и отсюда - к односторонне-тенденциозному пониманию искусства как средства социальной психотерапии (*Кстати, т. н. артотерапия (лечение искусством) считается сегодня одним из эффективных психотерапевтических методов лечения специфических неврозов и в комплексе с другими методами расценивается как надежное средство при лечении почти всех функционально-нервных отклонений. Широкое распространение получает сегодня и изучение художественной деятельности больных как средства диагностирования душевных заболеваний [См. об этом: 5, 22]*).

Позже, по мере исторически обусловленной активизации интереса к сугубо социальным моментам человеческой психики, представление о границах катарсиса было значительно расширено за счет перенесения акцента с "очищения" на "восполнение", "компенсацию". Обращалось уже внимание на то, что психологическая потребность в искусстве во многом определяется его способностью "отрабатывать переживанием" такие чувства, которые не проявились (или практически не могут проявиться) в повседневной жизни. Как известно, немало в этом направлении сделал З. Фрейд. Предпринятая им социологизация потребности катарсиса выразилась в том, что эстетическое изживание неизживаемых в реальности "величайших страстей" он осмысливал как важнейший фактор общественного существования. Потребность катарсиса он воспринимал как социально значимую потребность компенсации, обусловленную метафизическим противостоянием принципа реальности принципу удовольствия, и именно в искусстве усматривал средство их иллюзорного применения [20, 87-88]. Несмотря на научную объективность ряда положений его теории психоанализа (*В нашей литературе усиливается традиция сопротивления вульгарной критике психоанализа. Немало сделано тут, в частности, грузинскими психологами; они предприняли ряд успешных попыток научного осмысления тех объективно существующих проблем, на которые впервые обратил внимание З. Фрейд. Первый шаг в этом направлении сделал, как известно, Д. Н. Узнадзе. В последние годы, однако, наметился новый этап в развитии этой традиции. Мы имеем в виду тенденцию расширения и углубления "психоаналитической" проблематики. Кажется, можно даже считать, что процесс "наращивания" частных истин о природе человеческой психики обрел к нынешнему дню такую степень концептуальной оформленности, которая позволяет предпринимать непосредственное фронтально-конкретизированное обследование "психических структур" всех форм духовного творчества. В этом смысле следует отметить работу А. Е. Шерозия "К проблеме сознания и бессознательного психического". Применительно к нашим интересам ее значение мы усматриваем и в следующем. Если до сих пор вопросы психологии искусства, как правило, насильственно обособлялись, если подобный подход дал немало частных истин, но мало принципиальных положений, то автор преодолевает традицию абсолютизирования специфики этих вопросов и органически интегрирует их в объемной целостности той проблемы, которая вынесена им в заголовок монографии. Исходя из того, что сфера человеческой психики сводится к единству сознания и бессознательного психического, руководствуясь "биномной системой отношений" этих начал [21, 512], А. Е. Шерозия в результате своеобразного аналитического опосредования предлагает, наряду с иными, два важных, на наш взгляд, и обоснованных вывода: а) "Для художника... главное - создать произведение, максимально удовлетворяющее его собственную потребность в эстетическом наслаждении" [21, 426]. б) "Желаемая действительность-вот куда ведут художника его "интимные установки" [21, 435], причем установку, по его мнению, следует понимать как "принцип саморегуляции и уравновешения "человека-системы" [21, 348]*), сразу же обратили на себя внимание два ее существеннейших недостатка. Первый из них относится к общемировоззренческой позиции Фрейда, второй - к его эстетической концепции.

Во-первых, хотя Фрейд, с одной стороны, социологизировал потребность катарсиса как потребность компенсации, как потребность восполнения "недостающего" в реальном существовании социального индивида или общества в целом, с другой стороны, он резко ограничил ее рамки и фактически "биологизировал" ее как потребность эротической компенсации. Сводя принцип удовольствия к принципу биологического, сексуального наслаждения, разрыв между ним и принципом реальности Фрейд усматривал лишь в эротической неполноценности реального человеческого существования.

Во-вторых же, исходя из схематизированно-метафизического понимания жизни как вечного противоборства двух этих принципов, он определял искусство только как орудие компенсации, только как иллюзорное, обманчивое средство восполнения социального бытия. Эту идею следует рассматривать в русле той традиции буржуазной эстетики, которая сводится к ограничению познавательно-преобразовательной способности искусства, гипертрофированному преувеличению его мифологизирующей силы и находит свое четкое обозначение в следующей ницшеанской формуле: "Искусство исходит из двух источников: 1. невинным способом подвергать себя обману; 2. невинным способом быть подчиненным силе" [14, 3421.

В марксистской литературе социологизация потребности катарсиса должна принять характер коренного - с диалектически-материалистических позиций - переосмысления предложенного Фрейдом аспекта изучения человеческой психики. В частности, А. Выготский отметил: фрейдовский "пансексуализм совершенно необоснован, в особенности тогда, когда он применяется к искусству" [6, 107]. Потребность катарсиса, фактически считает он, следует по примеру ' Фрейда социологически обобщить как потребность компенсации, но при этом следует "ввести в круг своего исследования всю человеческую жизнь, а не только ее первичные и схематические конфликты" [6, 113].

Фрейд трактовал психологическую потребность катарсиса как общую психическую потребность компенсации. Он расширил значение феномена катарсиса за счет его социологического осмысления. Но, изучая фактически соотнесенность реальности и сознания, Фрейд вместо категории "сознания" настойчиво употребляет словосочетание "принцип удовольствия". Сам по себе этот факт явился отражением допущенной им определяющей методологической ошибки: смешение между собой "биологических и социальных процессов личности в обществе", подтасовки одних другими. В результате этой исходной ошибки Фрейд заключал, что все - в том числе сугубо социальные - конфликты можно схематизировать как первично-биологические и стало быть, можно разрешать их на иллюзорном уровне; т. е. любые недостатки реального бытия "снимаются" не с помощью недействительных по содержанию, но действительных по воздействию средств компенсации биологической неустроенности жизни.

Между тем, если различать биологическое и социальное, то следует прийти не к тому выводу, что второе есть лишь опосредованная проекция первого и, стало быть, полностью коррелируется им, но к такой составной мысли.

Социальное не есть биологическое. Рассматривая их в единстве (см. начальную фразу статьи), необходимо, однако, иметь в виду лишь аналогичность структуры процесса социального бытия структуре процесса биологического существования. Подобно тому, как последнее сводится к уравновешиванию организма со средой, социальная жизнь является таким же уравновешиванием общественного человека с окружающим миром во всей полноте его природно-общественных процессов. Поскольку же и социальное и биологическое уравновешивание направляются сознанием (*К. Маркс говорил: "Человек отличается от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же - что его инстинкт осознан" [1, 30]*), то можно заключить, что деятельность сознания направлена на его уравновешивание с бытием.

Причем - и это весьма существенно-уравновешивание подразумевает не только "возгонку" сознания, не только его сублимацию, не только его корреляцию с "принципом удовольствия", принципом прилаженности к реальному, но и обратное: изменение, преобразование самого бытия, самой реальности. "В общественном состоянии, - писал К. Маркс, - ...деятельность и страдание (бытие и его осознание, его "обработка переживанием" - Н. Д.) утрачивают свое противопоставление друг другу, а тем самым и свое бытие в качестве этих противоположностей" [2, 594]. Уравновешивание бытия и сознания принимает форму взаимного приспособления, и потому психологическую потребность катарсиса следует понимать как общую психическую потребность человека в выравнивании своего сознания с окружающим миром.

Эти последние соображения указывают, кстати, и на предпочтительность термина "выравнивание" утвердившемуся в научном обиходе понятию "компенсация", которое в послефрейдовской философско-психологической литературе (в том числе и нашей - см., напр.: [13, 68; 16, 26-28]), воспринимается чаще всего как односторонне направленное действие "восполнения": восполнение "неудовлетворительной" (с точки зрения индивидуального или общественного сознания) реальности только за счет активности сознания (*З. Фрейд*

утверждал, что художник "резко отделяет" созданный им мир от реальности, что вместе со своими "неудовлетворенными желаниями он уходит от действительности и переносит весь свой интерес... в создание желаемого предмета в фантазии" [17, 189, 198]. В отличие от философско-психологической. общемедицинская литература использует этот термин (компенсация) в смысле собственно выравнивания: выравнивание болезненных расстройств путем развития соответствующих приспособлений)... Возвращаясь же к фабуле наших рассуждений, отметим: термин "выравнивание" обозначает более широкое (по сравнению с "компенсацией") и диалектическое взаимодействие сознания и реальности, что конкретизирует, по существу, дальнейшее расширение, дальнейшую социологизацию представлении о потребности катарсиса.

Психологическую потребность катарсиса следует расценивать в качестве важнейшего составного элемента сущностной установки человеческого сознания на выравнивание с бытием, элемента, так сказать, балансорной установки сознания. Мы исходим из того, что процесс выравнивания сознания и бытия складывается из двух как бы самостоятельных этапов. Первый из них выражается в практическом преобразовании мира (первичное преобразование), а второй - в психически-идеальном (вторичное преобразование). Неверно, однако, думать, будто вторичность психически-идеального преобразования мира определяется его сравнительно меньшей важностью в деле выравнивания сознания с бытием: понятия "первичность" и "вторичность" носят тут условно-терминологическую окраску (*Физиологи свидетельствуют, что при взаимодействии организма со средой одинаково значимы и сущностны оба вида реакций организма: реакция удовлетворения материальных и духовных потребностей организма (непосредственно-практическое взаимодействие со средой) и реакция, целью которой является поддержание работы нервной системы на возможно оптимальном уровне (опосредованное взаимодействие со средой). (См. об этом: [4, 105])*).

В свою очередь, т. н. вторичное преобразование мира, вторичное действие балансорной установки сознания тоже можно условно расчленить на два вида: пассивный и активный.

Под пассивной формой мы подразумеваем сугубо галлюцинаторное выравнивание, галлюцинаторное удовлетворение запросов человеческой психики. Пассивное выравнивание выражается в замещении реальности грезой, галлюцинацией и обусловлено состоянием эмоционального дефицита или, как выражаются психологи, сенсорной депривацией [3, 8].

Активная же форма вторичного выравнивания дополнительно включает в себя эффект "отрезвления", "прорыва" сквозь галлюцинацию, "очищения от иллюзии", эффект катарсического возвращения сознания к реальности. Этот эффект позволяет ощутить и фиксировать момент преобразования реальности. Его активность выражается в организующем действии сознания: сознание организует поведение человека в реальности, т. е. направлено на ее преобразование, на выравнивание действительности с собой; оно выступает тут как "установка вперед", как "требование, которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней" [6, 322].

Эта активная форма выравнивания и актуализировалась в психологической потребности катарсиса, как мы ее понимаем. Вот, собственно, чем определяется сущностно-важное место потребности катарсиса в структуре балансорной установки сознания. Между тем ее удовлетворение обеспечивается именно в искусстве, которое в отличие, скажем, от чисто игровой деятельности не ограничивается устранением эмоционального дефицита, не ограничивается галлюцинаторной "отработкой чувств", но в конечном счете всегда направлено на преобразование самой реальности (*Кстати, именно этот момент определяет односторонность кантовско-шиллеровского отношения к искусству только лишь как к незаинтересованной, игровой деятельности*). Жизненно-преобразующая направленность искусства обусловлена тем, что оно является такой формой галлюцинаторной "отработки чувств", которая позволяет удержать, "семантически зафиксировать" реальный образ о травного, выравниваемого в сознании объекта, т. е. позволяет отразить, познать, оценить саму действительность.

В то же самое время не следует забывать, что этот процесс носит характер галлюцинаторный и провоцируется эмоциональным дефицитом психической жизни. Иными словами, не следует забывать, что существование художественной деятельности обусловлено также потребностью в той форме балансорного действия сознания, которую мы назвали пассивной. Сама по себе эта потребность неизбывна и непреходяща. Напоминаем, что она сводится к устранению чувственного дефицита. Отталкиваясь от этого, некоторые исследователи полагают, что со временем, с прогрессом социальных условий жизни, чувственный дефицит будет настойчиво сокращаться. Их логика такова: недостаток информации, ее монотонность, ее заданность в процессе основной - трудовой - деятельности человека вызывает чувство скуки. Это состояние рождает потребность в различных формах активизации чувств, одной из которых является искусство. Но с развитием техники, с совершенствованием социальных норм человек постепенно всю "скучную" работу будет передавать машинам и тем самым устранит источник скуки. Это приведет-де к резкому уменьшению значения искусства как компенсаторно-развлекательного аппарата, как средства устранения эмоционального дефицита. Искусство-де, если и не погибнет в этих условиях,

то сосредоточит свою энергию на развитии "позитивных функций - на все более глубоком отражении и преобразовании действительности" [4, 106].

Это - ошибочная точка зрения во многих отношениях. Здесь мы ограничимся лишь следующим замечанием. Ощущение или неощущение чувственного дефицита зависит не столько от интенсивности или даже ассортиментного богатства переживаний, сколько от, их происхождения. Переживания, если они утилитарны, если возникли в рабочем порядке, если обусловлены защитной реакцией организма, - не воспринимаются, не фиксируются, не осознаются в качестве таковых. Эти переживания (назовем их "рабочими") не переживаются, и, потому в реальной жизни всегда ощущается чувственный дефицит. Если же переживания разыграны, незаинтересованы, свободны, т. е. если осознаются как искусственные, - они переживаются как именно переживания. Назовем их "развлекательными" и отметим, что таковы переживания, доставляемые художественной деятельностью. Отсюда следует вывод, что "упразднение" (фактически неосуществимое, умозрительно допущенное) компенсаторно-развлекательной способности искусства, перенесение переживаний в быт, где они не переживаются, вызывает у человека острый чувственный дефицит.

Стало быть: поскольку установка на преодоление этого дефицита сущности а, - жизненно важно и бытие искусства, которое невозможно лишить его компенсаторно-развлекательного значения, значения средства галлюцинаторного удовлетворения потребностей психики. Иными словами, нельзя не видеть в искусстве средства гармонизации психофизических (биологических, как выражался А. Выготский) процессов человеческой жизни. Вот почему прав З. Фрейд, когда утверждает, что сила искусства заключается в способности "представлять собой суррогат удовлетворения вместо самых древних... отказов во имя культуры" [19, 16]. Вот почему, с другой стороны, неправы те, кто считает эту способность искусства рудиментарной, "докультурной" и, стало быть, преходящей установкой сознания [18, 24].

Потребность в катарсисе, актуализировавшаяся как потребность искусства основана именно на осознании иллюзорности выравниваемых чувств. В повседневной жизни чувство страха, например, не приносит никакого удовольствия, но в искусстве, осознавая "сделанность" этого чувства, человек наслаждается им. В свою очередь, именно это обстоятельство - осознание момента выравнивания, момента иллюзорности "ситуации" - обусловливает "прорыв" галлюцинации и определяет искусство как активное средство гармонизации социальных процессов жизни человека в мире. Вот почему, кстати, принципиально ошибочен конечный вывод фрейдистской философии искусства, согласно которому искусство остается всего лишь иллюзией и "никогда не стремится вторгнуться в сферу действительности" [23, 223]. Вот почему неверна и цитированная выше идея Ф. Ницше о "невинности искусства".

Будучи иллюзией, искусство, тем не менее, активизирует реальную социальную жизнь человека. Здесь имеется в виду не способность искусства отражать мир и, обнаруживая его несовершенство, "вовлечь" человека в него, "сделать ответственным за него" (*Так понимает искусство Ж.-П. Сартр: "Что касается меня, читателя, то воссоздание и поддержание мира несправедливости не может не сделать меня ответственным за него. Мастерство автора в том, чтобы вынудить меня самого воссоздать им созданное, то есть скомпрометировать меня. Таким образом мы оба несем ответственность за него" [25, 33]*), не способность искусства создавать образы т. н. "потребного будущего", то есть восполнить нынешний день недостающими с завтрашней точки зрения "элементами" и тем самым стимулировать социальную активность человека в этом направлении и т. д. Дело не в этих - социологических - проявлениях, которые заслуживают отдельного разговора. Обосновывая психологическую необходимость искусства, следует говорить о другом.

Мир, представленный художественным произведением - добровольный мир, рожденный человеческим произволом. Повторяет ли он нынешний мир, воссоздает ли прошлый или предвосхищает будущий, - он существует лишь как допущение нашей собственной воли. Реальный мир человеку задан и пребывает независимо от его воли, тогда как художественная действительность полностью обусловлена нашим желанием: в нашей воле создавать или не создавать (воспринимать или не воспринимать) ее. Этот факт сообщает чувство свободы от того, что создано не нами; больше того: ощущение власти над ним (*Рассуждая от имени читателя, Ж.-П. Сартр говорит вполне справедливо: "Я осознаю, что в любое мгновение волен протрезвиться (перестать читать), но я этого не желаю, ибо воспринимаю чтение как свободную мечту. Вот почему все те переживания, которые рождаются у меня на почве этого восприятия, являются как бы особыми модуляциями моей свободы" [25, 33]*). Мы ощущаем себя "делателями" мира; по собственной воле мы создаем мир. Правда, это лишь фикция, иллюзия, но поскольку эта иллюзорная ситуация переживается, как известно, в качестве абсолютно реальной, развивается вполне реально и наша творческая активность, более раскованное, более активное, более критическое отношение к действительному миру. Выразимся иначе. Мир существует независимо от человека. Это осознается им как дефицит активности его воли. Устранение этого дефицита (выравнивание сознания и реальности) осуществляется за счет сотворения "двойника" объективного мира. Процесс сотворения переживается реально, что "узаконивает" активность человеческой воли и распространяет ее непосредственно на действительность (*Хотя З. Фрейд уверял в*

обособленности искусства от жизненной сферы, реальный вклад его учения психоанализа в понимание художественной деятельности следует усматривать именно в том, что эта деятельность "по своему существу есть превращение нашего бессознательного в некие социальные формы, т. е. имеющие какой-то общегтзенный смысл и назначение формы поведения" [6, 107]).

Кстати, это обстоятельство находит весьма интересное выражение в самом искусстве. Его историческое существование отмечено параллельным развитием двух как бы обособленных линий: линия натуралистического воссоздания жизни (т. е. комплекс мумии) и линия ее схематического преображения (комплекс схемы, воплощающейся в создании абстрактных форм жизни - орнамент и др.). Можно насчитать огромное количество вариантов и переплетения и взаимопроникновения, но, тем не менее, каждая из них легко различима. Нельзя ли эту особенность художественного развития общества рассматривать как своеобразное выражение указанного обстоятельства? Нельзя ли рассматривать комплекс мумии в русле психологически обусловленного стремления к сотворению "двойника" жизни, тогда как т. н. схематическую линию считать выражением "узаконенной" творческой активности человека, стремления ее распространиться за пределы существующих жизненных форм?..

Тем не менее наивно считать, будто предназначение искусства и заключается полностью в мобилизации человеческой энергии для реального и "сиюминутного" вмешательства в процесс преобразования мира. Как логический, так и генетический анализ убеждает в способности художественной деятельности выравнивать человеческое сознание с миром, т. е. гармонизировать социальные процессы личности в обществе также и сугубо символически, причем этот момент более непосредственно связан с вопросом психологической "оправданности" искусства. Вряд ли стоит специально доказывать, что исторически искусство зародилось и складывалось не только как "репетиционная" деятельность, но одновременно и как "самостийная". Смысл искусства определялся не только аккумуляцией сил, необходимых для освоения "грубого мира". Не только даже психологической подготовкой к этому процессу освоения. Искусство само снимало "отчужденность" природы. Наскальные изображения охотничьих "сюжетов" не только предвосхищали соответствующее реальное действие, т. е. реальное освоение мира, - они сами по себе выравнивали с ним сознание человека. Образ человеколицего солнца конкретизирует не только интерес к непонятному, отчужденному от человека объекту, не только стремление к его объективному познанию, но и "свершившееся" освоение этого объекта, его выравнивание с конкретными, сиюминутными возможностями сознания. И хотя это выравнивание имеет сугубо символический характер, оно, повторяем, обретает в процессе переживания реальный смысл.

Все это так, но сегодня важнее ответить на такой вопрос: является ли символическая функция искусства сущностной? Если поначалу существование искусства психологически "оправдывалось" также и его способностью символического выравнивания человека с миром, то сохраняется ли со временем потребность в нем? Является ли т. к. символический момент логически обусловленным? Не является ли он исторически преходящим в структуре генеральных психологических установок на искусство?

При необходимости можно было бы показать, что история теоретического осмысления искусства характеризуется постепенным обострением интереса к названному вопросу, причем это обострение идет параллельно развитию объективно-познавательных возможностей человека. Что касается нынешнего момента, нынешней эпохи триумфального прогресса науки, эпохи "радикальной эволюции" общества, то в целом вопрос предлагается воспринимать как решенный. Именно так, вероятно, и можно расценивать отсутствие серьезного противодействия идее окончательного изживания "символического" значения искусства, которая как у нас, так и за рубежом утверждается в разных вариантах (*В нашей литературе утверждение этой идеи осуществляется фактически в русле принижения или даже полного отрицания компенсаторного значения искусства [16, 26-27]. Тем большее позитивное значение обретают те последние работы советских эстетиков, где компенсаторная функция рассматривается в ряду сущностных особенностей художественной деятельности [9, 14]*).

Предполагается, что резкое углубление и расширение объективных представлений о мире снимает необходимость сугубо символического (мифологического, как иногда говорят) преодоления "отчужденности мира", его символического выравнивания с созданием. Как-то, рассуждая о генезисе литературы, Э. Золя сказал: "между тем, что было уже познано, и тем, что еще не было познано, образовалась обширная территория, которую следовало оккупировать. Эту задачу взяла-де на себя литература" [10, 117]... Однако предполагается, что с каждым днем границы этой территории сужаются. Кстати, именно так и выразился американский философ Э. Шлоссберг: "Искусство - это пропасть между тем, и то мы знаем, и тем, о чем мечтаем. Но эта пропасть быстро исчезает по мере быстрого обращения наших мечтаний в точные знания" [26, 69].

Принципиальная ошибочность подобных представлений определяется метафизическим отношением к предмету человеческого познания. Последний не представляет собой неизменную данность, расширяясь и углубляясь по мере расширения и углубления возможностей его постижения. Познаваемое не имеет предела, и здесь было бы уместно говорить об эффекте неуловимого горизонта. Безграничны не только человеческие

возможности познания, безгранична и область непознанного. Эти моменты диалектически взаимообусловлены, и именно в этом следует усматривать уроки современной научно-технической революции. С каждым новым завоеванием научно-технического гения встают новые вопросы, о существовании которых мы не догадывались.

Идею "необходимости искусства" английский философ Г. Рид в одноименной статье аргументировал тем, что "объем научных знаний все еще (разрядка наша. - Н. Д.) ограничен" (*Хотя, продолжает Г. Рид, "ничто не в силах заставить человеческий ум отказаться от достижений материализма (здесь: рационализма. - Н. Д.), природа космоса, происхождение и смысл человеческой жизни от нас по-прежнему скрыты, а это значит, что на" ука никоим обр азом не вытесняет и не подменяет собой мифологические функции искусства, по-прежнему необходимые, чтобы сломить сопротивление жестокой действительности" [24, 25]*). Мы же хотим сказать, что ограниченность этого объема носит ее временный, но констатный характер, что знания не могут быть абсолютными, абсолютна лишь ограниченность их объема. Иными словами, границы "территории" искусства не сужаются; да, они перемещаются "в пространстве", но расстояние между ними неизбывно, а потому неизбывна, константна психологическая потребность символического выравнивания сознания с отчужденной от него "территорией" непознанного, потребность ее символического освоения.

Константность психологических установок на искусство определяется не только в гносеологическом аспекте, но и в социально-историческом. Если, например, умозрительно расценивать искусство как средоточие лишь социальных процессов, как источник сугубо социальной активизации человека, то и в этом случае должна быть очевидной неизбывность психологической потребности в художественной деятельности. Константность искусства как средства "превращения бессознательного в социальное", как "установки вперед" обусловлена уже тем, что "недостаточность" действительности принципиально не может быть устранена, что ни одно общество не может оказаться всепоглощающим смыслом жизни. В "Экономически-философских рукописях 1844 г." К. Маркс писал, что "коммунизм как таковой не есть цель человеческого развития, не есть форма человеческого общества" [2, 598]. В "Немецкой идеологии" сказано, что "коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал... Мы называем коммунизмом действительное движение" [1, 34]. Правда, некоторые историки марксизма употребление слова "коммунизм" в обоих случаях приписывают терминологической небрежности К. Маркса и Ф. Энгельса, имевших-де ввиду то ли "социализм", то ли "уравнительный коммунизм" и др. [15, 289; 11, 339-340]. Но как бы то ни было, ясно, что исповедуемый основоположниками марксизма диалектический закон отрицания отрицания сам по себе подрывает идею неизменности "установленного состояния" и предполагает бесконечность процесса совершенствования мира...

"Недостаточность" действительности как побудительный психологический стимул художественной деятельности измеряется, однако, не только в плане историко-общественном, но и в личностно-индивидуальном. Мы опять же имеем в виду не просто компенсацию тех или иных ситуаций, переживаний, нематериальных ценностей, недостающих человеку с точки зрения конкретного социального, этического или эстетического идеала. Мы имеем в виду психологическую потребность личности в максимально возможном расширении индивидуальной практики. или. как мы назвали бы ее, потребность в эффекте лицедейства: стремление посредством художественной игры бесконечно умножать количество исполняемых-переживаемых ролей. Каким бы богатым ни был реальный опыт человека, он стремится к его бесконечному расширению, "ко всей полноте человеческих проявлений жизни" [2, 596]. В основе этой потребности лежит неистребимое желание интенсификации бытия, увеличения ее внутреннего объема. Это - потребность выравнивания человека с человечеством, или потребность собственно катарсиса, понятого Аристотелем как "очищение" партикулярного и его воплощение в "чистую форму" надличностно-метафизического.

Таким образом, избегая повторений, можно заключить, что идея константности искусства подтверждается логически сущностным характером и исторически непреходящим значением целого ряда соответствующих психологических установок.

121. Общая теория фундаментальных отношений личности и некоторые особенности художественного творчества. Т. А. Ломидзе

Институт истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН Груз. ССР, Тбилиси

При изучении того или иного художественного произведения исследователю приходится выявлять составляющие его, хронологически ранее сформировавшиеся элементы; увидеть в "настоящем" контуры "прошлого". В зависимости от природы изучаемого объекта и точки зрения исследователя подобный анализ может принять резко отличные друг от друга формы.

Для психолога искусства достаточно интересным представляется исследование отражения архаичных норм мышления в художественной литературе, причем выявление своеобразия индивидуального преломления этих норм и их сравнительный анализ позволяет уяснить не только особенности художественного мышления и мировосприятия писателя, но и некоторые существенные стороны динамики литературного процесса.

Известно, что такими методами анализа интересовался еще А. Н. Веселовский, поставивший знак равенства между древнейшим синкретическим обрядом и искусством на основе "психофизического катарсиса". Идеи Веселовского глубоко разработала О. М. Фрейденберг в книге "Поэтика сюжета и жанра" [3], оказавшей заметное влияние на ряд работ С. М. Эйзенштейна, интересовавшегося тем, как "в его собственном искусстве постоянно оживают древние архитипические ситуации" [2, 67]: "Предмет произведения искусства, - писал с. М. Эйзенштейн, - действенен только тогда, когда... сегодняшний изменчивый сюжетный частный случай по строю своему насажен на колодку, отвечающую закономерности ситуации или положения определенной первобытной нормы общественного поведения" [2,72-73].

Здесь мы попытаемся выяснить некоторые аспекты этой в высшей степени сложной проблемы литературного творчества, исходя из общей теории фундаментальных отношений личности, предложенной профессором А. Е. Шерозия [4] при обобщенном исследовании им единой структуры сознания и бессознательного психического на новой концептуальной основе психологии установки (школа Д. Н. Узнадзе). Ибо фундаментальные отношения личности, как и отношения сознания и бессознательного психического, о которых в данной теории идет речь, включают в себя не только отношения личности к самой себе и к "суперличности", но и к "другому" - и как субъекту, себе подобному ("собственно другому"), другой личности, и как объекту, природе, противоположной и чуждой ей реальности ("вообще другому", иному), одновременно [4, 475-502].

Выделяя из этих отношений отношения личности к "другому", прежде всего мы выделяем их как непосредственную основу искусства, унаследовавшего инфлюативную функцию речи, функцию воздействия на "другого". В искусстве в полной мере проявляются отношения этого рода - отношения личности к "другому", довольно легко абстрагируясь, при их концептуализации, от остальных ее фундаментальных отношений, также существенно и весьма непосредственным образом принимающих участие в художественном творчестве.

Дело в том, что "другой" в нашем понимании, как и в понимании исходной для нас теории, - это противоположность личности, и как таковой, он всегда несет в себе смерть. Это - наиболее важный, с нашей точки зрения, аспект отношения личности к "другому" и как к "другой личности", и как к "природе" - отношение к ним как к смерти.

Другой как "другая личность" и "другой" как "природа" находятся в тесной взаимосвязи в первобытном сознании. Слитность членов оппозиции "смерть-жизнь" подразумевает в нем слитность индивида и божества (обладающих свойством регенерации), индивида и коллектива, других личностей. Поэтому мы и считаем отношение личности к "другому" как к смерти отношением всеобъемлющим.

В первобытном обществе личность еще не выделяется из коллектива. Слаборазвитое сознание обуславливает нерасчлененность восприятия мира и его частей. "Я" и "другой" нераздельны и тождественны. Человек отождествляет себя с любым предметом или существом, переносит свойства одного из них на другого, метафоризирует мир. Нерасчлененно воспринимаются и явления, происходящие в окружающей действительности - смерть неотделима от жизни. "Три наших понятия - "смерть", "жизнь", "снова смерть" - для первобытного сознания являются единым взаимно пронизанным образом" [3, 67]. Слитность субъекта и объекта, "я" и "другого" (и как общества, других личностей, и как природы) - одна из существенных черт этого сознания, оно не знает различия между ними в этом отношении.

Анализируя с этой точки зрения произведения искусства, в частности художественной литературы, весьма удобно, как нам кажется, выделять в ней несущественно характеризующие героев различные ситуации, воплощенные в них, и эпизоды их смерти, существенно их характеризующие.

Несущественно характеризующие героев ситуации лежат на поверхности художественных произведений и легко анализируемы. Их характер обычно диктуется наиболее общими закономерностями современной писателю жизни. Они показывают преимущественно отношения внутри изображаемого в произведении мира - героя-личности с другими героями-личностями. Степень развития в художественном произведении находится в зависимости от того, насколько сильно нарушена слитность конкретных отношений, связывающих личность и "другого" в первобытном сознании (мужчина-женщина, родители-дети, старое-новое и т. д.), причем расчленение этих оппозиционных пар осуществляют именно "другие". Тем самым создается основной конфликт, сюжетное ядро произведения. Острота разобщенности некогда тесно связанных между собой членов подобных оппозиций

исторически возрастает, и если Шекспир одной из героинь "Короля Лира" вывел Корделию, то для Бальзака такая возможность была исключена (в "Отце Горию").

Существенно же характеризующие героев эпизоды смерти выявляют их отношения к природе. Однако природа здесь выступает не только в роли объекта отношений личности к себе подобному "собственно другому", их "совместного насилия" [4, 483-484], но и как носительница смерти, как "ничто" (см. дальше). Во всяком случае для нас "смерть" - это инобытие "другого", его универсальная форма, хотя в его осмыслении и таятся следы отношения личности как к самой себе, так и к суперличности. Сулерличность - "инобытие личности", она также может быть и "инобытием другого", причем и в том и в другом отношении она - всего лишь "мир объективно значимых для wee явлений, (который она всегда ставит выше себя и над которым впоследствии всегда поднимается" [4, 489] в "сфере долженствования", но не в "сфере бытия" (см. дальше), ибо фактически, личность никогда не поднимается над подобным "другим", она может только отождествиться с ним, как это и было в первобытном сознании.

(Заметим при этом, что несущественно характеризующие героев ситуации могут одновременно существенно их характеризовать, когда "собственно другой" и "вообще другой" (как смерть) предстают в едином образе. Если к тому же учесть, что отношение личности к первому реализуется преимущественно сознательно, на уровне содержания, а отношение ко второму выражается бессознательно, в глубинных художественных пластах произведений, то их слияние выводит образ смерти в содержательный план и отношение к нему выявляет осознанное отношение личности к "суперличности". Подобная смерть- "суперличность", фигурирующая в произведении как "ничто", в борьбе с которым личность "осиливает себя и свою судьбу в сфере своей общественной практики - в сфере созидания", как "и в сфере своей трагедии - в сфере ничто" [4, 496]. Она предстает либо в персонифицированном виде, либо как образ смерти, часто идея смерти - идея "ничто").

Смерть как "другой" может, таким образом, присутствовать в художественном произведении в весьма обнаженном виде, как один из описанных в нем фактов. Может быть и метафорической: исчезновение, изменение героя и т. д.

В первом случае мотив смерти может быть использован как замыкающий сам себя, очищенный от метафор регенерации, характеризующий "ряд индивидуальной жизни" (М. М. Бахтин). Подобное оформление эпизодов смерти часто применяется также к отрицательным "другим" (автор как бы "убивает" отрицательного персонажа) и при этом личность и "собственно другой", как и личность и "смерть", противопоставлены. Либо этот мотив может быть оформлен метафорами воскресения, нового рождения, регенерации. При этом снимается противопоставленность личности и "собственно другого", как и личности и "смерти", т. е. "я" и "не я". Этот способ художественной подачи образа "другого" как смерти используется при описании смерти героев, олицетворяющих коллектив; в фольклоре; при описании смерти положительных героев. Это смерть - регенерация. Анализ эпизодов смерти выявляет истинное, бессознательное отношение личности к "собственно другому" через отношение к "смерти".

Во втором случае это - метафорическая смерть, изменение формы существования героя, приобщение к другому плану бытия, другим сферам, иным, чем "умершая" жизнь. Через метафорическую смерть героя писатель прежде всего выражает свое отношение к жизни, к тем или иным ее формам, а герой, претерпевающий метафорическую смерть, является средством для показа этого отношения. В таких случаях смерть не выполняет функций "другого".

Таким образом, выступающий обнаженно мотив смерти характеризует отношение личности и к "другому", замаскированный образ смерти служит показу отношения писателя к жизни, к тем или иным ее формам. Примерами последнего могут послужить "Золотой осел" Апулея, "Божественная комедия" Данте, "Витязь в тигровой шкуре" Руставели, "Фауст" Гете и др.

Метафорическая смерть героя расширяет границы изображаемого, как бы рассеивает свет внимания, универсализирует события и вещи, описанные в художественном произведении, тогда как обнаженно выступающий образ смерти фокусирует этот свет в основном только на герое.

Оба способа воплощения мотива смерти могут использоваться одновременно и выражать мировоззрение писателя во всей полноте. Предлагаемые методы анализа выявляют бессознательные пласты художественных произведений, не- или малоконтролируемые сознанием и поэтому наиболее истинно выражающие его многообразные отношения к окружающей действительности и к себе самому.

Все эти нюансы очень глубоко почувствовал М. М. Бахтин [1]. И хотя в своих работах он не поставил ударения на образе смерти как, в известном смысле, основе для выявления бессознательно воплощенных отношений

писателя к изображаемому, он часто связывает образы героев и образы смерти как взаимообъясняющие, не разъясняя, однако, бессознательно-художественных механизмов их взаимосвязи.

Так, М. М. Бахтин указывает на сходство между творчеством Рабле и произведениями Э. По (имея в виду новеллы последнего "Бочонок амонтильядо", "Маска красной смерти" и "Король Чума"), в основе которого - весьма древний и почтенный комплекс (соседство): смерть - шутовская маска (смех), вино - веселье карнавала (carra navalis Вакха) - могила (катакомбы), но золотой ключ к которому, по его мнению, потерян: "здоровое объемлющее целое торжествующей жизни отсутствует, остались голые и безысходные и потому жуткие контрасты" [1, 349. Приведенная цитата касается в частности "Бочонка амонтильядо" Э. По].

В этих новеллах По действие происходит на фоне карнавала, веселья, танцев, с которыми соседствует смерть. Это соседство присуще и творчеству Рабле. Однако в целом воплощение противопоставления и взаимослияния смерти-жизни в творчестве этих художников производит совершенно различный эффект, благодаря различному отношению личности к другому как к смерти.

В "Бочонке амонтильядо" несущественно характеризующей героев ситуацией является противопоставленность, доходящая до вражды: Монтрезор поклялся отомстить Фортунато за оскорбление.

Затем, мотив смерти в этой новелле выступает обнаженно: Фортунато замурован Монтрезором в катакомбах. Карнавал выражает метафорическую смерть героев. Таким образом, мотив смерти главенствует в новелле, насыщенной множеством подобных метафор. Это и одежда Фортунато - одежда арлекина, и подземелье, и узы, цепь, которой Монтрезор приковывает его к стене. Вино, которое играет столь важную роль в жизни героев Рабле и питье которого сохраняет значение метафоры регенерации, в новелле По в сущности отсутствует и амонтильядо выступает одной из метафор смерти.

Однако в конце новеллы Монтрезор выходит из подземелья, Фортунато же остается в нем. Пребывание в закрытом помещении в первобытном сознании было осмыслено как метафора смерти, выход из него был равнозначен опасению от смерти, рождению, регенерации. Смерть Фортунато сама себя замыкает. Автор "убивает" его, спасая Монтрезора.

В новелле явственно проглядывает отношение автора к жизни как к карнавалу, приносящему людям смерть, уничтожение.

В новелле "Король Чума" смерть персонифицирована в нескольких образах: в Чуме бубонной, Чуме-море, Чуме-смерче и Чумной язве, пирующих в лавке гробовщика. Еда, осмысленная в первобытном сознании и творчестве Рабле как метафора смерти-воскресения, в новелле По оборачивается метафорой смерти. Матросы, явившиеся в лавку гробовщика, выходят оттуда, однако, в обнимку со смертью, что исключает регенерацию.

Сам визит матросов к персонифицированным образам смерти не что иное, как их метафорическая смерть, выражающая отношение По к жизни как к "пиру смерти".

"Маска красной смерти", как и "Бочонок амонтильядо" разворачивается на фоне маскарада. Пребывание принца Просперо и его приближенных в отгороженном от мира монастыре - их метафорическая смерть. Жизнь - крохотное отвоеванное местечко посреди всеобъемлющей смерти. Это отношение к жизни Эдгара По выразилось в метафорической смерти героев новеллы.

Смерть людей в закрытом помещении, в монастыре лишена метафор регенерации.

Творчество По изобилует персонифицированными образами смерти, однако они не являются "суперличностями", ибо нет борьбы, становления личности, а есть лишь противопоставленность личностей. "Другой", таким образом, предстает и как "собственно другой" и как "природа" (смерть) и, соответственно, рядом с несущественно характеризующими героев ситуациями в новеллах присутствуют и эпизоды смерти, существенно их характеризующие. Тогда как только их слияние может выявить осознанное отношение личности к "суперличности". Поскольку в новеллах По не встречаются подобные образы, соединяющие в себе "другого" как "другую личность" и "другого" как "природу", то персонифицированные образы смерти указывают лишь на предельную разобщенность личности и "собственно другого". Здесь "смерть" - название "не я", признак отношения личностей.

Подобное осмысление "другого" - и как "собственно другого" и как "природы" - и объясняет эффект, производимый произведениями По, столь отличающийся от впечатления торжества жизни, главенствующего в творчестве Рабле.

Особенно интересным в этой связи представляется анализ творчества писателей, чье художественное мышление родственно фольклору, сохранившему основные черты первобытного сознания, причем тех из них, которые творили в обстановке буржуазного общества, состоявшего из разобщенных между собой личностей. Именно таким писателем и является Важа Пшавела.

Не имея возможности подробного анализа, здесь мы вкратце охарактеризуем некоторые особенности художественного мышления Важа Пшавела на материале его поэм: "Змееед", "Гость и хозяин", "Алуда Кетелаури" и "Бахтриони".

Главный герой поэмы "Змееед", Миндия, олицетворяет одновременно божество и человека, смертного. Подобное отождествление было характерно для первобытного метафорического мышления.

Миндия рождается и умирает трижды.

Первое рождение - естественный биологический акт. Второе рождение - обретение мудрости посредством еды (поев кушанье, приготовленное из змей). Еда - метафора регенерации. Третье рождение - освобождение от рабства у чертей и возвращвие к людям.

Первая смерть - рабство у чертей. Вторая - потеря мудрости. Третья - самоубийство.

Метафорическая смерть героя, воплощенная в рабстве (правда, это смерть - регенерация) и кончающаяся освобождением от рабства (что не умаляет значения метафорической смерти, которая в первобытном мышлении неизбежно переходит в регенерацию) служит показу отношения Важа Пшавела к жизни.

Мудрость героя - ее обычный ум, а "(божественность", свойство бесконечного ряда смертей-воскресений. Это настоящий герой фольклора, со всеми существенными чертами.

Из трех смертей, существенно характеризующих Миндия, первые две - смерть-регенерация и только третья замыкает себя, лишая героя "божественности" и делая его "смертным".

В плане содержания смерть Миндия происходит на фоне трагического отчленения личности от коллектива. Чрезвычайно интересным является тот факт, что пребывая в "божественной" ипостаси, обладая мудростью, якобы выделяющей его среди соплеменников, Миндия как раз и олицетворяет собой коллектив, между ними нет противопоставленности. Взаимосливаются не только общество и личность, но общество и природа. Миндия отделяется от общества, отделяясь от природы, потеряв дар понимания ее языка.

Миндия живет как "божество", как фольклорный герой, а умирает как "смертный", т. е. в смерти своей уравнивается с человеком XIX века, "замкнутым в ряду индивидуальной жизни". Влияние той социально-исторической обстановки, в которой жил и творил Важа Пшавела, сказалось в существенно характеризующем героя эпизоде смерти, приписывая историю страсти фольклорного персонажа индивидуальной личности.

В поэме "Алуда Кетелаури" противопоставленность общества и личности также разрешается их взаимоотчленением. В конце поэмы герой характеризуется метафорами зимы и исчезновения. Сказка, легенда, миф не знают подобных концовок. И в этой поэме смерть героя - конечный акт, лишенный метафор регенерации.

Два героя поэмы "Гость и хозяин" - как бы двуединый образ, имеющий один и тот же метафорический подтекст (гостеприимство метафорически связано с плодородием). Несущественно характеризующей героев ситуацией, как в двух предыдущих произведениях Важа Пшавела, является их противопоставленность общине.

Община, коллектив, "другой" продолжает жить после гибели героев, оформленной метафорами ночи, мрака, кладбища и др. В конце поэмы последним приписывается метафора еды, но она не равнозначна регенерации, так как "смертный герой остается в преисподней" [3, 233].

Главные персонажи "Гостя и хозяина" - "смертные" индивиды, так как лишены автором свойства регенерации, так же, как и герои "Змееда" и "Алуда Кетелаури".

В отличие от этих произведений поэма "Бахтриони" посвящена исторической теме, и ее герои Лухуми, Квирия, Лела и др. олицетворяют общее начало, метафорически - "божество". Поэтому их смерть тождественна новому рождению, воскресению. В конце поэмы змей, метафора смерти, выхаживает раненого героя - Лухуми, обретая функцию регенерации.

Таким образом, в поэмах Важа Пшавела при мифологически-метафорическом отражении реальные отношения личности и общества в сознательно-содержательном плане выразились как конфликт между общиной, "другим" и личностью, а в бессознательно-метафорическом плане - как своеобразие оформления эпизодов смерти, отношения к "другому" как к смерти.

Очевидно, что лоно искусства - первобытное мышление - продолжает функционировать в искусстве, хотя и видоизмененно - нарушена его изначальная целостность, что явилось результатом социально-исторического развития человека.

Анализ индивидуального преломления норм первобытно-художественного мышления помогает выявить отношение личности к "другому" и некоторые аспекты отношения к "суперличности". Все эти отношения часто маскируются в содержательном плане произведений, принимая совершенно иной вид, однако анализ бессознательно воплощенных отношений личности воссоздает истинный внутренний облик творца.

122. Художественное чувство как переживание "созревшей установки". А. Г. Васадзе

Институт истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН Груз. ССР, Тбилиси

Большинство теорий в области психологии искусства сводится к трем разделам теоретической психологии и во многом зависит от установленных в ней положений о восприятии, чувстве и воображении. Обычно творчество художника рассматривается в психологии в одном из этих разделов или во всех трех одновременно. При этом главенствующая роль отводится то восприятию, то чувству, то воображению. Почти все эти теории можно подразделить на два направления: последователи первого (К. Коффка, В. Келлер, Р. Арнхейм и др.) основу художественного творчества видят в восприятии, точнее, в инстинктивной потребности выразить в образной форме эмоциональные переживания, вызванные восприятием предметов объективного мира; представители другого направления (А. Мейнонг, Я. С. Выготский и др.) ищут объяснение художественного творчества во взаимосвязанном действии чувства и фантазии, на пересечении этих двух аспектов сознания, с одной стороны, усматривая в возникновении чувственных направленностей воздействие фантазии, с другой - оценивая фантазию как центральное разрешение эмоциональной реакции.

Оба эти направления, при всей убедительности тех или иных положений каждого относительно роли и специфичности восприятия, воображения и чувства в процессе художественного творчества, отличает один весьма важный, с нашей точки зрения, недостаток: признавая, что импульсы творческой деятельности скрыты в бессознательном, они тем не менее пытаются объяснить специфичность творческого процесса исходя из оценки активности сознания художника. Однако, не уделяя должного внимания силам, детерминирующим деятельность художника, с одной стороны, а с другой - не учитывая участия бессознательной направленности в специфическом развертывании сознания, они не могут до конца выяснить суть возникновения и формирования художественных образов и эмоциональных переживаний.

При исследовании художественного творчества необходимо иметь в виду, что хотя сила, побуждающая к творчеству, выявляется и участвует в процессе сознательной деятельности индивида, по происхождению она не сознательна и что отдельные мысли, образы или чувства, возникающие на различных этапах творческого процесса, представляют собой продукт, многие свойства которого не выводятся из элементов, подразумеваемых в качестве его составных частей. Для того, чтобы установить специфичность активности сознания в процессе художественного творчества, а значит, и в формировании собственно художественных образов и чувств, необходимо преодолеть рамки непосредственно переживаемых содержаний и искать смысл обнаруженных в них структур за пределами сознания - в области бессознательного.

Но весь вопрос в том, какую именно сферу бессознательного следует считать почвой, порождающей импульс, который предопределяет специфически творческую деятельность индивида в определенном направлении. В литературе до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Некоторые исследователи ищут импульс творчества в сфере физиологии высшей нервной деятельности, другие - в сфере чисто биологических инстинктов. Мы разделяем точку зрения тех психологов, которые основой творческой активности индивида считают бессознательное психическое, точнее - установку. Основываясь на положении о том, что всякое осуществляемое индивидом действие "следует считать реализацией той или иной его установки" [9, 88] и что "установка

детерминирует для каждого индивида то, что он видит и слышит, о чем он думает и что он делает" [12, 810], мы считаем теорию установки наиболее адекватной исходной позицией исследования художественно-творческой деятельности, дающей возможность учитывать участие бессознательной направленности в формировании чувства художника в творческом процессе.

Наше понимание этого процесса базируется на положении Д. Н. Узнадзе и его учеников о том, что "в основе художественного творчества лежит установка" [9, 601], причем установка первичная, недиффенцированная и нефиксированная, "вбирающая в себя всю систему так называемых "частных", фиксированных по той или иной модальности установок, как нечто одинаково необходимое для всех модификаций состояния личности" [11, 238]. Именно это единая, унитарная установка и является, как полагают представители школы Узнадзе, той почвой, благодаря которой осуществляется процесс любой психической деятельности, в том числе и решение художником его "новой задачи".

Д. Н. Узнадзе писал: "В момент инспирации мы действительно имеем дело только с актом созревания установки; и когда художник, стимулируемый этой последней, приступает к работе по ее выражению, он осуществляет творческую, а не просто репродукционную работу" [9, 602. Разрядка наша. - А. В.]. Активностью установки Д. Н. Узнадзе объяснял и то, почему в сознании поэта, независимо от его воли, внезапно зарождается новая концепция: "Все это нетрудно понять, если мы вспомним, что в основе художественного творчества лежит установка. Она подготавливается заранее и, прояснившись, внезапно проявляется в сознании. Внезапно потому, что установка не является феноменом сознания" [9, 601. Разрядка наша. - А. В.].

Исходя из указания Д. Н. Узнадзе о "прояснении" и "созревании" новой направленности как о процессе формирования готовности к творческой деятельности, происходящем неосознанно для художника, мы применяем понятие "созревшей установки" для определения изначального, специфически творческого 'Целостно-личностного со.стояния художника как состояния "мгновенной личности" или того "относительно редкого состояния", "при котором единство звука и смысла, жажда, предвкушение, возможность их органической и неразрывной связи становятся необходимостью и потребностью, свершившимся фактом или, порой, причиной томительного нетерпения" [1, 426. Разрядка наша. - А. В.]. А. Фет выразил это состояние следующим образом: "Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет". В этих словах поэта отражено то творческое состояние, которое мы подразумеваем под понятием "созревшей установки" как направленности еще не проявившейся в сознании, но уже напирающей на порог сознания и "готовой" к вторжению в сознание через ту или иную символическую форму своего проявления. Стало быть, "созревшую установку" мы понимаем как уже окончательно сформировавшуюся направленность нового типа, как завершающий акт, результат "прояснения" первичной установки или как окончательно "прояснившуюся" первичную установку художника, в которой заранее "запрограммирован" весь "облик" будущих действий художника.

Однако нельзя забывать и о том, что "созревшая установка" не является феноменом сознания. Чтобы "созревшая установка" подсказала сознанию "новое решение" и развернула процесс объективации, она должна сначала преодолеть рубеж бессознательного психического и объявиться в сознании в какой-то специфической форме, через которую она продолжает выполнять свою функцию уже как внутренняя тенденция с определенным значением.

Эту специфическую форму мы называем праобразом и оцениваем его как символ проявления "созревшей установки" в сознании художника. Для нас праобраз является таким возникшим в сознании художника специфическим феноменом, в котором впервые (и в целом) находит свое разрешение его "созревшая установка" или, что то же самое, в котором еще не реализовавшаяся, но уже выяснившаяся установка художника получает "выход" в сознание. Зарождение первичного образа (праобраза) в сознании художника Т. Рибо приписывал активности "внутреннего воображения" и определял его как "внутреннее видение индивидуального духа", как идеальное понятие "еще не отброшенное наружу, еще не воспринявшее формы и тела" [7, 66].

Праобраз возникает в сознании художника как целостная, непосредственно постигнутая данность, представляющая собой осознанную возможность воплощения мыслей и образов, еще не выявленных в самой этой целостной данности, или как "зачаточную данность" подлежащей осуществлению формы. Можно сказать, что это - Forma informans. Мы расцениваем праобраз не как непосредственно из восприятия возникшее впечатление, не как непосредственное преломление объективно существующего предмета в фантазии, а как "предмет" направленности "созревшей установки". Именно поэтому поэт может увидеть в явлениях окружающего мира то, что "видится" его бессознательной направленности: в солнце - "ворвавшегося в столицу мятежника" (А. Ахматова), в расцветшем персиковом дереве - "прекрасную царицу невиданной страны" (Г. Табидзе).

В результате изучения специфики возникновения и функционирования двух видов образов фантазии (праобраза и словесного образа) в процессе художественного творчества [2; 3; 4; 5] мы приходим к выводу, что праобраз - это феномен фантазии, возникший на основе проявления в сознании художника его "созревшей установки", действующий как "интенциональный объект" художественного познания и подразумевающий в себе возможности той, а не иной реализации.

Однако, несмотря на то, что праобраз (как внутренняя тенденция) сам по себе подразумевает стремление к реализации в объективных формах, во внешнем его проявлении важнейшая роль принадлежит вызванному им эмоциональному переживанию - художественному чувству.

По отношению к действующим в сфере искусства эмоциональным переживаниям и в психологии, и в эстетике, и в литературоведении используется в основном понятие "эстетическое чувство", которым определяются как действующие в творческом процессе, так и вызванные восприятием художественного произведения чувства (*Мы используем понятие "эстетическое чувство" для обозначения эмоционального переживания, обусловленного восприятием произведения искусства. Для обозначения же чувства, действующего в самом процессе художественного творчества, мы применяем понятие "художественное чувство"*). Этим частично обусловлен главный недостаток большинства исследований чувства в художественно-творческом процессе, заключающийся в том, что оно расценивается как "то же самое обычное чувство, разрешенное чрезвычайно усиленной деятельностью фантазии" [6, 274].

Те исследователи, которые при оценке художественного творчества ограничиваются анализом активности факторов сознания, содержание и направленность художественного чувства объясняют в основном предметным содержанием того эмоционального состояния, которое сложилось у художника непосредственно в результате восприятия предметов, то есть из непосредственных "впечатлений восприятия" предметов окружающего мира.

В противовес такому пониманию, специфическую природу художественного чувства мы объясняем не предметным содержанием эмоционального переживания, вызванного восприятием явлений окружающего мира, а разрешившейся символом праобраза направленностью "созревшей установки", непосредственно вызывающей специфически творческое, действующее в художественно-творческом процессе эмоциональное переживание. Отсюда и наша убежденность в том, что художественное чувство не "то же самое обычное чувство, разрешенное чрезвычайно усиленной деятельностью фантазии", а возникшее конкретно в творческом процессе чувство нового порядка и особого качества.

Мы делаем такой вывод исходя из соответствующего истолкования "созревшей установки", активность которой подавляет, заглушает, как нам представляется, содержания и направленности предшествующих ее объявлению в сознании эмоциональных состояний художника. Именно поэтому в творческом процессе значение не вытекает из предмета, а придается предмету, на что с исключительной точностью указывают сами художники. Так. характеризуя творчество В. Вордсворта, О. Уайльд писал: "Вордсворт пришел к озерам, но никогда не был поэтом озер. В камнях он нашел речи, которые сам вложил в них" [8, 169]. А. Р. Фрост называл "прилежным учеником" художника, который передает предметы, чувства и впечатления в таком виде и в том порядке, в каком они зарождаются и существуют в жизни [10, 290]. Подобные высказывания свидетельствуют о том, что не сам предмет вызывает свое художественное воплощение в сфере искусства, а отношение художника к предмету; последний же, в силу активности установки, ее "созревания" и разрешения в фантазии символом праобраза, "превращается" в специфический (имманентный) объект сознания художника, в свою очередь вызывающий соответствующее ему чувство.

С объявлением праобраза связано перевоплощение художника, его психологическая перестройка. Поэтому художественное чувство - это переживание, выявляющее сложившееся в сфере художественного творчества целостно-личностное состояние художника как состояние "мгновенной личности". Переживая праобраз, это чувство тем самым является переживанием развертывания в сознании художника "созревшей установки". Что касается обычного чувства, оно действует только до начала творческого процесса (до объявления созревшей установки символом праобраза) и исполняет роль всего лишь повода для "созревания" установки. При этом обычное чувство не изменяется, не перерастает в художественное чувство, а заменяется этим последним. Установка является той сферой, благодаря которой происходит эта замена, прерывание связи между обычным и художественным чувствами.

Художественное чувство должно дифференцироваться и от эстетических чувств, ибо специфичны не только причины его возникновения, но и присущие ему свойства, из которых прежде всего следует отметить его экстравертную направленность и неэгоцентричность. Художественному чувству по праву принадлежит особое место в ряду высших чувств.

123. Категории сознания, подсознания и сверхсознания в творческой системе К. С. Станиславского. П. В. Симонов

Институт высш. нервн. деят. и нейрофизиологии АН СССР, Москва

Уже давно было обращено внимание на тот факт, что многие проявления жизнедеятельности организма, многие разновидности деятельности мозга проходят без вмешательства сознания. К сожалению, термином "подсознание" принято обозначать все, что не осознается. При таком положении вещей возникает иллюзия внутреннего родства всех этих явлений, и высочайшие проявления человеческого духа начинают рассматривать в качестве прямого следствия элементарных биологических побуждений - ошибка, которой не избежал и выдающийся австрийский психолог Зигмунд Фрейд.

Изучению проблемы неосознаваемого психического с материалистических, марксистско-ленинских позиций посвящены труды ряда советских ученых. Большой вклад в изучение сущности неосознаваемого внесла грузинская школа психологов, созданная Д. Н. Узнадзе [11; 12; 22; 25; 26].

Все эти работы показали, что вне сферы сознания оказываются два класса явлений. Прежде всего это приспособительные реакции, имеющие сугубо личное индивидуальное назначение: процессы регуляции внутренних органов, неосознаваемые детали движений, оттенки эмоций и их внешнего выражения. Вторую же группу неосознаваемых форм деятельности мозга составляют механизмы творчества, формирования гипотез, догадок, предположений. Проницательно уловив недопустимость объединения под термином "подсознание" всего, что не осознается, - от деятельности внутренних органов до творческих озарений - великий художник и глубокий мыслитель К. С. Станиславский ощутил настоятельную нужду в каком-то другом понятии, которое обозначало бы только высшие и наиболее сложные механизмы творчества. Последнюю категорию неосознаваемых процессов он назвал "сверхсознанием". В настоящем сообщении мы подробно остановимся на этой его идее.

Подавляющее большинство концепций художественного творчества можно разделить на две основные группы. Согласно первой точке зрения, творчество есть стихийная, не контролируемая сознанием мощь таланта, "наитие", сила, которой можно препятствовать, но которая в принципе недоступна для какого-либо вмешательства со стороны интеллекта. Второе направление в теории творчества - это "сальеризм", попытки алгоритмизации творческого процесса, наивная вера во всемогущество количественного анализа, в его, если не сегодняшнее, то завтрашнее торжество. Многочисленные кибернетические "модели" искусства могут служить примером неунывающего "сальеризма" наших дней.

К. С. Станиславский преодолел односторонность и потому непродуктивность этих двух подходов [21]. Он начал с мужественного отказа от попыток прямого волевого вмешательства в те стороны творческого процесса, которые протекают в сфере подсознания и принципиально не подлежат какой-либо формализации. "Нельзя выжимать из себя чувства, нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания. Нельзя насиловать чувства, так как это кончается самым отвратительным актерским наигрыванием... Оно явится само собой от чего-то предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом предыдущем думайте усердно и создавайте его вокруг себя. О результате же не заботьтесь" [18, т. 2, 51].

Отвергая возможность прямого произвольного воздействия на подсознательные механизмы творчества, Станиславский настаивает на существовании косвенных путей сознательного влияния на эти механизмы. Инструментом подобного влияния служит профессиональная психотехника артиста, которая должна решить две задачи: готовить почву для деятельности подсознания и не мешать ему. "Предоставим же все подсознательное волшебнице природе, а сами обратимся к тому, что нам доступно, - к сознательным подходам к творчеству и к сознательным приемам психотехники. Они прежде всего учат нас, что когда в работу вступает подсознание, надо уметь не мешать ему" [18, т. 2, 24].

Для нас особенно интересен тот факт, что, говоря о неосознаваемых этапах художественного творчества, К. С. Станиславский постоянно пользуется двумя терминами - "подсознание" и "сверхсознание". "Чем гениальнее артист... тем нужнее ему технические приемы творчества, доступные сознанию, для воздействия на скрытые в нем тайники сверхсознания, где почиет вдохновение" [18, т. 1, 406]. В трудах К. С. Станиславского нам не удалось найти прямого определения понятий под- и сверхсознания. Тем не менее мы постараемся показать, что введение категории сверхсознания есть не случайная вольность изложения, но закономерная необходимость выделения двух форм неосознаваемого психического, имеющих принципиальное значение и для системы Станиславского и для современных представлений о высшей нервной деятельности человека.

Физиология мозга неоднократно пыталась связать феномен сознания с механизмами таких явлений, как уровень активации, формирование условного рефлекса, сохранение и воспроизведение условных связей (память), деятельность второй (речевой) сигнальной системы. Однако каждый раз оказывалось, что феномен сознания не тождественен ни одному из перечисленных механизмов. Рассмотрим соответствующие факты.

Сознание и уровень активации. Экспериментально показано, что минимальная продолжительность экспозиции сигналов, достаточная для правильного их опознания, характерна для среднего уровня активации. Сниженное или чрезмерное возбуждение высших отделов мозга в равной мере ведут к повышению порогов [35, 354]. Тщательно поставленные опыты с электроэнцефалографическим контролем не подтвердили возможности обучения во сне [28, 208]. Вместе с тем, спящий человек иначе реагирует на условный звуковой оборонительный раздражитель, чем на индифферентный звук с близкими физическими характеристиками. Реакция спящего на свое имя отличается от реакции на чужое имя [29, 1470]. Запоминание иностранных слов во время парадоксальной и 4-й стадии сна удается обнаружить в том случае, если субъекту предлагают выбрать одно из шести значений слова, впервые услышанных им во время сна [34, 219]. Таким образом, хотя определенный уровень активации необходим для сознания, эти два феномена не тождественны друг другу, как пытались утверждать в первое время после открытия функций ретикулярной формации мозгового ствола.

Сознание и условный рефлекс. Успешная выработка условного рефлекса сама по себе не может служить критерием сознания, поскольку существует целый класс неосознаваемых условных реакций [5, 205]. Правда, большинство условных рефлексов у человека, в том числе - вегетативных, регистрируется только в том случае, если субъект замечает (осознает) связь между сигнальным стимулом и подкреплением [30, 389; 31, 55; 32, 521]. С другой стороны, при определенной процедуре опыта не удается выработать, скажем, мигательный условный рефлекс, хотя человек очень быстро осознает и совершенно правильно описывает схему эксперимента, порядок предъявления сочетаемых раздражителей [8, 416]. Мы видим, что принцип условного рефлекса, столь существенно обогативший физиологию обучения, недостаточен для дефиниции механизмов сознания.

Сознание и память. Фиксация внешних событий в памяти может происходить с участием или без участия сознания. Об этом свидетельствует тот факт, что многие детали тахистоскопически предъявленного объекта человек называет не сразу после экспозиции, а спустя некоторое время [1, 124; 36, 274].

Сознание и вторая (речевая) сигнальная система. В литературе имеются сведения о способности человека отвечать двигательными, вегетативными и электрофизиологическими реакциями на речевые сигналы, которые "не осознаются", то есть которые человек не может словесно воспроизвести [9, 371]. Правда, факт неосознаваемого воздействия речевых сигналов признается далеко не всеми, например [37, 186]. Полагают, что, когда субъект реагирует на слово, но утверждает, что не в состоянии его назвать, мы имеем дело не столько с "подсознательным восприятием" слов, сколько с торможением их активного воспроизведения [33, 62; 34, 219]. При кратковременном появлении на экране эмоционально неприятного слова испытуемый склонен задерживать свой ответ до тех пор, пока существует неопределенность словесного сигнала [40, 732]. Перечисленные и подобные им факты не позволяют квалифицировать сознание как "отражение во второй сигнальной системе", поскольку в сфере самой речевой деятельности человека мы встречаемся со множеством не контролируемых сознанием явлений.

Итак, что же такое "сознание" для нейрофизиолога, если ни один из названных феноменов - уровень активации, условный рефлекс, память, речь - не совпадает к категорией сознательного?

Мы полагаем, что ключ к уяснению природы интересующего нас свойства человеческого мозга содержится в его названии: "сознание". Прежде всего, это знание о чем-то, истинность чего можно проверить практикой. "Способ, каким существует сознание и каким нечто существуют для него, это - знание" - заметил К. Маркс [К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, 645]. Впрочем, сам термин "знание" нуждается в уточнении. Знание не есть след события (объекта), пассивно запечатленный структурами мозга. Знание является знанием лишь в той мере, в какой оно может служить средством удовлетворения потребностей, средством достижения целей. Скажем, во сне или при кратковременной (тахистоскопической) экспозиции мой мозг "запомнил" стимул, который я способен опознать среди других стимулов в случае их предъявления. До момента предъявления след этого стимула пассивно хранится в моей памяти, не будучи знанием, поскольку я не могу им воспользоваться в своем целенаправленном поведении для удовлетворения существующих у меня потребностей.

Активно деятельностная природа сознания наиболее ярко проявляется в мышлении - деривате внешних предметных действий (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), представляющем процесс решения проблем, при котором попытки по методу проб и ошибок осуществляются в воображении [38, 330]. "Интеллект - это способность к оптимальной актуализации жизненного опыта (памяти) с целью минимизации времени построения плана и способа решения конкретной задачи с учетом как текущих, так и возможных изменений внешней среды" [24, 252].

Подчеркнем, что качество знания как средства - это только одна, важная, но не единственная характеристика сознания. В конце концов масса неосознаваемых оборонительных, висцеральных, регуляторных рефлексов является средством удовлетворения потребностей организма в поддержании гомеостаза и защите от нежелательных воздействий среды. Сознание предполагает сознание (сравни с сочувствием, состраданием, сопереживанием, сотрудничеством и т. п.), тоесть, такое знание, которое может быть передано, может стать достоянием других членов общества. Осознать - значит приобрести потенциальную возможность научить, передать свое знание другому.

А как же быть с чисто имитационной передачей опыта, когда, например, видя оборонительную реакцию человека, мы мгновенно, "инстинктивно", бессознательно воспроизводим ее, не задумываясь о причине такого рода действий? Этот пример, однако, не может служить опровержением нашей дефиниции, потому что здесь передается и заимствуется само действие, а не сведения о нем, не знание об его предназначении.

Итак, сознание есть такое отражение мозгом средств достижения целей (удовлетворения потребностей), при котором сведения об этих средствах могут быть переданы другим членам сообщества. Сознание (именно: сознание!) носит изначально социальный характер, причем социальность этой формы отражательной деятельности мозга включена в ее внутреннюю структуру. Знание, которым я не могу поделиться, не есть осознанный субъектом опыт.

Нейрофизиологической основой сознания является не условный рефлекс сам по себе и не вторая сигнальная система как таковая, но сложнейший "функциональный орган" (выражение А. А. Ухтомского), интегрирующий действие как средство удовлетворения потребности и речь как способ обобществления, социализации этого средства. Г. В. Гершуни [4, 13] представил веские доводы в пользу того, что осознание условного стимула нельзя свести к явлениям суммации и лабильности в самом анализаторе. Изменение порога ощущения представляет результат взаимодействия данного анализатора с другими анализаторными системами, прежде всего с двигательной системой. Для осознания словесного сигнала необходима связь гностических зон коры с моторной речевой областью в левом полушарии [39 298].

Проницательно угадав двойственную природу сознания, К. С. Станиславский положил в основу "сознательной психотехники артиста" метод физических действий, вполне доступный логическому контролю и словесной передаче обучаемому лицу. Пусть актер создаст действие согласное с текстом, учил Станиславский, а о подтексте не заботится. Он придет сам собой, если актер поверит в правду своего физического действия. "Подлинный артист должен не передразнивать внешние проявления страсти, не копировать внешние образы, не наигрывать механически, согласно актерскому ритуалу, а подлинно, по-человечески действовать. Нельзя играть страсти и образы, а надо действовать под влиянием страстей ив образе" [18, т. II, 51-52,-разрядка наша.- П. С.]. Действиями "под влиянием страстей и в образе" Станиславский называет действия актера, мотивированные потребностями изображаемого им лица.

В самом деле, движение становится действием только в том случае, если оно направлено на удовлетворение какой-либо потребности. Это хорошо понимал уже И. М. Сеченов: "Жизненные потребности родят хотения, и уже эти ведут за собой действия; хотение будет тогда мотивом или целью, а движения - действием или средством достижения цели. Без хотения, как мотива или импульса, движение было бы вообще бессмысленно" [13, 516]. Таким образом, "метод физических действий" Станиславского было бы правильнее назвать "методом усвоения потребностей, мотивов, целей изображаемого лица". Только они способны сделать сценическое действие "внутренне обоснованным, логичным, последовательным и возможным в действительности" [18, т. II, 57], только благодаря им "сама собою создается истина страстей или правдоподобие чувства" [18, т. II, 62].

Воспроизводя действия изображаемого лица, направленные на удовлетворение его (изображаемого лица) потребностей, актер включает мощный аппарат подсознания, те непроизвольные, не контролируемые сознанием детали действий, смену чувств, оттенки их внешнего выражения, короче, все то, что принадлежит сфере подсознания в реальном поведении человека. В свое время мы подробно рассмотрели вопрос о том, как многочисленные приемы метода Станиславского - "я в предлагаемых обстоятельствах", "магическое: если бы...", поиск задач и т. д. - ведут к активации механизмов подсознания, недоступных прямому волевому усилию [14]. Согласно исследованиям Н. А. Бернштейна [2], в мозгу не существует нейрональной копии двигательного акта, но лишь его обобщенная энграмма, "двигательная задача". Любой двигательный акт каждый раз организуется заново, причем его формирование в значительной мере протекает на уровне подсознания. Важно помнить, что программа, план поведения, двигательная задача всегда имеют вторичный характер, представляя дальнейшую разработку мотива. Это обстоятельство явно упущено Дж. Миллером, Е. Галантером и К. Прибрамом - авторами известной книги "Планы и структура поведения" [10]. На недооценку решающей роли мотивов в концепции "планов поведения" указал Ж. Нюттэн во время 17-го Международного психологического конгресса в Вашингтоне. Многие последователи К. С. Станиславского и комментаторы его трудов слишком буквально восприняли наименование

метода физических действий, полагая, что эмоции, сходные с переживаниями изображаемого актером лица, возникают непосредственно из действий в качестве их обязательного аккомпанемента. Поскольку эмоции представляют отражение мозгом величины и качества потребностей наряду с оценкой вероятности их удовлетворения [15, 65; 16], ясно, что не сами по себе действия, а удовлетворяемые (или неудовлетворяемые) этими действиями потребности служат первопричиной "истины страстей и правдоподобия чувствований". Как это ни парадоксально на первый взгляд, но в "искусстве переживания", созданном К. С. Станиславским, чувства (эмоции, переживания) являются не целью творческих усилий исполнителя, а лишь показателями, сигнальными индикаторами того факта, что актер проник в сферу мотивов изображаемого им лица и действует в соответствии с этими мотивами [6; 7, 56].

Почему Станиславский сделал все же акцент на действии, а не на мотивации этого действия, хотя он и стремился к уточнению мотивов путем формулировки задач - куска сцены, роли в целом? Да потому, что выяснить подлинные мотивы поведения сценического персонажа не менее трудно, чем определить мотивы поведения человека в реальной жизни. При изучении мотивов одновременно отказали оба испытанных метода классической психологии: наблюдение за внешним поведением другого человека и анализ своего собственного духовного мира. В сфере исследования потребностей действие перестает быть объективным критерием, поскольку один и тот же поступок может быть продиктован самыми различными побуждениями. С другой стороны, мы далеко не в полной мере осознаем истинные мотивы наших собственных поступков и принимаемых нами решений. Вот почему для актера остается единственный путь косвенного проникновения в сферу потребностей изображаемого лица: через воспроизведение действий этого лица в обстоятельствах пьесы, через механизмы собственного подсознания, "помнящего" мотивы аналогичных действий человека-артиста в аналогичных обстоятельствах. "Искусство и душевная техника актера должны быть направлены на то, чтобы уметь естественным путем находить в себе зерна человеческих качеств и пороков, а затем выращивать и развивать их для той или другой исполняемой роли" [18, т. II, 227]. Проникновение в сферу мотивов изображаемого лица носит во многом характер интуитивной догадки, неосознаваемого замыкания внутреннего мира персонажа на свой собственный внутренний мир. В искусстве важнее не знать, а догадываться - проницательно заметил В. Э. Мейерхольд.

Каким же образом актер овладевает потребностями изображаемого лица? "Что он Гекубе? Что ему Гекуба?" - этот вопрос Гамлета концентрирует в себе самую сокровенную суть всякого искусства, и здесь мы подходим к проблеме сверхсознания. Тенденция относить к категории подсознания все, что не осознается, привела к неоправданному смешению чрезвычайно далеких друг от друга явлений. Регуляция внутренних органов, восприятие слабых, а потому неосознаваемых раздражителей, гормональные сдвиги, сложнейшие механизмы творческой деятельности мозга в одинаковой мере именуются "подсознанием". Благодаря такому смешению возникает иллюзия их внутреннего родства, ведущая к "короткому замыканию" между элементарными биологическими потребностями и вершинами человеческого духа, к ошибке, которой не избежал и З. Фрейд. Угадав недопустимость объединения под термином "подсознание" всего, что не осознается,

Станиславский и ощутил настоятельную нужду в каком-то другом понятии, которое обозначало бы только высшие и наиболее сложные механизмы творчества.

Ради чего актер выходит на сцену и воспроизводит поведение другого лица? Во имя решения сверхзадачи. Сверхзадача - это страстное и глубоко личное стремление художника сообщить людям нечто чрезвычайно важное о них, об их месте и назначении в окружающем мире, о правде и справедливости, о добре и зле. Чем полнее совпадение потребности артиста сообщить людям великую правду о мире и потребности зрителя постичь эту правду, тем сильнее отклик зрительного зала, тем очевиднее эффект сопереживания. Требование такого совпадения мы формулируем как требование народности искусства в самом высоком и благородном смысле этого слова. Сверхзадача художника - подлинный, главный и основной источник энергии, движущей поведением сценического персонажа, благодаря профессиональному умению артиста трансформировать свою художническую потребность "сообщения" в потребности изображаемого лица [7, 56].

Рекомендацию Станиславского "идти от себя" иногда сводят к поиску в собственной личности каких-то черт, сходных с потребностями сценического персонажа. Мы не отрицаем вспомогательного значения таких раскопок. И все же, "идти от себя" - это прежде всего значит решать свою сверхзадачу, нести людям свое сообщение о них. Поиск в персонаже элементов общности со своим собственным внутренним миром реализуется с участием подсознания. Решение сверхзадачи, трансформация потребности "сообщения" в мотивы поведения изображаемого лица обеспечиваются механизмами сверхсознания. "Наиболее могущественными манками для возбуждения подсознательного творчества органической природы являются сверхзадача и сквозное действие" [18, т. II, 363]. А далее он указывает: "Я много работаю и считаю, что ничего больше нет: сверхзадача и сквозное действие - вот главное в искусстве" [19, 656]. Одним из каналов связи между сверхзадачей и сознанием служит процесс ее наименования. "Выбор наименования сверхзадачи является чрезвычайно важным моментом, дающим смысл и направление всей работе" [18, т. II, 337]. Однако было бы ошибкой рассматривать определение сверхзадачи в

качестве чисто логической операции. "Я сказал то, что сказал", - вот ответ художника на вопрос о содержании его произведения, непереводимого с языка образов на язык логики [3, 55]. Именно эта непереводимость произведения искусства, его сверхзадачи на язык словесных определений, отражающих какие-то стороны сверхзадачи, но никогда не исчерпывающих ее истинного содержания, делает сверхзадачу результатом работы сверхсознания.

Другим объектом сверхсознания является решение сверхзадачи в процессе сквозного действия. Ведущее значение в этом творческом акте приобретает воля. "На волю (хотение) непосредственно воздействуют сверхзадача, задача, сквозное действие" [18, т. 3, 187]. Воля у Станиславского - отнюдь не самостоятельная, идущая от ума, рационалистическая категория. "Воля бессильна, пока она не вдохновится страстным хотением" [18, т. 4, 290]. Здесь Станиславский снова перекликается с И. М. Сеченовым: "Ни обыденная жизнь, ни история народов не представляют ни одного случая, где одна холодная, безличная воля могла бы совершить какой-нибудь нравственный подвиг. Рядом с ней всегда стоит, определяя ее, какой-нибудь нравственный мотив в форме ли страстной мысли или чувства... Другими словами, безличной холодной воли мы не знаем." [13, 260]. По мнению К. Д. Ушинского [23, 311], человек прилагает к внешнему миру "свою волю с целью удовлетворить свои потребности...".

Ранее мы показали, что воля есть вторичная активность, обусловленная потребностью преодолеть препятствия на пути к удовлетворению какой-то иной потребности, первично инициировавшей поведение [17]. Это означает, что источником воли художника служит опять-таки его художническая потребность "сообщения", сверхзадача данного произведения и "сверх-сверхзадача всей его жизни" (выражение К. С. Станиславского). Станиславский пытается логически определить возможные сверхзадачи артиста, например: "возвышать и радовать людей своим высоким искусством", "объяснить им сокровенные душевные красоты произведений гениев", "просвещать своих современников", "дарить людям радость" и т. п. [18, т. 2, 340]. Но достаточно прочитать эти определения, чтобы понять, сколь обедняют и упрощают словесные обозначения внутренний мир художника, превращая его исходно образный замысел в "душевные красоты". Да иначе и не может быть, потому что сверхзадача, а тем более "сверх-сверхзадача" формируются механизмами сверхсознания.

Теперь мы можем полностью обозреть структуру актерского творчества. Через контролируемые сознанием действия актер отождествляет себя с изображаемым лицом, проникает в сферу движущих им мотивов (область, в значительной мере принадлежащая подсознанию) во имя решения сверхзадачи, то есть во имя удовлетворения своей художнической потребности (область сверхсознания). Разумеется, между сознанием, подсознанием и сверхсознанием нет четких разграничительных линий. Эти три разновидности высшей нервной деятельности человека тесно взаимодействуют друг с другом, их границы смещаются, их сферы влияния находятся в постоянном движении.

Здесь хочется задать наивно звучащий вопрос: почему все-таки чуть ли не самое главное в творчестве (и не только художественном) относится к под- и сверхсознанию, не контролируется сознанием, неподвластно прямому волевому усилию? "Творческая личность, - утверждает американский психолог Л. С. Къюби, - это такая, которая некоторым, сегодня еще случайным образом сохраняет способность использовать свои подсознательные функции более свободно, чем другие люди, которые, быть может, потенциально являются в равной мере одаренными" (цит. по [27, 85]). Мы полагаем, что неосознаваемость многих ответственных этапов творчества определяется консерватизмом человеческого сознания, базирующегося на прошлом опыте субъекта и опыте человечества в целом. Для того, чтобы служить надежным средством организации целесообразного поведения, сознание должно быть защищено от случайного, ненадежного, не проверенного практикой. Природа оберегает фонд знаний подобно тому, как она бережет генетический фонд от превратностей внешних влияний. Вот почему сознание (здравый смысл!) отказывается примириться с тем, что противоречит ранее накопленному опыту. Например, тому, что Земля вращается вокруг Солнца. В нейрофизиологическом плане здесь обнаруживается непригодность рефлекторного принципа (то есть непосредственного отражения мозгом связей между объектами окружающего мира) для уяснения механизмов творческой деятельности. Эта деятельность скорее протекает по принципу "психического мутагенеза", по принципу отбора нервных связей, первично уже возникших в мозгу [17; 20, 220]. Физиологическая реальность "психических мутаций" подтверждается механизмом доминанты А. А. Ухтомского, способностью доминантного очага отвечать на раздражители, только предположительно могущие оказаться адекватными для данной (например, оборонительной) реакции. Возникновение доминант придает явлениям действительности объективно не присущее им сигнальное значение. Благодаря этому оказываются сближены и ассоциированны явления, чрезвычайно далекие друг от друга. Так, звуковая похожесть рифмующихся слов сближает в поэтическом творчестве понятия, которые невозможно ассоциировать логическим путем. Сверхзадача художественного образа лишь вторично отбирает, а отобрав, оправдывает связи между понятиями, первоначально объединенными чисто фонетически, по принципу звукового совпадения.

Заключение и выводы

Анализ творческого метода К. С. Станиславского позволяет уточнить природу сознания, выделить две разновидности неосознаваемой деятельности мозга, приблизиться к пониманию их происхождения и физиологических механизмов.

1. Сознание есть такое знание о мире, закрепленное в нейрональных мозговых моделях, которое: а) может быть использовано субъектом для организации действий, направленных на удовлетворение имеющихся у него потребностей; б) может быть передано другим членам сообщества посредством второй сигнальной системы. В сфере сознания мы находим обобществленное знание, социальность которого включена в его внутреннюю структуру.

2. Вне сознания оказываются две категории, два класса явлений:

- приспособительные реакции, которые не подлежат обобществлению, поскольку имеют сугубо индивидуальное значение: процессы регуляции внутренних органов, неосознаваемые детали двигательных актов (в том числе вторично неосознаваемые, автоматизированные навыки), оттенки эмоций и их внешнего выражения, сугубо индивидуальные мотивации, "не примиренные" с социальными требованиями к субъекту, противоречащие этим требованиям и т. д. Эта группа неосознаваемых явлений может быть обозначена как подсознание;

- неосознаваемые этапы творческой деятельности мозга, формирование гипотез, "бескорыстные" (познавательные) мотивации - стремление к освоению тех сфер действительности, прагматическая ценность которых сомнительна, неясна. Эта категория неосознаваемого психического относится к области сверхсознания, если пользоваться терминологией К. С. Станиславского.

3. Неосознаваемость определенных этапов творческой деятельности мозга возникла в процессе эволюции как необходимость противостоять консерватизму сознания. Диалектика развития психики такова, что коллективный опыт человечества, сконцентрированный в сознании, должен быть защищен от случайного, сомнительного, не апробированного практикой. Это достоинство сознания диалектически оборачивается его недостатком - препятствием для формирования принципиально новых гипотез. Вот почему процесс формирования гипотез (психический мутагенез) освобожден эволюцией от контроля сознания, за которым сохраняется функция отбора гипотез, адекватно отражающих, реальную действительность.

4. Признание объективной невозможности прямого волевого вмешательства в механизмы подсознания и сверхсознания, признание дополнительности осознаваемых и неосознаваемых сторон деятельности мозга имеет для психологии такое же значение, как принципы неопределенности и дополнительности для современной физики. Вместе с тем, имеется объективная возможность косвенного влияния на механизмы творчества, возможность содействия этим механизмам. Одним из примеров такого содействия служит творческий метод К. С. Станиславского, разработанный им применительно к профессии актера.

124. Функция персонажа как "фигуры" бессознательного в творчестве Германа Гессе. Р. Г. Каралашвили (124. The Function of Personage as "Figure" of the Unconscious in Hermann Hesse's Works. R. G. Karalashvili)

Тбилисский государственный университет, факультет западноевропейских языков и литератур

В 1920 году Гессе писал своему другу Людвигу Финку: "После войны и нескольких лет, потерянных на чиновничьей службе, я уже не мог начать с того места, на котором остановился... я научился по-новому смотреть на мир, а именно, путем сопереживания времени и психоанализа я совершенно переориентировал свою психологию. Мне ничего не оставалось, если я вообще собирался продолжать, как подвести черту под ранними работами и начать заново. То, что я теперь пытаюсь выразить, это частично вещи, которые еще никем не были выражены... Кое-чего из того, что я сейчас пробую, вообще не было в немецкой литературе..." [6, 436-437].

Цитированное высказывание свидетельствует о коренном переломе в творчестве Гессе, причем этот перелом писатель совершенно недвумысленно связывает с тяжелым душевным кризисом и знакомством с психоанализом, сыгравшем решающую роль в его духовной жизни. Вследствие серьезного нервного потрясения, вызванного невзгодами войны и семейными неурядицами, Гессе в апреле 1916 года был вынужден обратиться в частную психиатрическую клинику в Зоннматте. Здесь он прошел курс электротерапии и имел 72 психоаналитических сеанса с учеником К. Г. Юнга доктором Иозефом Бернхардом Лангом. С этого времени писатель начинает интенсивно заниматься психоанализом и усердно изучает сочинения Фрейда, Юнга, Штекеля. В последующие

годы он повторно берет сеансы то у И. Б. Ланга, а то у К. Г. Юнга. Результатом этих занятий является тотальное углубление в свой внутренний мир, постоянное самонаблюдение, самоанализ и полная переориентировка психики. Поиски абсолютной внутренней правды, возможностей примирения противоположных душевных содержаний и путей достижения внутренней гармонии отныне на долгое время становятся основной задачей писателя.

Любопытно, что во всей "глубинной психологии" особый интерес Гессе вызвала проблема "индивидуации" и скрытые в ней возможности внутреннего обновления человека. И это не удивительно, ибо автор "Демиана" и "Степного Волка" был тесно связан с традиционным гуманизмом и проблема человека всегда стояла в центре его интересов. К тому же Гессе принадлежал к интровертированному типу художника, который с самого начала не ставил своей задачей изображение внешнего состояния мира и социально-эмпирической действительности, а стремился к передаче внутренней жизни индивидуума, к описанию его душевных переживаний и неустанно искал пути к наиболее полной реализации тех душевных возможностей, которые заложены в каждом отдельном человеке. И как раз в этом отношении психоанализ представлялся писателю важным инструментом в познании таинственной жизни глубин человеческого существа. Кроме того, новая психология, по мнению Гессе, заново ориентировала человека и открывала перед личностью совершенно ей неведомые пути. Писателю, несомненно, должно было быть симпатичным и положение "аналитической психологии" о том, что весь человек вырастает из самого себя благодаря своей внутренней духовно-физической структуре, что накладывает особую ответственность на каждого отдельного человека за то, чего он достигнет как личность. Однако, особенно привлекательным в "глубинной психологии" Гессе представлялось все же то, что предложенная психоанализом техника стимулировала внутреннюю активность индивида, толкала его вперед и приучала не довольствоваться достигнутым на пути самоусовершенствования. Модель человеческой психеи, разработанная в "аналитической психологии" с положением о "Самости", как идеальной возможности, к осуществлению которой надлежит стремиться человеку, представлялась писателю особенно плодотворной теоретической основой в его поисках оптимальных возможностей на тернистом пути вочеловечивания.

В одном письме 1943 года Гессе развивает свою концепцию человека, на которой в какой-то мере сказывается и его увлечение психоаналитическими теориями, однако, с другой стороны, явственно ощущается и та гуманистическая трактовка, которую претерпевают положения юнгианской психологии в творчестве писатели. "Вы говорите так, - пишет тут Гессе, - как будто Я - величина известная, объективная. Но это совсем неверно; в каждом из нас два Я. и тот кто знал бы, где начинается одно и кончается другое, был бы совершенным мудрецом. Наше Я, субъективное, эмпирическое, индивидуальное - стоит наблюдать за ним, оказывается весьма изменчивым, капризным, крайне подверженным всяческим влияниям. Так что, это не та величина, на которую можно твердо полагаться, и тем более не может она служить нам мерой и внутренним голосом. Но есть и другое Я, оно скрыто в первом Я, переплетается с ним, но спутать его с ним нельзя. Это второе, высшее, священное Я ("Атман" индусов, его Вы отождествляете с "Брахмой") лишено личного смысла, оно означает меру нашей причастности к богу, к жизни, к целому, к внеличному и сверхличному. Следить и следовать за этим Я - уже более благородное занятие" [5, 203].

Читателю мало-мальски знакомому с "аналитической психологией" нетрудно установить, что под первым Я Гессе подразумевает внешнее проявление личности, то, что в психологии Юнга принято называть "Маской" или' "Персоной", в то время как высшим Я писатель обозначает вторую душевную инстанцию, известную в аналитической психологии" под названием "Самости". Кстати эта самая "Самость" и у Гессе, в полном соответствии с требованиями "глубинной психологии, является целью внутреннего развития человека, вплоть до того, что в основу большинства поздних произведений писателя положена схема процесса индивидуации, как она описана в сочинениях Юнга и его последователей.

Разумеется, Гессе не был слепым последователем ни Фрейда, ни Юнга или еще кого-нибудь другого, разумеется, он не пытался механически перенести психоаналитические построения в художественное творчество, да и странной выглядела бы литература, которая и впрямь решила бы проиллюстрировать те или иные положения научной мысли. Лучше всего это знал сам Гессе, который еще на заре своего увлечения "глубинной психологией" в статье "Художник и психоанализ" предостерегал от бездумного следования тезисам психоанализа [8,X, 47(-52]. Однако, не следует забывать и того, что писатель в "аналитической психологии" видел не только удачную и интересную концепцию, но и сильное терапевтическое средство, которое он применял на протяжении многих лет. Таким образом, психоанализ для Гессе не был лишь плодом интеллектуальных усилий, он не являлся чем-то внешним и по отношению к творческому процессу, а входил в непосредственный жизненный и духовный опыт писателя, вплоть до того, что и свое художественное творчество он рассматривал, вполне в духе "аналитической психологии", как непрерывный процесс осознания таинственных бездн собственного бессознательного.

В "Дневнике 1920/21 годов" есть такая запись: "Если поэзию воспринимать как исповедь - а только так могу я ее воспринять сегодня - тогда искусство проявляет себя как длинный, многообразный, извилистый путь, целью которого было бы такое совершенное, такое разветвленное, такое доходящее до последних извилин

самовыражение личности, Я художника, что в итоге это Я перебросилось бы и выгорело до конца, размоталось бы и исчерпалось бы окончательно. И только после этого могло бы последовать нечто более возвышенное, нечто сверхличное и вневременное, искусство было бы преодолено и художник созрел бы для того, чтобы стать святым. Функция искусства, насколько оно имеет отношение к личности художника, было бы в таком случае тем же самым, что и функция исповеди или же психоанализа" [7, 130]. Таким образом, художественные произведения Гессе, являясь "отражениями" отдельных этапов сложного пути самопознания и самовыражения, как бы документируют многолетние усилия на пути индивидуации самого автора. При этом любопытно отметить, что Гессе приблизительно так же осмысливает проблему индивидуации, как и Юнг, акцентируя момент перелома и постепенное продвижение к целостной личности, интегрирующей сознательную и бессознательную психею.

Процесс индивидуации, как он описан в психологической литературе, состоит из двух основных этапов. Первый из них заключается в "инициации во внешний мир" и завершается формированием Я, или, говоря иначе, "Маски", т. е. того проявления личности, "которая человек, по сути дела, не есть, но за которую он сам и другие люди принимают его" [3, 155]. Вторая же ступень заключается в "инициации во внутренний мир" и является процессом дифференциации и отмежевывания от коллективной психологии. Причем сам Юнг, говоря об индивидуации, в большинстве случаев подразумевает лишь только вторую ступень внутреннего становления, именуемую им также и "восамлением" (Selbstwerdung).

Собственная психографическая схема внутреннего формирования личности, описанная Гессе в программной статье "Немного теологии", в основных чертах повторяет главные этапы процесса индивидуации [см. 8, X, 74-87]. Причем особое внимание писатель уделяет феномену "отчаяния", который завершает разумную ступень в развитии индивида и предваряет "магическую" стадию. "Отчаяние" свидетельствует о том, что индивид "созрел" для сложного процесса "вочеловечивания" и может приступить к индивидуации, или точнее, ко второму ее этапу, который, согласно Гессе и Юнгу, есть наиболее ценный отрывок внутренней биографии человека.

Индивидуация в понимании Юнга заключается в ступенчатом приближении к содержаниям и функциям психической целости и в признании воздействия ее сознательны" и бессознательных содержаний на сознательное Я. Она начинается отмежевыванием от псевдоличностности "Маски" и продолжается углублением в бессознательные сферы, которые надлежит поднять в сознание. Таким образом, индивидуация подразумевает расширение сферы сознательной жизни индивида и неукоснительно должна привести к познанию самого себя тем, чем человек является от природы, в противоположность тому образу, за который хочется ему себя выдавать. Внеличные бездны, которые для успешного протекания индивидуации следует осознать, репрезентируют "фигуры" бессознательного, рассматриваемые Юнгом буквально как персонажи некой внутренней драмы: "Тень", "Анима" ("Анимус"), "Самость". Мы не станем тут характеризовать эти образы, многократно описанные в психологической литературе, а лишь отметим, что лики бессознательного обладают такими характеристиками, которые позволяют рассматривать их как автономные личности. Именно это обстоятельство использует Гессе, превративший общую схему внутридушевной драмы в важный поэтологический принцип, а различные аспекты собственного бессознательного, выступающие в образе символических "фигур", в действующих лиц своих произведений. Таким образом, персонажи в повестях и романах позднего Гессе являются не отдельными и независимыми личностями, не суверенными литературными образами, а знаками-символами, репрезентирующими те или иные стороны души автора. И находятся эти персонажи между собой, коль скоро "действие" в романах Гессе разворачивается не в реальной действительности, а в неком воображаемом душевном пространстве, в тех же отношениях, что и "фигуры" бессознательного.

Особенно четко этот поэтологичеакий принцип сформулирован автором в романе "Степной Волк": "В действительности никакое Я, даже самое наивное, не являет собой единства, но любое содержит чрезвычайно сложный мир, звездное небо в миниатюре, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей... Обман основан на простом перенесении. Телесно любой человек есть единство, душевно - никоим образом. Также и поэзия, даже самая утонченная, по традиции неизменно оперирует мнимо цельными, мнимо обладающими единством личностями. В существующей доселе словесности специалисты и знатоки превыше всего ценят драму, и по праву, ибо она представляет (или могла бы представить) наибольшие возможности дли изображения Я как некоего множества, - если бы только этому не противоречила грубая видимость, обманным образом внушающая нам, будто коль скоро каждое отдельное действующее лицо драмы сидит в своем неоспоримо единократном, едином, замкнутом теле, то оно являет собой единство. Поэтому наивная эстетика выше всего ценит так называемую драму характеров, в которой каждая фигура с полной наглядностью и обособленностью выступает как единство. Лишь мало-помалу в отдельных умах брезжит догадка, что все это, может статься, есть всего лишь дешевая эстетика видимости, что мы заблуждаемся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о красоте классической древности, которая, как всегда, исходя из зримого тела, и измыслила, собственно, эту фикцию Я, действующего лица. В поэтических памятниках Древней Индии этого понятия совершенно не существует, герои индийского эпоса - не лица, а скопища лиц, ряды олицетворений. И в нашем современном мире тоже есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и

характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многоликость души. Кто хочет познать это, должен решиться взглянуть на персонажей такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя)" [8, VII, 242-243].

Как видно из этого высказывания, Гессе вполне сознательно и намеренно строил свои персонажи не как характеры и индивидуальности, а как "типы", как знаки-символы, репрезентирующие разные сферы и функции его бессознательного. А постольку писатель с одной стороны снабжал их стойкими инвариантными свойствами, характеризующими соответствующие "фигуры" бессознательного, с другой же стороны наделял их чертами из своего индивидуального душевного опыта.

С особой последовательностью описанный выше поэтологический принцип осуществлен писателем в романе "Степной Волк" и критики давно уже стали, и не без основания, соотносить персонаж Термины с "Анимой", в Волке же усмотрели проекцию архетипического образа "Тени" [см. 1, 169; 10; 11; 12, 41-52]. Однако, свои наблюдения исследователи до сих пор, в основном, ограничивали романом "Степной Волк" и как будто не замечали, что сформулированная здесь поэтологичеакая модель в той или иной степени определяет композицию и структуру большинства прозаических сочинений Гессе.

Все произведения Гессе, в том числе и "Степной Волк", начинаются с "отчаяния", завершающего, согласно психографической схеме, предложенной писателем, "инициацию во внешний мир". Отчаяние свидетельствует о несостоятельности "Маски" и связанных с ней нравственно-мировоззренческих установок и направлено поэтому против данной искусственной конструкции личности. Отчаяние и конфликт с "Маской" может окончиться гибелью героя, но в случае успешного преодоления оно открывает перед Я стихию бессознательного, которую надлежит поднять в сознание, что даст возможность человеку обрести свою истинную индивидуальность. Чиновник Клайн, герой новеллы "Клайн и Вагнер", погибает при первой же встрече с бессознательным (или же, если рассматривать образ Клайна как "Маску" некоего психического целого, то можно сказать, что новелла повествует об успешном преодолении коллективной психологии и многообещающем начале индивидуации). Гарри Галлер делает шаг вперед на опасном пути встречи с бессознательным. Он преодолевает следующий барьер, представший перед ним в лице "Анимы".

Для того, чтобы получить правильное представление о силах и факторах неизвестного мира, индивиду надлежит воспринять фигуру "Анимы" как автономную личность и ставить ей сугубо личные вопросы. Ибо все искусство состоит в том, чтобы заставить заговорить свою другую сторону. В этом заключается самая элементарная техника психоанализа и предпосылка успешного протекания индивидуации. "Автономный комплекс Анимы и Анимуса", замечает Юнг, "по сути дела является психологической функцией, которая лишь благодаря своей автономности и неразвитости узурпирует личность... Однако уже сейчас мы видим возможность разрушить ее личностность тем, что осознав превратим ее в мост, ведущий в бессознательное... Столкновение с ним должно вывести их содержания на свет и лишь после того, как эта задача (будет успешно завершена и сознание в достаточной мере ознакомится с процессами бессознательного, отраженного в Лниме, лишь после этого будет Анима восприниматься как чистая функция" [2, 105; см. также: 2, 120]. Диалоги Галлера и Термины свидетельствуют о том, что автору романа удалось заставить заговорить образ женственного в своем бессознательном. Свадебный танец в залах "Глобуса" указывает далее на успешное освоение бессознательных содержаний сознанием, а символическое убийство "героини" в конце книги на психологическом языке означает превращение автономного комплекса в психологическую функцию и благополучное завершение важной ступени процесса индивидуании.

Однако высвобождением из ложной оболочки "Маски" и превращением "Анимы" из автономного комплекса в чистую функцию отнюдь не исчерпывается цель индиаидуации, а ее конечной целью является достижение психической цельности или, говоря словами Гессе, идеальной возможности, заложенной в человеке. Цельность эта, или же "Самость", будет достигнута в том случае, если основные пары противоположностей будут относительно дифференцированы и если сознание и бессознательное будут приведены в животворное взаимодействие. а спокойное течение психической жизни будет гарантировано тем, что бессознательное никогда не осознается до конца и тем самым всегда будет представлять собой неисчерпаемую энергетическую базу психического. "Самость" никогда не может быть абсолютно абсорбирована сознательным субъектом, ибо "Самость есть величина, относящаяся к сознательному Я, как целое к части. Она охватывает не только сознательную, но и бессознательную психею" 12, 69]. Поэтому сколько бы наше Я ни пыталось осознать бессознательные содержания, в нас всегда будет оставаться достаточное количество бессознательного, не освоенного сознанием. Часть никогда не сможет постичь целого, цельность психики, как бы успешно ни протекала индивидуация, всегда будет оставаться относительной и поэтому ее достижение должно превратиться в пожизненную задачу человека. "Личность, как исчерпывающее осуществление цельности нашего существа есть

недосягаемый идеал", писал Юнг; "однако, недосягаемость не есть аргумент против идеала, ибо идеалы представляют собой указатели пути и никогда не являются самой нелью" [4, 188].

В полном соответствии с этим положением "аналитической психологии", Гессе в своих произведениях почти никогда не рисует свершение идеала совершенного человека, а указывает лишь направление, в котором происходит развитие героя, хотя как идеал "Самость" (постоянно присутствует в его романах, принимая то образ Гете (*Подробнее о роли образа Гёте в творчестве Гессе см. статью Р. Каралашвили [9, 179-200]*), то Моцарта, а то еще других "вымышленных" лиц, называемых Гессе "Бессмертными" (Здесь вряд ли можно удержаться от замечания, что и само название этих персонажей - "Бессмертные" - имеет самое прямое касательство к "глубинной психологии". Ибо "бессмертие", согласно Юнгу, есть всего лишь выходящая за рамки сознания психическая деятельность и выражение "по ту сторону могилы и смерти" на языке психологии не означает ничего другого, кроме как "по ту сторону сознания" [см. 2, 84]. А коль скоро гессевские персонажи, репрезентирующие "Самость", объединяют не только личные и сознательные, но и безличные и бессознательные сферы психеи, то их с полным правом можно было назвать "Бессмертными".) Реализм Гессе не позволял ему изображать такие состояния, которые не имелись в его душевном опыте и в тех редких случаях, когда он все-таки решался воплотить свою мечту и идеальную цель в поэтическую форму, то он прибегал или к иносказанию и сказке, или же к литературной форме легенды (см. "Сиддхартху", последнюю главу "Игры в бисер" и пр.).

Описанную нами поэтологическую модель Гессе практически начинает применять начиная с романа "Демиан". Отныне действие в его произведениях почти исключительно разворачивается не в социально-эмпирическом пространстве, которое писатель именует "так называемой действительностью", а в "магической действительности" ("Магическое", замечает Юнг, "это просто-напросто другое название психического" [2, 78]). С этого же времени и персонажи в его романах перестают быть суверенными действующими лицами с четко вырисованными характерами, которыми они, собственно говоря, в полной мере никогда и не были. Их функция отныне заключается в образно-зримой репрезентации определенных внеличных инстанций психеи самого автора. Читателю, знакомому с теорией индивидуации, нетрудно будет установить, каким именно "фигурам" бессознательного соответствуют те или иные персонажи. Он увидит, что "Анима" представлена тут образами госпожи Евы, Камалы, Терезины, Термины и др.; "Тень" - образами Кромера, Вагнера, Пабло; а Макс Демиан, Васудева, Моцарт, Гёте, Лео и Магистр музыки репрезентируют "Самость", т. е. ту идеальную возможность, которая заложена в каждом из нас и оптимальная реализация которой должна стать жизненной целью человека.

Как видим, психоанализ сыграл весьма важную роль в творчестве Гессе. Разумеется, можно ставить под сомнение возможность практического обуздания "Тени" методом, предложенном "аналитической психологией" и отраженном в сочинениях писателя, можно оспаривать терапевтический эффект процесса индивидуации в целом, можно также не соглашаться с теми или иными положениями психоанализа, однако то, что юнгианская модель психеи в данном случае оказалась весьма плодотворной основой для поэтологических построений, это совершенно бесспорно и об этом свидетельствует, кроме всего прочего, и тот огромный успех, который выпал на долю книг Гессе. Психоанализ в западной литературе подвергался самой различной, в том числе и откровенно иррационалистической экспликации. Однако, в отличие от подобного восприятия "глубинной психологии" Гессе в ней узрел значительные нравственно-конструктивные возможности. Оставив в стороне отдельные явно антигуманистические тенденции "аналитической психологии", он связал теорию индивидуации со своей мечтой о совершенном человеке и гармонической личности и трансформировал ее таким образом в сферу жизнеутверждающего гуманизма. Свидетельством этого гуманизма и веры в неиссякаемые возможности, заложенные в человеке, являются и следующие олова писателя: "Я верю в человека, как чудесную возможность, она не гаснет даже и в самой ужасной мерзости и помогает преодолеть самое ужасное извращение и вернуться назад; эту возможность всегда можно чувствовать - как надежду, как императив, и та сила, которая заставляет человека мечтать о высших его возможностях, которая снова и снова уводит его прочь от животного, - это, должно быть, всегда одна и та же сила, как бы ни именовали ее, - сегодня религией, завтра разумом, послезавтра как-то еще. И, видимо, эти постоянные колебания между реальным человеком и возможным человеком мечты и есть то самое, что на языке религий зовется связью человека и бога" [5, 176].

Литература

1. Jacobi, Jolande, Die Psichologie von К. G. Jung. Zurich und Stuttgart, 1967.

2. Jung, C. G., Die Beziel ungden zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Zurich und Stuttgart, 1966.

3. Jung, C. G., Gestaltungen des Unbewussten. Zurich, 1950.

4. Jung, C. G., Wirklichkeit der Seele. Zurich. 1947.

5. Hesse, Hermann, Briefe. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt a. M., 1964.

6. Hesse, Hermann, Gasammelte Briefe. Bd. I. Frankfurt, a. M., 1973.

7. Hesse, Hermann, Eigensinn. Frankfurt a. M., 1972.

8. Hesse, Hermann, Gesammelte Werke in zwolf Banden-Frankfurt a. M., 1970.

9. Karalaschwili, Reso, Das Goethe - Bild in Hermann Hesses Schaffen. In: Hermann Hesse, Dank an Goethe. Frankfurt a. M., 1975.

10. Maier, Emanuel, The psychologie of C. G. Jung in the Woiks of Heimarn Hesse. New York University, 1952 (Diss.).

11. Schwartz, Arnold, Creation litteraire et psychologie des profondeurs. Paris, 1960.

12. Volker, Ludwig, Die Gestalt der Hermine in Hesses "Steppenwolf". In: Etudes Germaniques (Paris), 1970, 1, p. 41-51.

125. Отражение человеческой психики в художественной литературе наших дней. К анализу психологического романа и новеллы 50-х - 60-х годов на Западе. В. В. Ивашева

МГУ, филологический факультет

1. Исследование внутреннего мира человека при решении реалистических характеров - далеко не новость в литературе западного мира. Не ново и раскрытие внутреннего мира личности, воспринятое как самоцель. Психологические портреты встречаются как у Диккенса (в особенности, Диккенса зрелой поры его творчества), так и, тем более, у Стендаля. Есть они у Теккерея и Бальзака. Флобера и Золя. Богатейшие образцы психологического анализа дал русский критический реализм XIX века. Мы встречаемся с тонким раскрытием человеческой души у Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова.

Анализ душевной жизни человека становится с начала XX века самоцелью у модернистов школы В. Вульф. Одна из основоположниц модернизма, Вульф, призывала в своей статье о романе к "фиксации атомов, возникающих в сознании", "мимолетных впечатлений и незначительных событий, какими бы бессвязными и неясными они ни представлялись, притом за счет реалистического изображения жизни в ее многообразии" [15, 190].

В период между двумя мировыми войнами XX века многие писатели Запада начали ориентироваться на Дж. Джойса (*Напомню, что первые главы его "Улисса" появились в 1914 году в Little Review. Полный текст романа был опубликован в 1922 году*) как на тончайшего исследователя глубин человеческой психики, мы бы сказали сегодня - глубин сознания и бессознательного психического. Недаром та же Вульф - "законодательница вкусов" модернистски настроенной интеллигенции как Западной Европы, так и США - рекомендовала прозу Джойса в качестве образца, подчеркивая умение автора "Улисса" "фиксировать мерцание того внутреннего огня, который посылает свои мимолетные сигналы в наше сознание" [15, 190].

Проникновение Джойса в психику человека наметило новый этап в художественном раскрытии всего комплекса психических состояний личности - не только ее сознания, но и всего ею неосознанного, живущего в глубинах ее подсознания (или "вытесненного", по терминологии Фрейда). Достаточно вспомнить психологические портреты Стивна Дедалуса в "Портрете художника в молодости" и того же Стивна в "Улиссе", изображение Леона Блума и, в меньщей степени, Мэрион в том же романе.

Но как бы велико ни было мастерство Джойса в раскрытии глубин психики и комплексов личности, сегодня оно уже может казаться ограниченным. В своем "Улиссе" Джойс ориентировался преимущественно на Фрейда и его понимание бессознательного психического, отсюда и "потоксознания" в его творчестве. Сегодня художественное исследование человеческой психики ушло по сравнению с началом века много дальше. Литература разных стран обнаруживает такие новые подходы к изображаемому, которые нельзя отнести за счет одного только таланта того или другого автора, высокой степени его одаренности и мастерства, а тем более - только изучения им наследия М. Пруста, Вульф или Джойса.

Анализируя приемы раскрытия психики человека, применяемые писателями второй половины XX века, приходишь к выводу, что эти приемы - результат бурного развития науки о сознании за последние десятилетия. Наука дала в руки писателя такое оружие, которое было совершенно недоступно ему еще несколько десятилетий назад.

С научным исследованием и отражением внутреннего мира человека читатель связывает, естественно, прежде всего развитие психологии. Но сегодня развитие психологии без учета ее связей с нейропсихологией, нейрофизиологией и нейроанатомией, неврологией и нейрохирургией представить себе уже невозможно. Немыслимо говорить о психологии, забывая о связи психических явлений с деятельностью головного мозга, то есть о том, что является объектом изучения психофизиологов. Нельзя не учитывать и многообразия содержания современной психологии, определяемого ее взаимодействием с другими областями науки.

В ходе развертывания научно-технической революции все больше возрастало значение биологии. Процессы дифференциации и интеграции в науке никогда не достигали такой интенсивности и таких масштабов, как в последние два десятилетия. Границы между науками сегодня трудно определяются. В последние десятилетия психология все больше "физиологизируется", расширяя предмет исследования психологических явлений их нейрофизиологической и соматической интерпретацией. Ответственны за исследование мозга, прежде всего, физиология и психология, но на сегодняшнем этапе науки они настолько переплетаются, что разграничение физиологии и. психологии в ряде случаев весьма трудно.

И. П. Павлов утверждал, говоря о взаимоотношениях между физиологией и психологией: "Мы проще, чем психологи, мы строим фундамент нервной деятельности, а они строят высшую надстройку, и так как простое, элементарное понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно, то, следовательно, наше положение лучше, ибо наше исследование, наш успех нисколько не зависит от их исследований... Для психологов, наоборот, наши исследования должны иметь очень большое значение" [6]. Сегодня это утверждение уже не столь бесспорно: результаты психологических исследований намечают цели физиологическому исследованию и служат для сверки его результатов. Я имею в виду, прежде всего, теорию установки Д. Н. Узнадзе и всю выросшую из нее физиологическую проблематику. С другой стороны, неоспоримо, что успехи ученых в изучении физиологии мозга не могли не наложить глубокий отпечаток на подход к вопросам психологии, в частности на понимание границ между областью сознания и бессознательного психического: Возвращаясь непосредственно к предмету разговора о сдвигах, происходящих сегодня в искусстве психологического анализа в литературе, о новом в изучении человеческой психики, надо подчеркнуть, что все те многообразные и все более сложные психолого-неврологические исследования, которые велись за последние десятилетия, совпавшие с научно-технической революцией, привели к значительно большей (чем в дни М. Пруста, В. Вульф, Д. Джойса или Ф. Кафки) ясности в понимании природы сознания и бессознательного психического, а, следовательно, и к более совершенным приемам их художественного отражения. Это не могло не сказаться на том, какими путями пошли художники наших дней, в особенности те художники, которые сосредотачивали внимание преимущественно на психологических исследованиях, на глубинном раскрытии душевного мира человека.

То, что Джойс лишь нащупывал, экспериментально осуществляя в своем "Улиссе" (и навлекая на себя бурю негодования консервативно мыслящих или просто недостаточно информированных читателей), художники наших дней имеют возможность осуществлять уже гораздо более уверенно, исходя из новейших данных современной психологии.

Проблеме сознания было посвящено за последние годы множество работ как за рубежом, так и в Советском Союзе. Сегодня не требует доказательств та истина, что сознание - это контролируемое и управляемое личностью отображение действительности, которое реализуется только на основе непрерывного и тесного взаимодействия личности с обществом. Несомненен - особенно для художника, стремящегося к более глубокому и правдимому отражению душевной жизни человека, - и тот факт, что категория сознания не охватывает все без исключения психические явления и что существует обширный ряд психологических явлений, которые осуществляются вне сферы сознания, хотя и не могут быть оторваны от этой сферы. Они выступают при этом в роли существенного и неотъемлемого двигателя сознательных действий и переживаний людей. Современный этап развития психологии потребовал поэтому дальнейшего углубления теоретического анализа сущности бессознательно-психических явлений, что по существу и было, в первую очередь, проделано у нас в работах Ф. В. Бассина и А. Е. Шерозия (*В монографии Ф. В. Бассина [2] показаны реальность бессознательно-психических явлений и актуальность дальнейшего изучения проблемы скрытых от сознания состояний, оказывающих существенное (а иногда и решающее) влияние на реализацию субъективных переживаний и действий личности. Те же вопросы развиты и более детально разработаны в книгах А. Е. Шерозия [9; 10]*). В частности, в работе "К проблеме сознания и бессознательного психического" (том I, 1969; том II, 1973) А. Е. Шерозия подчеркивает то обстоятельство, что "бессознательное - это специальный термин, родившийся как понятие, выражающее негацию сознания и в определенных отношениях всегда имеющее в науке противоположный понятию сознания смысл. Под этим

термином может подразумеваться вся сфера, лежащая вне сознания, в том числе и биосфера и сфера бессознательного психического". Стало быть, само "понимание проблемы бессознательного принципиально зависимо от того, как будет понята проблема собственно сознания. Две эти проблемы друг без друга разрешиться не могут, в отдельности не могут быть построены также ни общая теория сознания, ни общая теория бессознательного" [10, 8 - 9] (*Углубление проблемы бессознательного нуждалось в конкретизации и требовало установления связи с индивидуальными особенностями личности. Ф. В.Бассин и А. Е. Шерозия справедливо указывали на то, что первым это во всей полноте почувствовал 3. Фрейд, и именно от Фрейда, добавлю я здесь, это понимание перешло к Джойсу. Во всяком случае, я вполне разделяю мнение А. Е. Шерозия о том, что "до Фрейда фактически не было ни психологии личности, ни, стало быть, психологии бессознательного. Он существенно изменил основное традиционное содержание как той, так и другой, вплоть до основного традиционного содержания самого феномена личности" [10, 29]*).

2. Изучение как сознания, так и бессознательного психического, без чего немыслима современная психология, было той научной основой, к которой давно тяготело и на которой постепенно выросло современное искусство - искусство художественного анализа внутреннего мира человека.

Одними писателями это новое направление до конца еще не осознано и не осмыслено, другие, напротив, идя в ногу с научной мыслью второй половины столетия, начинают по-новому осознавать свой творческий процесс.

Примечательно в этом отношении предисловие, предпосланное книге новелл Грэхема Грина, вышедшей в 1072 году в издательстве "Бодли Хэд". Интересно оно как для раскрытия метода Грина в работе над своими книгами, так и для понимания сдвигов, происходящих в понимании творческого процесса как такового, художественного проникновения больших мастеров слова в глубины человеческой психики.

Грин начинает свои рассуждения о том, как он пишет, с утверждения, что писатели делятся на таких, которые известны как романисты и работают преимущественно над большими формами и лишь между прочим пишут несколько новелл, и таких, которые, напротив, всю жизнь пишут только новеллы и однажды, как бы между прочим, создают один или несколько романов. Различие это, по Грину, не имеет отношения к ценности создаваемого - оно лишь отражает "разные образы жизни". "Когда создаешь роман, а процесс этот может занять годы, автор его, ставя последнюю точку, уже не тот, что когда-то его начинал". Дело для Грина не в том, что развивались персонажи, - менялся, создавая их, сам писатель. Рассуждения его связаны с пониманием психологической эволюции пишущего, происходящей во взаимодействии с созданными им персонажами и положениями.

"Исправляя написанное, писатель ощущает безнадежность попытки поправить то, что было создано когда-то. "Это никогда не кончится", в отчаянии говорит он сёбе. "Я никогда не исправлю этот абзац". А следовало сказать: "Я никогда больше не буду тем человеком, каким я писал все это много месяцев назад" [13, IX].

Новеллу Грин воспринимает как форму бегства от необходимости жить с одним и тем же персонажем в течение нескольких лет (как бывает при создании романа), "заражаясь его ревностью, его подлостью, нечестными приемами его мысли, вместе с ним совершая подлость предательства". Мотивируя так свои "вылазки" в область новеллистики, Грин дает интереснейший комментарий к тому, как новеллы им создавались. В тезисной форме писатель формулирует свои мысли о роли подсознания в творческом процессе, которые он высказывал за последние годы неоднократно [3].

"Когда я что-нибудь писал, сны... всегда имели для меня существенное значение, - утверждает Грин. - Так замысел романа "Это поле боя" возник во сне, а роман, над которым я работаю сегодня (*Речь идет здесь о книге "Почетный консул", вышедшей в 1974 году*), - тоже родился во сне. Иногда я настолько сливаюсь с тем или другим персонажем, что его сон становится моим. Так получилось, когда я писал "Ценой потери". Символы, воспоминания, ассоциации этого сна настолько ясно связаны были с моим персонажем Керри, что наутро я смог вписать этот сон в мой роман, не произведя никаких изменений. А там он латал прорыв в повествовании, который мне долго не удавалось чем-то заполнить. Я убежден в том, что и другие авторы получали подобного рода помощь от подсознания" [13, XI-XII].

Грин, таким образом, хорошо понимает значение бессознательного психического в процессе своей работы, но идет дальше и раскрывает технику своего обращения к живущему в сфере неосознанного психического: "Бессознательное неизменно помогает нам в нашей работе. Это слуга, которого мы держим в подполье, рассчитывая на его помощь. Когда возникает препятствие, которое кажется непреодолимым, я перечитываю, ложась спать, написанное в течение дня и предоставляю своему слуге работать на меня. Проснувшись, я ощущаю, что затруднение устранено: решение вопроса готово и кажется мне очевидным. Вполне вероятно, что оно явилось

мне во сне, который я мог забыть" (*Следует заметить, что за последнее время и у нас и на Западе вышли работы, обстоятельно подводящие итог тому, что сделано по изучению природы сна. Грин с этой литературой хорошо знаком*).

Читателя, сколько-нибудь знакомого сегодня с законами, управляющими сознанием и бессознательным психическим, слова Грина не могут, конечно, удивить. Уже в старой психологической литературе было описано множество фактов, когда ученые находили во сне решение труднейших проблем. Столь же известна роль интуиции и подсознания в творческом процессе.

3. С точки зрения раскрытия нового в художественном постижении психических состояний людей, притом как их сознания так и бессознательного психического, большой интерес, на мой взгляд, представляет творчество Маргариты Дюра. Новое художественное постижение особенностей душевной жизни чрезвычайно ярко звучит в пьесе-фильме Дюра "India Song", написанной автором по просьбе Питера Брука - английского режиссера и директора Национального английского театра.

До известной степени сюжет пьесы может напомнить роман того же автора "Вице-консул", но сама Дюра утверждает ее связи с "Женщиной Ганга", где впервые были использованы ею новые формы раскрытия внутреннего мира человека. Главное здесь, пишет автор в пояснительной записке к пьесе, это применение новых средств художественного исследования... через голоса людей, в действии не участвующих (les voix exterieures au recit d'India Song, p. 10).

"India Song" - это пьеса экспериментальная. Здесь большую роль играют импрессионистические приемы письма - цвета, звуки, меняющаяся игра света, целая гамма выразительных жестов. Все вместе создает гнетущую атмосферу безнадежности, мрачной и безысходной. Но стиль Дюра, какие бы средства она не заимствовала у своих предшественников, глубоко индивидуален, а содержание пьесы намного сложнее того, что лежит на поверхности.

При первом чтении "Индиа сонг" воспринимается как произведение камерное, ограниченное узко интимной темой. В самом деле - пьеса представляет из себя обсуждение и воссоздание несколькими лицами (четырьмя "Голосами") истории одной любви, возникшей много лет назад (в 30-х годах XX века) в Индии и закончившейся трагически. История любви, внезапно вспыхнувшей между англичанином Майклом Ричардсоном и женой французского посла в Индии Анной-Марией Штреттер, стоит в центре внимания вспоминающих о ней лиц.

Можно было бы найти в пьесе что-то от прозы В. Вульф, глубоко внимательной к деталям чувств и мелькающим импульсам, подсказанным подсознанием, но пьеса Дюра отнюдь не оторвана от жизни, как романы Вульф. Трагизм той любви, которая вспыхнула между двумя европейцами и оборвалась трагической гибелью одного из любящих, - реплика на другую - большую - трагедию целого народа, которая как бы мимоходом, но с неменьшей силой намечена в подтексте, непрерывно захлестывающем текст.

Вчитываясь в текст и перечитывая его (благодаря лаконизму авторского стиля многое существенное при первом чтении может ускользнуть от читателя), приходишь к убеждению, что имеешь дело с двумя планами и что то, о чем говорят Голоса, невидимые зрителю, но в своих репликах воссоздающие картину прошлого, нерасторжимо связано с "фоном", на котором эта любовная история развертывается.

В пьесе нет действия, но в ее сценарии намечены картины, без которых непонятно то, о чем свидетельствуют Голоса. Голод, нечеловеческие страдания тысяч людей. Прокаженные и нищие, умирающие от голода и болезней прямо на улице, на глазах обеспеченных европейцев... Непереносимая жара и не менее невыносимая сырость в пору муссонов. Воздух, пропитанный миазмами страшной заразы... По ночам зарево от печей крематориев, сжигающих трупы умерших в течение дня. Эта жара и эти дожди, эти нищие и эти прокаженные, их стоны и вопли заставляют бредить, а порой и сходить с ума даже тех, кто к этим страданиям, как будто, непричастен и кто отгорожен от них в комфортабельных резиденциях "для белых", резиденциях европейцев. И мало кто из этих европейцев долго выдерживает нервное напряжение, создаваемое страшными контрастами.

"Фон", на котором развертываются события, воссоздаваемые Голосами (две женщины, а позже двое мужчин - Голоса 1-й и 2-й и Голоса 3-й и 4-й), сначала воспринимается как самостоятельная тема, но постепенно сливается с главным действием, хотя, где главное и где второстепенное, определить поначалу далеко не легко.

О наличии социального подтекста в пьесе говорит один не раскрытый до конца, но бесспорно символический персонаж пьесы. Я имею в виду образ нищей певицы, пришедшей в Индию пешком из Лаоса и как-то таинственно связанной с гордой и неприступной мадам Штреттер. Нищая певица родом из Лаоса (как и жена посла) и

находится всегда где-нибудь поблизости от Анны-Марии Штреттер... Она 17 лет назад продала свою дочь иностранцу... Анна-Мария Штреттер, известная как дочь англичанина и венецианки, вышла замуж, за Штреттера, человека состоятельного и с большим положением, тоже ровно 17 лет назад... Намек так и остается нераскрытым намеком, но через безумную нищую два мира, разделенные, как может показаться, непреодолимой стеной, начинают соприкасаться.

Психологическое содержание пьесы заключено в исследовании - необычайно тонком - переживаний и чувств, осознаваемых и неосознаваемых, нескольких людей. Они охвачены, как бы загипнотизированы любовью, но в то же время почти одержимы ощущением ее безнадежности. Притом ни один из этих людей в пьесе непосредственно не раскрыт. Они появляются и исчезают в отдельные моменты разговора о них Голосов, как бы иллюстрируя то, что о них говорят Голоса.

В историю одной любви, вспоминаемой Голосами и в своих наиболее драматических моментах встающую перед глазами зрителя (воспринимаясь как проекция его внутреннего зрения), вплетено три действующих лица. Это Майкл Ричардсон - молодой англичанин, отказавшийся от невесты и порвавший все старые связи после встречи на балу с женой французского посла Анной Штреттер. Это Анна Штреттер и это, наконец, французский вице-консул в Лахоре (имя которого не названо), проникшийся к той же Анне непреодолимой страстью и сыгравший в ее жизни какую-то трагическую роль, так и не разгаданную до конца окружающими.

Когда-то, говорится в редакционной аннотации к пьесе, Голоса знали историю любви Анны и Майкла, протекавшую з 30-х годах, знали о ней и о ней читали. Одни из них помнят ее лучше, другие хуже, но никто не знает о ней все до конца, хотя забыть ее тоже не могут. Читатель пьесы (или зритель) так и не узнает до конца, кому принадлежат эти Голоса, но ему ясно, что между говорящими существуют какие-то, притом достаточно сложные, отношения и связи и что каждый из говорящих (но невидимых зрителю, добавим мы) обладает своими особенностями характера и восприятия.

... Голоса женщин вспоминают прием во французском посольстве, на котором Ричардсон не отходил от Анны ни на шаг. Взаимное чувство Анны и Майкла передается не в словах, а в жестах, позах, порой даже больше в молчании, чем в диалоге (здесь нельзя не вспомнить о значении, которое обоснованно придается "паузам" и "умолчаниям" и при современном клиническом исследовании бессознательного). В живых картинах, воспроизводящих жесты и позы, раскрывается душевное состояние обоих любящих. С другой стороны, обрывки разговоров различных людей, присутствующих на приеме, готовит к появлению на сцене вице-консула из Лахора и к пониманию его скрытого, в какой-то мере, душевного состояния.

Когда вице-консул появится на приеме в посольстве и протянет руки к Анне-Марии, громко говоря о своей любви к ней, его психологический портрет уже подготовлен и никого не удивит. Не может удивить и последующее: дикие крики помешавшегося, когда его уводят с приема... Зритель вполне подготовлен к мысли о том, что консул способен на убийство, притом из любых побуждений. Подготовлен он и к тому, что в любви Анны и Майкла наступит трагический перелом, хотя причина его так и остается туманной. Когда вскоре после приема посол и его жена вместе с близкими друзьями, в числе которых Майкл Ричардсон, уезжают на машине на остров Дельты, писательница уже дает ощутить трагический финал обсуждаемой истории. Непонятными лишь остаются обстоятельства, при которых погибает затем Анна.

Утонула ли она, купаясь на рассвете в море близ посольской резиденции, или была убита преследовавшим ее накануне по пятам полубезумным вице-консулом? Не совершила ли она самоубийства по причинам, о которых зрителю (читателю) позволяется думать что угодно? Эти и многие другие вопросы остаются невыясненными, да и, может быть, не так уж волнуют автора, предоставляющего зрителю найти на них любой ответ.

Произведение М. Дюра заставляет задуматься и чем-то глубоко затрагивает читателя. Писательница ищет и находит разнообразные средства раскрыть психологию своих "героев". И эти средства продиктованы стилем времени (*Об этом стиле времени см. мою статью [4]*). Как мало они похожи на спокойное и эпическое повествование от автора, всеведущего автора, знающего о своих героях все и сообщающего читателю ровно столько, сколько считает нужным.

4. Говоря о новых приемах психологического анализа, нельзя пройти и мимо английской писательницы Сюзен Хилл. Сюзен Хилл вошла в литературу Великобритании без деклараций, каких-либо заявок на новаторство, без воя кого шума рекламы. Заговорили о ней не сразу и не громко, и только осенью 1972 года, когда вышел ее роман "Ночная птица" о поэте, охваченном безумием. Английские критики разных направлений отметили дарование автора и силу ее художественного мастерства. Каждый, кто прочтет эту книгу, должен будет согласиться с тем, что, хотя тематика Хилл сравнительно сужена, дарование ее незаурядно. Однако особенно интересны новеллы

Хилл, в особенности, новеллы из книги "Немного песни и пляски" (1974). Меньше всего рассказы Хилл напоминают произведения фантастические или даже нарочито, "выдуманные"; вместе с тем, хотя они и написаны в реалистической манере, каждый из них - что угодно, но не прямое отражение жизни. От новеллы к новелле сохраняется гнетущая атмосфера, все больше нагнетаясь и сгущаясь, и, чем дальше читаешь, тем больше растет ощущение нарочитости в отборе автором тем и характеров и, что главное, наблюдений ее над поведением и чувствами обыденных, как будто, людей, над смыслом тех или других обстоятельств в их жизни. Ощущаешь при этом и другое - и это другое превалирует при чтении рассказов - силу дарования пишущего их молодого автора, его уменье заметить в судьбах самых заурядных людей такое, мимо чего иной проходит без внимания, заглянуть в такие тайники духа, в которые никто не заглядывает или редко считает нужным заглянуть. При этом ни одного лишнего слова или абзаца, ни одной лишней метафоры, не говоря уже о каком-либо навязчивом лиризме или, тем более, украшательстве. Строгий, сдержанный стиль...

Действующие лица рассказов Хилл - обычно жители маленьких приморских, чаще всего курортных городков, пустынных зимой и немного оживающих лишь в летние месяцы, простые по положению в обществе люди. Это гробовщик Нельсон Туоми, люди без определенных занятий и среднего достатка Прудем и Слей, это старый фермер в рассказе "Опекун", это ушедшие на пенсию государственные служащие в "Павлине". Почти во всех новеллах главная тема - смерть, а там, где она не определяет прямо содержание и финал, мотив смерти так или иначе подразумевается и лежит в подтексте.

Лейтмотив всех рассказов, о чем бы они ни были, всегда один и тот же, хотя в каждом в отдельности он и звучит по-своему. Этот лейтмотив - одиночество, непреодолимое, пугающее одиночество очень разных людей, вытекающее из их судеб и определяющее эти судьбы. Можно было бы даже сказать больше - непреодолимое, неустранимое одиночество каждого человека, ибо именно таков в конечном итоге смысл как этих, так и почти всех других рассказов Сюзен Хилл, писательницы, которой, заметим, лишь недавно исполнилось тридцать лет (*Содержание новелл Хилл красноречиво говорит об экзистенциалистской ориентации их автора*).

Хилл пишет так, что образы, созданные ею, западают в память, как несмываемая татуировка. Умение Хилл проникать в тайники внутреннего мира людей в высшей степени примечательно. Писательница не дает "анализа" того, что она видит и передает. Увидев беспредельную боль и страдание, спрятанные очень далеко от посторонних глаз, Хилл не обнажает эту боль, не говорит о ней, а показывает поступки охваченного отчаянием человека так, что читающий начинает ощущать это горе и страдания, притом порой ощущать раньше, чем даже понимать его.

Нигде прямо не сказано о том, что переживает пожилая мисс Роскоммон, когда ее младшая подруга, мисс Бартлет, покидает ее дом. Но одинокая и внезапная смерть пожилой дамы говорит читающему о силе ее отчаяния ("Когда мне можно уйти?"). Не сказано словами о том, какое мужество требовалось мистеру Карри - жильцу потерявшей мать и чрезвычайно благопристойной мисс Фэншоу - осуществлять свою "летнюю деятельность" в курортном городке. И в то же время "открытие", сделанное мисс Фэншоу (в глазах которой старый жилец хочет казаться таким же респектабельным, как и она сама), красноречиво говорит о том, чего эта "деятельность" ему стоила: приплясывая и распевая перед приморскими зеваками, мистер Карри зарабатывает свой нелегкий хлеб, какой ценой - писательница предоставляет решать читателю... Не менее выразителен психологический портрет мальчика - урода от рождения, презираемого и ненавидимого даже своими родными. Почему Марсель зарывает свое единственное сокровище- разноцветные бусы, подаренные старой помещицей, в могилу недавно схороненной мадам Курвейе? Она одна была к нему добра... Образ Марселя и сила его горя не требуют комментарий, и Хилл их не дает. Не комментирует она ничего и в других новеллах, надеясь на зоркость своих читателей. И едва ли ошибается.

Впрочем, если очевидный лейтмотив новелл Сюзен Хилл - одиночество, притом одиночество, не сближающее и не роднящее людей, а заставляющее их замыкаться в себе и скрывать эту страшную печать "человеческой доли", то ему сопутствует и другой, менее очевидный, но не менее определяющий мотив, подтверждающий влияние на Хилл представлений экзистенциализма.

"Добр" Нельсон Туоми, которого все в местечке считают колдуном и отродьем колдунов. Но в какой мере "добры" или "злы" два старых приятеля Прудем и Слей и, в частности Прудем, души не чаящий в своем старом друге, но в то же время доводящий его до инсульта? и за что? На этот, как и на многие другие вопросы, в новелле нет ответа, как нет его в рассказах "Оранжерея", "Павлин", в рассказе "Зло внутри меня"...

Сюзен Хилл, что бы она ни писала, великолепный стилист. Образы ее всегда собраны, описания предельно лаконичны. Ни одного лишнего слова, ни одного ненужного штриха. И огромный подтекст.

Какими же приемами действует Хилл как психолог, поскольку приемы эти (что заметно даже при поверхностном прочтении ее наиболее показательных книг) отличаются и от традиционных и от тех, которыми оперировали Дж. Джойс или В. Вульф, долгое время считавшиеся проводниками нового в исследовании человеческого сознания и подсознания?

В рассказах и романах Хилл нет "потока сознания", нет той ассоциативной цепочки, которая столь типична для Джойса и составляет главную примету его манеры в раскрытии сознания и бессознательного психического. Впрочем, свободная ассоциация играет большую роль и в ее творчестве, составляя основу всего подтекста в нем, но она лишь подсказывается, не раскрываясь во внутреннем монологе.

Меньше всего Хилл интересуют, как уже отмечалось, сюжет и развитие действия. Более того, характеры как таковые решены в ее книгах бегло и не составляют задачу ее художественного исследования. Вместе с тем, люди, изображаемые ею, воспринимаются читающим не только "как живые", их переживания, чувства, реакции глубочайшим образом убеждают, их психика в той или другой ситуации (последнее очень существенно) раскрывается с полнейшей убедительностью, хотя, повторяю, и в романах, и в рассказах нет ни привычного "психологического анализа", ни потока сознания, из которого можно понять, что думает персонаж и что ему подсказывает его бессознательное психическое.

Представители концепций объективной (материалистической) психологии на Западе очень много писали о неразрывности связей между психикой и внешним поведением человека. "В выявлении внутренней, органической связи психики и внешнего поведения прогрессивные психологи усматривают, - пишет Л. И. Анциферова, ссылаясь на Т. Жанэ, - способ преодоления идеалистического обособления психики от других явлений материального мира" [1, 336]. В различных (хотя и материалистически ориентированных) теориях положение о неразрывной связи психики и поведения имеет, однако, разное истолкование, "ограниченность" которого особенно отчетливо выступает при сопоставлении его с содержанием принципа единства и взаимообусловленности психики и поведения, сознания и деятельности - ведущего принципа психологии" (там же). Эти известные положения стоит вспомнить, говоря о Хилл.

Писательница уходит от какой-либо социальной проблематики, избегает ее, рисуя, хотя и на основе реалистического метода, людей, не типичных для той или другой среды, даже для того или другого времени. И все же психологический портрет их глубоко убедителен, причем на основе емкости детали, с одной стороны, и благодаря фиксации черт мотивированного поведения, с другой.

Психологическое состояние персонажей Хилл угадывается по поступкам одних, которые легко ассоциируются с поступками других и ими мотивируются. Подтекст настолько прозрачен, что автору не требуется пояснять то или другое душевное состояние и вытекающий из него поступок в сколько-нибудь развернутом внутреннем монологе.

Почему мисс Бартлет совершенно неожиданно для старшей подруги, мисс Роскоммон, покидает ее дом, задав ей как будто ничем не подготовленный вопрос: "Когда я могу уйти?" Поступок ее можно было бы назвать ничем не мотивированным, если бы не визит только что вышедшей замуж племянницы старой дамы и ее обращение с теткой - уважительное, но чуточку покровительственное... Слова, а еще более интонации молодых людей в разговоре с мисс Роскоммон мисс Бартлет воспринимает как распространяющиеся и на нее. Хилл об этом не говорит прямо ничего, но паническое бегство Бартлет из дома подруги всецело объясняется испугавшим ее ощущением уходящих дней, угрозы надвигающейся старости... Бартлет ничего не говорит, читателю не сообщается, что она думает. Поступок ее расшифровывается подтекстом.

Без развернутых внутренних монологов (писательница прибегает к ним очень редко), без загадок ассоциативного письма, требующих специальной расшифровки (как это было, например, в "Улиссе" Джойса), Хилл раскрывает не только динамику сознания своих персонажей, но через их поступки (часто даже при первом чтении непонятные), реакции на окружающее - и их бессознательное психическое (*Сегодня С. Хилл уже далеко не единственный современный писатель, идущий по пути художественного раскрытия внутреннего мира персонажей через намек. В манере, близкой к манере Хилл, раскрывает психологию своих персонажей австрийская писательница Фришмут (см., например, новеллы "Возвращение к точке исхода", 1973). В своих новеллах, где говорится об отсутствии взаимопонимания между людьми, их непреодолимом одиночестве, писательница так же сдержана в передаче переживаний и импульсов людей, о которых пишет. Правда, Фришмут не хватает того мастерства, которое характеризует поч рк молодого английского прозаика*).

Яркий пример психологического рисунка нового стиля - книга Паскаля Лэне, получившая гонкуровскую премию 1974 года, "Кружевница". Психологический анализ в старом понимании этого термина здесь, как и в

рассказах Хилл, практически отсутствует. В замысле автора "Кружевницы" - исследование культурной немоты широких общественных слоев (*Та же тема была поднята в пьесе А. Уэскера "Корни" еще в 1958 г., а в 30-х годах очень часто встречалась в западноевропейской литературе*). Реализация его дается через психологический портрет девушки из народа, полюбившей молодого интеллигента и им после продолжительной совместной жизни оставленной.

Прекрасная внешне Пом ("Кружевница") лишена какой-либо культуры (в особенности, культуры речи) и не в состоянии выражать не только свои мысли, но и свои чувства. В этом скоро убеждается сошедшийся с ней студент, пытавшийся приобщить ее к миру своих интересов и эмоций. Эмери де Белинье убежден, что Пом не может его понять и разделить его чувства. Вместе с тем, внутренний мир Пом гораздо сложнее, чем ему кажется.

Сюжет прост, но не прост тот глубинный слой, на котором он строится. Пом молчит и кажется молодому интеллигенту, любящему книги, музыку, живопись, тупой и душевно неуклюжей: она не реагирует ни на что, как будто даже не слышит ничего и не замечает. В то же время через - подчас едва уловимые - детали автор дает ощутить ошибочность впечатления Эмери. И внимательно читающий книгу не удивляется, когда узнает, что, покинутая любимым, Пом очень скоро заболевает и оказывается в психиатрической лечебнице.

Повесть "Кружевница" - тяжелое обвинение обществу, в котором родилась и выросла Пом. Но в той связи, в которой о ней здесь идет речь, важно подчеркнуть другое: насколько тонки те приемы, которые позволили автору в одних только намекал раскрыть сложную гамму переживаний молодой женщины, не нашедшей способов духовной коммуникации даже с самоотверженно любимым ею человеком и в результате пережитой ею душевной трагедии потерявшей рассудок...

Ф. О'Коннор, Джойс, Кэрол Оутс (США), И. Бахманн (Австрия), - примеры можно было продолжить. Сегодня и проза, и поэзия, и драматургия Запада обнаруживают настойчивые попытки различных авторов по-новому подойти к разбору внутреннего мира изображаемых ими людей. Некоторые писатели превосходно знакомы с работами современных психологов, другие только еще воспринимают "климат" новейшей литературы, выросшей на основе нового подхода к человеческой психике, к изучению сознания и бессознательного психического.

126. Бессознательное и художественная фантазия. Л. И. Слитинская

Грузинский политехнический институт, кафедра русской литературы, Тбилиси

1. Учение о бессознательном психическом, изложенное в советской психологии установки - учение Д. Н. Узнадзе и его школы [14; 8; 9; 18; 19], в первую очередь - предложенная А. Е. Шерозия общая теория сознания и бессознательного психического как общая (общепсихологическая) теория фундаментальных отношений личности [18; 19], а также концепция Ф. В. Бассина [1; 2; 3] дают возможность совершенно по-новому поставить вопрос об изучении сущности и психологических механизмов художественной фантазии. В настоящей работе именно с этой точки зрения представлена попытка все еще предварительного подхода к этой проблеме.

Вся личность через ее сознание и бессознательное психическое принимает участие в работе художественной фантазии. Художественная фантазия возникает обычно при переживании личностью конфликта, обусловленного неудовлетворением потребности. За потребностями личности стоит весь ее прошлый опыт, находящиеся в вытеснении подавленные переживания и неразрешенные противоречия, нереализованные стремления, неприемлемые для "Я" влечения. Они обладают большим запасом "психической энергии", а в условиях конфликта еще более активизируются и стремятся к своему выражению в сознании и поведении. При наличии определенных условий эти тенденции реализуются в художественной фантазии, что и отличает акт художественного творчества от акта теоретического познания и любого иного интеллектуального процесса. Художественная фантазия осуществляется, таким образом, в процессе опосредования бессознательного благодаря его стремлению к выражению в сознании - с одной стороны, и стремлению сознания к раскрытию "своего" бессознательного - с другой [15; 16; 18; 19].

В опосредовании бессознательного сознанием проявляет себя тенденция личности к освобождению от создаваемой бессознательным подчас высокой аффективной напряженности. Если в условиях конфликта личности со средой бессознательное не находит выхода ни в поведение, ни в сознание, ни в творческий процесс, происходит нервный срыв, завязываются патологические нервные связи [15]. Психоанализ ставит целью терапевтическое выведение бессознательного в сознание, в художественной же фантазии этот процесс совершается в какой-то мере спонтанно, поэтому художественное творчество можно было бы назвать своеобразным "самопроизвольным психоанализом". Если бы бессознательное писателя не находило своей реализации в художественной фантазии, то

энергия бессознательного тратилась бы на создание невроза. Отсюда столь частое обращение к проблеме сложных отношений, существующих между творчеством и неврозом.

Осмысление и переживание личностью "вытесненного" ею сопровождается познанием объективного мира и самопознанием, поэтому в процессе художественного творчества происходит нередко изменение отношений личности к самой себе, к другим, к "суперличности" [19]. Это сказывается прежде всего на создаваемых в процессе творчества художественных образах и на отношении к ним их автора. В этом смысле каждый значительный художественный образ отражает определенные потребности, конфликты, влечения создавшего его писателя, их преобразования и борьбу. Процесс этот имеет очень сложный, но в общих чертах нам теперь уже достаточно понятный характер.

Структура художественного образа складывается на основе феноменов идентификации и перенесения. Идентификация - это отождествление автора с тем лицом, на месте которого он хотел бы быть или которому он хотел бы уподобиться в своих качествах [17; 15; 16]. Поэтому художественный образ - это созданный фантазией писателя объект, на который писатель благодаря процессу идентификации переносит свои собственные чувства, эмоции, аффективные, интеллектуальные переживания, т. е. проецирует свой собственный внутренний мир. Идентификация и перенесение могут осуществляться как осознанно, так и бессознательно; в последнем случае создается возможность проявления влечений, несовместимых с мироощущением автора, с требованиями его этики и эстетики - в акте творчества бессознательные влечения автора переживаются им как присущие лишь литературному персонажу и потому не наталкиваются на сопротивление его сознания. Так же создается и женский образ, в котором писатель также реализует свои собственные потребности и влечения. Объект идентификации может находиться в поле сознания писателя, а может быть и вытеснен. Если объект идентификации осознается писателем, он становится прототипом художественного образа, если же он вытеснен, то персонаж воспринимается его автором как произвольная игра фантазии - в таком случае только специальный анализ бессознательного может раскрыть факт и объект идентификации.

В художественном образе писатель может идентифицировать себя не с одним, а с несколькими объектами. В подобном случае эти объекты идентифицированы между собой, т. е. обобщены на основе потребности писателя. Слияние объектов идентификации происходит благодаря феномену перенесения. Чувства могут переноситься с одного объекта на другой, одновременно переносятся и связанные с ними представления, они обобщаются и обусловливают агглютинацию образа. Чем больше объектов охватывает идентификация, тем сложнее агглютинация.

Отношение автора к своему герою является необходимым компонентом художественного образа. Оно, как и всякое его отношение вообще, говоря словами А. Е. Шерозия, выражается через трехмерную систему его фундаментальных отношений. Это система отношений его личности к самой себе, к другому и к "суперличности", осуществляющихся как через его сознание, так и через его бессознательное психическое. Исходя из этой теории как общей теории личности [19], можно, как нам кажется, объяснить, почему художественный образ, как правило, не бывает похож на его автора и почему в художественном образе выражает себя не вся личность писателя, а лишь определенные вычлененные тенденции его психики. Если это тенденции бессознательного, то они могут оставаться неизвестными самому писателю, существовать как некая "тайна" для него [15; 19]. Раскрытие этой "тайны" становится особенно трудным, если в художественной фантазии находит выражение не личность писателя как таковая, в ее психологической реальности, а только его идеалы.

Изложенное понимание психологических механизмов художественного творчества делает понятным, что потребность автора художественного произведения отразить свои конфликты и реализовать неудовлетворенные потребности определяет конкретное содержание художественной фантазии - и замысел произведения и его сюжет. То, о чем говорят варианты, черновики, наброски, высказывания писателей, - это лишь отдельные проявления творческого процесса, выражение разных его этапов, развертывающихся уже после того, как та или иная идея произведения прояснилась в сознании писателя и овладела им. Этим проявлениям всегда предшествует (и сопутствует) сложнейшая работа сознания и бессознательного в их антагонистических и синергических отношениях, уже предопределившая общую структуру и общую динамику художественной фантазии. В этом смысле художественная фантазия лежит в основе сюжета, а основой сюжета является ситуация [5].

Теория установки Д. Н. Узнадзе дает возможность понять, как на уровне бессознательного создается ситуация в художественной фантазии (*Экспериментальное исследование по установочному действию воображения, в частности сценического перевоплощения, дано Р. Г. Натадзе [9]*). В художественной фантазии писатель психически осуществляет, как уже было сказано, желаемое поведение на основе сознательных и бессознательных тенденций своей психики. Для реализации любой формы поведения необходимо наличие потребности и ситуации, пригодной для ее удовлетворения. Тенденция автора художественного произведения устранить напряжение, вызываемое его личным конфликтом, побуждает его изменить ситуацию, послужившую причиной конфликта, или

заменить ее другой ситуацией, в условиях которой конфликт мог бы быть разрешен. Ситуация как бы выбирается потребностью, в интенции которой содержание ситуации заложено как ее цель. Выбор ситуации является при этом как бы компромиссным решением между сознательной и бессознательной сферами психики, т. к. фантазия только тогда санкционируется сознанием, когда бессознательные влечения приобретают маскировку, делающую их приемлемыми для сознания [15]. Если в исходном конфликте сошлись несколько латентных течений, то выбранная ситуация должна удовлетворить всем потребностям и влечениям, поддерживающим конфликтное состояние. Для каждого динамического момента фантазии может быть выбрана своя конкретная ситуация, становящаяся в дальнейшем частью общей ситуации. Фантазия может изменить, перестроить, перекомбинировать ситуации соответственно потребности на основе представлений писателя, она может создать то, чего не было в его жизненном опыте, но не может воспроизвести того, чего не было в его представлении.

2. Основываясь на сказанном выше, постараемся проследить, как сложились главные образы и основные сюжетные линии романа Л. Н. Толстого "Война и мир".

В работах о Толстом уже указывалось, что в семьях Ростовых и Болконских, играющих исключительно важную роль в сюжете "Войны и мира"! писатель воплотил два начала внутренней жизни человека: силу непосредственного чувства, с одной стороны, и жизнь интеллектуальную, духовную, возвышенную - с другой, что эти два начала всегда "привлекали пристальное внимание Толстого, он их чувствовал в себе и изображал в самых различных характерах [7, 115]. Сфера чувств и сфера интеллекта, разума были сильны в самом Толстом, и столкновения между ними вызывали внутренние конфликты в психике писателя. Потребность выразить и объективировать эти две стороны своей личности и привела к их дифференциации и легла в основу тех сюжетных линий романа, в которых разворачиваются картины жизни Ростовых и Болконских. В семье Ростовых мало рефлектируют, живут жизнью непосредственного чувства, просто, ясно, легко, радостно, и этой жизни Толстой придает особую поэзию и нравственную красоту. В семье Болконских, наоборот, возвеличена жизнь интеллектуальная, полная высоких духовных интересов, поисков и раздумий. Здесь много думают и мало живут непосредственной жизнью, здесь постоянны драматические ситуации, а порой и трагические коллизии.

Как известно, в семьях Ростовых и Болконских воспроизведены родители и предки писателя: в Николае Ростове - отец Льва Николаевича, Н. И. Толстой, в графе и графине Ростовых - дед и бабушка со стороны отца, И. А. и П. Н. Толстые, в старом князе Болконском - дед со стороны матери, Н. С. Волконский, в княжне Марье - мать писателя, М. Н. Волконская.

В образе Николая Ростова Толстой идентифицирован со своим отцом. Он придает Николаю черты отца и одновременно вкладывает в этот образ свои собственные переживания. Толстой, в котором постоянно происходила напряженная духовная и интеллектуальная работа, который постоянно находился под давлением "чувства вины" и высоких нравственных требований к самому себе, сам уставал от своей необыкновенной сложности, от конфликтности и трагичности своей личности. Образ Николая выразил потребность Толстого преодолеть эту сложность, эту трагичность, став на уровень "среднего", посредственного человека. Очень показательно, что в первоначальных конспектах Ростов назван то Толстым, то Простым, то Плохим и только в окончательном варианте автор сделал его Ростовым. Эти варианты указывают на целенаправленность образа: на самовыражение писателя (Толстой) именно на уровне "среднего" человека (Простой) и на общую самооценку, исходящую из его требовательности к себе (Плохой). Л. Толстой никогда не был Николаем, но, вероятно, иногда чувствовал себя им - в своей хозяйственной деятельности, в женитьбе, в полку, и это дало ему возможность создать художественное обобщение.

В старом князе Болконском, как пишет сын писателя, С. Л. Толстой [13], довольно верно отражена личность деда Льва Николаевича, князя Н. С. Волконского. Его трезвый рационализм, независимость, аристократическая гордость, умственные интересы, образованность и замкнутый образ жизни в Ясной Поляне вместе с дочерью и ее компаньонкой-француженкой - все это перенесено в роман. В образе Марьи Болконской воспроизведен духовный и интеллектуальный мир, а также внешний облик матери писателя, М. Н. Волконской, но Толстой внес в образ княжны Марьи некоторые новые существенные черты, которых не было у его матери. Так, например, М. Н. Волконская 552 не отличалась глубокой религиозностью, в то время как для княжны Марьи вера - основа нравственности. Одно время она даже хочет стать странницей, пилигримкой, "шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний"... [11, т. 2, ч. 3, гл. 26]. Эта "выдумка" писателя объясняется тем, что в образе Марьи Болконской Толстой идентифицирован со своей матерью и объективирует свои собственные переживания. Его самого, как это хорошо известно, волновала проблема веры, религии, порой он пытался найти в вере путь к нравственному совершенству, и, естественно, что эта тенденция соединилась в его психике с представлениями о матери, т. к. она с детства была для него высшим нравственным авторитетом, идеалом. Весьма вероятно, что потому именно в княжне Марье и выразил он свои религиозно-нравственные побуждения.

Насмешки старого князя Болконского над религиозностью дочери - это тоже "выдумка" Толстого. В образе старого князя Болконского Толстой, идентифицируя себя с дедом, выразил тенденцию своей психики к крайнему рационализму, торжеству здравого разума над велениями чувства. Противоположные отношения к религиозности князя Болконского и княжны Марьи - это вычлененные из конфликтного состояния две противоположные потребности самого Толстого: потребность разума и потребность чувства. Для выражения столкновения этих противоположных тенденций личности Толстого в качестве ситуации выбрана семья его матери, в которой сочетались высокие духовные и умственные интересы, но эта ситуация изменена соответственно потребностям писателя.

Вымыслом художника являются и затаенные мечты княжны Марьи о "радости земной любви" к мужчине и внутренний запрет на эти "мысли дьявола". Толстому не могли быть известны подобные переживания его матери, это выражение самочувствия самого Толстого, это ему самому его чувственность представлялась "дьяволом". Вспомним хотя бы более поздний рассказ "Дьявол", автобиографичность которого Толстой сам признавал. Это в нем происходила борьба влечения и сопротивления. Вспомним "Отца Сергия".

В сюжет романа Толстой вводит ситуацию женитьбы родителей. Юношеская любовь Николая Ростова и Сони, ее вынужденный отказ от него и его женитьба на княжне Марье воспроизводят реальные события: роман Н. И. Толстого с Т. А. Ергольской и его женитьбу на М. Н. Волконской. Выбор ситуации диктовался в данном случае интересом Толстого к своим родителям, их прошлому и их семейной жизни. В сюжетной линии Николая Ростова и Марьи Болконской выразилась тенденция Толстого осмыслить и опоэтизировать отношения родителей, найти нравственные основы, на которых держалась их семья. Эта тенденция имела, по-видимому, самую непосредственную связь с неудовлетворенностью Толстого своей собственной семейной жизнью.

В семьи Ростовых и Болконских Толстой вводит двух героев, для которых мы не находим прообразов в семьях его отца и матери, - Наташу Ростову и Андрея Болконского. Интересно, что именно Наташа определяет весь облик семьи Ростовых, придает необыкновенную поэтичность, одухотворенность всему семейству, поднимает его над обыденностью патриархального существования. Андрею Болконскому автор также отводит одну из главных ролей в сюжете романа. Почему помещает автор этих героев в семьи Ростовых и Болконских?

Прототипом Наташи Ростовой послужила, как известно, Татьяна Андреевна Берс, впоследствии Т. А. Кузминская. В ней писатель нашел ту непосредственность, жизнерадостность, эмоциональность, которой он хотел наделить семейство Ростовых. Но не только этим был продиктован Толстому выбор прототипа для образа Наташи. Он объяснялся чувством большого увлечения писателя Таней Берс. Об этом свидетельствует сын писателя, И. Л. Толстой, в своих воспоминаниях: "Позднее, уже взрослым человеком, я часто задавал себе вопрос: был ли папа влюблен в тетю Таню? И я думаю теперь, что да. Прошу читателя понять меня. Я разумею не пошлую влюбленность в смысле стремления обладания женщиной, - такого чувства мой отец, конечно, не мог иметь к тете Тане, - я разумею то вдохновенное чувство восхищения, которое доступно только чистой душе поэта. Для такого восхищения образ женщины является лишь оболочкой, которую он сам облекает в волшебные ризы, наделяет ее чертами и красками из сокровищницы своей души... Читая "Войну и мир", я вижу ее с сестрами, и на охоте, и я слышу ее пение под дядюшкину гитару, да, это она - тетя Таня, и она делает все, как делала бы тетя Таня. И я спрашиваю себя: мог ли художник создать такой дивный женский образ, не любя его? Конечно, нет, такую мечту не любить невозможно, - ив этом вся разгадка" [10, 78].

Однако еще больше, чем догадка И. Л. Толстого, говорит нам о чувстве Л. Н. Толстого к Тане Берс художественная фантазия "Войны и мира", если правильно прочитать в романе выражение бессознательных устремлений писателя и то мощное сопротивление, которое им оказывало его сознание. Это чувство, разумеется, не только не было реализовано, но, возможно, не осознавалось самим Толстым во всей его полноте и истинности, оно было подавлено, и потому именно - такая гипотеза могла бы быть подтверждена данными множества других биографий - оно нашло свою реализацию в художественной фантазии.

Князь Андрей, как об этом свидетельствует Л. Н. Толстой, был помещен в семью Болконских уже после того, как его образ сложился в представлении писателя. Почему же он был задуман независимо от семьи Болконских и помещен именно в эту семью?

В работах о Толстом уже отмечалось сходство между образом Андрея Болконского и личностью автора. Но это сходство указывает и И. Л. Толстой: "Если можно найти много характерных черт, напоминающих отца в Безухове и Левине, - пишет он, - то настолько же еще ближе к нему подходят типы князя Андрея и особенно отца его, старого князя Болконского. Та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость и та же трогательная застенчивость в проявлении нежности и любви" [10, 591.

В князе Андрее выразились такие стороны сознательной личности Толстого, как склонность к высокой интеллектуальной и духовной деятельности, скептический ум, потребность в активной практической деятельности государственного масштаба. В образ князя Андрея писатель вложил свои вечные поиски истины, цели и смысла жизни, постоянно тревоживший его дух сомнения. В этом образе Толстой выразил и нереализованные стремления своей юности. Можно предположить, что в героизме князя Андрея, проявившемся на поле Аустерлица, писатель психически реализовал свои неосуществленные мечты о героическом подвиге, выразил свою собственную жажду славы. По дневникам Толстого легко проследить его неудовлетворенность уже в первый год женитьбы не только семейными отношениями, но и всем укладом его жизни. Отвечая на вопрос Пьера, почему он идет на войну, князь Андрей говорит: "Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь - не по мне" [11, т. 1, ч. 1, гл. 5]. Н. Н. Гусев, исследователь жизни Толстого, сличая это место романа и совет, который дает Андрей Пьеру в отношении женитьбы, с дневниковой записью Толстого от 6 августа 1863 г., выражающей его разочарование в жене, а также с дневниковой записью Софьи Андреевны Толстой от 22 сентября о том, что Толстой объявил ей о своем желании отправиться на войну, если она начинается, определенно указывает на автобиографичность семейной ситуации Андрея Болконского [4, 614]. Это же мнение высказывает и биограф Толстого П. И. Бирюков.

Интересно, что в первоначальных вариантах Андрей Болконский погибает под Аустерлицем, а жена его благополучено родит сына - так первоначально фантазия Толстого разрешала его семейную конфликтную ситуацию. В окончательном же тексте, как известно, погибает маленькая княгиня Лиза. Это авторское решение Л. М. Мышковская объясняет тем, что князь Андрей должен был стать свободным, неженатым, чтобы возможно было дальнейшее развертывание сюжета - его роман с Наташей [7, 117-118]. Это верно, но князь Андрей, как мы видели, предстает в романе женатым именно потому, что это - ситуация самого Толстого. Можно сказать, что Толстой в гибели маленькой княгини Лизы бессознательно "отреагировал" смерть своей жены и столь же бессознательно реагировал на свое собственное бессознательное чувством вины, которое вложил в князя Андрея.

В основу сюжетной линии, в которой разворачивается любовь Андрея Болконского и Наташи, положен роман брата писателя, Сергея Николаевича Толстого, и Т. А. Берс. Об этой любви рассказывают в своих воспоминаниях сама Т. А. Кузминская [6] и сын писателя, И. Л. Толстой [10, 15]. В сюжете романа действительная ситуация изменена: не было измены со стороны невесты, разрыв произошел потому, что у Сергея Николаевича была гражданская семья и он не нашел в себе силы ее бросить, но в основу отношений князя Андрея и Наташи положен реальный факт. Это дает основание говорить о том, что в образе Андрея Болконского Толстой идентифицирован со своим братом, Сергеем Николаевичем Толстым.

Л. Н. Толстой в своих "Воспоминаниях" говорит о своих отношениях к брату следующее: "Николеньку я уважал, с Митенькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им... Николеньку я любил, а Сережей восхищался как чем-то совсем мне чуждым, непонятным... С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать, с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание" [12, т. 34, 387 - 388]. Желание подражать брату, быть похожим на него - достаточное, но не единственное основание для идентификации с ним писателя в образе Андрея Болконского. Как уже было сказано, Толстой сам был увлечен Т. А. Берс и подавлял, вытеснял это чувство. Художественная фантазия, которая, подобно сновидению, обычно выражает исполнение желания, свидетельствует о бессознательном желании Л. Н. Толстого находиться в ситуации своего брата, т. е. иметь право на любовь к Т. А. Берс и быть ею любимым.

Как идентификация писателя с братом, образ князя Андрея мог сложиться и вне связи с семьей Болконских. Помещен же в семью Болконских Андрей был потому, что в этом образе Толстой выразил те черты своей личности, которые он наследовал от деда и матери, и потому естественно было сделать его сыном старого князя Болконского.

В Пьере Безухове выразились склонность Толстого к созерцательной деятельности, мир его чувств, душевная мягкость, непосредственность и то в высшей степени присущее ему "чувство вины", которое делало его совесть болезненно обостренной. Толстой вложил в Пьера свои собственные поиски истины и нравственного идеала, свое стремление к деятельному добру и попытку найти в вере путь к нравствен ному совершенству - в этом смысл увлечения Пьера массонством Душевная сложность Пьера выражает личность самого Толстого, Пьер, как и Толстой, стремится одолеть свою сложность и в сближении с простым народом найти путь к гармонизации своей личности.

Для образа Пьера не находят прототипов - обычно указывают на его сходство с самим писателем, однако Пьер по своему внутреннему содержанию похож на Дмитрия Нехлюдова в произведениях Толстого, а в Нехлюдове писатель идентифицирован с другом своей молодости Дмитрием Алексеевичем Дьяковым. Анализ показывает, что эта же идентификация положена в основу образа Пьера. Широкое обобщение сделало прототип неузнаваемым.

Образ Пьера, как и образы Андрея Болконского и Наташи, наметился с самого начала. Уже в первых набросках была введена ситуация случайной и неудачной женитьбы Пьера на Элен и было решено, что вскоре Пьер разорвет с Элен и что семейное счастье даст ему Наташа. Толстой ставил себе целью показать, что Пьер никогда не любил Элен истинной любовью, что ее красота вызывала в нем лишь чувственность, которую он по ошибке принял за любовь. Эта ситуация введена как ситуация неудачной семейной жизни Толстого, не смотря на то, что Элен ни своим внешним обликом, ни поведением нисколько не похожа на Софью Андреевну. Главное в этой ситуации противопоставление мужа и жены в их сущности. Благодаря абстрагированию и обобщению разочарование Толстого в жене получило возможность беспрепятственного выражения в художественной фантазии.

Увлечение Т. А. Берс, хотя оно и было постоянно подавляемо, субъективно, сознательно или бессознательно, расценивалось Толстым как измена жене и вызывало в нем чувство вины. Это переживание внесло мотив измены в семейную жизнь Пьера, при этом свое поведение Толстой проецировал в образе Элен, а свою реакцию на него - в образе Пьера. То, что Элен поставлена в центре светского общества, является обобщением неудовлетворенности Толстого как в личной, так и в общественной жизни.

В качестве решения семейного конфликта Пьера Толстой вводит тему развода. Элен просит развода у Пьера, желая выйти замуж. Пьер же, став перед необходимостью решения, впал в состояние спутанности, безнадежности, безвыходности. В решении Элен Толстой выразил свое собственное желание, в поведении Пьера - свою реакцию на него. Таким образом, решимость Элен и нерешительность Пьера - это конфликтное состояние самого Толстого. Не сумев привести Пьера к разводу, писатель убивает Элен, неожиданно и при довольно смутных обстоятельствах. Он лишь мельком преподносит это событие, словно сопротивление вытесняет фантазию. С Элен Толстой поступает так же, как с княгиней Лизой. Пьер, подверженный "чувству вины", не поддается ему после гибели Элен, видимо, потому, что Толстой изжил его в чувстве вины князя Андрея перед женой.

В первоначальных вариантах романа любовь Пьера к Наташе наметилась уже в первых главах. Рукописи показывают, что эта тема настолько занимала автора, что она постоянно стихийно вклинивалась в сюжет. В набросках имеется ряд эпизодов, рассказывающих о любви Пьера к Наташе, но тут же они зачеркнуты и заменены другими, в которых чувство Пьера показано как не вполне осознанное. Это свидетельствует о том, что подавленное чувство Толстого к Т. А. Берс настойчиво стремилось в сознание, но сознание оказывало ему свое сопротивление. Таким образом, согласно первоначальному замыслу, сюжет складывался так, что Пьер и Андрей одновременно влюблены в Наташу. Они признаются друг другу в своей любви к ней, Пьер уговаривает Андрея жениться на Наташе. Этот разговор между Пьером и Андреем менялся много раз, и это указывает на значимость для Толстого выраженных в нем переживаний. Соответственно первоначально в романе намечались три сюжетные линии: Пьера и Андрея, Андрея и Наташи, Пьера и Наташи. Поскольку объектом идентификации в образе Андрея Болконского был брат писателя, Сергей Николаевич Толстой, следует, что первоначальные варианты воспроизводят переживания самого Толстого, связанные с романом его брата и Т. А. Берс. Интересно, что по одному из набросков князь Андрей не погибает после Бородина, но отношения жениха и невесты между ним и Наташей не возобновляются, а, узнав о любви Пьера к Наташе, он старается устроить их счастье и, отказавшись от Наташи, способствует счастью княжны Марьи и Николая. Так в одном из вариантов фантазия Толстого разрешала коллизию, создавшуюся благодаря его чувству к Т. А. Берс и любви к ней его брата.

Эпизоду увлечения Наташи Анатолем Толстой придавал важное значение. Он писал, что в нем - "узел всего романа" [12, т. 61, 180], "самое важное место романа - узел" [12, т. 61, 184]. Эпизод был намечен с самого же начала работы над романом, однако сложился он не сразу в том виде, в каком мы его знаем по окончательному тексту. Попытки "похищения" Наташи первоначально в эпизоде не было, она была внесена позднее.

Как же сложился этот эпизод?

Как уже было отмечено выше, отношения Т. А. Берс и С. Н. Толстого завершились иначе, чем отношения Наташи и князя Андрея: не было измены со стороны невесты, причиной разрыва послужила гражданская семья Сергея Николаевича. Таким образом, измена Наташи князю Андрею является художественным вымыслом. Увлечение же Наташи и Анатоля построено на действительном эпизоде из жизни Татьяны Андреевны Берс и Анатолия Львовича Шостак. Оно предшествовало отношениям Т. А. Берс и С. Н. Толстого и не было с ними в какой-либо связи. Об этом эпизоде рассказывает сама Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях [6]. Татьяна Андреевна действительно принимала яд, но не в период увлечения А. Л. Шостак, а после того, как узнала, что С. Н. Толстой не может на ней жениться. Таким образом, в эпизоде воспроизведены переживания Толстого, связанные с двумя событиями: увлечением Тани Берс Анатолием Шостак и романом ее с С. Н. Толстым. Фантазия писателя переставила и объединила эти события и внесла в воображаемую ситуацию мотив измены невесты жениху. Поскольку фантазия изменяет действительную ситуацию в интересах возникшей потребности, следует считать, что желанием Толстого было, чтобы роман Т. А. Берс с его братом окончился ее чувством к другому человеку.

Кто же Анатоль? Смысл образа Анатоля в том, что в нем нет той душевной сложности, которая так обременяла Пьера. Главное качество Анатоля, определяющее все его поступки, заключается в том, что он не обладает "чувством вины", нравственным чувством, что его сознание не может выставить никакого сопротивления импульсам бессознательного. В этом Анатоль составляет полную противоположность Пьеру и князю Андрею. Чувственность Анатоля противопоставлена не только романтической любви князя Андрея, но и столь же чистой и возвышенной любви Пьера. Замысел противопоставить чувственное влечение истинной любви родился из несовместимости потребностей сознательной личности писателя и влечений его бессознательного. В Андрее Болконском и Пьере выразилась его сознательная неудовлетворенная потребность в истинной любви, в Анатоле - вычлененное из его личностного состояния бессознательное чувственное влечение. В образе Анатоля бессознательное Толстого как бы полностью освобождено от сопротивления сознания и реализуется в фантазии: Толстой в качестве Анатоля обретает любовь Т. А. Берс и уводит ее от брата. Таким образом история Наташи и Анатоля выдала бессознательное желание самого автора.

Образу Наташи на всем протяжении романа постоянно сопутствует образ Сони. Как указывает Л. М. Мышковская, Соня является как бы фоном для поэтизации Наташи. Поскольку для Сони в романе использована жизненная история Т. А. Ергольской, ее принято считать прототипом Сони, однако духовный облик Сони значительно беднее личности Т. А. Ергольской. Нет оснований полагать, что у Толстого было намерение сопоставить прототип Наташи - Т. А. Берс с Т. А. Ергольской. С кем невольно должен был бы сравнивать Толстой Т. А. Берс, воспроизведя в фантазии свое чувство к ней и свою неудовлетворенность семейной жизнью, как не с Софьей Андреевной Толстой? Поэтому следует считать, что в образе Сони Т. А. Ергольская идентифицирована с С. А. Толстой. Имя Соня тоже, следует полагать, сознательно или бессознательно, выбрано со смыслом. Интересно, что в первоначальных вариантах Элен также названа княжной Софи. Если признать это, станет понятно, почему "образ Сони явно принесен в жертву образу Наташи Ростовой" [7, 117]: такое, творческое решение продиктовало Толстому его чувство к Т. А. Берс и разочарование в жене.

В интересах потребности Толстого фантазия романа изменяет жизненную ситуацию: Соня из сестры Т. А. Берс превращается в воспитанницу Ростовых, таким образом, прообразы - уже на сестры, и у каждой из них - свои любовные отношения: у Сони роман с Николаем Ростовым, у Наташи - с князем Андреем и затем с Пьером, т. е. Толстой уже не находится в положении между сестрами. Таким образом разрешается тот внутренний конфликт Толстого, который создался тем, что Т. А. Берс была сестрой его жены и потребность неудовлетворенной любви получает возможность удовлетворения в художественной фантазии. Неудовлетворенность семейной жизнью переносит писателя в прошлое, к периоду его жениховства, и выставляет для Сони ситуацию Т. А. Ергольской. Путем идентификации с отцом в образе Николая Ростова Толстой получает в фантазии возможность с согласия невесты отказаться от женитьбы. В этом смысл того эпизода, в котором письмо Сони, освобождающее Николая от данного им слова, приходит именно в тот момент, когда он этого желает. Таким образом! сюжетная линия Николая и Сони появилась в романе не только в связи с воспроизведением женитьбы родителей Толстого, но и как ситуация, желательная для тенденций бессознательного писателя.

Такими сложными путями художественная фантазия романа разрешила сложный личностный конфликт писателя: его неудовлетворенность семейной жизнью и увлечение Т. А. Берс, невестой брата и сестрой жены. Этот конфликт явился тем психологическим узлом, из которого протянулись нити художественной фантазии романа. Л. Н. Толстой писал: "Главная цель искусства... высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом... Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям" [12, т. 53, 94].

Предпринятая нами попытка анализа бессознательного не претендует на всестороннее освещение художественной фантазии романа. Задача наша - найти тот актуальный конфликт, из которого родился художественный замысел, и показать самовыражение писателя в основных художественных образах и сюжете романа.

Примечание редакции

В отношении литературно-психологического анализа Л. И. Слитинской необходимо сделать следующее замечание.

В этой работе степени достоверности частных суждений и общего заключения - разные. Если в отношении первых возможны сомнения и споры, то второе представляется глубокообоснованным и вытекающим из широко на сегодня принимаемых представлений о природе и закономерностях творческого процесса.

Действительно, когда автор связывает, например, желание Элен развестись с Пьером с неудовлетворенностью семейной жизнью самого Л. Н. Толстого; когда он видит в нерешительности Пьера опять-таки нерешительность самого Толстого; в эпизоде Наташи и Анатоля - осуществление бессознательных желаний автора; в роли Сони как "фона для поэтизации" Наташи - выражение разочарования Толстого в жене и его чувство к Т. А. Берс и т. д. и т. д. (по типу именно таких аналогий построена вся обсуждаемая статья), то можно долго спорить, в какой мере каждое из подобных сближений оправдано. В некоторых случаях эти сближения могут быть довольно веско аргументированы (как, например, идентификация образа Наташи с Т. А. Берс), в других остается впечатление их иногда большей, иногда меньшей произвольности.

Представляется, однако, что центральным в работе Л. И. Слитинской является не доказывание реальности каждой из предполагаемых ею идентификаций, а обоснование гораздо более общего - принципиального и неоспоримого - тезиса, по которому на литературную композицию неизбежно налагает глубокий отпечаток душевная жизнь ее автора, вся сложность переживаемых автором внутренних противоречий, его осознаваемых и неосознаваемых конфликтов, его нереализованных влечений.

При всей дискуссионности проблемы проективных тестов, следует считать твердо установленным (экспериментально), что в условиях свободного выбора решения (характерных для проективного теста) этот выбор определяется не только осознаваемыми, но и неосознаваемыми мотивами и психологическими установками, - и тем в большей степени, чем более эмоционально напряжены последние. В процессе художественно-литературного творчества подобные ситуации "свободного выбора решений", относящихся к композиции, сюжету, образам персонажей и их взаимоотношениям, возникают, естественно, на каждом шагу. В этой связи работа художественной фантазии и работа бессознательного над проективным тестом весьма близки друг другу, и легко понять, почему в их функциональной структуре проявляются сходные тенденции.

Раскрыть подлинный смысл конкретной идентификации, встречающейся в литературной композиции, дело, подчас, в высшей степени трудное, но понимать роль подобных идентификаций как одного из важнейших механизмов создания художественного образа совершенно необходимо. И в обсуждаемой статье содержится немало ярких иллюстраций возможной - а иногда и весьма вероятной - работы этого скрытого механизма.

127. Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда). Т. А. Флоренская

НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, Москва

1. Тема катарсиса (греч. χαυαρσις - очищение) уходит в глубь веков и может быть найдена в мировоззренческих системах различных времен и культур. Тем не менее, приступая к ее рассмотрению применительно к психологии искусства, мы не можем и не склонны дать определение своему "предмету исследования". Известен фрагмент "Поэтики" Аристотеля о катарсисе трагедии: "Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, (подражание) при помощи речи, в каждой из частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов" [4, 1496-в]. При всей своей емкости этот фрагмент не может послужить нам для формулировки определения катарсиса уже потому, что нельзя при этом обойти его многочисленные толкования [3], - тему обширную и самостоятельную, свидетельствующую о чрезвычайной трудности и, может быть, бесплодности исходных определений столь сложного явления.

Л. С. Выготский таким образом разрешил эту трудность определения понятия "катарсис": "...несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что никакой другой термин пз употреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому (разряду, уничтожению, превращаются в противоположные и что эстетическая реакция как таковая сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств" [5, 271].

Мы разделяем эту позицию опять-таки не как определение, а как постановку проблемы и указание на область явлений, обозначаемых словом "катарсис". Добавим лишь, что, хотя эстетическая реакция может рассматриваться как оптимальная "модель" для психологического изучения катарсиса, область последнего много шире; она распространяется, в частности, на психологию воспитания и психотерапию.

В наше время наиболее распространена психоаналитическая концепция катарсиса. Исходным для нее послужил феномен И. Брейера (1880-1882): больная истерией излечилась от психосоматических симптомов путем воспоминаний в гипнозе о неотреагированных переживаниях у постели умирающего отца. Этот метод Брейер

назвал катартическим. З. Фрейд интерпретировал подобного рода явления в рамках своей теории. Основное переживание, неизбежно подлежащее "вытеснению", он увидел в иифатильном сексуальном влечении дочери к отцу и сына к матери: "Миф о царе Эдипе, который убивает своего отца и женится на своей матери, представляет собою мало измененное проявление инфантильного желания" [8, 56].

Для Фрейда миф об Эдипе был не просто метафорой для обозначения инцестуозного комплекса. Обращение к авторитету греческого мифа объясняется стремлением найти вечную, универсальную истину о человеке, коренящуюся в архаической целостности мифологического сознания. Поэтому трагедия Софокла "Эдип-царь" может послужить нам одновременно и для обсуждения фредовской интерпретации мифа об Эдипе как выражения психоаналитической концепции личности, и для рассмотрения психологической проблемы катарсиса как осознания (см. также А. Е. Шерозия [11]).

Мы будем опираться далее в своем анализе н;а основательное и глубокое исследование мифа об Эдипе, выполненное С. С. Аверинцевым [1].

2. "Эдип-царь" - трагедия осознанной вины. "Судьба Эдипа слагается из двух моментов: бессознательно совершенного преступления и сознательно принятого наказания" [1, 91]. Все действие трагедии направлено к кульминации осознания. Этот процесс сопровождается упорным нежеланием признать свою вину (Фрейд сказал бы: "сопротивлением"), гневным обвинением своих обвинителей (как бы "проекцией" своей вины на них), стремлением изгнать, уничтожить обвинителей. Как изгнание голоса собственной совести звучат слова Эдипа, брошенные мудрецу Тиресию, сказавшему царю о его вине: "Эдип (бешено): Невыносима клевета такая! Сгинь, дерзкий волхв! Скорей уйди отсюда к себе обратно и оставь мой дом".

Таков же смысл возгласа Иокасты у последней черты саморазоблачения Эдипа: "О будь навеки тайной для себя!".

Обличения Тиресия не доходят до сознания Эдипа. Как говорит одна из ремарок, "правда проходит мимо". В психологической тонкости подобных наблюдений следует отдать должное не только Софоклу, но и Фрейду.

Однако Эдип Софокла озабочен не осознанием своих вытесненных постыдных влечений (преступление уже совершено, хотя он еще не знает этого): царь Эдип ищет причину страданий своего народа, которые, как вещает оракул, коренятся в нравственном преступлении - убийстве его предшественника - царя Лая. Будучи сам этим убийцей, но не зная этого, а также того, что убитый им в случайной драке путник - его отец, Эдип ищет виновников вовне, во имя избавления народа. Искупление Эдипом своей вины - залог спасения всех. Послы народа идут к нему со словами: "Найди спасенья путь". И Эдип ищет, но в ложном направлении: не в себе, а в других.

Трагедия развивается в двух планах: с одной стороны, внешний план ложных поисков Эдипа вовне, а с другой - внутренний смысловой план - процесс выявления истинной причины происходящего - вины самого Эдипа. Чем сильнее его стремление и кажущееся приближение к нахождению виновников, тем ближе он к саморазоблачению. Тот момент, когда Иокаста думает окончательно погасить его надвигающиеся сомнения в своей невиновности ("Не верь гаданиям..."), оказывается для Эдипа и Иокасты началом окончательного разоблачения. Трагическая катастрофа - окончательное саморазоблачение Эдипа и самоубийство Иокасты - одновременно и взрыв, и разрушение трагической ситуации.

Там, где, по Фрейду, должно произойти "исцеление через осознание", логика мифа и трагедии приводят к кульминации страдания. Ведь само по себе осознание ужаса своего преступления может привести к краху, гибели личности: отчаяние Иокасты, неожиданно оказавшейся перед ужасом своей преступной связи с сыном, приводит ее к самоубийству. Момент осознания вины - это момент страдания, которое может привести к разным исходам - либо поражению (само-убийство Иокасты), либо к победе над страданием.

Исход же этот зависит от состояния человека: его стремления найти истину и готовности принять последствия своих ошибок. Страдание Эдипа осознавшего свою вину, приводит его к осознанию в себе того, что привело его к преступлению.

"Эдипов комплекс" - это стремление к овладению, обладанию, захвату, отнюдь не ограниченное областью секса: это стремление к власти (*"В подлиннике трагедия Софокла озаглавлена не "Эдип-царь", а "Эдип-тиран", термин τυραννος (тиран) подчеркивает в греческом языке не жестокость властителя, но иллегитимный характер его власти" [2, 120]*), могуществу тайновидения и обладанию женщиной - матерью [см. также 11]. Общим знаменателем здесь выступает эгоистическое самоутверждение, переступающее все границы, ограничения,

нормы человеческого сообщества. В этом преступлении норм, законов человеческой общности - суть преступления Эдипа, нравственного преступления вообще.

Так, по этому поводу С. С. Аверинцев говорит: "Во фрейдовской интерпретации мифа об Эдипе нужно все поменять местами, чтобы добиться правильного смысла: Эдип не потому претерпевает свою судьбу, оказываясь носителем экстраординарного знания (разгадка загадки сфинкса) и экстраординарной власти, что его неудержимо влекло к реализации Эдипова комплекса, но напротив: в убийстве отца и сожитии с матерью мифомышление, в соответствии со своими имманентными законами, обретает символ для характеристики его "выходящего из нормы" бытия" [2, 120]. И далее: "Брак с матерью имеет в знаковом языке античной "онирокритики" (снотолкования), этой популярнейшей из символических систем, четко фиксированный смысл... Тиран в своем отношении к родине-матери переходит от роли гражданина-сына к роли повелителя-супруга, он "овладевает" и "обладает" родной землей, как "отдавшейся" женщиной" [1, 93-94].

Мотив инцеста "...выявлял связь не только с символикой власти, но и символикой знания и притом знания экстраординарного, сокровенного, запретного... Кровосмешение запретно и страшно, но ведь тайны богов тоже запретны и страшны. Такова символическая связь меижду инцестом и знанием"... И далее: "Как известно, Эдип убивает отца у скрещения трех дорог. Линия, ведущая к идее инцеста: линия, ведущая в идее власти, понятой как эротическое овладение и обладание; линия, ведущая к знанию, понятому опять-таки как нескромное проникновение в сокровенное, и через это опять-таки как овладение и обладание... Но все три пути подводят Эдипа к одному и тому же - самообожествлению" [1, 98-99].

Знаменательно, что эти "три стези Эдипова перекрестка" отражены в трех путях расхождений психоанализа: инцест - в пансексуалиэме Фрейда; власть - в адлеровокой "воле к власти"; экстраординарное знание - в юнговской концепции человека [2]. Эдип-преступник вмещает в себя все три способа понимания как взаимодополняющие. Эдип как человек оказывается вне этих теорий, проходящих мимо его сущности. "Обманутый очевидностью и прозревший незримое, Эдип выкалывает глаза, которые его предали. Его знание обращается на него самого, его зрение обращается вовнутрь. Оказалось, что мудрость-сила, мудрость-власть - это вина и темнота, мрак чернейшего неведения: теперь он во мраке физической слепоты ищет иную мудрость - мудрость-самопознание" [2, 102].

Проходя через страдания, Эдип рождается заново. Сбывается пророчество Тиресия о смерти и новом рождении Эдипа. Эта загадка слепого мудреца, которую вначале не мог уразуметь "мудростью венчанный среди царей", противостоит загадке сфинкса, разгаданной Эдипом в преддверии царской власти. Эта тайна второго рождения души через страдание и самоотречение является смысловым стержнем и содержанием трагического катарсиса. Осознав свою вину, Эдип не примиряется с ней: он преодолевает ее в акте самоосуждения и добровольного страдания. Это осуждение своего преступления и отказ от прежнего жизненного пути, приведшего к нему, означает, что человек не отождествляет себя со своим преступлением, но отвергает в себе корни этого преступления как чуждые ему. Само осознание вины как таковой и искоренение в себе ее причин возможно лишь при убеждении в ее несовместимости с высоким достоинством человека. Именно непримиримость к осознанной вине приводит человека к внутреннему перерождению.

Эта тема осознания вины и добровольного самоосуждения, приводящего к катарсису, может быть раскрыта и на материале романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". Однако страдания Эдипа - это не муки совести Раскольникова, а жизненный крах, катастрофа. В контексте древнегреческого мировоззрения Эдип - безвинный преступник, орудие судьбы. Вина Эдипа выявлена вовне - в страдании народа, в эпидемии; вина Раскольникова переживается им как внутренняя болезнь, как омертвение души. Тем не менее, и в Эдипе, и в Раскольникове мы видим выражение одного и того же архетипа "преступления и наказания" на разных уровнях развития самосознания (*Поэтому самосознание Эдипа в трагедии Софокла и древнегреческий характер восприятия трагедии могут не совпадать с символикой мифа и трагедии, выходящей за рамки определенной культуры*).

По Фрейду, эта психологическая ситуация выражает тиранию "Супер-эго", порожденного "Эдиповым комплексом". Освобожденное от гнета "Супер-эго" нуждается в терпимости к нарушению нравственных норм, в принятии осуждаемых влечений за неотъемлемые свойства человеческой природы. Но трагический катарсис далек от комфортабельного психоаналитического осознания с приятием вытесненных влечений.

3. Рассмотрение смысла мифа и трагедии об Эдипе позволяет наметить основные штрихи нашего подхода к психологии катарсиса в его противопоставлении фрейдовскому психоанализу.

Метод Фрейда сконцентрирован на путях обхода "сопротивления" - разоблачения, расшифровки вытесненных переживаний и их извлечения из области подсознательного.

Обращает на себя внимание то, что методы последующей работы с осознанными влечениями не были предметом столь же пристального внимания Фрейда, как методы их извлечения из подсознательного. Термин "психоанализ" точно выражает эту аналитическую односторонность фрейдовского метода, не уравновешенную попытками синтеза личности (*Несомненно, чго Фрейду и его последователям практически приходилось так или иначе решать эту задачу, но нас сейчас интересует вопрос о сознательно применявшихся методах содержание которых сформулировано Фрейдом*). По этому вопросу мы находим у Фрейда лишь общие и неопределенные высказывания типа: "Вытеснение заменяется осуждением": "бессознательные инстинкты направляются на другие цели" [8. 56]. Здесь же говорится о сублимации - переключении энергии инстинктов на более высокие цели.

Но мы не находим ответа на вопросы о том, каковы методы сублимации, всегда ли возможно направить энергию инстинктов на другие цели и почему это возможно. Принципиально не исключено, что Джинн, вырвавшийся из бутылки, может не захотеть нового пленения, сознательная личность может не справиться с задачей овладения освобожденными инстинктами. В таком случае возможны нежелательные исходы: либо крах и дезорганизация личности, потрясенной низостью своих бессознательных влечений, либо другой вариант: освобожденные влечения, обладая сильным энергетическим зарядом, могут стать доминирующими и перестроить сознание сообразно своему характеру. В таком случае опять-таки не может быть речи об их переключении на более высокие цели.

С точки зрения теории доминанты [7], такой вариант теоретически наиболее вероятен: для переключения энергии влечения в другое русло необходимо энергетическое приобщение к "более высокой цели", а т. к., по теории Фрейда, энергетическим резервуаром является бессознательное, то осознанное влечение само должно стать доминирующим к захватить, подчинить себе сознание человека (*Эмпирическим подтверждением этому служит экспериментальная модель практики американского телевидения, реализующего фрейдовскую концепцию катарсиса как раскрепощения вытесненных влечений: сцены агрессии на экране вместо предполагавшегося снижения уровня агрессивных зрителей, напротив, только сильно повышают ее [13, 109-115]*).

Фрейд прежде всего озабочен высвобождением энергии бессознательного. Но само высвобождение и дальнейшее направление этой энергии обусловлено содержанием сознания. Неразработанность этой содержательной стороны психоанализа Фрейда, как мы думаем, связана с проблемой мировоззрения и его влияния на структуру личности и ее энергетику. То мировоззрение, из которого исходил Фрейд в своей психотерапевтической практике, представляется нам продуктом абсолютизации специфических проявлений болезненной психики, оказавшихся в сфере клинической практики Фрейда.

Согласно Фрейду, нравственность, как и вся духовная культура, служит вытеснению антисоциальных инстинктов. Она находится в постоянном конфликте с природными влечениями, что, в конечном счете, ведет (к кевротизации личности и общества [10]. Искусство также служит компенсации вытесненных влечений, поэтому произведения искусства (анализируются Фрейдом с точки зрения расшифровки скрытых за ними инстинктов. Но анализируя особенности сексуальной сферы автора гениального произведения искусства [9] и пытаясь свести к ней сюжет этого произведения, Фрейд проходит мимо духовной ценности искусства, его художественности. За бортом психоанализа оказывается форма художественного произведения.

4. В противоположность З. Фрейду Л. С. Выготский акцентирует внимание на форме художественного произведения, обходя проблему осознания.

Анализируя психологию эстетической реакции на материале басни как "малой драмы", Выготский ищет "психологический механизм" катарсиса, исходя из формы басни. Он обращает внимание на два противоположно направленных плана: "Всякая басня и, следовательно, наша реакция на басню развивается все время в двух планах, причем оба плана нарастают одновременно, разгораясь и повышаясь так, что в сущности оба они составляют одно и объединены в одном действии, оставаясь все время двойственными" [5, 183]. Так, в "Вороне к лисице" чем сильнее лесть, тем сильнее издевательство - в одной и той же фразе. В "Стрекозе и муравье" - чем сильнее беззаботность, тем острее и ближе гибель. "Аффективное противоречие и его разрешение в коротком замыкании противоречивых чувств составляет истинную природу нашей психологической реакции на басню" [5, 186]. Это - аналог трагического катарсиса: "В трагедии мы знаем, что два развивающихся в ней плана замыкаются в одной общей катастрофе, которая знаменует и вершину гибели и вершину торжества героя" [5, 184]. "От басни до трагедии закон эстетической реакции один: она заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое

уничтожение" [5, 272]. "В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции" [5, 274].

Вслед за Шиллером (*"Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы фермою унич!ожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвигющего содержание и юсподствуощего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен поддаться содержанию" [12, 326]*) Выготский видит сущность эстетического катарсиса в "уничтожении содержания формой". Так, печальная драма прощания Гектора умиротворяется ритмом гекзаметра; мрачный сюжет рассказа Бунина об убийстве и страсти просветляется эпическим спокойствием, авторской интонацией, дающей "легкое дыхание".

Таковы основы идеи Выготского о психологической природе катарсиса. Остаются, однако, вопросы: действительно ли искусство, говоря словами Выготского, является "...средством для... разрядов нервной энергии?". Если даже ограничиться энергетическим аспектом вопроса, то не служит ли искусство, напротив, средством, "заряжающим" нервной энергией? А может быть, все дело в том, что искусство призвано (гармонизировать человека? Будем говорить пока об искусстве трагедии, которое относится к области высокого искусства, искусства возвышающего. По-видимому, эта характеристика трагедии связана с тем, что се задача - перевести состояние зрителя-соучастника на новый уровень переживания и осознания: возвысить его. Переживание трагического действия приводит, как мы думаем, не к разрядке" нервной энергии, не к "погашению" и "уничтожению" аффектов, а к их преобразованию н гармонизации. Зритель уходит не "разряженным", а "наполненным" и "воодушевленным".

Утверждение о противоположности формы и содержания в искусстве является, как мы думаем, лишь общей констатацией. Ведь форма в искусстве - это форма своего содержания, средство именно его выражения. Если же она противоречит содержанию, значит она не соответствует ему. Поэтому можно скорее говорить о противоречии формы и фабулы.

Какое же содержание отражается формой, если этим содержанием не является фабула? Очевидно, форма отражает содержание художественного произведения на уровне смысла. Форма ведет зрителя от внешнего хода события к раскрытию его внутренней, сокровенной сущности. И только тогда, когда противоречие внешних событий и смысла происходящего предельно выявляется и "снимается" в трагической кульминации, происходит тот переход на иной уровень осознания, который объединяет трагического героя и зрителя в возвышающем переживании катарсиса.

Далее следует психологическая проблема: почему противоречие разнонаправленных тенденций в искусстве приводит к их примирению? Ведь обычно такое противоречие вызывает внутрипсихический конфликт, а не разрядку напряжения. Мы думаем, что нельзя ответить на этот вопрос, если исходить лишь из формально-энергетической характеристики эмоциональной динамики катарсиса. Поэтому, заключая, мы вновь вернемся к содержанию трагедии Софокла.

Различные планы, о которых говорил Выготский, выступают при нашем анализе как два противоположно направленных уровня в содержании трагедии Софокла: уровень внешнего действия и уровень смысловой. Смысловое содержание не дано зрителю, но должно быть выявлено им в процессе его соучастия в трагическом действии. Выявлению смысла содействует форма трагедии как носитель этого смысла. Размеренный, величественный ритм придает происходящему звучание вечности, переводит восприятие и переживание зрителя на высокий лад, помогая ему подняться над видимым и временным к постижению сущности происходящего. К выявлению сущности подводит и развитие самого действия. В трагической катастрофе внешнее явление и его смысл сходятся на одной вершине: трагический герой, осознавший смысл происходивших явлений, ценой мучительных страданий побеждает в себе то, что противоречило его человеческому достоинству.

Это соединение внешнего и внутреннего, явления и сущности переживается как открытие, озарение, как удовлетворение от завершения пути напряженного поиска.

Восприятие произведения искусства - это опыт познания и осознания, но не внешних явлений, а их смысла, сущности. В кульминации трагедии происходит разрешение проблемы, разворачивающейся по ходу действия. Но эта проблема не интеллектуальная, а нравственная, духовная. К решению ее зритель приходит не интеллектуально, а путем жизненного действия (содействия герою) и переживания (сопереживания герою). На вершине трагедии сопережнвание и сострадание герою переходят в совместное осознание, разрешение жизненной проблемы. "Сострадание и страх" (говоря словами Аристотеля) снимаются, благодаря переходу сознания и переживания зрителя (вслед за осознанием героя) из плана индннвидуальных переживаний иной план - общечеловеческих

ценностей и идеалов [14; 6, 34], в свете которых они приобретают положительный смысл и эмоциональную окраску. Субъективно это переживается зрителем как душевный подъем, чувство просветленности, гармонии, готовности к высоким и добрым поступкам. Это превращение отрицательных эмоций в положительные благодаря включению в иную, более высокую систему ценностей, характерно для психологической трансформации, называемой катарсисом.

Искусство способно вести человека не просто к познанию, но к приятию более высокой системы ценностей, не рассудочно, а непосредственно, включая уровень потребностей и чувств человека. Именно в этом его незаменимая воспитательная роль. Момент катарсиса - это состояние внутренней упорядоченности, душевной гармонии, возникающей благодаря доминированию высших, общечеловеческих идеалов в душе человека.

5. Подведем итог сказанному. Катарсис - это осознание. Но не в смысле фрейдовского погружения в низины подсознательного. Это - расширение границ индивидуального сознания до всеобщего. Такое расширение сознания по-новому освещает индивидуальный опыт, прошлое человека, помогая ему увидеть свои отклонения и их пагубные последствия. Это осознание мучительно, смерти подобно. Освобождение от устоявшихся ложных взглядов, желаний, привычек:, отвержение своего прежнего "я" требует решимости и подвига (*Мы не отождествляем переживания героя и зрителя, но их отношение не рассматриваем, т. к. в настоящей работе дается лишь принципиальный подход к проблеме катарсиса, не претендующий на детальную разработку психологии катартиче- ской реакции*). Но страдание очищения радостно потому, что освещается смыслом обретения новой жизни - поднятия в меру человеческого признания к всеобщности, универсальности.

Таков, в нашем понимании, трагический катарсис, воплощенный в. судьбе Эдипа.

128. Музыка и фиксированная установка. Г. Н. Кечхуашвили

Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии

В начале нашего века широко бытовало мнение, что творчество даже таких мастеров как Р. Штраус, Прокофьев, Шёнберг, Онеггер, Стравинский, Барток, Шостакович, Хиндемит и некоторых других, не только полностью оторвано от ладотональных основ музыки XVIII-XIX вв., но и не имеет ничего общего с искусством. Более чем полувековое воздействие новой музыки оказало огромное влияние на восприятие людей, научив их слушать и оценивать гармонически звукосочетания, некогда казавшиеся абсурдными и эстетически недопустимыми.

В то же время, музыковедение доказывает, что (1) все основные направления музыки XX века возникли на основе эволюции ладотональной системы предшествующей музыки; (2) так же как последняя основана на ладотональной звуковысотной системе, так и новая музыка имеет свои особые системные основы (Денисов, 1969; Холопов, 1974).

Функции музыкальных тонов ладотональных гармоний музыки XVII-XIX вв. в значительной мере обусловлены структурными закономерностями ладов и определяются тем, что одни их тоны - элементы, называемые устойчивыми, вызывают впечатление законченности (I, III, V ступени), а другие, называемые неустойчивыми, напротив создают впечатление незаконченности, порождают стремление продолжить и завершить "движение" (II, IV, VI, VII ступени). Способность различать эти ладовые функции отдельных ступеней, их устойчивость или неустойчивость, степени этих качеств "тяготения" тонов, обычно объясняют то операциями "сравнения", то "ладовым чувством", "ожиданием", "слуховой настройкой", "моторной установкой" и т. п. (Helm lioltz. 1863; Stumpf, 1898; Беляева-Экземплярская и Яворский, 1926; Kurth, 1031; Revesz, 1946; Теплов, 1947; Frances, 1958; Wellek, 1963; Холопов, 1974 и др.).

Нашей целью является попытка показать, что (1) разработанное грузинской психологической школой Узнадзе понятие "фиксированной установки" (Узнадзе, 1946: Прагишвили, 1967) может раскрыть действительный смысл терминов "ладовое чувство", "ожидание", "слуховая настройка" и т. п; (2) отрицание многими современниками музыки XX века в значительной мере определяется отсутствием у них фиксированных установок, соответствующих новым гармоническим системам, и отрицательным действием ладотональных фиксированных установок, соответствующих исторически предшествовавшей музыке.

Для выявления фиксированной ладотональной установки, определяющей, по нашему мнению, восприятие тяготения в классической музыке XVIII-XIX вв., нами была разработана следующая методика (Кечхуашвили, 1955); в установочной части эксперимента испытуемому 10 раз подряд проигрывают, например гамму C-dur,

поделенную короткой паузой на два (b-a) тетрахорда, и каждый раз просят пс первому непосредственному впечатлению указать, который из них неустойчив, который устойчив.

Во второй тестовой части опыта, начинающейся с XI экспозиции, ни о чем не предупреждая и не прерывая опыта, испытуемому с тем же заданием экспонируется гамма G-dur, также поделенная на тетрахорды (а,-с), до тех пор, пока он не услышит первый (а,) тетрахорд неустойчивым, а второй (с) устойчивым

В других вариантах опытов использовались следующие пары гамм: C-dur F-dur, E-dur и A-dur, E-dur и H-dur. Пары Пыла подобраны по наличию физически идентичных звукорядов (тетрахордов), схема расположения которых была либо b-a/a,-c, либо a-b/e-a,. Проведено 40 опытов на студентах и преподавателях Тбилисской консерватории (31 чел.).

Суммарные данные адекватных оценок характера устойчивости тетрахордов в установочных (I-X) и тестовых (XI-XV) экспозициях в процентах таковы: 1-80, II-80, III-87,5, IV-90, V-95, VI-90, VII-90. VIII-97,6 IX-97,5, X-97,5, XI-25, XII-42,5 XIII-47,5 XIV-50, XV-52,5.

Как видим, в большинстве установочных опытов характер устойчивости тетрахордов был воспринят правильно: первый неустойчивым, второй устойчивым. 8,75% неадекватных оценок, наблюдавшихся в среднем в 1-X экспозициях, по-видимому, вызваны двусмысленностью α, и α, тетрахордов, которые в зависимости от гаммы, в которой воспринимаются, могут казаться и I-II-III-IV и V-VI-VII-I ступенными звукорядами.

В тестовых опытах адекватная оценка характера устойчивости тетрахордов с 97,5% в VIII-X установочных экспозициях сразу резко падает до 25% в XI, іа далее медленно растет.

Неадекватная оценка качества устойчивости α, тестовых тетрахордов вызвана двумя причинами; наличием в обеих частях эксперимента физически идентичных двусмысленных (α и α,) звукорядов и десятикратным восприятием - оценкой качеств устойчивости тетрахордов установочной гаммы. Сокращение втрое в XI экспозиции адекватных оценок является следствием уподобления качеств устойчивости α, тетрахорда характеру устойчивости установочного α тетрахорда.

Как понять это уподобление? Можно ли объяснить его, например, теорией ожидания. Если наши испытуемые и ожидали чего-то, так это того, что первый тетрахорд каждой пары должен быть неустойчивым, а второй устойчивым. На самом же деле больше чем в половине тестовых экспозиции (57%) они неадекватно оценивали характер устойчивости α, тетрахорда, и из этого положения их часто выводила именно неожиданность собственных оценок.

Непригодны для объяснения наблюдавшегося феномена также понятия моторной установки и ладового чувства, поскольку метр и ритм проигрываемых в опытах гамм был всегда неизменным и никаких акцентов не делалось. Что же касается некоторого состояния напряженности, на что иногда указывали испытуемые, его нельзя, конечно, принимать за двигательные ощущения.

Очевидно, восприятие α, тетрахордов тестовых гамм определено состоянием субъекта, которое нельзя считать ни мускульно-моторной готовностью, ни состоянием или содержанием сознания (например, чувством ожидания или эмоцией). Поэтому мы полагаем, что в наших опытах моделируется активация и фиксация такой настройки субъекта, которая, хотя сама и не является феноменом сознания, однако имплицитно определяет и направляет наши восприятия, представления, т. е. феномен, названный Д. Н. Узнадзе фиксированной установкой.

Однако, если активированная и фиксированная в эксперименте установка может нарушить восприятие таких прочных ладотональных структур, как гаммы, ясно, что их адекватное восприятие также определяется установкой, фиксированной в (предшествующей общественно-исторической музыкальной практике человека. Она же должна была мешать ему в начале нашего века при выработке фиксированных установок, соответствующих новым звуковысотным системам. Но поскольку фиксированная установка, по Узнадзе - механизм не столько ригидности, сколько адаптации и реадаптации, ясно, что под воздействием особых звукозысотных структур новой музыки происходило формирование и новых установок, которые привели нас в конце концов к возможности ее адекватного восприятия.

Этот вывод покрепляется данными детской психологии, на которые указывал еще композитор Онеггер (1947). По его наблюдениям, маленькие дети, еще не обремененные никакими музыкальными навыками и представляющие собой, так оказать tabula rasa для музыкальных экспериментов, легко привыкают к модернистской музыке и с удовольствием ее слушают.

129. О психологических предпосылках функциональности в музыке. А. П. Милка

Ленинградская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова

Проблема функциональности в настоящее время является одной из узловых проблем системного изучения объектов почти во всех областях научного знания. Тот факт, что за последние годы эта проблема стала предметом пристального внимания музыковедения, безусловно, свидетельствует о прогрессе этой науки.

В каждой из наук содержание понятий "функция" и "функциональность" различно, однако не противоречиво. Сущность различий заключена в различиях предметных сфер этих областей науки. Особенность понятий и "функция", и "функциональность" в музыковедении связана, во-первых, со спецификой самой музыкальной структуры, а во-вторых, с тем, как эти понятия исторически развивались в этой области знания.

В музыкознании к XX веку теория функциональности была наиболее последовательно разработана в области гармонии, причем особо важный вклад в разработку этой проблемы внесли советские исследователи. В традиционной теории музыки, в ее разделах о гармонии и ладе под функциональностью в конечном счете понимается такое поведение различного рода аккордов или их последований (если речь идет о функциональности ладово-гармонической) или же звуков, звуковых последований (если речь идет о функциональности ладово-мелодической), при котором в сознании слушателя возникают специфические ощущения, называемые тяготениями. Эти ощущения можно описать как острые ожидания, ожидания появления определенных аккордов или звуков, в зависимости от того, какого рода функциональность имеет место в данный момент. В музыкознании XIX - начала XX века подобного рода ощущения описывались как неосознанные желания того, чтобы появился определенный звук или аккорд. Так, например, у Г. Гельмгольца мы встречаемся со следующим высказыванием: "Напряжение, которое мы чувствуем, когда поем вводный тон (один из наиболее остро тяготеющих тонов лада. - А. М.), не происходит в гортани, а от того, что нам трудно установить посредством воли на этом тоне голос, когда в голове уже существует другой тон, на который мы желаем перейти и близостью которого мы уже нашли вводный тон" [2, 406].

Данное высказывание, думается, имеет смысл скорее психологический, нежели физиологический. В данном случае имеет место факт предвосхищения ("когда в голове уже существует другой тон") и ожидания появления следующего, точно определенного звука ("другой тон, на который мы желаем перейти"). К сожалению, в свое время в теории музыки оно не получило достаточного развития, и более заметное место в ней заняли обоснования лада в аспекте физиологическом, а также некоторые другие, среди которых наиболее заметной была тенденция трактовать тяготение как стремление самого звука или аккорда перейти в другой. Следы последней тенденции можно найти даже в современной теории музыки. Чтобы увидеть это, достаточно обратиться к учебникам теории музыки или гармонии, в которых постоянно говорится о стремлении одного звука перейти в другой, но нигде речь не идет о предвосхищении, об ожидании и т. д. В то же время приведенное выше высказывание Г. Гельмгольца представляет тяготение как реакцию человека на определенные свойства музыкальной структуры, на особенности поведения музыкального текста и представляет данную проблему в аспекте вероятностном. Думается, что именно психологический аспект рассмотрения данной проблемы, и более того, - вероятностный - позволит подойти наиболее близко к ее разрешению.

Развитие музыкальной теории в настоящее время позволяет опираясь на многочисленные исследования как советских, так и прогрессивных зарубежных исследователей, отправной точкой считать следующие тезисы:

(1) тяготение - это явление, относящееся к области человеческой психики и возникающее в сознании человека как его реакция на особые свойства музыкального текста;

(2) особенности этой реакции можно описать как ожидание появления определенного элемента музыкальной структуры или определенного его поведения;

(3) поскольку музыкальная структура многопланова и многоуровнева, а тяготение присуще всем ее планам и уровням, постольку и ожидания, проявляющиеся как тяготения, имеют также многоплановую и многоуровневую структуру.

(4) особенности поведения музыкального текста, вызывающие в сознании слушателя ощущение тяготения, можно свести к следующему: это поведение должно быть таковым, чтобы в процессе его (текста) развертывания обеспечивалась предсказуемость или иными словами, этот текст должен обладать той или иной мерой избыточности.

(5) в музыке феномен тяготения, а значит, и функциональности, свойствен всем факторам музыкальной выразительности. Тяготения могут возникать и в области мотивного развертывания, и в области композиции, ритма, метра, фактуры, динамики и т. д.

Разовьем указанные тезисы далее.

Как показывают исследования, элементарный способ обеспечить избыточность какого-либо текста - это повторение его целиком или только составных частей. В музыкальном тексте обеспечить избыточность представляется возможным только лишь через механизм повторения (это будет показано далее). Рассмотрим это на примерах таких фундаментальных факторов музыкальной выразительности, как гармония (и шире - лад) и музыкальная форма в узком понимании этого слова.

Особенностей лада как действующей системы, а не как застывшего звукоряда (так еще иногда представляют его в музыковедческих работах) нельзя понять, если не исходить из особенностей человеческого восприятия. Тяготения, составляющие суть всякой ладовой системы, возникают как результат музыкальной практики человека, его опыта, как результат слушания и усвоения им массы музыкальных сочинений. Основную роль в становлении ладов сыграл процесс обобщения особенностей поведения бинарных сочетаний звуков - интервалов. И дело не только в абсолютной величине каждого из них. Один и тот же интервал может вести себя по-разному: "Еще и еще раз подчеркиваю, что вводнотонность не равна качественно любому полутону" [1, 242-243].

Такая ладовая реакция человека не случайна. Во-первых, не случайно тяготение VII ступени именно в тонику (I ступень лада). Во-вторых, не случайно, что это тяготение сильнее остальных. Тому виной - особое поведение звукоряда в мажоро-минорной системе. Среди сопряжений VII ступени с другими связь VII-I встречается гораздо чаще прочих. Если основываться на музыке "Хорошо темперированного клавира" И. С. Баха, то представление об этом даст помещенная ниже таблица. Она показывает, что каждые 100 сопряжений VII ступени с друпими дают следующую характеристику:

VII - I - 71

VII - II - 2

VII - III - 4

VII - IV - 0

VII - V - 0

VII - VI - 23

Как видно из характеристики поведения VII ступени, вероятность появления I в данной ситуации после VII - самая высокая, недаром на слух она тяготеет именно в тонику.

Для ответа на второй вопрос - почему именно тяготение VII-I самое сильное во всей мажоро-минорной системе, необходимо иметь всю картину тяготений, то есть характеристики всех ступеней, а не только VII, - и характеристики для всех или подавляющего большинства мажоро-минорных сочинений, а не только для II тома "Хорошо темперированного клавира" И. С. Баха.

Оставим пока в стороне проблему выполнимости этой задачи. Остановимся на ее теоретико-психологическом содержании. Человек, слушая музыкальное произведение, непроизвольно совершает интуитивно-статистическую обработку, неосознанно фиксируя в подсознании сопряжения различный: ступеней. Этот процесс протекает на основе слушательской памяти, без которой невозможно вообще никакое восприятие музыки. В памяти воспринимающего фиксируется и статистическая информация, но, разумеется, не в виде точных данных, а скорее, как "переживание" определенной статистической ситуаций, одним из многочисленных образцов которой может служить приведенная выше характеристика. На основе такого рода "статистических" данных, на основе внутренне обработанных и преобразованных сведений, также непроизвольно, слушатель строит прогноз относительно поведения элементов данного лада, формирует систему ожиданий, которую в музыкознании называют системой звуко-высотных тяготений или иначе - ладом.

В этом смысле действия человека можно условно уподобить действиям вычислительной машины, но только лишь до определенного предела. Во-первых, в случае с человеком имеет место неосознанный процесс. Во-вторых "восприятие" машиной музыкального произведения обычно и ограничивается выдачей вероятностной характеристики. Человек же реагирует эмоционально, эстетически, совокупностью всех факторов его сознания. В-третьих, в процессе восприятия музыкального произведения участвует свойственный лишь человеку механизм образно-эмоциональных ассоциаций, без которых невозможен вообще процесс художественного восприятия.

На основе сказанного можно построить гипотетическую модель формирования лада. Описать ее можно следующим образом.

1. Объективные условия существования музыки - музыкальный строй, акустические особенности данной ладовой системы, особенности инструментария, географические условия, особенности культурного развития и т. д. или, как говорит Б. В. Асафьев, "место, время, эпоха и средства воспроизведения" [1, 195] - создают ситуацию, когда при прочих равных условиях одним звуковым соотношениям отдается некоторое (незначительное) предпочтение. Создается ситуация предпочтения.

2. Ситуация предпочтения создает условия и является причиной повторения данного соотношения.

3. Повторение данного соотношения создает условия и является причиной ожидания его с большей вероятностью, чем того, которому это предпочтение не отдано. Таким образом это повторение является причиной возникновения тяготения.

4. Следование этому тяготению вновь является причиной повторения данного соотношения. Таким образом, легко заметить, что между повторением и тяготением возникает замкнутый цикл с обратной связью: повторение усиливает тяготение, а тяготение, в свою очередь, усиливает повторение. Так могло бы продолжаться бесконечно, и выхода из этого замкнутого цикла не было бы, если бы не особенности человеческого сознания (и прежде всего - ограниченность его восприятия). Оно отвергает это соотношение. Возникает ситуация избегания, что в широком смысле можно трактовать как "интонационный кризис".

Сказанное можно пояснить следующей схемой: объективные предпосылки-> ситуация предпочтения->повторение->тяготение->ситуация избегания.

Описанная модель формирования лада "работает" в общественном сознании и в опоре на общественную память. Сам процесс формирования протекает весьма медленно, особенно на первой его стадии, на той стадии, когда происходит переход от ситуации предпочтения к возникновению тяготения, когда закономерность в виде объективных предпосылок упорно пробивает себе путь через толщу случайностей и реализуется в виде тяготения. Чтобы представить себе временные масштабы действия подобного рода модели, обратимся к конкретному ее проявлению, процессу формирования гармонической функциональности в европейской музыке.

Ощутимые следы многоголосия исследователи находят в IX веке. Эту временную точку можно условно считать тем моментом, когда уже имеют место объективные предпосылки зарождения гармонической функциональности. Однако первые проявления гармонических тяготений еще пока только лишь намечаются. Они обнаруживаются в XVI веке, в музыке Дж. Палеетрины. Кульминационной точкой развития упомянутой функциональности повсеместно считается творчество венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен); это - середина XVIII века. Кризис гармонии дал знать о себе в середине XIX века. Об этом ярко свидетельствует исследование Э. Курта "Романтическая гармония и ее кризис в "Тристане" Вагнера" [4]. "Тристан и Изольда" Вагнера, одна из лучших его опер, была написана в 1865 году. Рубеж XIX-XX веков ознаменовался появлением сочинений, в которых гармоническая функциональность практически не действует (творчество Скрябина позднего периода и композиторов "нововенской школы" - Шёнберга, Веберна, Берга).

Таким образом, если вернуться к модели формирования лада, то переход от объективных предпосылок с созданной ими ситуацией предпочтения к первым проявлениям тяготения (начало замкнутого цикла "тяготение-повторение" или, что то же самое, как было показано выше, "повторение-тяготение") совершается за 7 веков. От начала же замкнутого цикла, когда тяготение еще слабое, до его кульминационной стадии, когда сила гармонических тяготений максимальна, когда действие гармонической функциональности наиболее эффективно, - 1,5 века. От данной точки до начала кризиса гармонии - 1 век. Наконец, от начала кризиса до появления сочинений гармонически афункциональных - 0,5 века.

Итак: 7 - 1,5 - 1 - 0,5.

Это - выраженные в столетиях временные рамки действия основных этапов показанной выше модели формирования лада (в данном случае, гармонической функциональности), осуществившей свой полный оборот за 10 веков.

Обращение к временным масштабам здесь было сделано для того, чтобы остановиться на следующем существенном моменте. Выше уже неоднократно указывалось, что тяготения и связанные с ними функциональности могут возникать лишь на основе памяти. В этом процессе участвуют 2 вида ее - долгосрочная и оперативная. С указанными двумя видами тесно связаны и два типа функциональностей, соответственно - функциональности исторические и функциональности текста. В этом отношении уместно указать и на две разновидности повтора: повторность, проявляющаяся в каком-либо конкретном тексте, и повторность, которую можно выявить лишь в совокупности музыкальных текстов данного композитора, данного стиля или данной эпохи.

Положения, высказанные в предыдущем абзаце, можно обобщить следующим образом: 1) на основе повторений, проявляющихся в конкретном музыкальном тексте, при действии оперативной памяти (ограниченной временными рамками музыкального произведения), возникают функциональности текста; 2) на основе повторений, проявляющихся в совокупности произведений данного музыкального стиля, данной эпохи, при действии долгосрочной памяти (измеряемой годами, подчас столетиями, и это возможно лишь в рамках общественной памяти, не ограниченной .сроком жизни одного индивидуума), возникают функциональности исторические или стилевые.

К последним относятся все виды ладовых (и их частный случай - гармоническая функциональность), функциональность периода, других простых и сложных форм, диссонантно-консонантная и др. Функциональности текста - это мотивная, ритмическая, метрическая, фактурная и т. д.

Исторические функциональности для отдельного индивида являются в известной степени фактором объективным (хотя, как было показано выше, они - результат творческой деятельности таких же индивидов). Эти функциональности вступают в действие в психике человека неосознанно, непроизвольно, подсознательно. Это имеет место как в композиторском творческом процессе, так и слушательском. Функциональности же текста, представляющие собой факторы непосредственного восприятия, выступают как для слушателя, так и для композитора, областью явлений осознанных. Об этом говорят, например, многочисленные эксперименты по психологии восприятия музыки, в процессе которых испытуемые описывали свои ощущения от прослушанной только что музыки. Как показывают подобного рода эксперименты, получившие довольно широкую популярность вследствие простоты их постановки, в описаниях обычно фигурируют средства музыкальной выразительности, участвующие в процессе формирования именно функциональностей текста: характеристика поведения мотивов, ритм, метр, фактура динамика и т. д.

Что же касается того, оказываются ли функциональности текста для композитора областью осознанных явлений, то здесь уместно сослаться на весьма поучительный в этом отношении пример, касающийся творческого процесса создания Чайковским Интродукции к опере "Пиковая дама".

Те, кому доводилось видеть хранящуюся в Доме-музее П. И. Чайковского в Клину рукопись Интродукции, не могли не обратить внимания на громадное количество исправлений. Ни один фрагмент оперы не имеет такого количества правок. Интродукция буквально испещрена пометками, "прорваться" сквозь них нелегко также потому, что первоначальный текст написан легким, беглым штрихом мягкого карандаша, а зачеркнут весьма основательно. По-видимому, композитор преодолевал колоссальное сопротивление материала и формы, подчиняя их своим замыслам. Об этом говорят еще и следующие факты. Интродукция удалась, так сказать, "со второй попытки": в рукописи содержатся два листа ее начала. Первый вариант композитор даже отчаялся продолжить, весьма основательно зачеркнув его. И только после того, как был подобран ключ к решению задачи, была осуществлена вторая попытка, завершившаяся успехом, тоже не без дальнейших "сражений" с сопротивляющимся материалом и формой.

Большое количество авторских пометок и исправлений рукописи дает возможность скрупулезно проследить за ходом композиторской мысли, за многими подробностями в течении творческого процесса.

Толчком для написания главной темы Интродукции послужила мелодия, основанная на музыке "Баллады Томского" и представляющая собой стандартный квадратный период из двух предложений, причем каждое членится на две фразы. Трудно было придумать более неподходящее построение, ибо для той цели, которую преследовал композитор (написание части оперы в форме, называемой "сонатное аллегро"), необходимо было разомкнутое построение. Поэтому, как показывает расшифровка черновиков, весь дальнейший путь в работе над

темой - это попытка композитора преодолеть весьма сильное замыкающее тяготение. В данном случае - тяготение периода, относимое к разряду исторических, стилевых.

После многочисленных попыток, как показывают черновики, осуществляемые весьма целенаправленно, композитор находит единственно верное в данном случае решение - преодолеть это стилевое тяготение путем создания нового - тяготения текста на основе известного "мотива трех карт".

На данном примере можно видеть, как в творческом процессе вступили в противоречие факторы стилевые, исторические, в виде стилевой функциональности периода, которыми, в силу их объективности, композитор управлять не может, с факторами конкретного музыкального текста в виде мотивной функциональности, которой композитор сознательно управляет, достигая полного подчинения своим замыслам тематического материала и полной власти над ним.

Обоснование и развитие ряда тезисов о психологических предпосылках функциональности в музыке, думается, лежат в русле одной из тенденций современного музыкознания - включить в музыкальную теорию активность слушательского восприятия [5; 6]. Значительное влияние в этом отношении оказывают труды и экспериментальные методики, созданные психологической школой Д. Н. Узнадзе, в рамках которой в настоящее время разрабатываются основы общей теории сознания и бессознательного психического [7]. Вопросы восприятия лада, интерпретируемые в категориях психологии установки, являются ярким тому примером [3].

Дальнейшее же развитие указанной тенденции современного музыкознания даст, как нам представляется, возможность включить творческий процесс - и слушательский, и композиторский - в общую теорию человеческой деятельности при наличии соответствующей общей теории сознания и бессознательного психического.

130. О двух функциях бессознательного в творческом процессе композитора. М. Г. Арановский

Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии

Существует достаточное количество данных, свидетельствующих об огромной роли интуиции в творческом процессе композитора. Об этом говорят самонаблюдения композиторов, разнообразные документы, относящиеся к творческому процессу (эскизы, черновики и др.), наконец, его ярко выраженная аффективная окрашенность. Однако имеется не меньше доказательств и того, что многие задачи, встающие перед композитором, решаются им не только под контролем сознания, но и при помощи чисто рассудочных операций. Они затрагивают практически все стороны создаваемого текста, но особенно его архитектонику, фактуру, вопросы тематического развития и - при необходимости - инструментовку. Создавая новое произведение, композитор опирается на опыт поколений и детально разработанный аппарат техники письма, складывающийся в течение целых эпох и содержащий свод правил, норм, запретов, существующих и в виде устной традиции и в форме кодифицированных учений. Эксперименты с моделированием композиторского творчества [4] подтверждают принципиальную возможность создания музыкального текста, опираясь, если не полностью, то в значительной мере на чисто рассудочные операции. Видимо, есть основания говорить о том, что интуиция и рассудок обладают в творческом процессе композитора своими "сферами влияния".

Вместе с тем, провести между ними демаркационную линию вряд ли возможно. Деятельность сознания и бессознательного тесно взаимосвязаны и переплетены при решении задач разных масштабов. Их взаимодействие принимает подчас тонкие, едва уловимые формы. Так, например, осознавая необходимость замены аккорда, композитор ищет новый вариант, опираясь на свой музыкальный слух, на интуитивно, онтогенетически усвоенные возможности построения гармонических комплексов. Сознание ставит задачу, а интуиция осуществляет поиск решения. Или иначе: интуиция подсказывает необходимость постановки задачи, задача осознается и затем рассудок вместе с интуицией работают над решением. Возможны различные комбинации этого взаимодействия. Важно подчеркнуть другое: в музыкальном творчестве наводят своеобразное преломление все основные мыслительные операции: анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, выбора и сочетания, изоляции и группировки, сравнения (отождествления и различения) и др. Более того, музыка, по-видимому, является единственным физическим процессом, который посредством операций анализа и синтеза реализует такое фундаментальное свойство мышления как обратимость [2]. Наблюдения показывают, что далеко не всегда эти операции совершаются на уровне сознания, многие из них фиксируются в музыкальном тексте как результат естественных, спонтанных проявлений музыкального мышления. И возможно, феномен музыкального мышления дан нам для того, чтобы убедиться в существовании бессознательных форм мыслительных действий.

Определение функций бессознательного в творческом процессе композитора связано с изучением его структуры. Последнее же сопряжено с трудностями, неведомыми психологии научного творчества. Музыкальное

мышление только частично совпадает с понятийно-логическим, поэтому здесь ограничены возможности экспериментов и моделирования на ЭВМ. Роль же бессознательного весьма значительна. Соответственно велика и степень латентности творческого процесса. Так возникает проблема методов его изучения.

Она весьма сложна, поскольку исследования неизбежно должны коснуться трудно познаваемой области интуитивного мышления. Поскольку это область прямо не наблюдаемых явлений, постольку стратегия исследования должна быть, на наш взгляд, основана на изучении всего, что доступно для наблюдений, на принципе максимального сужения области непознаваемого, - иными словами, на методах косвенных данных. Таких методов, с нашей точки зрения, три:

1. **Путь индуктивно-эмпирических исследований** - традиционный для психологии художественного творчества, основанный на изучении (1) готовых продуктов творческого труда, т. е. художественных произведений, (2) "частичных" продуктов, т. е. эскизов, черновиков, планов, (3) самонаблюдений композитора, (4) свидетельств других лиц, (5) эпистолярных и мемуарных материалов. Выводы, представленные здесь, в значительной мере и опираются на изучение указанных выше материалов, относящихся к творческому процессу, в основном, русских композиторов - Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, а также частично зарубежных - Бетховена, Шуберта, Верди. Уже сам этот перечень дает представление о временных границах изучаемого материала. Это период господства гомофонно-гармонического стиля. (В связи с этим считаем нужным подчеркнуть, что исследование творческого мышления в сфере художественной деятельности вообще, видимо, должно опираться на принцип историзма по причине значительных различий в характере музыкального мышления разных эпох истории музыки).

Данное направление исследований дает бесценный материал для выводов, однако позволяет создать только фрагментарную, а не целостную картину творческого процесса. Для получения целостной картины индуктивно-эмпирический метод должен быть дополнен дедуктивными. Таковыми являются два следующих.

2. **Моделирование структуры музыкального языка**. Как отмечалось выше, форма участия интуиции в творческом процессе зависит во многом от типов задач, которые встают перед композитором. Поэтому, изучая средства (*Изучение творческого роцесса с точки зрения средст, необходимых для тех или иных оераций, рименяется и о отношению к научному мышлению [1]*), с помощью которых эти задачи решаются, можно попытаться определить сферы влияния сознательного и бессознательного. Средства же объединены в системы музыкального языка, следовательно, построение его модели открывает путь для выяснения взаимодействия сознания и интуиции.

Предлагаемая ниже схема структуры музыкального языка ориентирована на творческий процесс и поэтому в ее основе лежит сочетание иерархического принципа с операциональным. Вертикальный "срез" дает иерархию уровней, т. е. участвующих в операциях единиц разного масштаба. Рубрикация по горизонтали указывает на факторы, определяющие операцию: материал, морфологические модели, грамматики (системы функциональных инвариантов), функционирование и результат. При этом, результат одного уровня становится материалом операций другого, следующего. Уровни обозначены по результатам: I - (условно)лексический, II - (условно) синтаксический, III - композиционный, IV - целого произведения.

№ п. п	Уровни	Операции				
		Материал	Морфологич модели	Грамматики	Функция	Результат
I	Лексический	Звуки, длительности	—	Лад гармония метр	Контекст	Микроструктуры
II	Синтаксический	микроструктуры	фраза, предложение, период	лад, гармония, метр	контекст	медиструктуры
III	Композиционный	медиструктуры	типовые муз. формы	гармония (тональность)	контекст	макроструктура
IV	Произведения	макроструктура	типовые муз. формы	—	контекст культуры	произведение

Схема структуры музыкального языка

Стратификационная структура музыкального языка позволяет рассматривать вопрос о формах проявления бессознательного на каждом из ее уровней. Создавая новое произведение, композитор не может каждый раз заново конструировать всю систему музыкального языка "сверху донизу", изобретая все элементы и все виды связей в их иерархической взаимозависимости. Он опирается на традицию, на историческую практику, на интуитивно-эмпирически, в онтогенезе усвоенные нормы и правила, подобно тому, как усваивается вербальный язык (в этом между музыкальным и естественным языками существует определенная аналогия). "Чем эффективнее выполняем мы действия, тем меньше мы их осознаем" [3]. Эффективность владения музыкальной речью зависит от автоматизации механизмов, ответственных за объединение дискретных элементов в некие первичные структуры, а этих последних - в структуры большего масштаба и т. д. Средства связи (системы функциональных инвариантов) и модели структур разных рангов содержат первые два уровня системы музыкального языка. Именно эти уровни (и соответственно процессы, которыми они управляют) находятся в почти полном владении интуиции. И даже тогда, когда композитор сознательно ищет вариант связи, границы выбора подсказывают ему музыкальный слух (точнее, музыкально-слуховое мышление), воспитанный на определенных нормах. Автоматизация связей и создание ситуации выбора в рамках исторически возникшей системы ограничений необходимы для того, чтобы освободить музыкальное мышление от "черновой работы", открыть простор для спонтанного, стихийного проявления творческой фантазии, для выполнения художественных задач высшего порядка.

Итак, можно сделать ряд выводов: 1) интуиция обучается; 2) если это так, то результаты обучения должны где-то храниться, вероятнее всего, интуиция "на прямую" связана с долговременной памятью; 3) актуализация записанного в долговременной памяти происходит автоматически, бессознательно. Поэтому, изучая функционирование первых двух уровней музыкального языка, мы уже сужаем "круг непознаваемого", и по тем процессам, которыми они руководят, можем судить (косвенно) о деятельности интуитивного мышления.

3. **Моделирование механизма творческой деятельности**. На третьем и четвертом уровнях интуиция проявляет себя в иных формах. Здесь она связана с истоком творческого процесса - рождением замысла.

Как он возникает? С чего начинается творческий процесс?

Эмпирические исследования показывают, что не существует какой-либо раз на все случаи данной "драматургии" творческого процесса. Исходным пунктом могут быть: общий образ будущего произведения, какая-либо его деталь, сюжет, либретто, стихотворение, стилевой признак того или иного жанра и т. п. В области инструментальной музыки нормативным является движение от создания тематизма к построению из него формы целого, но и это не является обязательным. Уже по этой причине противопоказано механическое перенесение в область художественного (музыкального) мышления схем творческого процесса, выработанных на материале

научного (Т. Рибо, Ж. Адамара, Дж. Уоллеса). Все эти схемы строятся по одному принципу - параллельно вектору времени и поэтому имеют однонаправленный, линейный характер. Структура творческого процесса рассматривается в них как необратимая последовательность разных стадий. Обратные связи, непрерывность информационных связей между различными стадиями не учитываются. Между тем творческий процесс композитора организуется таким образом, что обратные связи в нем играют особую роль, деление же на фазы, если возможно, то условно, и нередко - в состоянии инсайта - все фазы сливаются в одну.

Поэтому линейной схеме мы предпочитаем взгляд на творческий процесс как на развертывание во времени структуры управляющего им психологического механизма - механизма творческой деятельности (МТД).

Пользуясь принципом "черного ящика", мы ниже попытаемся построить модель МТД, т. е. будем рассуждать следующим образом: что должен содержать МТД, чтобы данное ("на входе" преобразовалось в музыкальное произведение, получаемое "на выходе".

Мы исходим из того, что творческий процесс композитора инспирируется неким экстрамузыкальным стимулом (ЭС), который может быть чем угодно - идеей, эмоцией, впечатлением от пейзажа, стихотворением, сюжетом и т. д. Важно лишь одно: ЭС находится за пределами системы музыкального языка, не входит в состав собственно музыкальных представлений. Однако вся (система музыкального мышления осуществляет встречное движение, оказывая влияние на выбор объектов музыкального воплощения, создавая своего рода систему предпочтений. Поэтому в тот момент, когда нечто внемузыкальное становится объектом такого выбора, оно уже ориентировано на музыкальный способ своего инобытия, уже преобразовано, выступает в особой, духовкой форме "интимных установок художника" [5]. Именно :в этом своем качестве ЭС поступает на вход "черного ящика" (ем. схему МТД).

Поскольку хранилищем музыкального языка является долговременная память, постольку, вероятно, первое, с чем сталкивается ЭС, является блок долговременной памяти (ДП), содержащий системы функциональных инвариантов (Ф), синтаксические модели (С), композиционные модели (К) и жанровые (Ж). Но совершенно ясно, что для их актуализации должен существовать другой, особый операторный блок, где записанные в ДП элементы и их связи приходят в движение, обретают способность входить в новые, следовательно, уже не инвариантные, но вариантные, индивидуализированные комбинации. И т. к. эти процессы инспирируются ЭС и сам ЭС при этом преобразуется в некие иные психические объекты, то данный блок мы назовем блоком преобразования (БП).

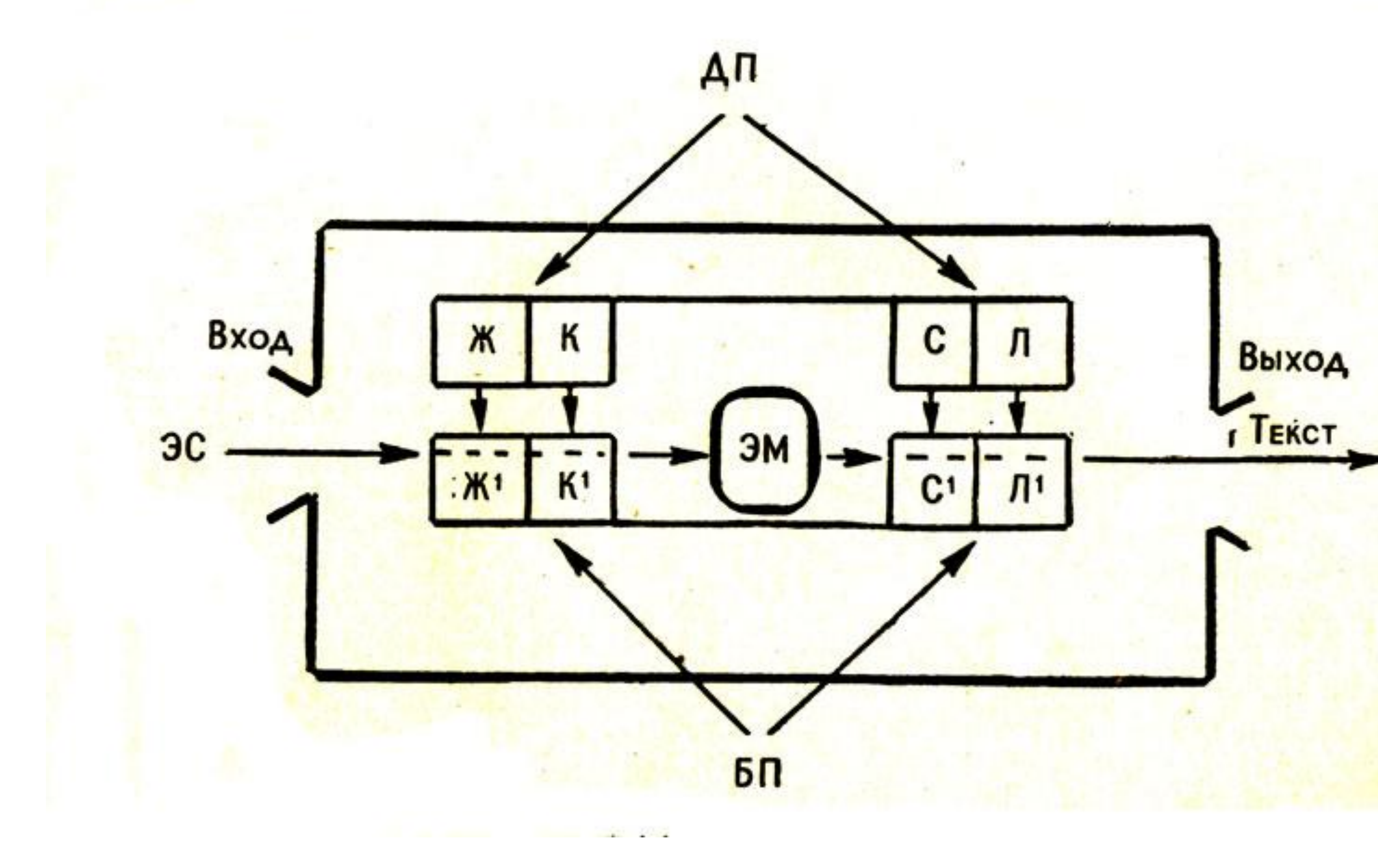


Схема МТД ДП

(*ЭС - экстрамузыкальный стимул, ДП - долговременная память, Ж, К, С, Л - уровни жанра, композиции, синтаксический, лексический. Ж1, К1, С1, Л1 их отображение в операторном блоке - блоке преобразования (БП). ЭМ - эвристическая модель - результат взаимодействия ЭС с уровнями Ж1 и К1 блока преобразования*)

Как совершается трансформация ЭС и его конечное превращение в музыкальный текст?

Из многочисленных вариантов творческого процесса мы изберем один, отличающийся более или менее строгой последовательностью операций. В общем, это довольно нормативный случай, когда в результате прохождения ЭС через БП формируется некое целостное представление о будущем произведении или о какой-либо его целостной части (теме, разделе).

Такое целостное представление образуется в том случае, если ЭС взаимодействует с высшими уровнями системы музыкального языка, а именно с подсистемами жанра и композиции, тесно связанными друг с другом. Жанр может быть изначально определен только по отношению к целому. Музыкальная форма (набор типовых форм), выступая в качестве морфологической модели целого, закрепляет в определенной структуре семантический инвариант жанра, несет в себе его генетический код. Выполняя структурную программу, записанную в морфологической модели, композитор актуализирует имплицитно содержащие в ней признаки жанра. Поэтому, когда ЭС проходит сквозь взаимодействующие подсистемы жанр - форма, возникает целостный симультанный образ будущего произведения. Это еще не само произведение, на то, что должно им стать. Это предвидение целого, предслышание его звукового облика. Такое образование возникает как быв критической точке возрастающей готовности к продуцированию и способно "вот-вот" в него перейти. В творческой практике это образование назвали по-разному: "идеей", "образом" (Бетховен), "планом целого" (Глинка), "проектом" (Чайковский), "колоритом" (Верди), "творческой концепцией" (Белинский). Мы будем именовать его эвристической моделью (ЭМ). Моделью - потому, что данное образование, будучи симультанным, неизбежно является пространственным, а пространственный образ не может охватить все подробности, сукцеесивно развивающегося процесса, каковым должно стать будущее музыкальное произведение. Такой образ может содержать в себе только главные, направляющие контуры, быть только моделью того, что станет реальной звуковой плотью. Эвристической же - потому, что, будучи соединением, единством ЭС и подсистем жанр - форма,

ЭМ оказывается способной к продуцированию текста. При этом, проходя сквозь структуры лексического и синтаксического уровней, порождает текст как уникальное образование.

ЭМ может быть сконструирована сознательно, и тогда творческий процесс также примет рассудочный характер. Это наихудший вариант. Оптимальным является вариант, когда ЭМ рождается путем вдохновения, инсайта, т. е. бессознательно. В этом случае, и творческий процесс протекает стихийно, подчас лавинообразно. Об этом свидетельствуют многочисленные данные, относящиеся к истории произведений. Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вебера, Верди, Глинки, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и др. В сущности, шедевры музыкального искусства созданы именно в состоянии инсайта. Это отнюдь не отлучает сознание от участия, в творческом процессе. Все, что связано с корректировкой, доводкой, обратными связями (отмечены в схеме пунктиром), дистантным соотнесением различных фрагментов создающегося произведения, поисками вариантов, оценкой и переоценкой, - все это (и многое другое) подвластно контролю сознания. Интуиция и ratio работают рука об руку, "ведь сознание и бессознательное - один цельный психический аппарат" [7]. Однако, главное выполняет все же интуиция. Вероятность, художественного открытия возрастает неизмеримо, если в творческом процессе участвует бессознательное. Это гарантирует (если не всегда, то часто) и высокое качество создаваемого, и легкую возобновляемость творческого процесса. Возникшая таким образом, ЭМ отличается, как правило, длительной стабильностью, сохраняющейся не только в течение дней и месяцев, но и лет (вспомним 18-летнее создание - Бородиным оперы "Князь Игорь"), Рождаясь как целостное образование, ЭМ, видимо, обладает системной природой, что вполне возможно, поскольку свойства системы обнаруживает само произведение. Это явствует, в частности, также из некоторых особенностей творческого процесса, например из внутренней взаимосвязи музыкальных материалов, отстоящих на значительном расстоянии друг от друга, что обнаруживается впоследствии путем анализа; или же из феномена, который можно назвать "опережающим творчеством", при котором (как об этом пишет Римский-Корсаков) возникают материалы, как будто не относящиеся к создаваемому произведению, но принадлежность которых к нему выясняется позже. Совершенно ясно, что все эти явления, включая системную природу ЭМ, возможны только при условии ее интуитивного, инсайтного "открытия".

Как взаимодействуют сознание и бессознательное при рождении ЭМ? Здесь возможны, на наш взгляд, два варианта. Первый аналогичен явлению, изученному психологией научного мышления, а именно: предварительному сознательному изучению проблемной ситуации (задачи), после чего решение переходит в ведение интуиции. Также и здесь: подготовка ЭМ проходит на уровне сознания, но рождается ЭМ все же путем инсайта. Второй случай более специфичен для искусства: процесс подготовки либо отсутствует, либо протекает латентно и незаметен для сознания, ЭМ возникает бессознательно и затем как решение подается в сферу сознания. Важно подчеркнуть, что в обоих случаях ЭМ существует в двух формах - сознательной и бессознательной, причем, вторая - творчески активная - обладает бесспорной автономией. Это означает, что, по всей вероятности, одна из них должна быть копией другой. Однако оригинал и копия соотносятся здесь, видимо, не как дубли, а скорее как структуры изоморфные друг другу. Иными словами, если верно то, что за деятельность сознания и бессознательного ответственны разные отделы головного мозга, то образование двух форм ЭМ может быть объяснено, видимо, только процессами взаимной перекодировки - с языка сознания на язык бессознательного и наоборот. Не исключено, что связь между сознанием и интуитивным мышлением формируется именно как процесс взаимной перекодировки."

Сказанное об ЭМ целого распространимо на любой уровень целостности и внутри произведения - его части или темы.

Подводя итоги, можно констатировать, что бессознательное выполняет в творческом процессе композитора две функции:

(1) выступает как форма владения двумя первыми уровнями системы музыкального языка и в силу этого управляет структурированием музыкального текста в той мере, в какой оно находится в зависимости от систем функциональных инвариантов;

(2) обнаруживает себя в виде инсайта при рождении эвристической модели целого произведения или его частей.

131. Опыт исследования функции стилевой модели в творческом процессе бетховена с точки зрения общей теории сознания и бессознательного психического. А. И. Климовицкий

Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии

Проблема сознательного и бессознательного в процессе музыкального творчества принадлежит к числу наименее изученных как в музыкознании, так и в психологии. Вместе с тем, успешное продвижение в этой области возможно только в тесном контакте обеих наук. Изучение творческого процесса композитора не может быть продуктивным без привлечения соответствующих методологических принципов и приемов психологии; в свою очередь, музыкознание накопило на сегодня богатейший эмпирический материал, игнорирование которого лишит психологию возможности установить многие общие закономерности худо жественного творчества.

Творческий процесс Бетховена - чрезвычайно благодарный объект для такого рода исследований. Если воспользоваться известным сравнением Льва Толстого, назвавшего процесс создания художественного произведения "опытом в лаборатории", то именно Бетховен - впервые в истории музыкальной культуры - оставил нам наглядные свидетельства своих "опытов" в виде нескончаемых черновиков, набросков, эскизов. Вспомним в связи с этим слова Стефана Цвейга о том, что "...именно в рукописях, и только в них, сокрыта одна из глубочайших тайн природы, и быть может самая глубокая. Ибо из множества неразгаданных тайн мира самой глубокой и сокровенной остается тайна творчества. Здесь природа не терпит подслушивания... Здесь она безжалостно, без всякого снисхождения опускает занавес... И единственное, что нам может поведать хоть немногое, что способно хоть слепка приблизить нас к разгадке неуловимого процесса творчества - это драгоценные листы рукописей" [6, 341-342].

Истинность этих слов хорошо подтверждается, в частности, сокровенной тайной музыкального творчества Бетховена, прежде всего тайной его "Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit" ("Священное благодарственное песнопение выздоравливающего божеству") Квартета ор. 132, творческий замысел и характер реализации которого были обусловлены предварительно созданной Бетховеном рукописной копией "Gloria Patri" Палестрины - гениального итальянского композитора эпохи Возрождения. Суть вопроса в следующем:

В перечне копий, выполненых рукой Бетховена, наряду с другими произведениями, представляющими преимущественно немецкую музыкальную традицию - хронологически не далее старших современников Баха - встречается "Gloria Patri" из Магнификата "Tertii toni" Палестрины. Нам удалось установить, что бетховенская копия "Gloria Patri" была выполнена скорее всего в 1825 году, когда композитор по просьбе издателя Артариа просмотрел привезенный им из Италии сборник церковных песнопений старых итальянских мастеров. Важно подчеркнуть, что переписанная Бетховеном "Gloria Patri" Палестрины запечатлела тщательнейшие бетховенские комментарии, свидетельствующие о том, что партитура итальянского композитора привлекла к себе внимание Бетховена прежде всегда парадоксальными - с позиций собственной художественной системы - стилистическими элементами. И Бетховен, рассматривая эту партитуру в свете традиций классицизма, обнаруживает у Палестрины "ошибки", и более того - исправляет (!) их.

Однако спустя некоторое время после знакомства и "исправления" Бетховеном партитуры Палестрины, в том же 1825 году он приступает к сочинению Квартета ор. 132, в медленной части которой обнаруживается чрезвычайно важный психологический феномен музыкального творчества - внутреннее противоречие Бетховена: на страницах собственной партитуры Бетховен допускает те же, чуждые своему стилю "ошибки", которые он незадолго до того исправлял (?) в своей рукописной копии "Gloria Patri" Палестрины.

Поэтому "вряд ли надо удивляться тому, что третья часть интересующего нас Квартета Бетховена - "Священное благодарственное песнопение выздоравливающего божеству" - не только в научной литературе прошлого века, но и в современной бетховениане квалифицируется как одно из самых загадочных ("таинственных", "мистических", "уникальных") произведений композитора [4; 11; 12; 13]. Ибо своей "парадоксальностью" и "противоречием" она ставит нас перед фактом, все еще необъяснимым в музыкознании. Однако то, что представляется "парадоксальным" непротиворечивым" в этой связи, является, как нам кажется, вполне объяснимым и даже закономерным в свете глубинной психологии творчества, если при этом воспользоваться общей теорией сознания и бессознательного психического в том ее понимании, в каком она была сформулирована в последнее время профессором А. Е. Шерозия [7; 8] на новой категориальной основе психологии установки (школа Д. Н. Узнадзе). Вся суть в том, что, согласно этой теории, сознание и бессознательное психическое следует рассматривать как единую систему их взаимоисключающих (антагонистических) и в тоже время взаимокомпенсирующих (синергических) собственно-психологических, эпистемологических и эстетических отношений, возможную только при наличии первичной целостно-личностной модификации (установки) субъекта их реализации [8"]. К тому же, для нашего исследования эта теория привлекает к себе внимание еще и тем, что вся эта сложная система отношений сознания и бессознательного психического принимается в ней за внутреннюю форму и способ проявления онтологически более центральной системы фундаментальных отношений личности - к самой себе, к другому и к суперличности [см. там же].

Во всяком случае, здесь мы попытаемся выяснить некоторые спорные вопросы художественного творчества Бетховена "позднего периода" на примере "объективно-аналитического" [2] изучения третьей части его Квартета

ор. 132 с позиции указанной теории сознания и бессознательного психического при первом приближении как к этим вопросам, так и к самой этой теории. Только исходя из общей теории сознания и бессознательного психического (по их единой модификации через изначальную, все еще нереализованную и нефиксированную установку художника) можно, как нам представляется, объяснить всю "парадоксальность" и "противоречивость" интересующего нас произведения Бетховена, как и в целом его творчества позднего периода, являющегося результатом столкновения (и возможного, должно быть, сосуществования) двух различных музыкальных стилей - "классического стиля" Венской школы и "строгого стиля" эпохи Возрождения - с их различными концепциями слышания и философии музыки, а шире - различными принципами моделирования действительности, порожденными разными типами культуры, производными от разных "моделей мира".

В психологии творческого мышления принято делить творческий процесс на отдельные стадии [3]. Исследователи психологии музыкального творчества [1; 9; 10] придерживаются аналогичных позиций, хотя и подчеркивают условность подобного подхода: ведь мысль композитора не концентрируется строго последовательно на каких-то определенных стадиях, а циркулирует между всеми фазами творческого процесса, охватывая этот процесс в целом. В соответствии с этим, ниже мы попытаемся проанализировать интересующее нас произведение на трех стадиях: возникновения замысла, отбора выразительных средств на уровне мелких семантических структур и структурного оформления музыкального произведения.

(1) Важнейшей психологической предпосылкой для созидательного процесса в целом, как и его начальной стадии - возникновения музыкального замысла - может служить определенного рода психическое состояние композитора, обусловливающее задачу, цель и направление его творческих поисков. Известно, что медленная часть его Квартета ор. 132 - "Священное благодарственное песнопение..." - первоначально не замышлялась композитором. Ее появление, изменившее ранее намеченный план Квартета, связывается с переживаниями Бетховена, перенесшего весной 1825 года заболевание, едва не стоившее ему жизни, с благодарностью природе, даровавшей ему силы побороть тяжкий недуг, с радостью выздоровления и возвращения к творчеству. Вполне естественным является поэтому обращение Бетховена к имеющимся образцам духовной музыки прошлого. Страх перед смертью и радость выздоровления явились, однако, не единственными динамическими стимулами "продуктивных переживаний" [9] композитора. Важную роль сыграло и стремление к новизне, всегда присущее Бетховену и особенно развившееся в поздний период его творческой деятельности, когда взор композитора устремляется в доклассическую эпоху, касаясь целого ряда новаций в области тематизма, драматургии, музыкальной ткани, нового понимания темы и тематического развития, принципов музыкальной формы, методов циклизации, в которых особенно отчетливо оживают традиции старинных и староконцертных циклов вплоть до канцоны. Чрезмерно интенсивное зондирование элементов доклассического музыкального искусства приводит к тому, что впоследствии у композитора происходит формирование новой установки, кардинально отличающейся от всех ранее функционирующих у него творческих установок. И роль бессознательного на этом этапе - в накоплении именно тех моделей стереотипов, которыми в определенный момент активно распорядится сознание.

Определив, таким образом, эстетико-содержательную сущность "Священного благодарственного песнопения...", Бетховен сознательно направляет поиски в сторону выбора стиля, жанра, формы соответственно замыслу произведения. При этом он и "выбирает" конкретную модель "Gloria Patri" Палестрины. Ориентация на эту модель носит отчетливо выраженный сознательный характер, ибо в жанровом и композиционном планах "Песнопение" Бетховена воспроизводит структуру "Gloria Patri": и в том, и в другом случаях налицо разновидности имитационного мотета, оба мотета состоят из пяти строф и оба мотета монотематичны в своей основе. Написанная в "лидийском Фа", "Gloria Patri" несомненно повлияла и на тональность бетховенского "Песнопения", если даже и не определила его: Бетховен пишет свое сочинение в Фа мажоре, "in der lydischen Tonart" - в лидийском ладу, указание на который введено им в подзаголовок всей части, что лишний раз подтверждает возникновение музыкальной концепции "Песнопения" на основе партитуры Палестрины.

(2) Но если на высших уровнях системы музыкального мышления, при выборе жанра и формы, ориентация Бетховена на определенную модель носит отчетливо выраженный сознательный характер, то на уровне мелких семантических единиц - отдельных мелодических оборотов, строения вертикали, голосоведения сознательное и бессознательное в ориентации на эту модель выступают у него в нерасторжимом единстве. Здесь мы сплошь и рядом встречаемся с тем, что в своей собственной партитуре Бетховен допускает именно те "ошибки", которые незадолго до сочинения Квартета он последовательно исправляет у Палестрины. Как логично это объяснить?

Д. Н. Узнадзе, касаясь причин возникновения той или иной целостно-личностной установки художника, писал, что необходимым условием зарождения этой установки следует считать воздействие на него какой-нибудь новой, все еще неиспытанной им объективной ситуации. Вместе с тем, он подчеркивает, что "Становится необходимым более или менее длительный процесс для того, чтобы установка определилась как таковая, чтобы она дифференцировалась, вычленилась как состояние, специфически адекватное для наличных условий поведения" [5, 182].

Исходя из этого, мы вправе констатировать, что в процессе изучения партитуры Палестрины у Бетховена, помимо его творческой воли, бессознательно происходит зарождение принципиально новой установки, дифференциация которой потребовала определенной продолжительности во времени и носила латентный характер вплоть до возникновения соответствующих этой установке "продуктивных переживаний" композитора. Отсюда и решение Бетховена - создать свое "Песнопение", по стилю и форме воспроизводящее "Gloria Patri".

Известно, что установка является феноменом бессознательным, но дифференцируясь она способна направлять активность композитора по определенному руслу. И если при выборе жанра, формы, структуры и тональности "Песнопения" Бетховен сознательно исходит из определенных условий, ограничивающих его творческую свободу, то на уровне соединения мелких семантических структур он следует своей новой художественной установке бессознательно. Между тем, Бетховен не только воспроизводит черты стиля Палестрины в своем творческом опыте, но и вступает в напряженный диспут с избранной моделью. На структурной основе доклассического имитационного мотета, заимствованного композитором у Палестрины, в "Песнопении" разворачивается динамичная сонатная драматургия, характерная для его индивидуальной логики мышления, а под покровом строфической формы возникают очертания сонатной формы, с которой связаны высшие достижения бетховенского гения! Именно в этом уже сказывается закономерность психологии музыкального творчества, в частности бессознательная зависимость Бетховена от своего предшествующего музыкального опыта, то есть собственного стиля. Таким образом, черты музыкального стиля Бетховена проникнув, помимо сознательной воли композитора, в заимствованную им из творчества Палестрины модель, способствуют ее преобразованию, совершенно новому переосмыслению и тем самым приближают данную модель к эпохе Бетховена.

Так, по крайней мере, представляется нам возможным раскрыть сущность одного из загадочных вопросов бетховенианы - различное отношение Бетховена к "строгому стилю" в его рукописной копни "Gloria Patri" из Магнификата "Tertii toni " Палестрины и в третьей части "Heiliger Dankgesang" Квартета ор. 132, интерпретируя это от-ношение с позиции общей теории сознания и бессознательного психического. С нашей точки зрения, эта позиция представляет интерес не только для раскрытия психологической сущности данного вопроса: ее можно рассматривать также в качестве своеобразной модели анализа всего музыкального наследия великого немецкого композитора, как и всей глубинной психологии музыкального творчества вообще.

132. О специфике проявления национального в музыкальном творчестве Стравинского в свете общей теории сознания и бессознательного психического. Л. И. Долидзе

Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания Министерства культуры СССР, Москва

Панорама музыкального творчества XX столетия указывает сегодня на необходимость новой постановки проблемы национального в музыке. В свою очередь громадные сдвиги в науке - как в собственно музыковедческой, так и в гуманитарных дисциплинах - дают возможность практически осуществлять разработку этой проблемы.

Прежде всего необходимо коснуться проблемы национального в плане социально-исторических закономерностей развития музыкальной культуры.

Как известно, обязательным условием отражения национального в музыке еще в начале нашего столетия считалось наличие в ней локальных признаков фольклора, в частности народных ладов, определенных мелодико-ритмических оборотов. Эта тенденция в значительной мере объясняется особенностями мышления прошлого столетия - эпохи, отмеченной национально-освободительными движениями, когда особую роль для образования национальных школ в музыке имело внедрение народно-песенных интонаций локального происхождения, в сочетании с опорой на легендарно-сказочные и легендарно-исторические сюжеты, непосредственно связанные с культурой и историей страны и народа, создавших эти школы.

Между тем, и до XIX века в эпоху барокко и классицизма существовали в музыке национальные школы, суть которых проявлялась не столько в преломлении интонационного строя фольклора, сколько в более универсальных по своим признакам элементах и формах. В частности, оперные школы XVII века в Италии, Франции, Англии возникли на почве своеобразного развития национальных традиций в сценической сфере, использования специфических жанровых черт, характерных для национального музыкального искусства. Так, например, в Италии ранняя опера опиралась на музыкально-сценические и музыкальные традиции мадригала, во Франции - на придворный балет, в Англии - на зрелищную придворную "маску" и т. п. Также и полифонические школы Ренессанса имели свои ясные национальные тенденции. В нидерландской полифонической школе национальное начало проявлялось более обобщенно, "абстрактно" (ввиду сложных профессиональных ограничений), в Италии

оно нашло выход более в песенной и жанровой сфере, в Англии - в опоре на народно-национальную "терцовую" полифонию и народные имитационные жанры и т. п. Как отмечает крупнейший советский музыковед В. Дж. Конен, "формы использования фольклора в профессиональном творчестве, его место и значение всецело обусловлены художественной средой, которая избирает и культивирует те или иные виды народного искусства" [3, 295].

Таким образом, ясно, что даже по отношению к музыке прошлого национальное нельзя свести к фольклорно-интонационному началу. Тем более необходимо по-новому осветить эту проблему на материале музыкального творчества XX столетия, в котором наряду с образцами, возникшими на почве сознательной психологической установки их авторов отразить национальное начало в музыке встречаются произведения на первый взгляд национально совершенно нейтральные. Подобные сочинения рассматриваются часто как вненациональные и противопоставляются образцам т. н. "нового фольклоризма", хотя в действительности в основе первых лежат принципы формообразования, связанные с национальной традицией не менее тесными узами, чем ладо-интонационные и ритмические элементы фольклора, присутствующие в последних. Универсальные по музыкальному языку, обладающие высокой художественной ценностью, эти образцы современной музыки, казалось бы, лишены национальных черт. Однако такое понимание было бы поверхностным: национальное начало заключено в их музыкальной структуре, подспудно связанной по своим принципам формообразования с национальными традициями в сфере логики музыкального мышления. К числу подобных образцов относятся не только произведения композиторов Нововенской школы - Шёнберга, Берга, Веберна, - но и значительная часть творчества Стравинского, Бартока, Хнндемита, Мессиана и других крупных композиторов XX столетия. В трудах зарубежных музыковедов, посвященных проблемам современной музыки, неоднократно встречаются утверждения, будто европейская музыка XX века в своих новаторских образцах лишена национального облика. Так, например, известный бельгийский музыковед Поль Коллер пишет: "Мы уже не можем больше говорить, что музыка Шёнберга немецкая, Стравинского русская или Мийо французская. Их музыка является выражением различных аспектов европейской мысли. Национальное чувство исчезло" [14, 338]. Однако с этой точкой зрения согласиться нельзя. Оценка национального в творчестве композиторов XX столетия требует более широкого, дифференцированного подхода и обнаруживает себя в действительности во всех крупных творческих индивидуальностях, "в нерушимых связях с духовной атмосферой своей нации, с ее общехудожественными и интеллектуальными традициями" [4, 32]. Задача заключается не в том, чтобы отрицать национальное начало в творчестве композиторов XX века, а в том, чтобы понять суть усложнившихся глубинных связей с национальной культурой.

Во все времена развития музыкального искусства в его образцах выступали характерные черты, которые оставались необъяснимыми на основе данных собственно музыкальной области. Раскрыть их можно лишь с помощью методов исследования, используемых смежными науками, в частности - социальной психологией, культурной антропологией, общей теорией личности и психологией музыкального творчества.

Каждая из этих сфер науки может изучать проблему национального в психологии музыкального творчества или, точнее, некоторые ее аспекты, опираясь не столько на формальные, количественные, структурно-функциональные моменты, сколько на содержательные, качественно конкретные характеристики. Такой подход жестко диктуется в процессе исследования интересующей нас проблемы, ибо сложное взаимоотношение и функционирование различных факторов предстает здесь в виде индивидуально неповторимой, структурно целостной психики композитора, в которой наблюдаются движения, направленные от периферии сознания к его глубинным областям, и - обратно.

Для того, чтобы объяснить всю сложность и противоречивость глубинной психологии композитора, обратимся к новейшей советской теории сознания и бессознательного психического, разработанной профессором А. Е. Шерозия [9; 10] на категориальной основе психологии установки (школа Д. Н. Узнадзе). Согласно этой теории личность полностью реализует себя в общественной практике и в сфере творчества по активной схеме экзистенции на уровне сознания и бессознательного психического как единой системы отношений в их взаимо-компенсирующей и взаимоисключающей связи [10]. В современной психологии все еще не имеется другой теории, столь широко охватывающей и глубоко освещающей в своем системном подходе к категории личности путем исследования ее взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно-психологических, эпистемологических, эстетических и прочих характеристик сложнейшие, зачастую глубоко скрытые, процессы творчества, в данном случае - творчества композитора.

Сознание и бессознательное психическое рассматриваются в этой теории как единая "биномная" система отношений в условиях их непосредственной активации той или иной установкой личности на будущее. Отношение сознания и бессознательного психического проявляется здесь как в вечном сопротивлении, оказываемом бессознательным психическим, так и в вечном вытеснении последнего со стороны сознания. Для сознания это - отношение к своему двойнику, тогда как для бессознательного психического это, наоборот, - отношение к своему

подлиннику. Однако подлиннику никогда неизвестно ни о том, когда этот двойник покинул его, ни о том, когда и в какой форме он опять к нему вернется [10, 470]. Функционирование сознания и бессознательного зависит "от лежащей в их основе целостной модификации личности через ту или иную ее актуальную потребность и ситуации, могущие удовлетворить эту потребность в том или ином направлении - от так называемого установочного состояния данной личности" [10, 471].

Система "установка - сознание - бессознательное" в состоянии, таким образом, реализовать всю совокупность фундаментальных отношений личности - к самой себе, к "Другому" и к "Суперличности". Под системой фундаментальных отношений личности к самой себе подразумевается личность как субъект для себя (самосознание); под системой ее отношений к "Другому" - не только отношение к другому как к себе подобному, но и к другому как к объекту этих отношений, как к природе. Особое место в фундаментальных отношениях личности отводится "Суперличности", ибо "личность как и само ее сознание, лучше всего оценивать по ее отношению к этой самой Суперличности. При этом хорошо открывается и весь мир ее психики, особенно в статусе ее собственно-психологических и эстетических отношений" [10, 498]. Суперличность - это не нечто сверхсильное или сверхъестественное. Это - своего рода инобытие личности, имеющее отношение и к "Другому" и к природе через посредство этой самой личности, - "это мир объективно значимых для нее явлений, который она всегда ставит выше себя и над которыми она впоследствии всегда поднимается, как бы проверяя себя и свои возможности на высшем уровне - на уровне Суперличности" [там же]. Причем, согласно общей теории сознания и бессознательного психического, о которой у нас идет речь, "система фундаментальных отношений личности в такой же мере измеряет сознание и бессознательное психическое, в какой они реализуют ее на высшем уровне - на уровне Суперличности" [10, 499].

Важно подчеркнуть, что особую актуальность, значимость и эффективность общая теория сознания и бессознательного психического обнаруживает в процессе исследования интересующей нас проблемы - проявления национального в психологии музыкального творчества. Это понятно, ибо наша цель заключается в изучении логики структурной связи между психологией музыкального творчества композитора и системой его фундаментальных отношений как личности.

Следует учесть, что "индивидуальная психология с самого начала является одновременно и социальной психологией" [8]. Согласно данным современной социальной психологии, социальное окружение накладывает отпечаток на индивидуальность преимущественно в процессе формирования психики и поэтому исследования национального характера, так же как и эволюционной психологии, охватывают, в основном, период от раннего детства до зрелого возраста. Разумеется, психологическое развитие не кончается с достижением зрелости и социальное окружение способно внести изменения в личность и по достижении зрелого возраста, вплоть до старости. Однако для раскрытия национального характера в психологии музыкального творчества важно исследование особенностей формирования психики композитора именно с самых ранних лет до достижения зрелого возраста, так как социально-культурная детерминация сказывается особенно на данном этапе, ограничивая варианты возможностей психики сформировавшейся личности, которая в ином национальном окружении могла бы развиться иначе.

Наибольшего успеха в разработке проблемы национального характера на сегодняшний день добилась "теория научения" (Learning theory) - одно из направлений современной американской социальной психологии - обладающая положительными чертами с точки зрения марксистской методологии. Опираясь в своих основных положениях на установленный И. П. Павловым принцип обусловливания и выдвинутый К. Марксом социальный детерминизм, теория научения подключает к ним данные современной культурной антропологии (М. Мид, Г. Бейтсон, Р. Бенедикт). Развитие принципов теории научения логически привело к понятию приобретенной в процессе социализации установки. Научение выполняет в процессе формирования личности доминирующую роль. Поэтому для изучения национального характера Г. Бейтсон предлагает "исследовать личность в условиях "контекста научения", характерного для данной национальной среды" [13]. Согласно теории научения, национальный характер в личности складывается именно благодаря усвоению специфических норм поведения (установок, характерных для общественно-культурной системы своей страны). В личности вырабатывается предрасположение к реакции на определенные культурные стимулы. "Культура, - пишет Дж. Гиллин, - обеспечивает ряд, ставший стереотипом стимулирующих ситуаций, для этих стимулов культура стремится добиться специфических ответов... и эти ответы затем укореняются в личности как "привычки" под постоянным воздействием различных форм поощрения и наказания" [15, 987]. В процессе влияния национальной среды, осуществляющегося через общение с родителями, сверстниками и по другим каналам воспитания и образования, формирующаяся личность научается своеобразной манере поведения и реагирования, приобретая одновременно определенную национально обусловленную установку. Предрасположение к национальному характеру, выработанное под. воздействием различных методов "поощрения и наказания" со стороны воспитателей, позднее закрепляется личностью последовательным подражанием, идентификацией и изучением образцов национальной культуры, бессознательно используемых в дальнейшем в индивидуальном опыте.

Однако не культура в целом находит отражение в национальном характере личности, а ее "отборная версия": "Основные образцы культуры как бы отражаются во внутренней структуре каждой индивидуальной личности; словно индивид является в каком-то смысле микрокосмом, а культура, к которой он принадлежит, макрокосмом. Каждая личность, подобно лейбницевской монаде "преломляет" национальную культуру соответственно своей точке зрения..." [16, 924]. Усвоение с раннего детства конвенциональных норм своей страны приводит к проникновению различных проявлений и традиций национальной культуры с периферии внешнего поведения-подражания во внутреннюю сущность личности, превращаясь во вторую натуру.

Попытаемся применить принципы изучения национального характера, используемые социальной психологией и культурной антропологией, к анализу психологии творческой личности композитора. Задача состоит в том, чтобы с помощью этих методов обнаружить в музыкальном мышлении композитора, как некую объективную психологическую закономерность, зависимость от национального характера.

Формирование национального мировосприятия в личности композитора происходит одновременно с развитием навыков музыкального мышления. В процессе становления личности композитора решающими нередко становятся первые музыкальные впечатления от окружающей среды, начиная от элементарных фольклорных образцов до ценностей национальной профессиональной музыки. Художественный интеллект композитора развивается путем усвоения определенных правил и традиций музыкальной композиции, сохраняющих культурный стиль той нации, к которой принадлежит композитор. Вырабатываемые композитором на основании самостоятельного творческого опыта принципы и нормы носят отпечаток конкретного национального музыкального воспитания, так же как и в целом характер и мышление его личности подвержены глубокому, как правило, воздействию особого национального видения мира.

Проблема национального в психологии музыкального творчества исследуется нами на примере одного из крупнейших композиторов нашего столетия Игоря Федоровича Стравинского. Выбор Стравинского для изучения проблемы мотивирован рядом причин.

Во-первых, Стравинский мыслил в духе самых новых тенденций, свойственных музыкальному творчеству XX столетия. Он отразил в своей музыке наиболее характерные сдвиги, произошедшие в области музыкального языка в XX веке, и даже шире, - духовную атмосферу своего времени с его эстетическими и социальными запросами.

Во-вторых, влияние творчества Стравинского сразу же вышло за рамки русской национальной культуры и приобрело мировой характер. При этом, важно отметить, что сама художественно-эстетическая проблематика и собственно музыкальные традиции, лежащие в основе его творчества, так же являются не узко национальными, а общеевропейскими. В-третьих, Стравинский отразил национальное начало в своем творчестве не в результате осознанной, целенаправленной психологической установки, а как исходное свойство своей художественной индивидуальности, как неотъемлемую черту своего музыкального стиля.

Будучи типично русским по психологическому складу, образу мышления и темпераменту, Стравинский с детских лет сформировался под воздействием русского окружения и на основе русской профессиональной музыкальной культуры. Продолжив по-своему в раннем творчестве традиции русской музыки, он воспринял и реализовал национальные темы и образы в совершенно новой и оригинальной манере. "Петрушка", "Весна священная", "Свадебка" и целый ряд крупнейших достижений Стравинского связаны именно с его ранним "русским периодом" творчества, ознаменовавшего собой рождение новой эры в русской музыке.

Однако расставшись навсегда с родиной еще в молодые годы и сознавая, что европейскую публику "русская экзотика" не может долго привлекать, Стравинский ценой больших внутренних усилий пытался "перестроиться", вытеснить из своей жизни и творчества русское начало. И все же, образные стимулы для творчества композитор искал не в культурах той или иной инонациональной среды, а скорее в широте заложенных в нем духовных потенций, сформировавшихся еще в условиях национальной среды и носящих печать специфичного воспитания. В пятой книге диалогов с Робертом Крафтом "Темы и эпизоды" Стравинский отмечал, что он как композитор испытал два кризиса: "Первый из них - потеря России и ее языка, словесного и музыкального - воздействовал на все обстоятельства не только моей творческой, но и моей личной жизни, что очень затрудняло возвращение к нормальному состоянию. Лишь после десятилетних поисков, экспериментов, смешений я, наконец, нашел путь к "Царю Эдипу" и "Симфонии псалмов" [6, 64].

Пытаясь воссоздать "модель" подсознательного отражения национального в творчестве Стравинского на примере "Симфонии псалмов", мы руководствовались следующими моментами. "Симфония псалмов" образует в творчестве Стравинского сферу максимального удаления от условий, способствующих отражению национального. Сама проблема исследуется в гораздо более трудных психологических условиях, открывая перед нами

перспективу изучения сложнейших столкновений и взаимодействий сознательного и бессознательного на уровне глубинной психологии творческой личности композитора. "Симфония псалмов", одно из центральных произведений "неоклассического периода" Стравинского, подверглась в той или иной степени инонациональному воздействию, ибо она явилась откликом на те заказы, которые ставила перед композитором социальная действительность. Но, тем не менее, национальное сказалось и в музыке этого сочинения, помимо сознательной воли автора как объективная закономерность психологии музыкального творчества.

Внешним динамическим стимулом для создания "Симфонии псалмов" послужил заказ издателя "написать что-нибудь популярное". По признанию Стравинского, полученный заказ актуализировал все уже предворительно выработанные в том же направлении принципы оформления и заказ сразу же получил вполне конкретную форму [7, 230-231]. Стравинский сознательно ограничил свою творческую свободу, уже в замысле ориентируясь на наиболее популярные структурно-стилистические модели западноевропейской музыки. Решение обратиться к библейским псалмам и к латинскому языку также вытекало из универсализма замысла этого сочинения, обусловленного стремлением передать "вечное", незыблемое, свойственное не одному какому-нибудь национальному искусству, а общему для культуры европейских народов в различные эпохи. В "Симфонии псалмов" Стравинский ищет наиболее древние пласты и, стихийно проникая в глубь веков, тяготея к самому "исконному" раннехристианскому, вскрывает общие музыкальные корни православной и католической церковных традиций.

Между тем помимо сознательной ориентации на определенные музыкальные стили, диктуемые ситуационными запросами, у Стравинского подспудно созревала определенная установка в системе единой сферы сознания и бессознательного психического. Прежде чем объяснить действие установки в самой музыке "Симфонии псалмов", попытаемся осветить некоторые обстоятельства из жизни Стравинского.

В 1926 году в возрасте 44 лет Стравинский решил обратиться к русской православной вере, к которой прежде не проявлял никакого интереса. Если сопоставить два факта: с одной стороны душевный кризис, испытываемый композитором, по его словам, из-за потери России, а с другой стороны - "возникнувшее на основе чтения духовной литературы предрасположение к религии" и дальнейшее обращение к ней, можно допустить мысль о взаимосвязи этих двух явлений. Тоска по родине могла привести Стравинского, типичного представителя русской предреволюционной художественной интеллигенции, горячо любящего свою страну, но покинувшего ее, к вере. Немаловажным безусловно было и то, что православная русская церковь в Париже, которую посещал Стравинский, представляла собой некий "русский микромир", место, где собирались его русские друзья, раздавались звуки родной речи и знакомые с детства образцы русского церковного пения.

Итак, постоянно усиливающаяся тоска по родине, связанная с потребностью во всем русском, ставшем для Стравинского неотъемлемой частью его психики, оставалась у него в подсознании вплоть до появления определенного "образа" ситуации.

Сублимация тоски по родине в религиозное чувство, так же как и стихийное проявление сознательно вытесненных русских элементов в музыкальном творчестве, не осознавалось Стравинским. В процессе реализации образного замысла "Симфонии псалмов" в мышлении Стравинского всплывают из тайников его памяти когда-то воспринятые им и глубоко осевшие в памяти музыкальные впечатления и представления. Впоследствии сам Стравинский признавался, что в нем постоянно жили ранние детские воспоминания от церковной музыки Киева и Полтавы [18, 59]. Касаясь "Симфонии псалмов", крупнейший английский композитор XX века Ралф Воан Уильяме писал: "...человеческий голос связан с самыми ранними из наших ассоциаций и неизбежно возвращает наши мысли к своей действительной сущности... И, я полагаю, это в особенности относится к хоровой музыке, где ограничения наиболее суровы и человеческий элемент является наиболее сильным. Когда Стравинский пишет для хора, его память конечно возвращается к лому, к его родной России с ее хороводными напевами и танцами, великой литургией ее церкви" [19, 58]. Ярким подтверждением этой мыс m является кода финала "Симфонии псалмов", которая ассоциируется со старинными православными церковными напевами, обработанными в своих произведениях русскими композиторами, в частности "Свети тихий" и "Шестопсалмием" из "Всенощной" Рахманинова, хором "Восход солнца" Танеева и др.

Несмотря на очевидную проявляющуюся здесь тематическую близость, не приходится в данном случае говорить о прямом заимствовании, а скорее - о репродуктивном, подсознательном нахождении музыкального образа [11], ибо в самой структуре коды Стравинский: сознательно ориентируется на средневековые западноевропейские церковные традиции. Таким же парадоксом в процессе анализа партитуры музыки "Симфонии псалмов" выступает инструментальная тема фуги, по своему образу напоминающая баховскую тему, однако, построенная по методу "динамичной статики" - типичного для индивидуального стиля Стравинского логического принципа развития, выработанного им еще в раннем творчестве на основе русского фольклора. Можно указать еще и на целый ряд других проявлений ладовых и интонационных, ритмических и структурных

элементов "Симфонии псалмов" и их связи с русскими музыкальными традициями как народного, так и профессионального толка (Мусоргский, Римский-Корсаков), проявляющихся главным образом на уровне логики соединения мелких музыкально-семантических структур. Стравинский впоследствии признавал "вероятность" влияния этих музыкальных образцов, по подчеркивал, что "не думал о них", т. е. сам, по-существу, указывал на подсознательно-репродуктивный характер этого явления [5, 193].

Резюмируем вышесказанное в свете психологии музыкального творчества. Прежде всего встает проблема соотношения в "Симфонии псалмов" двух важнейших категорий психологии музыкального творчества - свободы и связанности [17]. "Симфония псалмов" является наглядным примером высказанной в связи с этим глубокой мысли Стравинского: "Моя свобода будет тем больше и глубже, чем теснее я ограничу мое поле действия и чем большими препятствиями я себя окружу. То, что лишает меня неудобства, лишает меня и силы. Чем больше налагаешь на себя ограничений, тем больше освобождаешься от цепей, сковывающих дух" [6, 41]. На различных стадиях творческого процесса соотношение этих категорий было различным. В процессе возникновения музыкального замысла "Симфонии псалмов", с сознательной ориентацией Стравинского на определенный жанр, форму и структуру [1; 2], так же как и при окончательном структурном оформлении произведения, осуществлявшихся в результате сознательных логических операций, Стравинский безусловно мог контролировать и ограничивать свою творческую свободу.

Однако в процессе возникновения музыкальной идеи (Einfall), или соединения мелких структурных элементов, ведущая роль отводится интуитивным, бессознательным процессам, которые не могут быть контролируемы сознанием композитора до их окончательного конкретного оформления. Эти процессы осуществляются под знаком наибольшей творческой свободы, на "низших" уровнях музыкального мышления в системе бессознательного психического. Особая функция на этой стадии творческого процесса отводится "критическому сознанию ценности" (Wertbewusstsein) [11], выработанному Стравинским.

Критическое сознание ценности проявляется преимущественно в двух формах - в формах художественного интеллекта и художественной интуиции. Художественный интеллект развивается в процессе формирования художественного облика композитора путем усвоения определенных правил и традиций музыкальной композиции, специфически окрашенных с позиций культуры той нации, к которой принадлежит сам композитор. Вырабатываемые им в дальнейшем на основании самостоятельного творческого опыта принципы и нормы носят отпечаток конкретного национального музыкального воспитания так же, как и в целом мировоззрение композитора подвержено глубокому воздействию особого национального видения мира.

Второй действенной формой критического сознания ценности композитора является художественная интуиция. В процессе поиска музыкальных средств выразительности этот феномен выступает как контролирующее ощущение, соответствия или несоответствия, удовлетворенности или неудовлетворенности, адекватности или неадекватности найденной конкретно-музыкальной идеи мысленно представляемому композитором художественному образу. Принципы и масштабы оценки идеи часто не могут быть указаны композитором, ибо они носят эмоциональный характер и, в отличие от художественного интеллекта, им не осознаются.

Феномен подсознательного проявления национального, исследованный нами в наиболее сложных психологических условиях на примере "Симфонии псалмов", обнаруживает себя во всех зарубежных творениях Стравинского. вплоть до "Requiem canticles" - последнего крупного сочинения композитора.

Вместе с тем, подсознательное проявление национального в музыкальном творчестве Стравинского, выявляемое на методологической основе системного подхода новейшей советской теории сознания и бессознательного психического и современных американских исследований национального характера в области социальной психологии и культурной антропологии, могли бы послужить моделью при изучении скрытых отражений национального в музыкальном творчестве и многих других крупнейших композиторов XX столетия (Шёнберг, Берг, Веберн, Даллапиккола, Булез, Ноно, Штокгаузен и другие).

Связь с национальной культурой в творчестве композитора бывает как сознательной, так и подсознательной,, но в обоих случаях она является объективной и неотъемлемой закономерностью психологии музыкального творчества.

Охватывая целый комплекс социальных и психологических вопросов, проблема национального в музыкальном творчестве вызывает необходимость дальнейшего углубленного исследования в условиях совместных усилий представителей различных наук.

133. Современная музыкальная система как самоотражение организации бессознательного. Г. В. Воронин

Институт неврологии АМН СССР, Москва

"Почему мы творим музыку? Нет сомнений, что в иные минуты душевного волнения почти все люди испытывают потребность выразить его в особых звуках. Поистине, если взглянуть поглубже, можно сказать вместе с Карлейлем, что музыка вездесуща. Но почему? Ни я и никто другой не сумеет ответить на это" (Р. В. Уильямс, [20]). Поискам ответов на поставленные выше два вопроса и посвящена настоящая работа.

* * *

История становления музыки выявляет четыре функции бессознательного: 1) наличие неосознаваемого внутреннего "эталона" (функция хранения эталона - установки); 2) построение его динамических внешних моделей (функция активного вынесения, проецирования вовне); 3) сравнение моделей с "эталоном"; 4) отбор моделей, соответствующих "эталону". Многократное повторение цикла "вынесение - сравнение - отбор" приводит ко все более полному и точному приближению модели к неосознаваемому "эталону", к его активному самоотражению и отражению через осознание. Каждый из трех компонентов цикла в той или иной степени подвержен контролю сознания, однако "эталон" и общий принцип организации, направляющий весь процесс отбора (почему "выпевается" мелодия; почему "ухо признает хорошими" некоторые сочетания звуков и голосов, а другие - нет и т. п.), остаются неосознаваемыми.

Основные цели данной работы: а) выявление организации внутренней "музыкальной установки" человека; б) доказательство соответствия организации современной музыкальной системы выявленной структуре установки.

1. О "биологичности" музыкальной системы

Музыкальная система - ряд музыкальных звуков (*Музыкальный звук, называемый также тоном, в отличие от шумового, имеет четко выраженную частоту (высоту) -* v_i), частоты которых связаны строго определенными отношениями. Имеет ли общепринятая в настоящее время музыкальная система (*Современная музыкальная система построена следующим образом. Каждая октава, т. е. интервал частот, верхняя граница которого относится к нижней как 2:1, содержит 12 звуков (ступеней). Интервалы между соседними тонами выравнены (темперированы), и каждый из них составляет полутон (равномерная темперация). В основе построения этой 12-звуковой равномерно темперированной системы лежит диатоническая система из 7 "чистых интервалов" (см. ниже). Как будет показано далее, в становлении музыкальной системы принципиальную роль играют не только интервальный состав, но и конкретные значения частот тонов, т. е. музыкальный строй*) искусственный характер или ее строение как-то вытекает из биологии человека (тесно связано с ней)?

"Биологичность" музыки в широком смысле как определенным образом организованной (по высоте, длительности и ритму) совокупности звуков доказывается многочисленными фактами. К ним, например, относятся: многократно наблюдавшийся феномен постепенного перехода взволнованной речи человека в пение [20]; музыкальные последовательности звуков ("рулады"), которые производит младенец, еще не владеющий речью; подмеченные еще Дарвиным "музыкальные" голосовые упражнения различных животных в пору их наибольшего возбуждения - в брачный период; хроматическая гамма, издаваемая при сильном волнении некоторыми видами обезьян [3]. О единой биологической основе музыки говорит также принципиальное сходство музыкальных систем различных народов, музыкальная культура которых развивалась относительно независимо (индусы, китайцы, арабы, греки). "У всех мы находим диатоническую гамму как несомненную основу, а "четверти" тона индийцев или "трети" арабов при ближайшем рассмотрении оказываются не чуждыми нам" (Г. Риман [16]).

История музыки свидетельствует о постоянном и сложном многовековом поиске увеличения ее выразительных возможностей. В процессе этого поиска менялись абсолютная высота музыкальных звуков, число звуков в октаве, их интервальные (частотные) отношения, возникали и отмирали многочисленные ладовые системы, абсолютное одноголосие сменялось абсолютным многоголосием, а последнее - мелодией с сопровождением (чисто мелодическое начало древней музыки дополнялось и развивалось гармоническим началом, что привело к мелодико-гармонической целостности современной музыки) [16]. В истории становления современной музыки обращает на себя внимание одно принципиально важное для нашей темы обстоятельство: все указанные изменения были вызваны к жизни и были найдены не теорией, а музыкальной практикой, постоянным слуховым отбором. Теория лишь описывала и закрепляла найденное в процессе музыкальной практики, которая и привела в конечном итоге к созданию современной музыкальной системы [22]. Об инстинктивном слуховом отборе

музыкальных построений, отметавшем попытки церковных теоретиков канонизировать примитивную музыкальную систему, ярко пишет Г. Риман: "...новые гармонии понравились, и получилось прочное приобретение в отступлении от рутинных правил теории и в свободном допущении хроматически измененных звуков, которые ухо признавало за хорошие (разрядка наша - Г. В.) к ужасу теоретиков" [16]. По этому же поводу крупный отечественный музыкальный акустик Н. А. Гарбузов пишет: "...современная двенадцатизонная музыкальная система возникла не путем расчета, а длительного слухового отбора (разрядка наша - Г. В.) в процессе исторического развития музыкальной культуры..." [9].

Судя по тому, что эта система, окончательно сформировавшаяся в конце XVII-начале XVIII веков, до сих пор остается неизменной, а также по общепризнанному громадному эмоциональному воздействию музыки на человека, естественно предполагать, что в современной музыкальной системе многовековой слуховой отбор, направляемый мелодико-гармоническим инстинктом человечества, обеспечил высокую степень ее соответствия какой-то системе внутренних биологических (психифизиологических) процессов.

Такое предположение подтверждается, в частности, изучением системы диатонического строя. Он состоит из семи основных тонов (до, ре, ми, фа, соль, ля, си), образующих "ядро" современной двенадцатизвуковой музыкальной системы. Частоты этих тонов подчиняются следующим приближенным соотношениям (т. н. "чистым интервалам"), каждое из которых имеет в теории музыки свое наименование (см., например, [23]):

$$\frac{\nu_{ре}}{\nu_{до}} \cong \frac{9}{8} \text{ (секунда)} \qquad \frac{\nu_{ми}}{\nu_{до}} \cong \frac{5}{4} \text{ (терция)}$$

$$\frac{\nu_{фа}}{\nu_{до}} \cong \frac{4}{3} \text{ (кварта)} \qquad \frac{\nu_{соль}}{\nu_{до}} \cong \frac{3}{2} \text{ (квинта)}$$

$$\frac{\nu_{ля}}{\nu_{до}} \cong \frac{5}{3} \text{ (секста)} \qquad \frac{\nu_{си}}{\nu_{до}} \cong \frac{15}{8} \text{ (септима)}$$

$$\frac{\nu_{до}'}{\nu_{до}} \cong \frac{2}{1} \text{ (октава)}$$

где ν_i - частоты тонов, относящихся к одной октаве, кроме $\nu_{до}'$, соответствующей первому тону ближайшей сверху октавы.

Относительно роли перечисленных "чистых интервалов" в музыкальной системе важно подчеркнуть два момента: а) анализ устоявшихся примеров народной музыки свидетельствует, что там чаще других встречаются именно эти семь отношений частот; б) при создании теоретических основ современной равномерно-темперированной двенадцатизвуковой системы (А. Веркмейстер, ок. 1700 г.) значения семи "чистых интервалов" послужили опорными точками для подгонки под них теоретической музыкальной шкалы [23].

Свойство естественности (мелодичности, гармоничности) звучания последовательно или одновременно берущихся тонов, частоты которых подчиняются приведенным соотношениям, обычно пытаются объяснять чисто физически (акустически). Возникает нелепое положение: хотя очевидно, что "мелодичность" и "гармоничность" - это не физические характеристики звука (системы звуков), а характеристики внутренних состояний, порождаемых этими звуками в воспринимающем субъекте ("переносимые" затем на сами звуки), соответствующие биологические (психофизиологические) свойства субъекта не только не подвергаются анализу, но обычно даже не упоминаются. Однако достаточно сравнить указанные базовые отношения музыкальных тонов с обычно наблюдаемыми частотами биопотенциалов мозга (ЭЭГ), мышц (ЭМГ) или мышечного (суставного) дрожания (тремора), чтобы обнаружить поразительное совпадение. Среди чисел, образующих эти отношения, нет ни одного, которое не равнялось бы значению одной из хорошо выраженных (относительно устойчивых) частот ЭЭГ, ЭМГ или тремора (см. частоты на рис. 2, а также по [1], [10], [12]). Это означает, что все перечисленные отношения "музыкальных" частот (чистые интервалы) могут быть получены как отношения различных устойчивых биологических частот. Можно думать поэтому, что свойства мелодичности и гармоничности звучания сочетаний

музыкальных тонов объясняются определенным соответствием организаций музыкальной системы и нормальных биологических процессов.

Все изложенное в этом разделе наводит на мысль, что музыка как-то изначально заложена, скрыта внутри нас, но этого мы не осознаем. При определенных условиях "внутренняя музыка" так же неосознаваемо выносится вовне, проявляясь в высоте и различных модуляциях голоса. Под "внутренней музыкой" здесь понимается определенная организация колебательных биологических (психофизиологических) процессов. Какова же эта организация?

2. О единой циклической системе организации биологических процессов в организме человека

Анализ временной или частотной структуры самых различных биологических и психофизиологических процессов в организме человека (восприятие цвета, электрическая активность мозга и мышц, механическая активность двигательной системы, фазы пренатального и постнатального онтогенеза и др.) приводит к выводу, что все указанные процессы подчиняются единой схеме организации - циклической системе биологических процессов, или ЦСБП [6]. Кратко ее можно охарактеризовать следующим образом:

а) Если упорядочить различные процессы жизнедеятельности организма в соответствии с ростом их собственных времен (периодов колебаний, длительностей) (*Далее все формулировки, расчеты и иллюстрации даются для единообразия во временной форме. Очевидно, что все они имеют эквивалентные частотные формы. Поскольку все же привычнее говорить о частотах (а не периодах) ЭЭГ, тремора и музыкальных тонов, на иллюстрациях все временные параметры выражены через частоты (например: вместо τ=0,1 сек. указывается τ= 1/ν=1/10 гц и т. п.). Используемые обозначения: τ - период повторения; ν - частота; λ - длина волны; С - скорость света; N - номер цикла. Единицы: гц=1колебание/сек; ММК=миллимикрон=10^{-9}метра*), то свойства этих процессов, относящихся как к различным уровням организации биосистемы, так и к последовательным фазам развития целого организма, периодически (циклически) повторяются.

б) ЦСБП образует непрерывную последовательность таких циклов, причем значения времен начала и конца каждого цикла относятся как 1:2 (т. е. каждый последующий цикл шире предыдущего в 2 раза), а точка конца предыдущего цикла является и точкой начала последующего.

в) Каждый из циклов ЦСБП организован аналогично и содержит 4 последовательно от начала к концу цикла расположенных участка (зоны): 1-зону экстравертности, 2 - нейтральную зону (зону устойчивости, баланса экстра- и интра-), 3 - зону интравертности и 4 - зону особой неустойчивости (метаморфоза).

г) Для цикла ЦСБП, в котором лежат периоды повторения колебаний, соответствующие частотам видимого (оптического) спектра, границы самого цикла и его зон имеют следующие значения (*Значения $\tau_{ф,о}$ и $\tau_{кр,о}$ вычислены на основе ряда теоретических соображений, а $\tau^1_{3,0}\tau''_{3,0}$ - это границы зеленого участка цветового спектра. Соответствующие значения каждого поел едуклцего цикла больше значений предыдущего в 2 раза*):

Этот цикл принят за начальный, или нулевой цикл ("0-цикл") ЦСБП.

д) От 0-цикла в сторону увеличения времени идет нумерация циклов: N=0, 1, 2... Промежуток времени от начала 0-цикла ($\tau_{ф,о}$= 1,296•10^{-15}сек) до значения упоминаемой в литературе максимальной продолжительности жизни человека 185 лет [13] перекрывается 82-мя циклами.

Для удобства анализа различных процессов и наглядности представим описанную ЦСБП в виде прямоугольной координатной сетки (τ-матрицы). В этой матрице - см. рис. 1 - каждому циклу соответствует строчка одинаковой длины, но разного временного масштаба (масштаб каждой последующей в два раза меньше предыдущей). Начала и концы разных циклов и их соответствующих зон лежат на одной вертикали, образуя единую матричную систему координат ($\tau_ф$, $\tau'_з$, $\tau''_з$, $\tau_{кр}$ и $\tau^*_ф$), которая делит матрицу на 4 матричных зоны. В одной матричной зоне, но в разных циклах лежат временные параметры родственных процессов. Чтобы найти положение известного временного параметра τ_i в τ-матрице, находим соответствующий цикл N, для которого: $\tau_{фN}<\tau_i<\tau^*_{ф,N}$; затем вычисляем его внутрицикловую координату $k_i=\tau_i/\tau_{ф,N}$ и откладываем ее в выбранном масштабе. Если параметры процессов заданы в частотной форме ν_i, то сначала вычисляем соответствующие $\tau_i=1/\nu_i$, а затем определяем их положения в матрице.

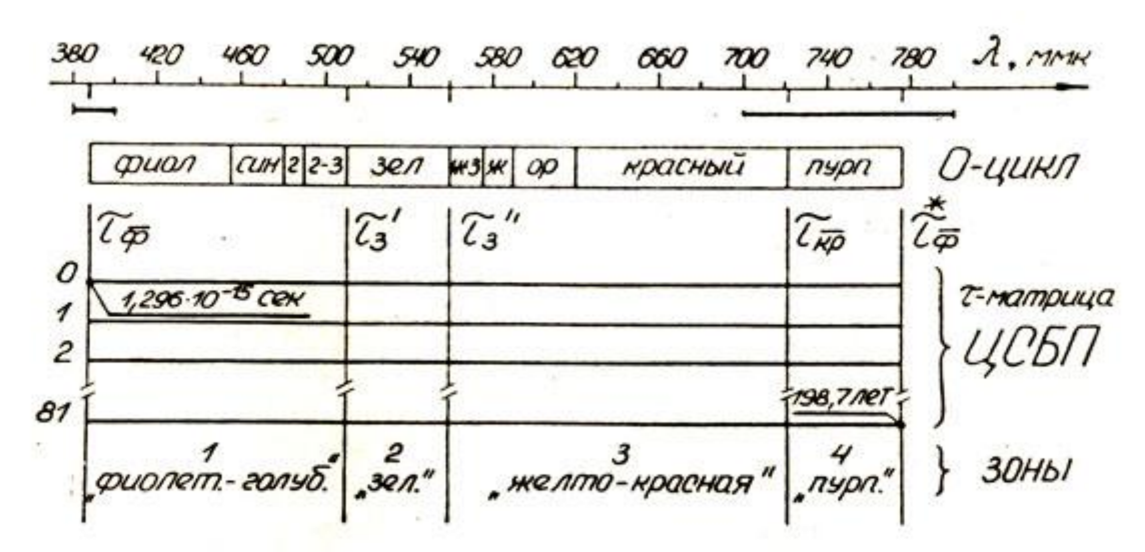


Рис. 1. Представление циклической системы биологических процессов (ЦСБП) в виде временной координатной сетки (τ-матрицы), содержащей 82 цикла. Цветовая структура нуль-цикла и четыре основных зоны τ-матрицы

В согласии с положением истинных цветовых участков в 0-цикле введем "цветовую" маркировку соответствующих участков и зон всех циклов: $\tau_ф \div \tau'_3$~фиолетово-голубая зона; $\tau'_3 \div \tau_3$~зеленая зона; $\tau''_3 \div \tau_{кр}$~желто-красная зона; $\tau_{кр} \div \tau^*_Ф$~пурпурная зона (условно).

На рис. 1 в координатах длин волн (А,) видимого диапазона (верхняя часть рисунка) показаны: разброс фиолетовой (380÷400 ммк) и красной (700÷800 ммк) границ видимого диапазона по данным разных авторов - жирные отрезки под шкалой λ; границы и цветовые участки 0-цикла; 5 базовых матричных координат, временные границы и структура τ-матрицы; 4 главных зоны ЦСБП и их "цветовая" маркировка.

Для выявления биологического смысла зон ЦСБП здесь кратко рассмотрим положение в τ-матрице только некоторых временных параметров, характеризующих цветовое восприятие, биопотенциалы мозга (ЭЭГ) и физиологический суставной тремор (см. рис. 2). На этом рисунке показаны: а) положения максимумов поглощения излучений в сетчатке человека [4], [14] (значения указаны в ммк/с, где с=299792 км/сек - скорость света); б) положения максимумов спектра интенсивности нормальной ЭЭГ, усредненной за 12 сек (оценки частот максимумов даны по спектрограмме [26]); в) положения длительностей "волн" нормальной ЭЭГ при анализе последней по Фору [12]; г) положения максимумов усредненного спектра интенсивности нормальной ЭЭГ при бодрствовании (среднее по 9 испытуемым: 9,8 гц; индивидуальный разброс 8,8÷10,6 гц - его границы показаны жирным отрезком) и различных стадиях сна (среднее по 9 испытуемым с высоким а-индексом: 13,4 гц; среднее по 4 испытуемым с низким α-индексом: 14,2 гц; индивидуальный разброс 12,4÷14,4 гц - его границы показаны жирным отрезком); в спектре ЭЭГ и при сне, и при бодрствовании всегда присутствовал самый выраженный "неспецифический" максимум со средним значением 1 гц [25]; д) положения максимумов спектра интенсивности нормального суставного тремора [1]; е) положение максимума усредненного амплитудно-частотного спектра ЭЭГ при патологических тревожных состояниях [24].

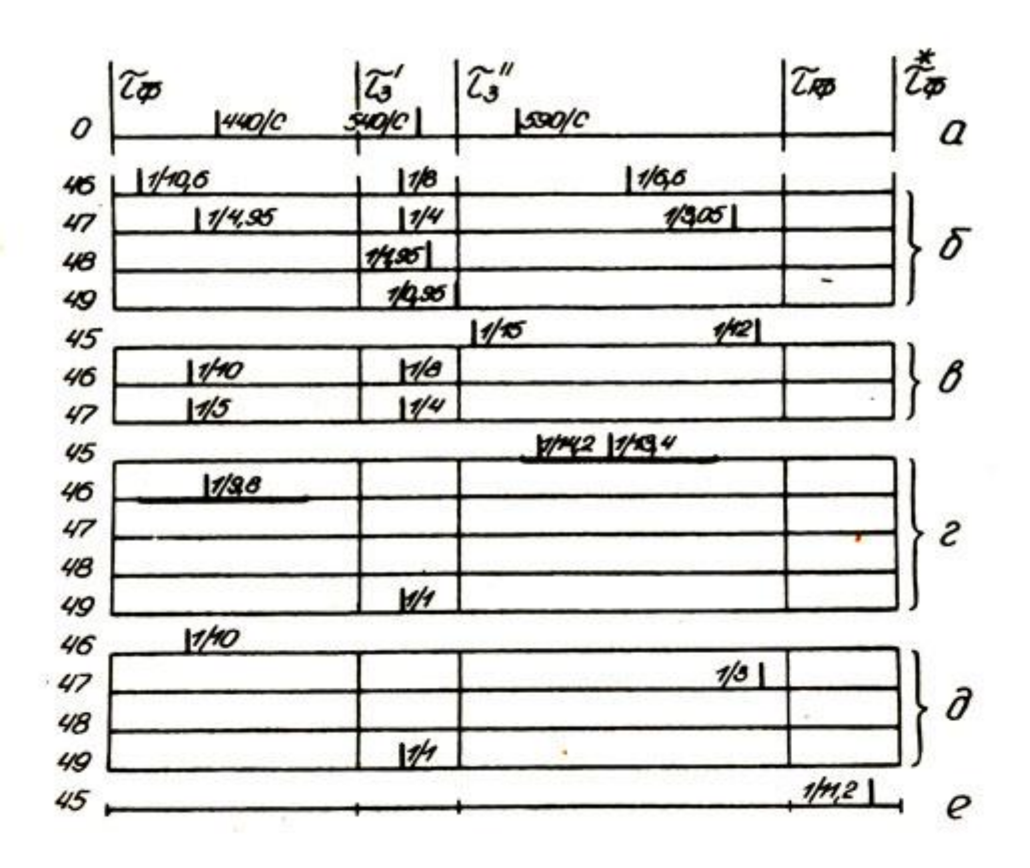


Рис. 2. Положения в т-матрице характеристических временных параметров различных биологических процессов

Изучение этих и других данных приводит к выводам: основные временные (частотные) компоненты различных нормальных биологических процессов группируются в 3-х зонах - фиолетово-голубой (ФГ), зеленой (3) и желто-красной (ЖК); пурпурная (П) зона таких компонентов не содержит; в П-зону попадают максимумы активности при различных патологических состояниях (например, частоты ЭЭГ при тревожных состояниях, частоты "пачек" ЭМГ при дистонии), а на уровне оптического диапазона П-зоне соответствует область неустойчивого цветовосприятия (см. разброс красной границы по данным разных авторов); напротив, в З-зоне лежат параметры процессов, наиболее устойчивых во времени и часто наиболее интенсивных, а также неспецифических по отношению к состояниям сна и бодрствования; в ФГ-зоне лежат параметры максимумов ЭЭГ-активности, характерные для бодрствования, а в ЖК-зоне - для сна; на уровне оптического спектра цвета ЖК-зоны дополнительны цветам ФГ-зоны (см., например, [21]). Таким образом, по функциональным свойствам доминирующих процессов 4 зоны ЦСБП попарно противоположны: "З" - зона устойчивости, "П" - зона неустойчивости, "ФГ" - зона экстравертности, "ЖК" - зона интравертности (см. также [7]).

Как же соотносится с ЦСБП музыкальная система?

3. Музыкальная система - отражение структуры ЦСБП

А. Октава - основа цикличности музыкальной системы и музыкального восприятия

Как легко видеть, организация музыкальной системы цикличнл. Ее циклом является интервал, равный октаве, т. е. отношение частот музыкальных тонов $\nu_{верх}/\nu_{ниж}=2$. Весь музыкальный диапазон содержит примерно семь таких циклов. Иными словами, в основе цикличности музыкальной системы лежит то же соотношение, которое из чисто биологических - экспериментальных - соображений было положено в основу ЦСБП.

В теории музыки различные интервалы характеризуются с точки зрения качества слитности звучания музыкальных тонов, разделенных этими интервалами. В этом смысле октава - единственный интервал, характеризуемый как "весьма совершенный консонанс" (см., например, [18]). Г. Риман писал: "...октава сливается совершенно особенным образом, и удовлетворительного объяснения этому никому еще не удалось отыскать" [15]. И еще одно свойство октавы обращает на себя внимание - ее своеобразная инвариантность. В процессе становления музыкальной системы многочисленные изменения претерпели все "музыкальные компоненты":

абсолютная высота тонов, соотношения между ними, число ступеней гаммы, ладовые системы и т. п. У разных народов использовалось и используется разное число ступеней гаммы (5, 7, 12, 17, 22), но все это - в пределах октавы, остающейся незыблемым основным музыкальным интервалом [16].

Особая роль октавы понятна в свете ЦСБП. Октава - самый естественный и фундаментальный изо всех биологических интервалов, который и был поэтому в первую очередь выделен музыкальным инстинктом человека как основа (инвариант) всех музыкальных построений. Наивысшая изо всех интервалов слитность октавы - результат близкой биологической родственности состояний, характеризуемых частотами, разнесенными на октаву (ровно на цикл). Возможность октавного переноса мелодий без их искажений говорит о том же.

Б. Положение в матрице диатонического строя

Итак, циклы музыкальной системы равны циклам матрицы. Возникают вопросы: а) как музыкальные циклы расположены относительно матричных? б) имеется ли соответствие внутренних структур музыкальных циклов (отражаемое взаимным положением тонов) и циклов матрицы (отражаемое положением их зон)? Для ответа на них рассмотрим, как ложится в τ-матрицу диатонический строй.

Как уже упоминалось, диатонический строй образует основу, на которой построена вся музыкальная система. Он состоит из семи звуков, частоты которых для первой октавы равны соответственно: до (262 гц), ре (294 гц), ми (330 гц), фа (349 гц), соль (392 гц), ля (440 гц), си (494 гц) [23]. Поскольку частоты одноименных звуков других октав получаются путем последовательного деления (умножения) на 2, этим звукам в матрице будут соответствовать "музыкальные вертикали" (вертикаль "до", вертикаль "ре" и т. д.). Положение в τ-матрице семи музыкальных вертикалей диатонического строя показано в нижней части рис. 3.

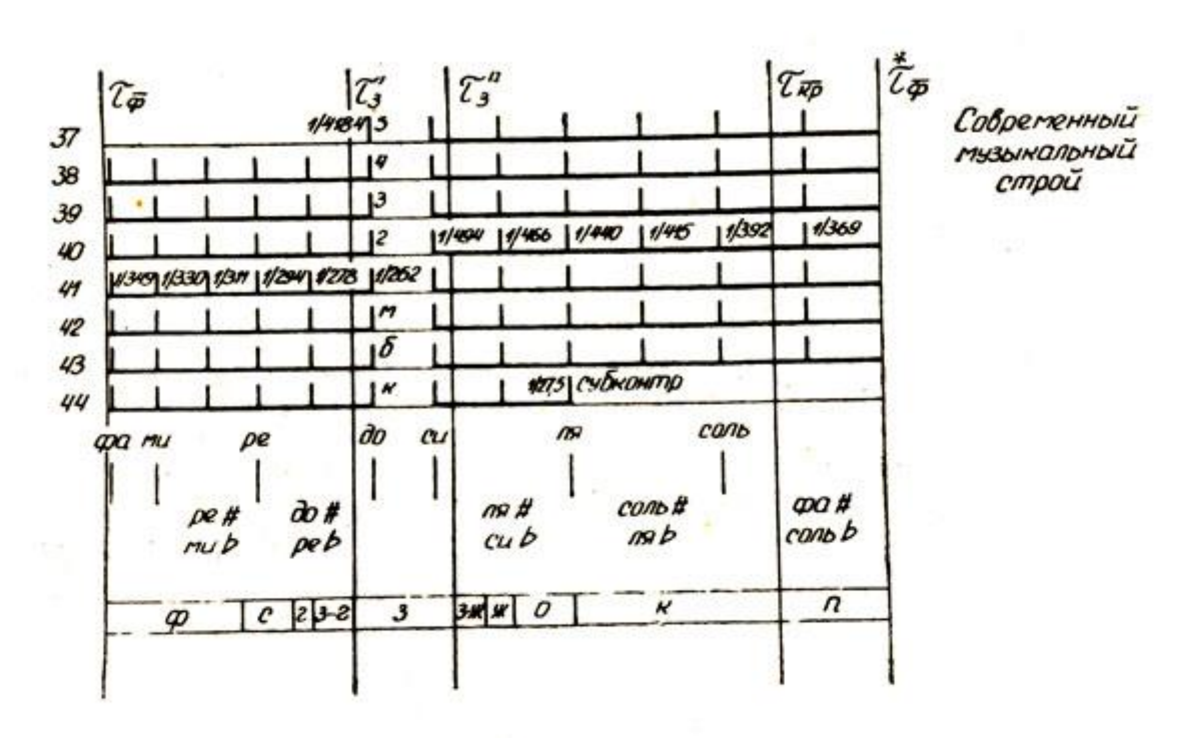


Рис. 3 Положение в τ-матрице диатонического строя и современного 12-звукового музыкального строя

Видно, что современный "натуральный" музыкальный цикл, начинающийся и кончающийся на "до", хорошо вписывается в матрицу: он замыкается в центральной зеленой зоне; первый (до) и последний (си) звуки гаммы также принадлежат зеленой зоне.

Современный музыкальный строй.

Диатонический строй имеет пять тоновых интервалов (до-ре, ре-ми, фа-соль, соль-ля, ля-си) и два полутоновых "сгущения" строя (до-си и ми-фа). Именно эта неравномерность, выявляющая внутреннюю структуру диатоники, и дает возможность сопоставить внутреннее строение матричных и музыкальных циклов. Оказалось, что из

основных зон матрицы не содержит звуков диатонического строя только пурпурная зона. Характерно положение двух полутоновых "сгущений". Первое (до-си) приводит к тому, что сразу две музыкальных вертикали попадают в узкую зеленую зону, а второе (ми-фа) - к тому, что ни одна из музыкальных вертикалей не попадает в пурпурную зону. Складывается впечатление, что звуки (частоты) диатонического строя "тяготеют" к зеленой зоне и "избегают" пурпурной. Напомним, что выше мы охарактеризовали зеленую зону ЦСБП как зону устойчивости, а пурпурную - как зону неустойчивости.

В этой связи важно отметить, что музыканты считают диатонику наиболее бодрым, жизнеутверждающим строем. Анализируя становление музыкальной системы в средние века, когда византийская церковь видоизменила древнюю систему греков, Г. Риман писал: "...исхищренности хроматизма и позднейшего энгармонизма остались в стороне, церковь нуждалась в сильных, здоровых напевах, какие ей мог дать только диатонизм" [16].

B. Положение в матрице элементов ладотональности До мажор

Среди множества ладотональностей имеется одна, принятая в настоящее время за своеобразное музыкальное "начало координат". Это ладотональность До мажор. Привычная для всех последовательность музыкальных звуков: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до - это гамма в До мажоре. И еще одна характерная черта делает эту ладотональность особенно интересной: музыканты считают ее наиболее бодрой, здоровой и устойчивой. В этом смысле она ощущается как своеобразная тоника среди тональностей.

Рассмотрим характер расположения элементов (звуков, основных аккордов) До мажора в τ-матрице (рис. 4). Простейшей мелодической тоникой До мажора является звук до, расположенный, как оказалось, в зеленой зоне (верхняя строка рисунка). Мелодико-гармонической тоникой До мажора является тоническое мажорное трезвучие до-ми-соль (см., например, [18]). Это трезвучие как целое хорошо вписывается в матрицу: до - зеленая зона, ми - фиолетовый участок, соль-красный (строка T на рис. 4). Три звука расположились примерно симметрично относительно зеленой зоны, так что зеленая тоника окружена красной доминантой и фиолетовой субдоминантой, которые лежат в крайних участках цветовой шкалы.

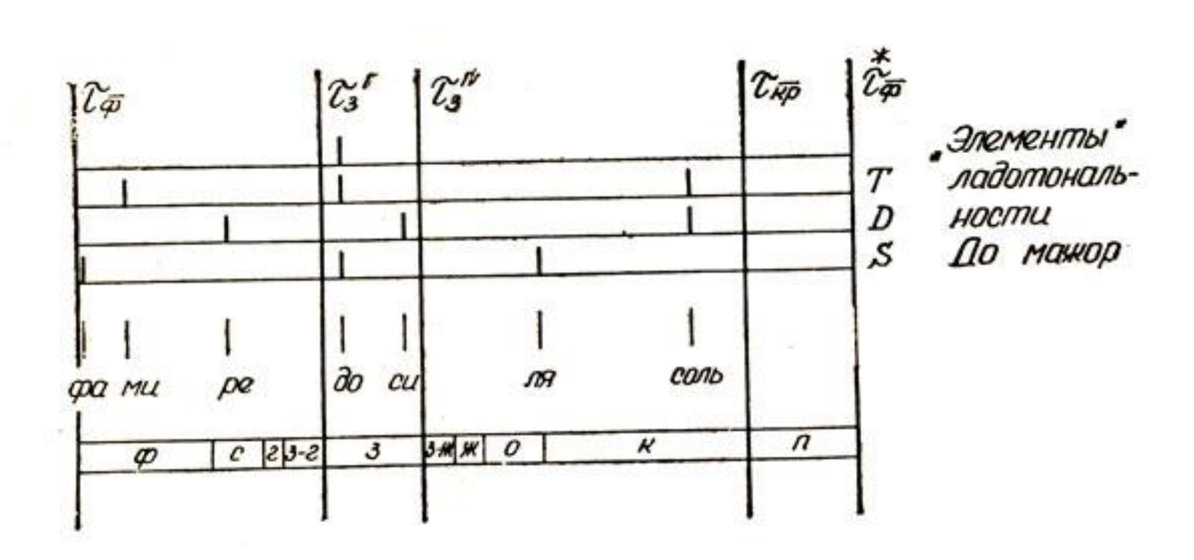


Рис. 4. Положения в т-матрице 'элементов' ладотональности До мажор

Система из тройки основных аккордов До мажора: тонического - T (до-ми-соль), доминантового - D (соль-си-ре) и субдоминантового - S (фа-ля-до) - ложится в матрицу следующим образом. Положение тонического аккорда уже рассмотрено. Звуки доминантового лежат в красном (соль), зеленом (си) и синем (ре) участках, а звуки субдоминантового - в фиолетовом (фа), оранжевом (ля) и зеленом (до). По характеру расположения звуков видно, что в целом тройка звуков доминантового аккорда имеет "красный сдвиг" относительно зеленой зоны матрицы (красный звук "соль" лежит от зеленой зоны дальше, чем синий звук "ре"), а тройка звуков субдоминантового - аналогичный "фиолетовый сдвиг" (фиолетовый звук "фа" лежит от зеленой зоны дальше, чем оранжевый звук "ля"). Тройка звуков тонического аккорда не имеет подобных сдвигов и лежит почти симметрично относительно зеленой зоны.

Итак, мелодическая шника До мажора лежит в зеленой зоне; тонический аккорд симметричен относительно зеленой зоны; система из тройки основных аккордов До мажора также симметрична (сбалансирована) относительно зеленой зоны, т. к. "красный сдвиг" доминантового аккорда компенсируется "фиолетовым сдвигом" субдоминантового. Заметим также, что гамма До мажора начинается и кончается в зеленой зоне. Таким образом, оказалось, что ладотональность До мажор в целом (как построенная на диатонике) и поэлементно на разных уровнях организации (звуки, аккорды, совокупность основных аккордов) очень естественно вписывается в матрицу, как бы "центрируясь" на всех уровнях своей музыкальной иерархии относительно ее зеленой зоны.

Характерные признаки "вписывания" До мажора: а) все без исключения элементы содержат зеленый звук, б) элементы системно "центрируются" относительно зеленой зоны; в) ни один из звуков не принадлежит пурпурной зоне. Нетрудно показать, что ни одна другая из 24 тональностей натурального мажора и минора не обладает совокупностью этих признаков положения в матрице.

В свете признаваемой особой музыкальной устойчивости - по сравнению со всеми другими - ладотональности До мажор указанная специфичность положения ее элементов в матрице может означать, лишь особую музыкальную устойчивость звуков, частоты которых принадлежат зеленой зоне, и, вероятно, неустойчивость звуков, принадлежащих пурпурной зоне.

Г. О музыкальном смысле четырех матричных зон

Положение в τ-матрице современного 12-звукового равномерно темперированного строя показано в верхней части рис. 3. Весь музыкальный диапазон от "ля" субконтроктавы до звука "до" пятой октавы ложится во фрагмент τ-матрицы с 37-го по 44-й цикл.

Как известно, смена тональностей одного лада (мажора, минора) представляет собой высотный (частотный) сдвиг всей системы звуков, организованной в соответствии с требованиями данного лада. Интервальный состав остается при этом неизменным. Мелодические, гармонические, функциональные отношения музыкальных компонентов также не меняются. Поэтому, казалось бы, все тональности одного лада должны быть тождественны по звучанию. Однако музыканты считают, что каждая тональность имеет свое специфическое звучание, свой тональный колорит, свою эмоциональную окраску (см., например, [18]). Этот факт остается необъясненным музыкальной наукой [23]. Что же меняется при изменении тональности? Только абсолютная высота (частота) звуков и расстановка высотных "акцентов", т. к. перераспределяются музыкальные связи между конкретными тонами. Существование различной эмоциональной окраски различных тональностей говорит о важности роли абсолютных высот (конкретных частот) звуков в эмоциональном восприятии музыки. В терминах матрицы изменение тональности означает изменение набора музыкальных вертикалей и перераспределение их музыкальных ролей (например, тонических, доминантных, субдоминантных). Одновременно это означает изменение состава матричных участков и зон. Поскольку зоны ЦСБП имеют различный биологический и психофизиологический смысл, различие эмоциональной окраски тональностей - естественное следствие из ЦСБП.

Каковы же проявления в музыке 4-х основных зон ЦСБП? Музыкальная устойчивость зеленой зоны, как было показано, проявилась в характере "вписывания" в матрицу диатонического строя и элементов До мажора. Возможная неустойчивость пурпурной зоны пока проявилась лишь "негативно": устойчивый диатонический строй не содержит элементов пурпурной зоны. Приведем и "позитивные" примеры. Особый интерес в этой связи представляет характер звучания музыкальных произведений, тоника которых лежит в пурпурной зоне, т. е. написанных в тональности фа-диез (соль-бемоль).

Возможно, не случайно, выражая в музыке свое переживание состояния страха, П. И. Чайковский написал знаменитый "Квинтет страха" и* оперы "Пиковая дама" именно в фа-диез миноре. Ощущение волнения и тревоги возникает при прослушивании первых же звуков Концерта № 1 для скрипки с оркестром Г. Венявского, симфонии №45 "Прощальной" И. Гайдна, написанных в фа-диез миноре. Напомним, что единственный максимум спектра ЭЭГ при патологических тревожных состояниях лежит в этой же пурпурной зоне, что и тон фа-диез.

В настоящее время мы еще не располагаем достаточным материалом о специфике музыкально-эмоционального проявления ФГ и ЖК зон. Можно думать, однако, что эти проявления в каком-то смысле противоположны, т. к. в До мажоре "красное смещение" доминанты, вероятно, компенсируется "фиолетовым смещением" субдоминанты.

Д. Три функции музыкальной гармонии и ЦСБП

В понимании музыкального смысла ФГ и ЖК зон можно еще продвинуться на основе развитого в теории музыки учения о функциональной роли аккордов, которое утверждает: "...мажорный или минорный аккорд всегда может быть определен в качестве тоники, нижней или верхней доминанты и... никакая гармония не может иметь иных функций кроме этих трех" (Г. Риман [17]). Такая "трехликость" музыкальной гармонии впервые была выявлена (точнее: проявила себя) эмпирически в народных многоголосных песнях и лишь через несколько веков после этого была осознана музыкальной теорией [16]. Гармонический инстинкт, находивший выражение в народных песнях, требовал такого построения многоголосной музыки, чтобы устойчивые (тонические) созвучия были "окружены" сверху (доминанта) и внизу (субдоминанта) родственными неустойчивыми созвучиями, "тяготеющими" к тоническим. Только в этом случае получалось удовлетворительное на слух впечатление гармонического расчленения голосов, течения многоголосной песни ("уходы" к верхней и нижней доминантам) и ее завершения (возвращение к тонике).

Фундаментальная "трехликость" функций музыкальной гармонии находит свое объяснение в структуре ЦСБП. Если опустить пурпурную зону, как граничную зону особо неустойчивых режимов активности, то останется тройка основных зон. В этой тройке центральная З-зона (зона особо устойчивых режимов активности) окружена сверху и снизу: сверху - более высокочастотной ФГ-зоной, а снизу - более низкочастотной ЖК-зоной. Используя музыкальную терминологию, можно охарактеризовать эти зоны так: зеленая - зона тонических режимов, ФГ - зона доминантной неустойчивости, ЖК - зона субдоминантной неустойчивости. ЦСБП выявляет соответствие трех функций музыкальной гармонии и трех зон (вероятно, и трех функций) в организации нормальных биологических процессов (см., например: цветовосприятие, ЭЭГ, тремор - рис. 2).

Выше были выявлены как формальные, так и содержательные признаки соответствия организаций ЦСБП и музыкальной системы. Формальные признаки: а) цикличность структур; б) равенство длины циклов; в) границы циклов ЦСБП делят группу из 12 тонов октавы пополам: по 6 тонов одной октавы в каждом из смежных циклов ЦСБП. Содержательные признаки: а) характер положения тонов устойчивого диатонического строя соответствует характеру зон ЦСБП: в зоне устойчивых режимов - наличие двух тонов, в примерно равной по ширине зоне неустойчивых режимов - отсутствие тонов; б) особая слитность звучания октавы; в) возможность октавного переноса мелодий без искажений; г) "центрирование" элементов самой устойчивой ладотональности До мажор относительно зоны устойчивых режимов ЦСБП; д) различие эмоциональной окраски тональностей; е) признаки особой неустойчивости ладотональности фа-диез минор, тоника которой лежит в зоне неустойчивости ЦСБП; ж) соответствие трех функций музыкальной гармонии и трех зон ЦСБП.

Перечисленные признаки соответствия приводят к выводу: музыкальная система является отражением общего характера организации биологических процессов в организме и, по-существу, представляет собой вынесенный вовне фрагмент ЦСБП (циклы 37-44) или его модель.

4. Некоторые следствия

А. Музыка и бессознательное

В психофизиологическом плане найденное био-музыкальное соответствие естественно "вписывается" в теорию неосознаваемых форм психической деятельности [2] и, в частности, в теорию установки [19]. Это соответствие является конкретной иллюстрацией двух уровней переживаний, по Д. Н. Узнадзе: уровня неосознаваемых установок (здесь - фрагмент ЦСБП) и уровня объективации (здесь - музыкальная система). Музыкальная система выступает как постепенно реализовавшаяся в процессе исторического развития музыкальной культуры сложнейшая динамическая установка - ЦСБП.

Специфика этой установки в том, что она имеет многоуровневый характер организации и идет "изнутри" живой системы, отражая - в конечном итоге - ее собственную активность, связанную с сущностью жизни как особой формы целостного динамического состояния материи [5], [8], [11]. На основе этой глобальной первичной "биологической установки", отражающей специфику живого состояния, формируются более специализированные вторичные психологические установки, направляющие активность звуковоспроизводящей и звуковоспринимающей систем. Они и реализуются в звуках, в оценке и отборе музыкальных построений.

История становления музыки, народная музыка дают множество примеров того, как неосознаваемые биологические, а затем психологические феномены (установка, оценка, отбор) проявляются в условиях ясного сознания и влияют на осознаваемое поведение человека.

Все изложенное выше приводит к выводу: если еще нужны доказательства реальности бессознательного как одной из форм работы мозга, то само существование музыкальной системы и музыки как вида искусства является таким доказательством. Современная музыкальная система, в свете выявленного био-музыкального соответствия, есть своего рода объективированное бессознательное.

Б. О расширении возможностей музыки

Если музыка - отражение общего принципа организации биологических систем, то ее возможности могут быть резко расширены, поскольку любой цикл ЦСБП - это своего рода "музыкальная октава". Для разных уровней организации биосистем, для различных биологических процессов и для каждого из органов чувств на основе ЦСБП может быть вычислен свой фрагмент музыкального строя. Например, для видимого диапазона длины волн ЦСБП дает следующие адекватные цвето-музыкальные соответствия:

Возникает возможность точной биологической настройки музыкальной системы и высот токов, а также целенаправленного сознательного подбора соответствующих ладотональностей и других средств музыкальной выразительности для получения определеннных ярко переживаемых эмоциональных состояний.

С другой стороны, на указанной биологической основе музыка может стать инструментом для тонкого тестирования состояний организма и средством сознательно направляемой терапии.

* * *

Вернемся теперь к вопросам, поставленным в самом начале работы. Мы творим музыку потому, что не можем не творить ее: ведь мы живые, а живое состояние неотделимо от комплекса взаимосвязанных, согласованных автоколебательных процессов, организованных в соответствии с музыкальной системой - "внутренней музыкой". В "иные минуты душевного волнения" эта система колебаний через посредство бессознательного проецируется вовне, проявляясь в той или иной форме.

Музыка вездесуща потому, что она пронизывает все уровни организации живого и модулирует жизнь организма как целого (диапазон ЦСБП от периодов оптического спектра до конца циклически организованной жизни человека составляет 81-82 октавы, или 1024); потому, что вездесуща жизнь на Земле; и, наконец, потому, что циклическая система биологических процессов уходит своими корнями в глубины микро- и макрокосмоса.

134. О роли эмоций и неосознаваемых психических процессов в художественном творчестве. Д. И. Ковда

МГУ, факультет философии

Невыясненное значение бессознательных психических состояний в творчестве, в частности в художественном творчестве, породило многочисленные высказывания художников и философов-идеалистов о "неподвластности" творческого процесса. Основное различие между идеалистической и материалистической трактовкой бессознательного заключается не в признании или отрицании бессознательного, а в определении его роли в психической деятельности. Существование неосознаваемых форм психической активности и важное значение этих форм для поведения человека отмечалось И. М. Сеченовым, неоднократно возвращавшимся, вслед за Э. Кантом, к вопросу о так называемых темных или смутных ощущениях, лишь частично или вовсе не осознаваемых [8, 208]. Павлов также подчеркивал взаимодействие сознательных и бессознательных психических процессов.

Выявляя роль бессознательных психических процессов в художественном творчестве, трудно обойти исследования З. Фрейда: "Понимание бессознательной душевной деятельности, - писал Фрейд, - впервые дало возможность получить представление о сущности творческой деятельности поэта" [12, 7]. Согласно психоаналитической концепции, основным содержанием бессознательного являются различного рода эмоции и аффекты, регулирующее воздействие которых на поведение из-за их вытеснения стало патологичным (невротичным) и эксцентричным, т. е. неожиданным и парадоксальным. Фрейд постулировал антагонизм между "вытесненным переживанием", которое преобразуется в бессознательное, и сознанием как основной тип отношений, существующих между сознанием и бессознательным. Именно эта односторонность психоаналитической концепции "вытеснения" во многом помешала Фрейду правильно поставить затронутые им большие проблемы. Анализу подмеченных реальных соотношений между действительностью, биографическими данными художника и выражением фактической биографии в художественном творчестве Фрейд не сумел придать строго научный характер, но тем не менее примечательно, что творческое мышление рассматривалось им как функция личности в целом с ее влечениями и потребностями, эмоциями и установками. Именно эмоции или, по

выражению психоаналитиков, "либидонозно" окрашенные переживания объединяют ряды представлений и регулируют их течение.

Обусловленная скрытыми мотивами и окрашенная личностным интересом целостная психическая реакция, направляющая воображение и фантазию художника, представляется, по нашему мнению, исходной посылкой для правильного понимания роли бессознательных психических процессов 'В творчестве. О важности раскрытия этой роли говорил в свое время еще Л. С. Выготский, подчеркивая, что только подвергнув критике фрейдистский психоанализ и глубоко проникнув в область бессознательного, мы сумеем подойти вплотную к вопросам теории искусства.

Развитие новейших представлений о целостных психических реакциях связано с понятием психологической установки Д. Н. Узнадзе. Д. Н. Узнадзе не только ввел это понятие, но и разносторонне разработал его, первым предложив методы изучения природы установки. Установка, будучи неосознаваемой, оказывает регулирующее влияние на осознанные переживания, на активность личности [14; 15]. Характерная особенность бессознательной психики, по мысли Д. Н. Узнадзе, заключается в том, что она функционирует в качестве целостно-личностного состояния. "Психическая система направленности личности представляет собой "исходную фазу" человеческой психики, ибо для того, чтобы сознание начало работать в каком-либо определенном направлении, предварительно необходимо, чтобы была налицо активность установки, которая, собственно, в каждом отдельном случае и определяет его направление" [10, 41].

Возникновение установки - готовности к определенной активности зависит от потребности, актуально действующей в данном организме, и объективной ситуации удовлетворения этой потребности [11, 70]. Установка художника на восприятие и воссоздание мира в художественных образах формируется на основе его внутренних данных и социальных воздействий. Выражая эту же мысль другими словами, можно сказать, что избирательный характер восприятия и активность личности зависят в огромной степени от эмоций. И. П. Павлов неоднократно подчеркивал это 01бстоятельство. "Главный импульс для деятельности коры, - говорил он, - идет из подкорки. Если исключить эти эмоции, то кора лишается главного источника силы" [7, 268]. А Ф. М. Достоевский утверждал, что великие мысли происходят не столько от глубокого ума, сколько от глубоких чувств.

Субъективность эмоций, отражающих неповторимую индивидуальность человека, его психофизиологические данные, историю формирования его природных задатков находит свое выражение в социальном облике художника. Политические взгляды, поступки, поведение оказываются тесно связанными с характером эмоциональной сферы субъекта. И это закономерно. Еще Рибо отмечал то, что сегодня является банальным фактом в психологии: эмоции выражают потребности человека, переживание им конкретных ситуаций как личностно значимых. Психологическое отражение, согласно А. Н. Леонтьеву, "не может не подчиняться осуществленным жизненным отношениям субъекта, не может не быть пристрастным, как пристрастны и сами эти отношения" [4, 222].

Эмоциональность, избирательное отношение к действительности дают возможность художнику более ярко и определенно выразить себя, свою сущность, быть не только отображающим, но и отображаемым. Человек, сталкиваясь с действительностью, отбирает то, что созвучно его душевному складу. Если жизненная тема попадает в резонанс с личностными особенностями человека, возникает контакт, стимулирующий творчество. В художественном творчестве очевидно самовыражение индивидуальности "творца", в каждом произведении мы видим лицо автора. И это хорошо согласуется с подтверждаемой биографиями поэтов и художников их особой эмоциональностью, чувственной подвижностью.

Повышенная эмоциональность, по данным Б. М. Теплова [9], связана со слабым типом нервной системы. Нельзя, конечно, непосредственно сводить восприятие мира к особенностям биологической основы индивида, природные предпосылки развития не заключают в себе содержательных моментов социальных отношений, которые детерминируют весь ход жизни человека как социального существа, но характерологические особенности, обусловленные в какой-то мере, возможно, генетически, дают исходные данные для познания личности художника, его индивидуальности [5]. В сознании человека фиксируется, однако, затем связь отдельных этапов его развития, возникает преемственность этих этапов, интегрируется отношение личности к различным сторонам объективного мира. С течением времени избирательное отношение человека к действительности из недифференцированного, смутно осознаваемого превращается в устойчивую четко осознаваемую индивидуализированную систему отношений. Поэтому объективное изображение действительности в искусстве никогда не бывает зеркальным, оно всегда избирательно. "Субъективной объективностью" адекватно называют изображение мира художником.

Художественная истина конкретна, и ее невозможно понять в отрыве от своеобразия условий создания образа и от неповторимости его "творца". Редкое сочетание множества объективных факторов обусловило формирование установок на восприятие мира, специфических для Толстого, Бунина, Чехова. Установка художника на восприятие и на воссоздание действительности в художественных произведениях проявляется во всем: в идейной направленности образов, в гуманистической устремленности содержания, в выборе и освещении материала, в тематических пристрастиях, в особенностях языка, в интонации, в настроении, даже в синтаксисе, в индивидуально неповторимом стиле. Поэтому-то мы и говорим: чеховская Россия в отличие, например, от толстовской или бунинской.

Формирование своего, совершенно конкретного "угла зрения", т. е. установки художника, можно проследить, анализируя произведения писателей, особенно их письма, дневники. Говоря об автобиографичности художественного творчества, мы имеем в виду не автобиографичность в анкетном смысле слова, а биографию чувств и переживаний автора, которые с течением времени не пропадают бесследно, а сохраняются в какой-то мере и продолжают действовать, создавая внутренние предпосылки для предчувствия и предвидения будущего, т. е. опять-таки специфическую психологическую установку.

Принимая данное положение за основу, попробуем определить роль бессознательных психических процессов в создании художественных образов. Обратимся к записям И. А. Бунина "Происхождение моих рассказов", памятуя, что в детерминацию образа, наряду с конкретными свойствами самого отражаемого объекта, вплетается прошлый опыт человека, который играет в процессе восприятия роль вероятностных гипотез.

Вот история создания рассказа "Степа". "Представилось однажды, что я еду на беговых дрожках от имения моего брата Евгения по направлению к станции Баборыкино. Проливной дождь. Затем сумерки, постоялый двор возле шоссе, и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно, когда начал рассказ, еще не знал чем кончу" [2, 373]. 624

"Само собой сложилось" - соответствует, обычно, мнению художников о неподвластности возникновения образов, "демоническое начало" которых овладевает человеком и которым он отдается. В действительности же здесь бессознательно действует установка - достаточно было всего лишь образа какого-то человека, счищающего возле постоялого двора грязь с сапог, чтобы в воображении представилась несчастная девочка и обманутая любовь. Трудная и одинокая жизнь И. А. Бунина, его трагическая любовь (к В. В. Пащенко), пришедшаяся на начальный период творческих исканий, когда еще только складывалась личность писателя, определили во многом психологическую избирательность его произведений. Обманутое чувство первой любви, одиночество, невозможность счастья - одна из традиционных тем писателя.

И для написания рассказа "Натали" понадобилось совсем немногого непосредственно связанного с сюжетом рассказа: "Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает "мертвые души", так не выдумать ли и мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое" [2]. Вышли, как и во многих остальных рассказах, тоска, одиночество и смерть героини после, наконец, обретенного счастья. Вот уж воистину человек не способен писать по выбору о чем хочет. Он не выбирает произвольно свой сюжет. О неподвластности своих сюжетов пишет и А. П. Чехов: "Вы сетуете, что герои мои мрачны. Увы! Не моя в том вина. У меня выходит это невольно, и когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая, я всегда бываю в хорошем настроении" [13, 146].

Для правомерности утверждения, что устойчиво закрепившаяся система отношений художника к действительности, его избирательная готовность к предстоящим переживаниям объясняется установками личности, обратимся к психологическому меха низу фактора установки. Наша исходная посылка состоит в том, что для художественного творчества решающее значение имеет восприятие действительности в зависимости от установочного действия воображения. Экспериментальная проверка теоретически допущенного Д. Н. Узнадзе установочного действия воображения, т. е. возникновение психологической готовности на основе представления, а не восприятия соответствующей ситуации, показала возможность выработки фиксированной установки всего лишь по представлению, которому не соответствует содержание актуального восприятия. "Установка, выработанная на основе воображения, сопровождается активным отношением субъекта к представляемым установочным объектам, отмечается специфическое внутреннее состояние готовности, переживание ©сем существом, всем организмом" [6].

Обсуждая вопрос о прогнозирующем характере восприятия, как целостно-личностного состояния индивида, Д. Н. Узнадзе приходит к выводу, что деятельность человека может быть активизирована на базе установки,

определяющей состояние субъекта как целого [10, 170], т. е. в активные отношения с действительностью вступает непосредственно сам субъект, а не отдельные элементы или акты его психической деятельности. Принимая во внимание этот экспериментально установленный факт, нужно, очевидно, решать проблему творчества, анализируя не "наборы" отдельных психологических характеристик (впечатлительность, наблюдательность, память и пр.), а исходя из понятия субъекта как целого.

В чем же заключается особенность "целостно-личностной" реакции художника? Не вызывает сомнений, что она начинается с эмоционального восприятия мира. Под действием эмоционально-аффективного начала художник подменяет восприятие представлением, "навязывая" тем-самым миру свою индивидуальность.

Проявление аффективной установки может носить как сознательный, так и неосознаваемый характер. Художник зачастую бессознательно отмечает те или иные детали, которые всплывают в памяти только при возникновении творческого импульса, о чем характерно свидетельствуют приведенные выше воспоминания И. А. Бунина. Эмоциональность имеет, по-видимому, большое значение как для перехода бессознательных восприятий в сознательные, так и для возобновления представлений в памяти и создания нового своеобразного сочетания элементов, содержащихся в отдельных восприятиях. Определенные настроения поднимают до уровня сознания впечатления, образы, ставшие символами этих настроений. Сходство в эмоциональном отношении является поэтому, надо думать, одним из существенных факторов бессознательного сближения элементов и их свойств, приводящим иногда к неожиданным открытиям.

При таком понимании интуиция, творческий импульс выступают нестолько как первопричина творческого процесса, сколько как конечный результат сложного отношения художника к действительности, детерминированного направленностью личности. Ассоциативные связи между следовыми раздражениями и сигналом действительности, побуждающим к творчеству, которые не фиксируются сознанием во всех деталях, обусловливают поражающую подчас воображение внезапность творческого импульса. Последний так же конкретен и реален, как и другие сигналы, поступающие из окружающего мира в сознание человека. Но в отличие от них он является не просто количественным прибавлением к следовым раздражениям, уже накопленным сознанием, а вызывает ассоциации, формирующие замысел. Примером творческого импульса или художественной интуиции может быть, например, ощущение И. А. Буниным улицы в Ефремово: "Представь себе песчаную широкую улицу на полугоре, мещанские дома, жара, томление и безнадежность... От одного этого ощущения, мне кажется, и вышла "Чаша жизни" [1, 188]. Интуиция художника подчиняется сосредоточенности его на определенной сфере жизненных наблюдений, что обусловлено связью интуиции с пережитым опытом. В этом рассказе четыре совершенно различных одаренных человека кончают жизнь в неприкаянности и страшном одиночестве, и все та же несчастная любовь. Здесь, как и в большинстве бунинских рассказов, сказался, прежде всего, субъективный подход писателя к жизни, - не было объективных условий у героев рассказа для такой мрачной безысходности. Итак, часто неосознаваемое чувство, из которого рождается все произведение, является импульсом для воплощения личностной направленности художника. Аналогично понимает значение бессознательных психических процессов и Гончаров, подчеркивая, что иногда самые маленькие, отрывочно данные явления и подробности, затерянные в далекой перспективе общего плана, группируются вокруг основного настроения: "Как будто действуют тут неуловимые наблюдением тонкие невидимые нити или, пожалуй, магнетические токи, образующие морально-химические соединения невещественных сил"... [3, 169]. В этом смысле совершенно правомерен афоризм: "Мир создан был не однажды, а столько раз, сколько появилось оригинальных художников". О том, что процесс творчества есть воплощение внутренних, интимных установок самого художника, с огромной силой говорят и отрывки из заметок И. А. Бунина "Как я пишу": "Я никогда не писал под воздействием 626 привходящего чего-нибудь извне, но всегда писал "из самого себя". Нужно, чтобы что-то родилось во мне, а если этого нет, я писать не могу. Я никогда не умел и не могу стилизировать" [2, 376].

Из сказанного надо сделать вывод о регулирующем действии установок, проявляющемся на неосознаваемом уровне, а тем самым и о месте, занимаемом бессознательными психическими процессами в художественном творчестве. Влияние содержания предшествующих психических переживаний на последующие опосредованно самим субъектом: мысль избирательно направляется на те свойства объекта, которые могут способствовать реализации установившихся отношений. Устойчиво закрепившаяся система психологических связей, выступая как результат определенной организации прошлого опыта, становится регулятором поведения, создает дифференцированное отношение, избирательную готовность к развитию активности определенного типа.

Взаимодействие каждого человека с действительностью, а тем более художника, начинается с эмоционального отношения. Эмоциональное отношение к действительности, являющееся результатом как психофизиологических данных художника, так и его социальных взаимосвязей с миром, часто, не будучи осознанным, осуществляет прогнозирование будущего и проявляется в переживании предвидимого как осуществившегося. Результатом же такого сопричастного переживания будущего как настоящего и является творческий акт - создание художественного образа.

138. Грузия в подтексте: элементы подсознательного в грузинских переводах французской поэзии. Г. С. Буачидзе

Тбилисский государственный университет, факультет западноевропейских языков и литератур

Художественный перевод неизбежно содержит определенную интерпретацию оригинала. Интерпретация эта может быть сознательной и подсознательной. Последний случай мы хотели бы проиллюстрировать на нескольких примерах из практики перевода на грузинский язык образцов французской поэзии. Интерпретация может зависеть от различных факторов: общих культурных реминисценций, творческой установки или индивидуальных особенностей переводчика, времени и обстоятельств создания перевода и т. д. Ввиду сложности и комплексного характера этого явления, мы выделили один его аспект: невольное проникновение в ткань перевода явлений, связанных с Грузией.

Рассматриваемые случаи взяты из грузинской переводческой практики XIX-XX веков.

В 1898 году в Тбилиси вышел небольшой сборник избранных стихотворений Беранже в переводе Г. Гвазава. Перевод этот в данном случае нас интересует постольку, поскольку некоторые сознательные установки переводчика, позднее пересмотренные и отвергнутые грузинскими переводчиками в ходе эволюции критериев художественного перевода, не исчезли из новейших переводов (как этого можно было ожидать), а перешли в сферу подсознательного.

Установка Г. Гвазава не однозначна: в одних случаях он сохраняет национальные особенности подлинника, в других - наделяет текст песен Беранже откровенно грузинскими чертами и будто переносит их действие на грузинскую землю.

В песне "Весна и осень" отличительным признаком первой Беранже называет "розы", а второй - "благотворно действующий сок". Оба определения подверглись переосмыслению: в грузинском восприятии весна, земные утехи связаны, кроме роз, с фиалками. Соответственно "розы" превращаются в "фиалки и розы". (Любопытно проследить за этим клише и в другом случае. В песне "Цветочница и гробовщик" цветочница продает розы, лилии и жасмин, а ее грузинский двойник - все те же розы и фиалки...). Отвлеченное определение вина порождает в грузинском тексте "красоту винограда".

Имена лирических героев, большей частью, огрузинены: "Розетт" превращается в "Марту", "Адель" - в "Талико", "Роже Бонтан" - в "Вано", "Лиз" - в "Нино", "Фретийон" - в "Маро", "Лендор" - в "Гиглу", "Клитандр" - в "Кола", "Мондор" - вновь в "Вано",. "Роз" - в "Машо"... Все эти замены - произвольные. Но проявляется и некоторая закономерность, когда "Колен", по отдаленному фонетическому родству, превращается в "Гогла", а "Жан" - в свое грузинское соответствие "Вано". В целом, разумеется, привычные имена не только приближают содержание песен к грузинскому читателю, но и создают у него иллюзию того, что все эти "Лизико", "Машо", "Гогла" и "Вано" - грузинки и грузины. При этом полностью разрушается психологическое правдоподобие авторских характеристик, относящихся к французскому типажу.

Персонажи Беранже сменяют свою европейскую одежду на кавказскую: так, Роже Бонтан (превратившийся в Вано) одевается в чер-кеску и архалук. Преображается мебелировка его интерьера: "старая кровать" превращается в "отцовско-дедовскую тахту". "Перекодировка" последовательно распространяется на различные аспекты поведения героя. Роже Бонтан показывает детям "малые игры", Вано играет с ними в кости, выигрывая у них шаури (пятикопеечная монета); Роже Бонтан искусно рассказывает непристойные сказки, Вано прибегает к шаири (форма грузинского стиха); Роже Бонтан любит поговорить о танце, Вано же, как безумец, отплясывает лезгинку. Одновременно с вовлечением явлений в национальную грузинскую стихию наблюдается наполнение отвлеченных понятий ("игра", "танец") конкретным содержанием ("кости", "лезгинка"). То же самое происходит и в песне "Слепая мать", где во французском тексте Лизу целует птица, а в переводе - дрозд. Следовательно, тенденция конкретизации существует и самостоятельно, вне связи с "огрузинением" сообщения (хотя образ дрозда имеет свое место в грузинском фольклоре, и на подобных примерах можно было бы рассмотреть более "сокровенный", "потайной" слой подсознательных ассоциаций).

Подобно тому, как от песни к песне Беранже лепит собирательный образ красотки-парижанки, переводчик не менее последовательно преображает ее в тифлисскую красотку. Служанка госпожи Грегуар только упомянута у Беранже, а у Гвазава она оказывается "смуглой девчонкой". Фретийон представлена как "наша Маро, наша лун а", с дальнейшими уточнениями: "телом кипарис", "пером писаная".

Точно так же Лизетт ("Измены Лизетты"), ставшая, благодаря закономерной замене французского уменьшительного суффикса грузин-ским, Лизико - обладательница "тела тростинки". А в другой песне ("Это уже не Лизетт") Лизетт меняет "драгоценности" и "эгрет" на "рубин", "сапфир" и "бриллиант"...

В песне "Пять этажей" героиня сообщает нам: "В каморке привратника я родилась на первом этаже". Переводчик уточняет: "Красивую и черноволосую родила меня мать в подвале"...

Так переводчик сочетает (иногда - смешивает) черты, восходящие к двум грузинским архетипам женской красоты: расхожему образу "красотки-смуглянки" и канонизированному Руставели возвышенному женскому лику, соотносящемуся с луной, другими небесными светилами, райским кипарисом и драгоценными камнями. Удивительна сильная доля присутствия именно "руставелевской женственности", от которой так далека эстетическая стихия французского песенника. Но именно с реминисценциями из Руставели мы вновь встретимся в новейших грузинских переводах.

Времяпровождение, винопитие и застолье - одна из сквозных тем песен Беранже. Формы застолья полностью аннексированы грузинским переводчиком. У него кутилы Беранже строго соблюдают ритуал грузинского застолья. В "Моей последней песне" сотрапезникам предлагается чокнуться и весело выпить. В грузинском же тексте читаем: "Я пришел, веселый, сказать вам аллаверди, чтобы вы мне ответили яхшиоли...". Другая же песня Беранже, "Чокнемся", так и озаглавлена в переводе: "Аллаверди и яхшиоли!". Первая строфа этой песни, выражающая сожаление по поводу того, что обычаем чокаться нынче пренебрегают, оказалась для грузинского переводчика прекрасным поводом развернуть перед читателем картину достойных уважения кутежей "наших предков". Соответственно уточняется и назначение обоих призывных слов: "Будем восклицать волнующее сердце "Аллаверди!" - чтобы выпить, а когда выпьем: "Яхшиоли!" И, конечно же, пили предки из длинных рогов, "пели сладко и безмятежно, благословляли путь на поле брани", как это происходило в историческом прошлом в Грузии.

А о переводе "Моего сюртука", озаглавленном "Моя черкеска", поистине можно сказать: "Своя одежда ближе к телу". Текст перевода начинается словами: "Моя старая черкеска, ты была мне верна, мы вместе состарились...".

Версия "Господа Бога", по-грузински озаглавленная "Зевс, бог Греции", названа "вольным переводом". Здесь появляются (наверное на сей раз - подсознательно) те два слова, которыми грузины обычно резюмируют восприятие природы своей страны: "гора и дол". В другом, не "вольном", переводе ("Ласточки") рассказчик вспоминает долину, где прошло его детство, и семейную "хижину", которая в переводе превращается в пацху. В переводе песни "Орангутаны" неожиданно появляется характерная принадлежность грузинской кухни: "Кто научил вас тому, что зелень сладка за обедом?".

Более семи десятилетий после Гвазава переводчики наших дней стараются избежать подобных прямых вторжений "грузинской перцепции" в ткань перевода. Насколько и в какой форме это им удается? Разумеется, имена персонажей остаются французскими, окружающие их реалии, по возможности, - тоже... Впрочем, обратимся к примерам.

Январский номер журнала "Цискари" ("Заря") за 1974 год принес читателям прекрасный перевод "Малого Завещания" или "Лэ" Франсуа Вийона, исполненный Давидом Цередиани. Обратим внимание на случаи бессознательного "огрузинения" текста.

Силуэт женщины, которая оказалась для него суровой, передан Вийоном обобщающими мазками. Не было бы излишним, если бы силой воображения нам удалось собрать вместе то немногое, что на ее счет рассеяно в строфах стихотворения. Тогда может состояться непредвиденная встреча двух красоток. Одна из них - парижанка, а другая - грузинка. Они настолько разные, что на мгновение вами овладевает такое чувство, будто Вийон остановился не в Анже, а продолжил свой путь до берегов Фазиса, чтобы там повстречать восточную красавицу, "лицом - луну, телом - кипарис".

Каким бы неожиданным это ни оказалось, для Вийона в интер-претации Цередиани не чужд и сванский фольклор. Мы далеки от соблазна представить себе Вийона среди читателей вышедшего в 1968 году превосходного сборника народной поэзии грузинских горцев "Иринола". Но ведь переводчику "Малого Завещания" принадлежит и адаптация "Иринолы". Не потому ли вийоновскую возлюбленную, "лицом - луну, телом - кипарис", в горах Сванетии встречает "телом - тополь, лицом - луна"? Провожают ее белые сестры, белые женщины, белолицые жены?.. А если присмотреться к случайно сопоставленным этим двум мирам, здесь и там встречаем по-разному воплощенную черно-белую окраску драматического повествования.

В подлиннике в описании трапезы упомянуты многие блюда (они не утеряны и в переводе), но подобное изобилие не может оставаться в грузинском застолье без упоминания вина: упоминание вина, в свою черед, повлекло за собою появление специфических грузинских сосудов для его хранения или преподнесения: "квеври", "доки". Впрочем, уже в перечне пищи появились "вертелы" - "шампуры".

Если, прощаясь с грузинским текстом "Малого Завещания", вспомним образы Вийона и его возлюбленной, то, разумеется, мы увидим Вийона таким, каким он сам представляет нам себя: "черного и сухого, как помело", но также - знакомого с грузинскими сосудами для вина, более импульсивного в выражении различных состояний, более фамильярного с господом богом, лучше осведомленного в правилах поведения влюбленных "рыцарей-миджнуров", соблюдающего традиции, остроумного человека, который ругается и иногда обращается к словарю грузинского студента 1974 года. А его возлюбленная, обладая врожденной беспощадностью, заключила соглашение с луной (она должна быть "не увиденной солнцем", ибо таков классический образ красавицы в грузинских сказках и в грузинском народном сознании), что является непременным элементом вечного женского начала в его грузинской версии, даже в тех случаях, когда его сопровождает ворчливый характер.

Поэт Гиви Гегечкори перевел стихотворение Пьера де Ронсара "К жаворонку". Ронсар увидел свет и, за исключением нескольких лет, прожил свою жизнь на беретах Луары. Мягкое освещение и живописные очертания этого края присутствуют "подземным течением" в лирике Ронеара. Г. Гегечкори - грузинский поэт и, естественно, смотрит он на мир через призму грузинских пейзажей. Как переводчик он добросовестно прислушивается к образному строю оригинала. Но стоило стихотворной строке, вобравшей основное содержание со-ответствующего пассажа подлинника, оставить небольшой "вакуум", как в него, словно не спросясь, хлынули "кавказские очертания". И получается, что в грузинском тексте полет ронсаровского жаворонка провожают высокие горы...

Полное "переселение" в страну подлинника оказывается трудно осуществимым. Сигналы подсознания напоминают нам о том большом континенте, который каждая культура сохраняет под собой. "Описка" переводчика является зримым тому доказательством. А сколько химерических "гор" чудятся грузинским читателям ив тех случаях, когда рука переводчика благоразумно устраняет их? Незримые течения постоянно проходят между зримым массивом слов и континентами грез.

Этот и прочие примеры невольного отклонения становятся понятнее при учете постоянного давления национального фактора. Определяющей является специфика языка. Появлению гор предшествует небольшая и, на первый взгляд, невинная метаморфоза. Ронсаровский жаворонок, славословя красоты природы, произносит в воздухе "тысячу речей". Эти речи - характерный элемент рационального, аналитического начала во французской цивилизации. Еще до появления Декарта это - "картезианское" восприятие мира. Оно чуждо грузинскому мироощущению. Невозможно представить себе "грузинского" поэтического жаворонка, воздающего хвалу природе в каких-то сухих речах... Поэтому в переводе жаворонок и произносит здравицу, тост во славу дня.

Перед нами - различное формовыражение, воплощение одного состояния. Разумеется, по-разному воплощенное, это состояние перестает быть чем-то одним, и мы склонны воспринимать его как два сходных состояния.

Отсюда к объяснению случая с горами - один шаг. В самом деле, прекрасным пейзажем Ронсару представляются зеленые берега Луары, а грузинскому поэту (читателю) - гордая гряда гор. Если бы многонациональной аудитории предложили представить себе прекрасную картину природы и затем зафиксировали наиболее выразительные ее воплощения - это и был бы "сравнительный словарь" образов.

Одна общая закономерность обусловливает переход "речи" в "тост" и "долины" - в "горы". Но только первая метаморфоза происходит на уровне коллективного опыта и бытия, и поэтому наше восприятие ее отклонения приглушено, в то время как второй, "индивидуальный" случай (на самом деле - глубинно обусловленный и "санкционированный" тем же самым "коллективным сознанием") представляется нам нетерпимым произволом.

Важно не упустить из виду относительную "произвольность" гор и "объективность" тостов.

В переводе Г. Гегечкори из Бодлера "Возвышение" происходит "над ущельями" и "за пещерами" Т. о., вместо бодлеровских "полей" в переводе появляются "пещеры". И если допустить, что в словах "мигма мгвимета" ("за пещерами") переводчика привлекла игра звуков, то аналогичной причины для появления "ущелий" не видно.

В переводе стихотворения Бодлера "Путешествие" тот же переводчик допускает еще более конкретную грузинскую ассоциацию, называя кипарис "столпом животворящим" (по-грузински "свети цховели"). Грузинский читатель этой строки не может удержаться от ассоциации со знаменитым архитектурным памятником Грузии,

кафедральным собором во Мцхета, Светицховели. А. Бодлер обращается к старому дереву, воплощающему желание: "Будешь ли ты еще расти, большое дерево, более живучее, чем кипарис?" Слово "живучее" превратилось под иером переводчика в "животворящее", а последнее необратимо отдало его во власть ассоциации со "столпом животворящим". Наверное, притягательная сила подобных ассоциаций - не меньшая, чем у родных гор, скал и ущелий.

Им отдал дань и крупнейший грузинский лирик нынешнего столетия Галактион Табидзе, когда в свой перевод из Верлена ("В лесах") включил строку: "Взгляну на вершины и вдруг содрогнусь".

Верлен был одним из любимых поэтов Галактиона Табидзе, из него он перевел ряд стихотворений, и реминисценции музы французского поэта дают о себе знать в оригинальном творчестве Г. Табидзе. В других своих переводах Г. Табидзе стремится к образной близости с оригиналом и избегает извне навязанных ассоциаций. Близок к подлиннику, за исключением приведенного примера, и данный перевод.

Почти нет явно грузинских реминисценций в переводах французских поэтов, осуществленных символистами "Голубых рогов". Они скорее склонны к буквальному переводу и галлицизмам, оберегая французский источник, из которого и сами черпали. Таков и грузинский Малларме.

В переводе "Появления" Шалва Апхаидзе сохраняет название музыкального инструмента - виолы, - но вместо "смычка" предлагает к ней "мизрапи" - небольшую костяную пластинку, при помощи которой играют на грузинском музыкальном инструменте "тари". Эта материальная неувязка, должно быть, вызвана тем, что не найдено соответствующее слово. Иное дело, когда у Валериана Гаприндашвили в "Послеполуденном отдыхе фавна" появляются "сумерки": ведь именно так, "Дайсеби", назван поэтический сборник грузинского поэта. В. Гаприндашвили невольно вводит в полдневное освещение эклоги Малларме сумеречную тень Своего поэтического дебюта. В свою оче-редь и В. Гаприндашвили "огрузинивает" инструментовку стихотворения Малларме, вводя в него грузинский "пандури". Сравнение прекрасных дев с "дневными светилами" - еще одна невольная реминисценция из Руставели. У Малларме фавн мечтает о том, чтобы его увлекли нимфы, обвязав вокруг его рогов свои "косы". В переводе "косы" превращаются в разновидность локонов, "кави", назначение которых, по словарю Нико Чубинашвили, было в том, чтобы прикрывать у женщин ухо и висок. Так лесные нимфы стали чем-то похожи на грузинок прошлого столетия.

Что можно сказать в заключение? Мы видели различные случаи "огрузинения" пейзажа, интерьера, портрета, одежды, обычаев, утвари, мироощущения... Переводчик прошлого столетия поступал так сознательно, находя это естественным. Переводчики нашего времени считают такой подход искажающим, неприемлемым, и, тем не менее, рецидивы его проникают в текст их переводов через подсознание. Большинство рассмотренных случаев настолько очевидны, что даже удивляешься тому, что они остались незамеченными переводчиками. Но что это именно так, подтверждают их принципы, согласно которым, заметь они вовремя эти отклонения, они бы изъяли их. Можно сказать, что если у Гвазава, представителя переводческой школы прошлого столетия, образ Грузии присутствует в тексте, то у современных переводчиков Грузия перенеслась в подтекст.

Разумеется, подсознательное проникновение национальных импульсов в перевод этим не исчерпывается. Наверное, с пользой можно продолжить поиск в этом направлении, ориентируя его на более глубинные, лучше камуфлированные, но богатые психическим содержанием проявления того, что условно можно было бы обозначить как "национальное подсознательное". Ощутимая встреча с образом Грузии в подтексте переводов с французского симптоматична на этом пути.

139. К вопросу сходства патологического художества с современным декадентским искусством. Э. А. Вачнадзе

Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси

В связи с изучением художественной продукции душевнобольных в психопатологии возник вопрос о взаимоотношении художества душевнобольных с изобразительным искусством. Вопрос этот оказался настолько актуальным, что явился предметом обсуждения не только в психопатологии, но и в искусствоведении.

Обычно имеет место сходство патологического художества с современным декадентским искусством, а именно, с экспрессионизмом, абстрактной живописью и сюрреализмом. Это имеет свое основание, но следует отметить, что связь патологической продукции с изобразительным искусством вообще уходит в далекое прошлое.

Отметим лишь, что если попытка приблизить патологическое художество к изобразительному искусству прошлых эпох носила характер более глубокого изучения творчества душевнобольных, то аналогия декадентского художества с патологическим поставила под сомнение само декадентское направление в живописи. Вышеозначенное обстоятельство возбудило научный интерес, и по данному вопросу было высказано много противоречивых суждений (Морселини, Вейгандт, Лафора, Фернард, Принцхорн и др.) [5].

Возникает вопрос, следует ли применять психопатологический критерий для критики декадентского искусства?

Принцхорн [4] полагает, что художественное произведение не следует оценивать психопатологическим критерием, ведь изучение искусства гораздо больше дает психиатрии, нежели психиатрия искусству. По мнению Мандолини, для творческой активности требуется в какой-то степени анормальность. Но степень эта не должна превышать обычных "стандартных групп", психическое же состояние душевно-больного совершенно обособлено от означенных групп.

Следует отметить, что психопатологический подход к современному художеству требует большой осторожности. Анализ биографии выдающихся писателей, поэтов и художников часто говорит об их психическом сдвиге. Современные художники так же, как и вообще любые индивидуумы, могут страдать целой гаммой психоневрозов. Хотя некоторые современные художники могут быть невропатами, но это вовсе не означает, что современное художество патологично, как было бы неправильным считать художника традиционного направления более нормальным и здоровым, чем современного художника-декадента.

Следовательно, несмотря на отсутствие патологических свойств, художники-декаденты все же создают произведения, подобные патологической художественной продукции, и поневоле возникает вопрос об их взаимосвязи.

Одно из современных декадентских художественных направлений - сюрреализм - открыто предъявляет "претензию" на характерные психопатологические особенности художества душевнобольных.

Андре Бретон в 1924 г. в своем манифесте сюрреализм определяет как "психический автоматизм", путем которого реальное мышление действует словесно, письменно или другими средствами выражения вне всякого логического и разумного контроля. Он полагает, что вмешательство сознания, интеллекта и памяти умаляет художественное достоинство произведения: сновидение и сумасшествие - высшие формы психической деятельности человека, так как они дают бесконтрольную свободу воображению - единственной деятельности, действительно достойной человека.

Следует признать, что сюрреализм ярче всего проявил себя в живописи. Дивизионизм, симультанизм, монтаж, соединение несоединимого, лишенные логически осмысленного содержания - все это нагляднее всего именно в изобразительном искусстве.

К началу 30-х годов, если Андре Бретон основой сюрреалистического творчества считал психический автоматизм, то Сальвадор Дали, известный художник-сюрреалист, свой "паранойдо-критический" метод характеризует как спонтанный метод иррационального познания с критической интерпретацией бредовых ассоциаций.

С. Дали считает, что ассоциативные механизмы и бредовые идеи дают ему возможность объединить целый ряд симультанных образов с очевидной алогичностью (рис. 1).

Таким образом, сюрреализм решительно отказывается от воспроизведения реальной действительности и творит сверхреальное. Сюрреализм создает образы безграничной фантазии, грез и сновидений. Он выражает внутренний мир больного, одержимого бредом, кошмарным видением, магической символикой, онейроидным и бессознательным состоянием. Сюрреалисты создают агглютинации образов реальной действительности, аналогичные автоматической игре, свободной фантазии, сновидениям и грезам.

Подобие патологического художества сюрреалистическому специально изучал Анри Эй [3], в концепции которого центральное место занимает понятие автоматизма. Душевное заболевание он идентифицирует со сновидением. Объектом изучения психиатрии для А. Эй являются вариации психической жизни, принудительная регрессия к автоматизму, типичный пример которого - сновидение. По выражению автора, это и есть лейтмотив его концепции. Сумасшествие со всеми своими проявлениями стремится к свободе. Патологическое мышление,

особенно бредовое, является автоматическим, его свободной игрой. Хотя оно не механическое, но самопроизвольное, менее осознанное, избегающее при этом контроля высших форм психической интеграции.

По мнению А. Эй, сюрреалистическая и патологическая продукция по своей эстетической ценности идентичны.

Искаженные формы некоторых художников-сюрреалистов в художественном отношении вполне соответствует художеству "талантливых" душевнобольных. При этом, замечает он, продукция эстетической ценности больных редка, и гораздо реже она достигает высокого уровня фантазии сюрреалистов. Характерны для патологической продукции, по А. Эй, формальное, тематическое оскудение и стереотипия.

Но разницу между этими двумя жанрами художества А. Эй видит в самой сущности художественной продукции. Художественное произведение, воплощенное в полотне или мраморе, объективируется в определенной форме, отключается от своего автора и обретается другими.



Рис. 1

По А. Эй, предается ли художник вдохновению или бессознательному автоматизму, он всегда в силах изолировать свое творчество от самого себя. Художник, создавая эстетическое произведение, отходит, отмежевывается от него, больной же тесно и неразрывно связан со своим произведением. Произведение больного - "эстетический объект" (l'objet esthetique), а не эстетическое произведение искусства (l'oeuvre d'art). "Идеал сюрреалиста", по мнению Эй, - "эстетический объект", но осуществить его не может ни один сюрреалист, если он не сумасшедший. Для подтверждения своего предположения А. Эй приводит художника самого экстравагантного, Сальвадора Дали, систематическая фантазия и эксцентричность которого носит "намеренный", "умышленный" характер. Сам себя С. Дали считает "паранойдкритиком".

Паранойя и вообще сумасшествие сюрреалистов, говорит А. Эй - показное, произвольное сумасшествие. В своих мемуарах С. Дали пишет: "Я безумный, кроме одного пункта, где я не сумасшедший".

Вышеозначенное обстоятельство вызвало попытку эксперимен-тально проверить, действительно ли сюрреалистическое художество обосновано психическим автоматизмом, а паранойя критическим сосостоянием.

С этой целью мы обратились к студентам-художникам Академии художеств. Вышеупомянутые студенты из курса общей психологии были осведомлены об основных закономерностях процесса фантазии, а именно, о так называемом законе агглютинации образов - воссоединении частей или целых предметов в один образ. Результаты процесса агглютинации обозначают так же, как сгущение (Verdichtung), по Фрейду.

В общем явление это, выражаясь сюрреалистически, - алогичные, необъяснимые комплексы, симультанные образы.

И вот, так называемая "агглютинация" легла в основу нашего опыта. Испытуемым было предложено нарисовать, воссоединив из отдельных частей или целого ряда предметов одно цельное изображение и содержание.

В результате нашего опыта все 40 испытуемых, правильно поняв, сущность опыта и прочувствовав предназначенное намерение, с большими интересом выполнили задание.

Следует признать, что наши студенты -(художники с наибольшим эффектом проявили творческие механизмы сюррелизма в своих экспериментальных данных. В рисунках наших испытуемых - многообразная тематика из деталей реальной действительности, которые складываются испытуемыми в фантастические, подчас несоединимые комплексы (рис. 2).

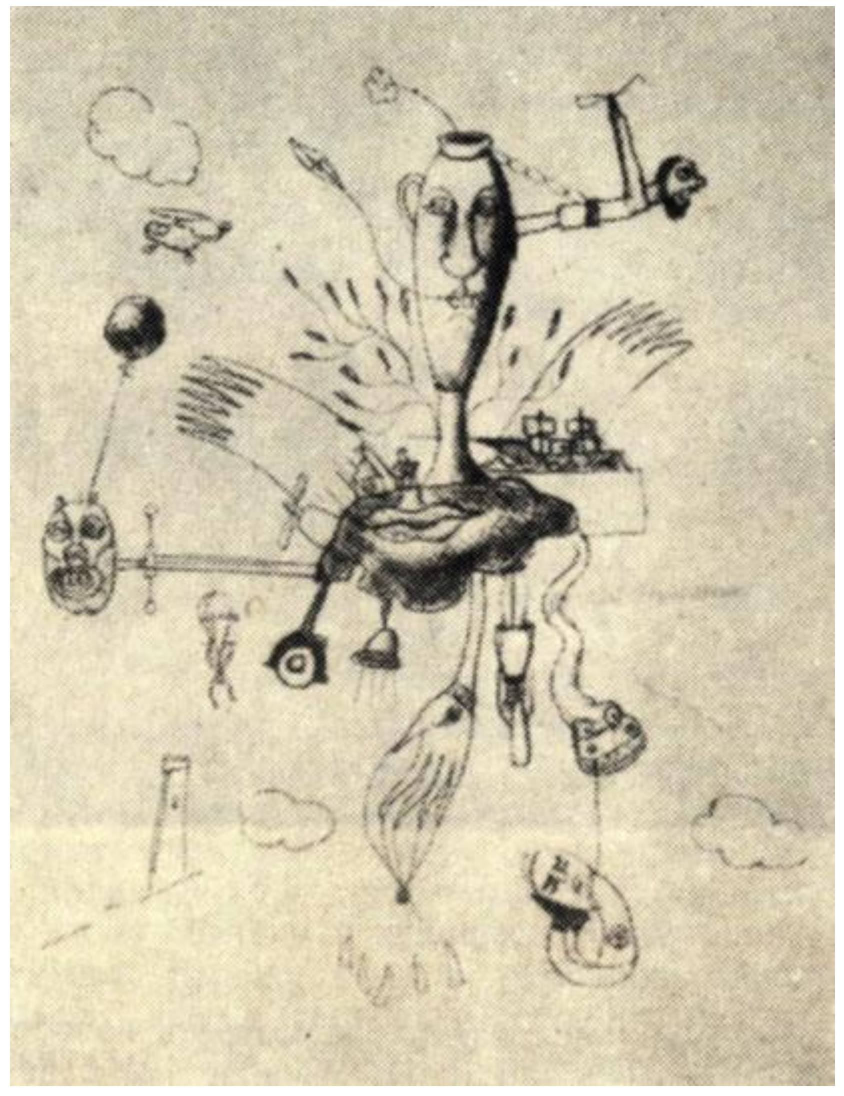


Рис. 2

Но получив довольно оригинальную и интересную художественную продукцию, мы постарались выявить также определяющее сюрреалистами значение автоматического, бессознательного, пассивно психического, интерпретивно-критических ассоциаций бредовых феноменов.

С этой целью мы попросили наших испытуемых передать свои переживания в процессе рисования чуждых для них агглютинаций образов.

Надо сказать, что из самонаблюдения большинства наших испытуемых видно, что они с определенным, предварительным намерением старались выполнить поставленную перед ними задачу, проявляя активность и волевое усилие. При этом все отмечали также большой интерес, готовность как можно оригинальнее и фантастичнее создать комплекс, воссоединение образов, замечая при этом объективно и критически алогичность ассоциаций воображаемых представлений.

Изучение рисунков больных шизофренией проведено нами в основном на спонтанном материале. Процесс рисования наших больных носит характер более или менее непрерывного, импульсивного, нецеленаправленного изобразительного поведения [1].

Увлеченные рисованием больные автоматически, персеверативно, навязчиво создают ряд серийных рисунков. При этом появляется бессвязность, загруженность и хаотичность образов, неоморфизмы, неологизмы и символические знаки. Фактически это - сгущение образов на основе законов агглютинации (рис. 3).



Рис. 3

Своеобразно выглядят рисунки с нарушением ассоциативных связей. В процессе рисования больной рисует и говорит словно под диктовку, как будто дает интерпретацию того, что рисует: "Крупнейший план архитектуры. Бумага, карандаш ходит сам".

В инициальной форме больной прибегает к изобразительности, старается с помощью рисунка передать спонтанно свои опутанные галлюцинаторные и бредовые образы.

Родство душевнобольных и художества сюрреалистов, несмотря на отсутствие патологических свойств, как мы уже видели, не лишено основания. В чем же заключается эта взаимоотношение?

Игнорирование реальной действительности, непроизвольное нарушение форм, непонятные, причудливые символы, соединение несоединимого с очевидной алогичностью. Словом, нарушение единства, гармонии содержания и формы, на наш взгляд, является характерным для обоих видов изобразительной деятельности. Но исходить только из подтверждения сходства между ними недостаточно для решения данного вопроса. В противном случае мы должны были бы художника-сюрреалиста признать патологической личностью. Мы полагаем, что изучить этот вопрос следовало бы также с точки зрения разницы этих двух сторон. Но искать разницу лишь в стилистическом анализе рисунка, путем взаимсравнения формы и содержания недостаточно для убедительного решения. Следовательно, нужен иной путь.

И психология в первую очередь может сыграть здесь существенную роль. Внешне сходные действия психологически могут быть различными и обусловленными совершенно разными психологическими факторами. Если изучение личности больного и художника-сюрреалиста Покажет нам такого рода различие, то, может быть, нам удастся уловить разницу и в изобразительной деятельности.

В связи с этим мы попытались рассмотреть вопрос вышеозначенной взаимосвязи в свете учения Д. Н. Узнадзе [2] о двух планах психической деятельности.

С точки зрения психологии установки, психическая жизнь личности предполагает наличие двух планов психической деятельности: плана импульсивно го поведения и плана объективации. Иерархическая ?связь двух планов обусловливает структуру поведения.

Обычно в структуре поведения взаимосвязь первого и второго планов протекает нормально. Но при некоторых патологических явлениях происходит нарушение взаимосвязи двух планов психической деятельности. Анализ поведения больного шизофренией показал на более или менее выраженный дефект способности объективации, в связи с чем нарушается нормальная связь действия двух планов, и поведение больного шизофренией протекает на первом уровне психики. Неведение больного импульсивно, спонтанно, вне активного вмешательства воли и мышления. Естественно, что и изобразительная деятельность как один Из видов поведения осуществляется на таком же уровне установки. Оставаясь в первом плане психики, больной шизофренией целиком погружается в рисование, больной воедино слит со своей художественной продукцией, неотделим от нее. В таком состоянии больной прибегает к рисованию, изображению своих галлюцинаторных и бредовых переживаний. Таким образом, художественная продукция больного непосредственно связана с его патологическими особенностями, воплощает в себе интимные переживания, стремления и потребности.

Роль установки в изобразительной деятельности весьма велика. Но крупные достижения в искусстве не являются только результатом, непосредственного воздействия установки. В состоянии творческой инспирации художник в силах приостановить действие импульсного поведеиия. подчинить его своей воле и произнести творческую объективацию. Преисполненный волей, художник приступает к активному творчеству.

Художник-сюрреалист вполне сознательно механизмом своего творчества считает психический автоматизм и паранойю и, можно сказать, сознательно старается, подобно больному шизофренией, свое изобразительное поведение осуществить на низшем, первом уровне психической деятельности.

"Идеал сюрреалиста" осуществляет больной шизофренией спонтанно и непосредственно в плане установки.

Сюрреалист умышленно и нарочито применяет магические сим-волы, онейроидные и бредовые представления, намеренно извращает формы, сочетает и противопоставляет причудливые ассоциации реальных предметов и явлений. Сюрреалистическое художество - осмысленное и надуманное, как и результаты экспериментального исследования наших студентов-художников, которые, поняв и прочувствовав предназначенное намерение, с большим интересом выполнили задание, сознательно создавая формы, лишенные логически осмысленного содержания.

Таким образом, как уже было сказано, изобразительная деятельность и художественная продукция больных шизофренией - непосредственное действие в установочном плане психики; продукция же, изображенная импульсивно и неосознанно, неразрывно и тесно слита с личностью. Психическое заболевание независимо от личности непосредственно не проявляется в художественной продукции. Патологическая личность тесно связана с художественной продукцией, в которой отражены интимные переживания и установки заболевшей личности.

Иначе обстоит дело с творческим процессом на втором уровне психической деятельности. Художник активно, произвольно, на основе акта объективации создает художественное произведение, противопоставляя себя своему творчеству. Художественное произведение, воплощенное в полотне или мраморе, объективируется в определенной форме, отключается от своего автора, производит так называемую творческую объективацию, противопоставляет себя своему произведению творчества, извне смотрит на него и, наконец, расстается с ним, иначе говоря, художник до того, как начать действовать, объективирует тот или иной акт и создает установку на уровне объективации.

Если художественная продукция, исполненная на низшем уровне, лишена .художественной ценности, то созданное художником на высшем уровне психической деятельности художественное произведение значительно отличается своей богатой фантазией, композицией и техникой исполнения. Поэтому, даже при наличии большого сходства, мы всегда отличаем художество больного от произведения художника-сюрреалиста.

Алфавитный указатель авторов

Цифры в скобках обозначают начальную страницу публикации автора в настоящем томе монографии

"А"

Аладжалова Н. А. (162), Институт психологии АН СССР; Институт неврологии АМН СССР. Москва, СССР

Аммон Г. (253), Немецкая Академия психоанализа, Институт динамической психиатрии и групповой динамики, ФРГ

Арановский М. Г. (583), Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, Ленинград, СССР

Артемьева Е. Ю. (331), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

"Б"

Баймишева М. Ш. (331), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

Баканова И. В. (431), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

Бассин Ф. В. (19, 27, 195, 477), Институт неврологии АМН СССР, Москва, СССР

Бейн Э. С. (322), Институт неврологии АМН СССР, Москва, СССР

Березин Ф. Б. (281), I Московский медицинский институт, Москва, СССР

Блейхер В. М. (403), Киевская психоневрологическая больница, лаборатория патопсихологии, Киев, СССР

Буачидзе Г. С. (664), Тбилисский государственный университет, факультет западноевропейских языков и литератур, Тбилиси, СССР

Бургиньон А. (52), Парижский университет, Париж, Франция

Бурно М. Е. (346), Центральный институт усовершенствования врачей, кафедра психотерапии, Москва, СССР

"В"

Вайнер Г. (268), Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна, США

Васадзе А. Г. (512), Институт истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР ВАСИЛЬЧЕНКО Г. С. (442), НИИ психиатрии МЗ РСФСР, лаборатория сексопатологии, Москва, СССР.

Вачнадзе Э. А. (671), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

Вейн А. М. (112, 313), I Московский медицинский институт, Москва, СССР

Витткорер Э. (239), Университет МакГила, Монреаль, Канада

Воронин Г. В. (607), Институт неврологии АМН СССР, Москва, СССР ГИЛЛ М. М. (152), Иллинойский университет, Чикаго, США

"Г"

Голицын Г. А. (306), Институт нормальной физиологии АМН СССР, Москва, СССР

Голубев В. Л. (112), 1 Московский медицинский институт, Москва, СССР

Гуревич Д. (655), Парижский университет, Париж, Франция

"Д"

Делюи Г. (629), Газета "Юманите", Париж, Франция

Джинджихашвили Н. Я. (493), Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии, Тбилиси, СССР

Долидзе Л. И. (597), Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания Министерства культуры СССР, Москва, СССР

"З"

Завилянская Л. И. (403), Киевская психоневрологическая больница, лаборатория патопсихологии, Киев, СССР

Завилянский И. Я. (403), Киевская психоневрологическая больница, лаборатория патопсихологии, Киев, СССР

Зачепицкий Р. А. (354), Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Ленинград, СССР

Зейгарник Б. В. (431), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

"И"

Иванов В. (412), Варнский медицинский институт, Варна, Болгария

Ивашева В. В. (537), Московский государственный университет, факультет филологии, Москва, СССР

"К"

Кабанов М. М. (216), Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева. Ленинград, СССР

Каландаришвили А. С. (170), Московская городская психиатрическая больница № 12, Москва, СССР

Каменецкий С. Л. (162, 170), Московская городская психиатрическая больница № 12, Москва, СССР

Кандель Э. И. (340), Институт неврологии АМН СССР, Москва, СССР

Каралашвили Р. Г. (529), Тбилисский государственный университет, факультет западноевропейских языков и литератур, Тбилиси, СССР

Карвасарский Б. Д. (354), Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Ленинград, СССР

Каценштейн А. (220), Центральный научно-исследовательский институт кардио-васкулярной регуляции, Берлин, ГДР

Кечхуашвили Г. Н. (571), Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии, Тбилиси, СССР

Климовицкий А. И. (591), Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, Ленинград, СССР

Ковда Д. И. (622), Московский государственный университет, факультет философии, Москва, СССР

Козина Т. М. (136), Одесский государственный университет, кафедра психологии, Одесса, СССР

Крогер В. (184), Институт общей медицины, Беверли Хилс. Калифорния, США ЛАНГС Р. (461), Маунт Синайский институт медицины, Нью-Йорк, США

"Л"

Латаш Л. П. (27, 88), Институт эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР, Москва, СССР

Лившиц С. М. (419), Киевская городская клиническая психоневрологическая больница им. И. Г1. Павлова, Киев, СССР

Личко А. Е. (449), Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Ленинград, СССР

Ломидзе Т. А. (505), Институт истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

Лунц Е. Я. (292), Центральная клиническая больница гражданской авиации, Москва, СССР

"М"

Мармор Д. (395), Университет южной Калифорнии, Институт медицины, Лос Анджелес, Калифорния, США

Милка А. П. (575), Ленинградская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Ленинград, СССР

Моравек М. (177), Пражский научно-исследовательский институт психиатрии, Прага, Чехословакия

Мульдворф Б. (368), Лечебный центр металлургов, Париж, Франция

"Н"

Николаева В. В. (431), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

Нордби В. (121), Калифорнийский университет, Санта Крус, США

Нэмиа Д. (187), Больница Бет Израель, Бостон, Массачусетс, США

"О"

Ониани Т. Н. (42), Институт физиологии им. И. С. Бериташвили АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

"П"

Поллок Г. (224, 229), Чикагский институт психоанализа; Медицинский институт Северо-западного университета, Эванстон, США

Прангишвили А. С. (19, 27, 195, 477), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

"Р"

Репин В. Я. (306), Институт нормальной физиологии АМН СССР, Москва, СССР

Роджерс Р. (389), Калифорнийский университет, Лос Анджелес, США

Родштат И. В. (313), I Московский медицинский институт, Москва, СССР

Рожнов В. Е. (162, 346), Центральный институт усовершенствования врачей, кафедра психотерапии, Москва, СССР

Ротенберг В. С. (27, 99), I Московский медицинский институт, Москва, СССР

Рудинеско Э. (636), Парижская фрейдовская школа, Париж, Фракция. САПИР М. (454), Парижский университет, Париж, Франция

"С"

Свядощ А. М. (361), Ленинградская психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова, Ленинград, СССР

Сербиненко М. В. (306), Институт нормальной физиологии АМН СССР, Москва, СССР

Симерницкая Э. Г. (298), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

Симонов П. В. (518), Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, Москва, СССР

Слитинская Л. И. (549), Грузинский политехнический институт, кафедра русской литературы, Тбилиси, СССР

Соловьева А. Д. (313), I Московский медицинский институт, Москва, СССР

Сольнит А. (382), Центр изучения ребенка, Йельский университет, Нью-Хейвен, США

Спиваковская А. С. (425), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

"Т"

Теплицкая Е. И. (419), Киевская городская клиническая психоневрологическая больница им. И. П. Павлова, Киев, СССР

"У"

Уорнс Г. Т. (239), Тринити Колледж, Дублин, Ирландия

"Ф"

Федотов Д. Д. (437), НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Москва, СССР

Фишер Ч. (71), Лаборатория сна, Институт психиатрии, Маунт Синайская больница, Нью-Йорк, США

Флоренская Т. А. (562), Институт общей и педагогической психологии АПН СССР, Москва, СССР

"Х"

Халл К. (121), Калифорнийский университет, Сайта Крус, США

"Ш"

Шефтелевич О. С. (431), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

Шерозия А. Е. (19, 27, 195, 477), Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии; Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

Шерток Л. (141), Институт Ларошфуко, Центр психосоматической медицины им. Дежерина, Париж, Франция

"Э"

"Я"